Игнасио Идальго де Сиснерос

Меняю курс

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Игнасио Идальго де Сиснерос — одна из примечательных и романтических фигур испанской революции, человек необыкновенной судьбы. Выходец из старинного аристократического рода, Сиснерос, получив традиционное для своего круга военное образование, становится одним из первых военных летчиков в Испании. На протяжении 15 лет участвует в колониальных войнах в Северной Африке, а затем командует воздушными силами Испании в Западной Сахаре. Непосредственно перед фашистским мятежом Франко в 1936 году Сиснерос занимает пост авиационного атташе Испании в фашистской Италии и гитлеровской Германии. Перед Сиснеросом открывалась блестящая военная карьера. Однако, будучи настоящим патриотом своей родины и человеком, любящим свой народ, он отказывается от привилегий своего класса и наследственных имений, переходит на сторону народа и в самые трудные для испанской революции дни, в период героической обороны Мадрида вступает в ряды коммунистической партии. Назначенный командующим воздушными силами, Сиснерос с первых дней фашистского мятежа сражается в воздухе плечом к плечу с советскими летчиками-добровольцами, участвовавшими в национально-революционной войне испанского народа. Книга Сиснероса переведена в ряде европейских стран, где пользуется широким успехом. Она нелегально распространена и в самой франкистской Испании. В русском издании книга печатается с небольшими сокращениями.

•

Меняю курс
Предисловие
Часть первая
В армии
В авиации
В Марокко
Взятие Вилья-Алусемаса
В Сахаре
Восстание в «Куатро виентос»
Париж
Часть вторая
Путч 10 августа. Моя свадьба. Новые друзья
Дипломатический период

Черное двухлетие. Октябрь 1934 года. Легкомысленная поездка. Напряженное положение в Испании

Назначение в Таблада. Победа Народного фронта. Слепота правительства и приготовления фашистов

Восстание 18 июля. Республиканская авиация с народом. Первые герои

Мадрид в опасности. Мое вступление в коммунистическую партию. «Невмешательство» и искренняя помощь. Оборона Мадрида

Новые бои. «Ла глориоса». Братство в борьбе

Гвадалахарское сражение

Восстание в Каталонии. Приобретение оружия. Золото республики

Брунете. Альмерия. Север. Бельчите. Драма гражданской войны

Потеря Севера. Поездка в СССР. Теруэль. Кортесы. Сражение на Эбро

Миссия в Москву. Каталония в огне. Возвращение в Центр

Второе изгнание

1962-1964

де Сиснерос, Игнасио Идальго | *Hidalgo de Cisneros, Ignacio*

Меняю курс

Аннотация издательства: Игнасио Идальго де Сиснерос - одна из примечательных и романтических фигур испанской революции, человек необыкновенной судьбы.

Выходец из старинного аристократического рода, Сиснерос, получив традиционное для своего круга военное образование, становится одним из первых военных летчиков в Испании. На протяжении 15 лет участвует в колониальных войнах в Северной Африке, а затем командует воздушными силами Испании в Западной Сахаре. Непосредственно перед фашистским мятежом Франко в 1936 году Сиснерос занимает пост авиационного атташе Испании в фашистской Италии и гитлеровской Германии.

Перед Сиснеросом открывалась блестящая военная карьера. Однако, будучи настоящим патриотом своей родины и человеком, любящим свой народ, он отказывается от привилегий своего класса и наследственных имений, переходит на сторону народа и в самые трудные для испанской революции дни, в период героической обороны Мадрида вступает в ряды коммунистической партии. Назначенный командующим воздушными силами, Сиснерос с первых дней фашистского мятежа сражается в воздухе плечом к плечу с советскими летчиками-добровольцами, участвовавшими в национально-революционной войне испанского народа.

Книга Сиснероса переведена в ряде европейских стран, где пользуется широким успехом. Она нелегально распространена и в самой франкистской Испании.

В русском издании книга печатается с небольшими

сокращениями.

Предисловие

Мемуары Игнасио Идальго де Сиснероса - одна из самых интересных и значительных книг этого жанра, появившихся за последние годы. Я бы даже сказал, что во многих отношениях это удивительная книга.

Мемуары Сиснероса поражают своей неподкупной искренностью. Заново перелистывая страницы своей жизни, автор мемуаров нигде не стесняется быть самим собой, таким, каким он был в ту или иную минуту своего сложного жизненного пути. Он не стыдится ни своего простодушия, ни своей политической наивности, ни своих необдуманных поступков, ни своих пристрастий и предубеждений молодости. Он рассказывает о себе таком, каким он был в молодые годы, и от этого весь тот удивительный по своим событиям и поворотам жизненный путь, который он прошел впоследствии, приобретает особую, высокую поучительность. Мы начинаем испытывать чувство абсолютного доверия к искренности и щепетильной добросовестности человека, рассказывающего нам, читателям, о себе. [4]

Выходец из состоятельной аристократической, и притом традиционно военной, испанской семьи, Сиснерос с юности посвятил себя военной карьере, окончил военное училище, служил сначала в сухопутных частях, в ожидании возможности перейти в авиацию, и, окончив авиационную школу, с годами стал одним из известнейших летчиков и многообещающих авиационных командиров.

Первая неожиданность в судьбе Сиснероса - его участие в 1931 году в неудачной попытке республиканского переворота - была в значительной мере неожиданностью для него самого. Он не был к тому времени идейным сторонником монархического режима, но не был и идейным республиканцем. Он с величайшей и мужественнейшей искренностью рассказывает в своих мемуарах о том, как его толкнули на участие в этом республиканском перевороте не политические взгляды, а просто-напросто чувство человеческой чести, решимость не обмануть доверия привлекших его к попытке восстания товарищей и даже отчасти боязнь в случае отказа выглядеть в их глазах недостаточно храбрым человеком.

Так неожиданно для самого Сиснероса началось то изменение курса, которое дало название его мемуарам и в конце концов привело его на пост командующего авиацией Испанской республики и в ряды Коммунистической партии Испании.

Само по себе участие в антимонархическом восстании, за

которым последовало бегство за границу и короткий период жизни в эмиграции, - все это еще отнюдь не определяло до конца дальнейшего жизненного пути участников этого восстания. Достаточно сказать, что в попытке этого антимонархического переворота вместе с Сиснеросом участвовали такие фигуры, как генерал Кейпо де Льяно - один из будущих сподвижников Франко - и брат будущего диктатора известный летчик Рамон Франко, впоследствии воевавший на стороне фашистов и погибший в боях с республиканской авиацией, которой командовал к тому времени Сиснерос. [5]

Будущий путь Сиснероса определило не само его участие в этом восстании, а скорее те мотивы, по которым он принял в нем участие, мотивы, связанные с понятиями чести, честности, товарищества, решимости, - однажды уже начав что-то делать, идти до конца. Все это, вместе взятое, резко отличало уже тогда Сиснероса от людей, которые ввязались в это восстание из-за каких-то обид по службе, как Кейпо де Льяно, или из тщеславного желания еще больше прославиться, как Рамон Франко.

Хочу в этой связи обратить внимание читателей на одну в высшей степени привлекательную черту мемуаров Сиснероса. Очень часто в его мемуарах одни и те же люди в разные периоды истории проходят в разном качестве, и на каждом этапе своих взаимоотношений с этими людьми Сиснерос их рисует именно такими, какими они были для него тогда. Он не спешит с выводами, с резюме. Он дает этим людям пройти через свою жизнь так, как они в действительности прошли через нее. Далекие стали близкими, а многие из близких - далекими, чужими и даже прямо враждебными.

В этом смысле очень интересно проследить по мемуарам Сиснероса за тем, как входит в его жизнь один из видных деятелей Испанской социалистической партии Индалесио Прието. Сначала, в эмиграции, Прието становится для Сиснероса, в сущности, первым его политическим наставником. Сиснерос испытывает в этот период сильнейшее влияние Прието и ни в малейшей мере не стремится приуменьшить масштабы этого влияния.

Эта возникшая в эмиграции близость к Прието сохраняется у Сиснероса на протяжении нескольких лет. Начало охлаждения этой дружбы, этой близости падает уже на тот период, когда Сиснерос командует авиацией республиканской Испании и идет ожесточенная гражданская война. Близость с Прието нарушают не какие-либо личные столкновения. Напротив, личная близость этих двух людей еще остается. Но Сиснерос, который именно по рекомендации Прието был в свое время [6] назначен

командующим авиацией, постепенно начинает чувствовать, что Прието - министр морского флота и авиации - не тот человек, который до конца понимает нужды воюющей республики, не тот человек, который способен руководить войной с фашистами.

Людей, которые понимают, какой должна стать армия, для того чтобы она могла справиться с Франко, людей, которые понимают, как надо воевать с фашистами, Сиснерос находит в среде коммунистов, далеких ему социально и вообще во многом к тому времени еще просто-напросто неведомых. Но Сиснерос видит, что коммунисты - это люди дела, это люди, для которых не существует компромиссов, люди, которые решили в борьбе с фашизмом идти до конца. И в тяжелые для республики дни Сиснерос, к удивлению многих из окружающих его, вступает в Коммунистическую партию Испании. Он хочет быть с теми, кто, раз пойдя, идет до конца. Он еще не разбирается в тот период во многих тонкостях политики, но он, человек сам бескомпромиссный по всему своему нравственному облику, идет к тем людям, вместе с которыми он может воевать до конца.

Не хочу пересказывать те страницы мемуаров Сиснероса, на которых рассказывается о его вступлении в коммунистическую партию, но хочу сказать, что это одни из самых проникновенных, кристально чистых и глубоко достоверных психологически страниц его замечательной книги.

Не последней причиной того, что судьба Сиснероса сложилась именно так, а не иначе, было его нравственное здоровье, его внутренний демократизм, его глубокая, сначала инстинктивная, а потом сознательная, любовь к своему народу. Эти добрые задатки были заложены в нем в юности, и они развились несмотря ни на что - на сопротивление среды, на кастовые предрассудки, на образ жизни.

Книга Сиснероса дает представление о причинах поражения Испанской республики, не только внешних, но и внутренних. [7] Он с чувством глубочайшего разочарования пишет и о постепенно открывавшихся перед ним противоречиях в лагере республиканцев и социалистов, и о разрозненности усилий, о борьбе политических самолюбий и тщеславий, об ошибках, о нерешительности, в особенности первоначальных действий против фашистов, и о многом другом, что в итоге, наряду с вмешательством германского и итальянского фашизма, сыграло свою роль в поражении республики.

Но одновременно с этим в книге Сиснероса возникает образ испанского народа, образ, полный силы и благородства.

Сиснерос заканчивал свою книгу незадолго до смерти, после двадцати пяти лет пребывания в эмиграции. Но его вера в народ

Испании, в его силы и возможности ни на йоту не поколебалась за эти трудные четверть века. «Моя вера в испанский народ осталась непоколебимой. Я узнал его в дни защиты свободы. Этот народ не дал сломить себя, не дал подкупить себя фашистам. По окончании гражданской войны я обосновался в Мексике. Позднее я жил в разных европейских странах. Расстояния не отдалили меня духовно от моего народа, и ничто, никогда не отдалит меня от него».

Этими гордыми строками заканчивает свои мемуары Сиснерос. В сущности, эти слова - итог того огромного духовного пути, который проделал от своей касты к народу этот потомок испанских аристократов, этот офицер королевской испанской армии.

Советский читатель с вполне понятным интересом, наверное, остановится на тех страницах мемуаров Сиснероса, где идет речь о его командировках во время гражданской войны в Москву и о его совместной работе с нашими советскими летчиками-добровольцами, которые были подчинены ему, как командующему испанской республиканской авиацией. [8]

Об этих людях, мужественно внесших свой вклад в борьбу испанского народа, он пишет с глубокой симпатией и уважением, высоко оценивая их и как своих друзей и как своих подчиненных.

И вообще мне хочется сказать в заключение, что мемуары Сиснероса - какая-то особенная, я бы сказал, рыцарская книга. За нею встает облик бесконечно привлекательного, прямого, храброго, неукротимого человека, человека, пришедшего в революцию из страшного далека, но сумевшего стать одним из самых благородных рыцарей этой революции.

Константин Симонов [9]

Часть первая

Детство и отрочество

В годы моего детства{1} разговоры вокруг карлистского движения{2} были обычными в нашей семье, и первые мои воспоминания почти целиком связаны с событиями, в которых карлисты играли главную роль.

Я не знаю, насколько моих родителей волновали драматические события, происходившие в Испании в первые годы моей жизни, и не помню, как реагировали мои близкие на катастрофы, связанные с потерей Испанией Кубы, Пуэрто-Рико и Филиппин{3}, об этом я никогда не слыхал ни одного слова. Я уверен, что вспомнил бы хоть какие-нибудь разговоры по этому

поводу, как вспоминаю, например, впечатления, вызванные у меня обсуждением возможности нового карлистского восстания: мне казалось, что карлисты укрываются в [10] окрестностях Витории{4}, ожидая сигнала, чтобы выйти из своих тайных убежищ и овладеть городом. Когда с балкона нашего дома, на углу улиц Вокзальной и Флориды, я смотрел на видневшиеся вдали горы, они казались мне заполненными карлистами. По ночам я часто думал о них.

Наиболее ясные воспоминания, сохранившиеся у меня об отце, также связаны с карлистским движением. Я должен сделать усилие, чтобы вспомнить отца таким, каким он был перед самой смертью, так как обычно я представлял его себе в кавалерийской форме, молодым, высоким, с хорошо ухоженной бородой, в изящном кавалерийском берете. Этот образ, несомненно, возник у меня по имевшимся в нашем доме фотографиям отца, сделанным в дни его молодости.

Мой отец родился в Вергара, в провинции Гипоскуа. Его предки по отцовской линии были военными и моряками; один из них, дон Балтазар Идальго де Сиснерос, являлся последним вице-королем Испании в Аргентине. Мать отца принадлежала к старинной баскской семье Унсетас. В огромном доме Унсетас порой находил убежище претендент на испанский престол Карлос VII.

Вторая карлистская война (1872-1876 годы) застала моего отца слушателем кавалерийского училища. Карлисты скрывали свои убеждения, но, как только начались военные действия, отец вместе с другими курсантами сбежал из училища и присоединился к главному штабу восставших. Брат же его, лейтенант артиллерии, воевал в рядах либералов. Много раз я слышал, что оба брата принимали участие в одних и тех же сражениях, но во враждебных лагерях. Когда мои близкие вспоминали об этом, как о семейной драме, они не могли предположить, что спустя 83 года подобная ситуация повторится со мною и братом Пако.

Тому, что мне известно о жизни отца, я отчасти обязан письмам, сохраненным моей матерью. Что же касается моих личных воспоминаний, особенно хорошо помню беседы со старыми товарищами отца по военной службе - когда он заболел, они почти каждый день приходили проведать его. Один из них - Самуэль Итурральде, видный карлистский лидер, очень добрый человек, несмотря на устрашающую внешность. Он был женат на близкой подруге моей матери - Аните Сорилья, тоже очень доброй, но внушавшей страх своим безобразием. Мое воображение всегда рисовало Итурральде, [11] сидящим верхом

на лошади, в военной форме, в берете, с глазами навыкате и большой растрепанной бородой и рубящим саблей либералов. При виде его становилось понятно, почему в нашем доме говорили, что карлистов все боятся.

Другим близким другом и товарищем отца был полковник Гамбоа. (После поражения карлистов он перешел в том же чине на службу в либеральную армию.) Гамбоа командовал Арлабанским кавалерийским полком в гарнизоне Витории. Он был полной противоположностью Итурральде. Небольшого роста, толстый, с очень добрым лицом. Я не мог представить его себе на поле боя. Влюбленный в кавалерию, он всегда носил трость с рукояткой в виде лошадиной головы и маленькую шпору - брелок на цепочке часов. С этими двумя вещами у меня было связано много детских иллюзий.

Друзья отца любили вспоминать карлистскую войну и говорили о ней восторженно. По их рассказам можно было составить довольно ясное представление о той атмосфере, в которой проходила эта война, столь отличавшаяся от нашей{5}.

Для примера процитирую несколько строк из письма одного старого товарища отца по училищу, лейтенанта из лагеря противника: «…с удивлением узнал, что ты командуешь позицией перед нами. Спешу послать тебе нежный привет, несмотря на наше теперешнее положение. Что касается меня, то дружбу, соединяющую нас, ничто не нарушит. Всей душой желаю, чтобы обстоятельства скоро уладились и мы получили возможность обнять друг друга…» И в конце приписка: «Поскольку имею сведения, что ты испытываешь нужду в пище, посылаю с подателем сего корзину яиц и маисовый хлеб, только что вынутый из печи…» В нашем семейном архиве я обнаружил и письма «претендента Карлоса VII», адресованные моему отцу, очень сердечные и дружественные. В одном из них он сообщал о назначении отца командиром своего эскорта.

Несколько писем относятся уже к послевоенному времени, когда многие карлисты находились в эмиграции. В одном из них, отправленном из Лондона в Париж, маркиз Эспелета писал: «… нам уже сообщили, что, перейдя границу, ты прежде всего продал пистолеты и лошадь, чтобы купить пианино. На это способен только такой сумасшедший, как ты…» Действительно, мой отец был истинным, страстным любителем музыки. [12]

Судя по рассказам и письмам эмигрантов, французские и английские аристократы хорошо приняли беглецов, в основном офицеров; они вполне пришлись ко двору и в Париже и в Лондоне. Власти не беспокоили их, а иногда даже приглашали на официальные празднества.

Как- то дон Самуэль Итурральде рассказал историю, которая очень заинтересовала меня. Кажется, он командовал одним из немногих отрядов дона Карлоса, уцелевших к концу войны. Они прикрывали отступление «претендента» к долине, расположенной рядом с французской границей. Там дон Карлос приказал остаткам своей армии построиться. Итурральде взволнованно, со всеми подробностями рассказывал, как дон Карлос проехал на лошади вдоль строя своих войск, а затем обратился к ним с проникновенными словами, которые его последние фанатичные солдаты выслушали со слезами на глазах. Одна из групп эскорта во главе с моим отцом проводила дона Карлоса до самой границы, где французы приняли его со всеми почестями.

На следующий день границу Франции перешла группа офицеров, не захотевших оставаться в Испании. Никем не задержанные, они прибыли в ближайший французский населенный пункт. В этой группе был и мой отец, которого сопровождал денщик Педро, не пожелавший расстаться с ним. Он находился при нем все годы эмиграции, а позже и в Испании, вплоть до последнего своего часа. Я очень любил Педро. В нашем поместье Сидамон он следил за лошадьми и, как хороший солдат, имел к ним особое пристрастие. Будучи еще совсем юным, я получил у него первые уроки верховой езды, которые позже помогли мне стать неплохим наездником.

После окончания войны с карлистами либеральное правительство объявило широкую амнистию. Всем офицерам, воевавшим на стороне противника, оставлялись воинские звания. Большинство из них вступило в правительственную армию. Мой отец отказался от военной карьеры. Возможно, потому, что материально был хорошо обеспечен и не нуждался в жалованье.

Через некоторое время после возвращения в Испанию отец женился на некой Мансо де Суньига. От нее он имел трех сыновей и дочь: Пако, Маноло, Фермина и Инесу. Часть года семья жила в Ла-Риохе, в поместье Сидамон, остальную часть - в Витории.

Моя мать, Мария Лопес-Монтенегро и Гонсалес де Кастехон, родилась в Логроньо. Ее семья занимала видное [13] положение и пользовалась большим влиянием в своей провинции. Я неоднократно слышал, что в салоне моего деда, где всегда за двумя-тремя карточными столами собиралась местная знать и подавали превосходный, красиво сервированный шоколад, славившийся на всю округу, бывали каноники, а иногда даже губернатор.

Первым мужем моей матери был Мансо де Суньига, брат первой жены моего отца. От этого брака родилось двое детей - Мигель и Росарио. Они тоже большую часть года проводили в Ла-

Риохе, в поместье Канильяс, расположенном всего в 15 километрах от Сидамона. Через несколько лет мои будущие родители овдовели. Еще молодые, они остались с детьми, доводившимися друг другу родными кузенами и жившими в почти соседних поместьях. Как и следовало ожидать, все закончилось тем, что родители поженились, и от этого брака в 1894 году родился я. У меня уже было три брата и сестра со стороны отца, носивших имя Идальго де Сиснерос и Мансо де Суньига, и брат и сестра со стороны матери, называвшихся Мансо де Суньига и Лопес-Монтенегро. Я получил имя Идальго де Сиснерос и Лопес-Монтенегро. Эту сложную путаницу с фамилиями мне приходилось разъяснять на протяжении всей своей жизни тысячу раз.

После смерти отца в 1903 году мы переехали в Виторию. Еще совсем ребенком, быть может шести лет от роду, я стал посещать школу Маристов{6}. В Витории мы жили вчетвером: моя мать, сестра Росарио, брат Мигель и я. Мигеля, учившегося в то время в кавалерийском училище в Вальядолиде, мы видели редко. Мои братья по отцу с нами не жили, хотя тоже находились в Витории. Летом они приезжали в Сидамон, где я иногда составлял им компанию.

В то время семья для меня состояла лишь из матери и сестры Росарио. Нас объединяла тесная дружба, и я питал к ним горячую любовь - естественное чувство к матери и сестре. Жизнь наша протекала спокойно, при полном материальном благополучии. У нас жили две служанки, веселые и симпатичные друзья моего детства.

Моя мать была очень религиозной. Почти ежедневно она ходила слушать мессу и часто по вечерам проводила время в монастыре Кармелитов{7}, расположенном на нашей улице. Иногда я сопровождал ее в церковь, но внутрь обычно [14] не заходил, ожидая у входа, чтобы вместе вернуться домой. Мне очень нравилось бывать с матерью. Кажется, мое общество ей тоже доставляло удовольствие. Мы питали искреннее доверие друг к другу. Тогда у меня еще не было никаких секретов от нее. Преданная католичка, она уважала взгляды других на религию и в течение всей своей жизни проявляла много такта и терпения, чтобы сделать меня религиозным по убеждению. Она добилась того, что религия стала для меня неоспоримой истиной, совершенно естественной частью моей жизни.

Уже в школе нас начали интересовать девушки. Те, кто был постарше, стремились завести невест; этому вопросу придавалось большое значение. Смешно вспоминать, каким сильным, несмотря на молодость, было в нас желание - чисто испанская

черта - слыть дон Жуаном. Ведь тогда остальные будут восторгаться нами! Уже с первых шагов наших взаимоотношений со слабым полом мы проявляли глупое тщеславие, чванство, желание прослыть покорителями женских сердец.

Большое значение в школе придавалось торжественному акту первого причастия. Готовить к нему нас начали за несколько недель: читали лекции о том, что такое причастие, а последние три дня никуда не выпускали, чтобы подвергнуть настоящей бомбардировке проповедями. Говорилось в них в основном об ужасах ада, страданиях, ожидавших нас, и крохотных возможностях спастись от них. Проповеди читал монах, славившийся суровостью и стремившийся, видимо, подтвердить свою репутацию. В конце концов всех нас одолел ужас, и мы желали только одного: как можно лучше подготовиться к первому причастию, то есть очиститься от всех грехов. В это время передо мной впервые вполне осознанно стал вопрос о моих религиозных убеждениях.

В одной из подготовительных проповедей говорилось о необходимости иметь перед исповедью «твердое намерение исправиться». Монах настойчиво повторял, что, если у нас нет твердого намерения не повторять исповедуемого греха, исповедь будет ложной, а это - страшное святотатство. С другой стороны, из наставлений мы поняли, что почти все в жизни грех, так как даже самые естественные вещи считались пороком. В часы размышлений - а их нам отводили много - я все время возвращался к этой мысли, боясь причаститься во грехе. Если следовать проповедям монаха, то гулять с девушкой или смотреть на ее ноги - серьезное преступление и я должен навсегда отказаться от этого. Так представлял я себе [15] одно из обязательных условий причастия - «твердое намерение исправиться». Но я чувствовал, что не в силах выполнить его, и честно признался себе в этом. Прекрасно помню ужасные часы сомнений, но страх перед скандалом, в случае моего отказа, заставил меня решиться на причастие, несмотря на убеждение, что совершаю страшный грех. Довольно продолжительное время я находился в состоянии крайнего нервного возбуждения. Моя мать заметила это и добилась, чтобы я рассказал ей, что со мной происходит. Она успокоила меня и переговорила с доном Рамоном, нашим капелланом поместья Канильяс. Он исповедал меня и дал отпущение грехов, не придавая этому событию большого значения. Душевное равновесие было восстановлено.

Когда заболел мой дед, мать несколько месяцев провела в Логроньо со своими родными, а меня поместила в интернат школы Маристов в Витории. Пребывание в нем оставило у меня

неприятные воспоминания.

В спальне интерната рядом с моей стояла кровать мальчика из Логроньо - Алехандро Хайлон. Его отец был профессиональным игроком, кроме того, он арендовал игорные залы в разных казино, и о нем шла слава как об очень богатом человеке. Спустя несколько лет он был убит и замурован в стену Мадридской военной академии. Преступниками оказались капитан Санчес и его дочь Мария-Луиза, похитившие у него игральную фишку в 5 тысяч песет. Этот мальчик, с которым меня связывала детская дружба, был самым распущенным подростком во всем колледже, но у него всегда на все случаи жизни имелось несколько простых и конкретных ответов, и это восхищало меня в нем. Он никогда не занимался, однако учителя относились к нему благосклонно. Позже я узнал, что причиной такого покровительства были дорогие подарки, преподносимые его отцом колледжу. Однажды я пожаловался ему на нашего монаха-эконома. Брат моей матери, Мануэль Лопес-Монтенегро, крупный собственник из Касареса, подарил мне огромный кусок эстрамадурского филе, длиной, быть может, в метр. Наш монах-эконом взялся хранить его, обещав выдавать каждый день по нескольку кусков на полдник. В первый же день он дал мне кончик филе с веревкой для подвешивания. Каково же было мое удивление, когда на четвертый день он принес мне другой конец филе, тоже с веревками, сказав, что оно уже кончилось. Выслушав меня, Хайлон заявил, что с ним такого никогда не случилось бы. Он открыл тумбочку и вытащил оттуда ночной горшок, в котором [16] оказались довольно значительные запасы колбасы, присланной ему отцом.

В колледже я еще не имел в то время близких друзей и не входил ни в какую определенную группу. Моими лучшими товарищами были два мальчика - Хосе-Мария и Исидор, сыновья бывшего кучера моего отца Мелкиадеса, работавшего на сахарном заводе в Витории. Его жена служила привратницей; время от времени она ходила убирать в богатые дома. Эта семья очень любила мою мать и часто навещала ее. Мне нравилось играть с Хосе-Марией и Исидором, и при каждом удобном случае я бегал к ним в мансарду. Но больше всего меня приводила в восторг возможность провести день с Мелкиадес на сахарном заводе. В девять часов утра мы - оба брата, их мать и я - выходили из дому, захватив корзину с провизией, и к двум часам приходили на завод, ожидая гудка на обед. Вскоре появлялся в своей потрепанной рабочей одежде Мелкиадес, и все с отменным аппетитом принимались за еду на свежем воздухе. После перерыва Мелкиадес возвращался на завод, а мы ловили раков в

Садорре или купались до пяти часов, то есть до окончания рабочего дня, а затем пешком возвращались обратно. В такие дни я был счастлив. Моя мать никогда не возражала против этих прогулок. Но вскоре Мелкиадес с семьей переселился в Эибар, и я вновь встретился с ними лишь в 1931 году.

В 1905 году сестра Росарио вышла замуж. Ее муж, Педро Жевенуа, бельгиец по происхождению, был капитаном артиллерии. Трудолюбивый и любознательный, не очень искренний и честолюбивый, мой шурин не хотел хоронить себя на всю жизнь в Витории и добивался назначения в Мадрид, где рассчитывал найти более достойное применение своим способностям. Он говорил по-французски лучше, чем по-испански, что давало ему большие преимущества, так как в среде испанских военных знание иностранного языка было явлением редчайшим. Во время русско-японской войны его послали в Россию в составе испанской военной миссии, возглавляемой маркизом Мендигоррия. Помню, какую бурю восторгов вызвали в Витории русские меха, подаренные моему шурину военным министром России и преподнесенные им моей сестре. Кто бы мог подумать, что в 1938 году министр обороны Советского Союза тоже подарит для моей жены великолепные русские меха!

Сестра с мужем обосновались в Мадриде. Мы с матерью остались в Витории вдвоем. Брат Мигель появлялся здесь лишь ненадолго - в дни каникул в военном училище. [17]

Я с удовольствием вспоминаю то время. Искренняя дружба между мной и матерью становилась все сердечнее. Моя мать была милым человеком и всегда понимала меня. Только однажды я вызвал ее гнев, и не без оснований. В колледже я считался плохим учеником. Учителя не стремились заинтересовать нас; наоборот, казалось, они старались сделать все, чтобы мы прониклись отвращением к наукам. Занимался я мало, ровно столько, чтобы не быть в числе самых отстающих. В результате единственное, что я постиг за все время пребывания в колледже, - это всевозможные трюки, как увильнуть от занятий.

Наконец я приступил к прохождению курса на получение степени бакалавра. Между педагогами гимназии, где нам предстояло учиться дальше, и нашими существовало своего рода соглашение - не проваливать ни одного ученика, представляемого колледжем Маристов. К моему несчастью, в гимназии появился новый преподаватель математики по имени Элисальде. Он - это чувствовалось по всему - не был склонен брать в свой класс учеников с плохими знаниями, даже если они из колледжа Маристов. Когда пришла моя очередь экзаменоваться, я не смог ничего ответить и, естественно, провалился. Такое случилось со

мной впервые. Я испытывал горечь и стыд, но больше всего беспокоился о том, сколько переживаний доставлю матери. Однако, привыкнув в колледже к обману и уловкам, я и на этот раз нашел выход: стер с помощью ножа слово «провал» и написал слово «здал». Читая табель, моя мать очень удивилась, что преподаватель гимназии пишет слово «сдал» через букву «з». Так обман был раскрыт.

В то время я уже становился тем, кого одни называли озорным, а другие - плохо воспитанным мальчиком. Последние критиковали мать за свободу, которую она мне предоставляла, и нетвердость характера. Я убежден, что мать дала мне хорошее воспитание: взгляды, внушаемые мне, хотя и казались некоторым слишком свободными, в своей основе были здоровыми и гуманными. С другой стороны, мне очень нравилось ее обращение со мной: я восхищался ею и любил ее.

Мать не оставляла надежды сделать меня религиозным человеком. Ей нравилось, когда я сопровождал ее в церковь, и, не желая огорчать ее, я пускался на различные хитрости, чтобы не присутствовать на всех церковных службах. Уже после первого причастия и в результате общения с некоторыми приятелями, считавшими церковные церемонии уделом только женщин, я растерял большую часть своей первоначальной религиозности и не испытывал ни малейшего угрызения совести, [18] не посещая мессы. Я продолжал оставаться верующим, но без прежнего рвения. В связи с этим вспоминаю, что нисколько не переживал по поводу того, каким способом вынудил свою мать купить мне велосипед.

Церковь, чаще всего посещаемая ею, находилась при обители Кармелитов, при ней же состояло братство Младенца Иисуса Пражского{8}, к которому я принадлежал. Однажды мать вернулась из церкви очень довольная. Оказывается, монахи поручили мне нести во время шествия хоругвь братства.

Перспектива прогулки через всю Виторию не вызвала у меня радости. Кроме того, я опасался насмешек приятелей, считавших подобные занятия унизительными для мужского достоинства. Должно быть, мать почувствовала, что ее предложение встречено без энтузиазма, и, чтобы уговорить меня, обещала купить велосипед. Не устояв перед таким соблазном, я согласился, но все же переживал, как отнесутся к этому мои друзья. Наступил день шествия. Мы отправились в обитель. Мне вручили хоругвь, и я прошел с нею перед матерью, которая была очень горда своим сыном, выступающим в столь ответственной роли. На первом же перекрестке нас встретили знакомые мальчишки, которые пренебрежительно усмехались, глядя на меня. Я стал нервничать,

а мне еще предстояло прогуляться с этой ненавистной хоругвью по всему городу. И тут я увидел своего товарища по колледжу Рикардо Сенсано (впоследствии известного горного инженера). Я подал ему знак подойти ко мне и попросил на минутку взять у меня хоругвь, так как мне якобы срочно понадобилось по нужде. Сунув хоругвь ему в руки, я исчез и появился, только когда шествие вновь показалось около обители. Мать встретила меня у ворот, не подозревая о моей проделке. На следующий день благодаря Младенцу Иисусу Пражскому я получил свой первый велосипед.

В то время я дружил с пятью или шестью мальчиками (почти все моего возраста), составлявшими единую сплоченную группу. Со страстным нетерпением ожидали мы каникул, чтобы покинуть ненавистный колледж и почти три месяца наслаждаться полной свободой. Пользуясь предоставленной нам самостоятельностью, мы совершали дальние экскурсии в горы и окрестные деревни. Отправлялись обычно после обеда и [19] возвращались к ужину, то есть проводили большую часть дня на свежем воздухе. Это великолепно отражалось на нашем здоровье. Одновременно мы набирались и жизненного опыта: нередко нам приходилось проявлять смекалку, преодолевать трудности. Мы чувствовали себя счастливыми и сильными, имели свой свод законов чести, выполнявшихся беспрекословно. Но эта вольная жизнь неожиданно оборвалась из-за глупого происшествия.

Однажды в воскресенье мы отправились ловить раков в небольшую деревушку, находившуюся на линии англо-баскской железной дороги. Когда же после прекрасно проведенного дня мы пришли на станцию, оказалось, что поезд уже ушел, а другой будет только на следующий день. Часы показывали семь вечера, до Витории оставалось 20 километров, и мы решили идти домой пешком. Было еще светло, и мы бодро отправились в путь. Однако вскоре начало смеркаться, и наш оптимизм заметно уменьшился. Мы ничего не говорили друг другу, но темнота не доставляла нам удовольствия. Наконец, очень усталые, в двенадцать часов ночи добрались до города. Родные, обеспокоенные нашим долгим отсутствием, встретили нас, как мы того заслуживали, и в дальнейшем уже не отпускали одних никуда.

В «хороших семьях» Витории существовал обычай брать на время каникул для присмотра за своими сыновьями семинаристов, которым выплачивали жалованье и давали полдник. До сих пор обещаниями быть благоразумными нам удавалось спастись от такого надзора. Мы презирали тех, кто ходил с «поповскими студентами». Но теперь не помогли никакие уговоры. Через два дня у нас в доме появился молодой человек по

имени дон Хулиан, немедленно приступивший к своим обязанностям. В первый день мы совершили обычную прогулку по городу, на следующий день погода была неважной, и дон Хулиан предложил пойти в казино Католической молодежи, членом которого он состоял. Казино находилось в самом начале Арочного переулка. На деньги, выданные моей матерью, мы заказали шоколад и стали наблюдать за игрой на бильярде, очень понравившейся мне. Я впервые попал в казино и с интересом рассматривал тамошнее общество. Прощаясь, мы договорились сказать матери, что были за городом. С этого времени начались ежедневные посещения клуба. Дон Хулиан играл на деньги, отпускаемые нам на полдник или на развлечения. Когда он выигрывал, мы устраивали себе пир, а если проигрывал - оставались без полдника. В результате в десять [20] или одиннадцать лет я научился играть в карты и на бильярде и приходил в восторг от обстановки, столь не подходящей мальчику моего возраста.

Каждый год мать уезжала на лето к бабушке Хоакине в поместье Канильяс. Обычно я сопровождал ее в этих поездках, очень утомительных, хотя расстояние от нас до Канильяса не превышало 60 километров. В Витории мы садились на поезд и ехали до Миранды на Эбро, там обедали, а потом пересаживались на другой поезд, идущий в Аро. Оттуда дилижанс, запряженный четверкой лошадей, после почти трехчасовой тряски доставлял нас, совершенно разбитых и серых от пыли, в Канильяс. Часть своих летних каникул я проводил с матерью здесь, другую - в Сидамоне с братьями по отцу. Усадьбы находились близко друг от друга и принадлежали одной семье, но были совершенно разными.

Несмотря на то что моя мать во всем любила естественность и простоту, обстановка в поместье Канильяс по сравнению с домом в Сидамоне была более барской. Сказывалось влияние бабушки со стороны матери, обладавшей кроме солидного материального достатка привычками «важной барыни». Те, кто знал бабушку смолоду, с восторгом говорили о ее благородстве и большой красоте, которую не смогли стереть и годы.

Я хорошо помню бабушку сидящей в своем кресле в саду или в гостиной, в зависимости от времени года, с неизменной драгоценной эмалевой табакеркой, наполненной нюхательным табаком, с изящным платочком в руке, который горничная меняла после каждой понюшки. Почти всегда ее окружали несколько человек.

Ровно в пять часов пополудни с большой торжественностью подавали знаменитый шоколад, которого все с нетерпением

ждали, особенно попы из ближайших деревень, ежедневно навещавшие бабушку.

По воскресеньям бабушка, если хорошо себя чувствовала, присутствовала на мессе в деревенской церкви, где слева от алтаря имелось специально отведенное для нашей семьи место. Но обычно она слушала мессу, которую служил дон Рамон, наш капеллан, в домашней часовне. Кажется, и сейчас я вижу его, одетого в рясу, с мальчиком-служкой рядом, ожидающего, когда бабушка соизволит выйти из своей комнаты и можно будет начать богослужение.

Дворец Канильяс, как в округе называли наш дом, имел два этажа: на первом находились квартира управляющего, [21] конюшни, винный погреб и каретный сарай; на втором - часовня и наши комнаты.

Моими друзьями в Канильясе были два мальчика - Моисей и Исаак, сыновья деревенского учителя. Позже я понял, что эта семья является потомками евреев. Но тогда мне не приходило в голову задумываться над их происхождением; уверен, что им тоже.

Другим моим приятелем был сын дона Виктора, управляющего имуществом моей матери; звали его Матео Льерена. Он слыл непослушным подростком, был хитрым и смелым, с раннего детства симпатизировал республиканцам, хотя в его семье все были карлистами, ненавидел церковников, плативших ему тем же. Деревенский поп и капеллан без конца ругали его. В дальнейшем он стал врачом. Последний раз я видел Матео за несколько месяцев до гражданской войны.

Не помню, как началась моя дружба с единственным жителем деревни, не арендовавшим землю у нашей семьи. Его звали Черепичник, потому что он имел маленький завод, снабжавший кирпичом и черепицей Канильяс и ближайшие селения. Кроме того, он служил сторожем на кладбище и обязан был хоронить умерших. Мне очень нравилось смотреть, как он работает, и слушать его рассказы. Он пользовался репутацией безрассудного человека и ярого республиканца. Малообщительный по натуре, ко мне он был искренне привязан и относился очень сердечно. Черепичник никогда не скрывал своего невысокого мнения о своих деревенских соседях. Целый год, говорил он, они работают, как негры, чтобы потом отдать половину своего урожая вашей семье, владеющей землей, и голосуют на выборах, как стадо баранов, за кандидата, которого им указывают в вашем доме. Иногда я помогал ему в работе; он соглашался на это только в том случае, если запаздывал с выполнением заказа. Однажды я даже сопровождал его на кладбище.

Принимая во внимание обстановку, в которой я жил, удивительно, что взгляды Черепичника, так возмущавшие всех, казались мне справедливыми. Я не могу даже на миг представить себе, каково было бы изумление бабушки, узнай она, что ее любимый внук с интересом слушает речи своего друга Черепичника, направленные против частной собственности и аристократов.

Бабушка любила, чтобы вокруг нее было много людей, поэтому в нашем доме всегда кто-нибудь гостил. Кроме того, [22] у нас часто собиралась местная аристократия - посидеть за чашкой шоколада, поиграть в карты и просто поболтать. В их обществе я испытывал жестокую скуку и уходил в комнату, где жили служанки. Горничные моей бабушки были приятными девушками. С ними у меня имелось своего рода соглашение, которое обе стороны честно выполняли. Я никогда не передавал их сплетни, не сообщал об их проделках и, когда мог, помогал скрывать маленькие отлучки и добиваться разрешения на непредвиденные отпуска. Они доверяли мне и тоже часто выручали. Мое присутствие не мешало им вести откровенные разговоры обо всем, что их занимало. Несомненно, беседы с Черепичником и откровенные высказывания, которые я слышал в комнате прислуги, оказали влияние на формирование моих жизненных взглядов, хотя тогда я не отдавал себе отчета в этом.

До сих пор хорошо помню некоторых гостей, приезжавших в Канильяс. Не забыть впечатления, оставленного приездом в 1907 году моего дяди Мануэля Лопес-Монтенегро, того самого, что подарил мне филе, съеденное потом кладовщиком колледжа. Дядя прибыл на блестящем автомобиле «Рено». Раньше я никогда не ездил на машине и считал подобное путешествие подвигом. В то время это действительно было почти подвигом. Дядя решил покатать нас, но обе прогулки оказались не совсем удачными. В первый раз, проезжая на машине через деревню Алесанко, мы испугали мулов, впряженных в двухколесную телегу. Они понеслись и остановились, лишь когда перевернули ее. К счастью, никто из людей не пострадал, и недоразумение уладили с помощью нескольких песет. Более печально могла окончиться для нас встреча с почтовой каретой в Аро. Четыре лошади, везшие дилижанс, увидев нашу адскую машину, производившую необычайный шум, в страхе помчались, не разбирая дороги. Едва не опрокинув карету, они проскочили кювет и остановились на свежевспаханном поле, где застряли колеса экипажа. И хотя все остались целы и невредимы, пассажиры и кучер, пережившие несколько неприятных минут, реагировали на происшествие чрезвычайно бурно. Еще немного - и нам, бывшим в меньшинстве,

могло не поздоровиться.

Второй раз дядя Мануэль повез нас в монастырь, расположенный в Сан-Мильян-де-ла-Когулья, в семи километрах от Каньяса. Не проехали мы и половины пути, как мотор заглох, и его никак не удавалось запустить вновь. Пришлось вызвать из Каньяса пару мулов и запрячь их в автомобиль. [23]

Так не очень торжественно, сопровождаемые ироническими замечаниями встречных, мы вернулись домой.

Часто посещал нас и другой родственник, барон де Маве («безвкусный Федерико», как называла его бабушка). Он всегда приезжал в ярко разукрашенной коляске, верх которой и сбруя лошадей по его приказу были разрисованы баронскими коронами. Де Маве был невысокого роста, коренастый, с бородкой клином. Одевался он, как все говорили после его отъезда, очень безвкусно - черта, не свойственная нашей семье. Однажды утром я поехал с матерью в Нахера. Там на площади мы увидели группу в шесть или семь человек, окружившую, необычайно экстравагантное существо, которое, заметив нас, стало делать знаки, чтобы мы остановились. Им оказался достойный Федерико Маве в живописной форме ордена рыцарей Калатравы, ожидавший здесь направлявшуюся в Сан-Мильян инфанту Изабель, чтобы приветствовать ее и воздать почести. На общем фоне городской площади, рядом с просто одетыми крестьянами де Маве в своем наряде - широком белом плаще, со шпагой и в шляпе с пером - выглядел так странно, что впечатление от его комичного вида надолго сохранилось в моей памяти.

Помню и его сочные, крепкие замечания по поводу оплеух, заработанных им из-за склонности приставать в коридорах к горничным; он не мог пропустить ни одной из них.

Часто вспоминали в нашем доме о визите, который нанес бабушке епископ, я думаю Калахоррский. Каньяс издавна славился своим вином кларет, подобного которому не было во всей Ла-Риохе. Однако некоторые его чудесные качества при известных обстоятельствах могли стать коварными, особенно для тех, кто о них не знал. Эта необыкновенная жидкость, выпитая несколько охлажденной в жаркий день, кажется очень приятной, легкой и нежной на вкус. Но ее крепость превышает двенадцать градусов.

У нас в семье хорошо знали: стоит гостям выпить кларет, они становятся необычайно веселыми. Почтеннейшие дамы, друзья или родственники моей бабушки, постепенно пьянея, высказывали такое, о чем в свои семьдесят лет никогда не позволили бы себе говорить в трезвом состоянии. Помню очень уважаемых господ, которые под воздействием этого напитка

выбалтывали мысли, скрываемые ими в течение всей своей долгой жизни.

Раньше мне не приходилось близко видеть епископа, поэтому я с большим любопытством наблюдал за ним и слушал, [24] о чем он говорит. Но вскоре мне стало скучно, и я, как только представился случай, исчез из гостиной, отправившись посмотреть, что делается на кухне.

В тот день стояла жара, и двери балконов столовой были открыты настежь; они выходили на дорогу, круто уходящую вверх, по которой поднимались груженые подводы. Мулы изнывали от палящих лучей солнца и двигались очень лениво. Вдруг с улицы донеслись отборнейшие ругательства из ассортимента эпитетов риохских дорог. Все пришли в страшное смущение. Господин епископ, также почувствовавший неловкость, сделал вид, будто ничего не слышит. Бабушка приказала закрыть балконы, и обед продолжался.

Превосходный кларет отлично помогал справиться с обильными риохскими блюдами. В результате, несмотря на невыносимую жару, гости чувствовали себя неплохо. Однако духота усиливалась, и господин епископ спросил у бабушки, почему она приказала закрыть балконы. Если это сделано для того, чтобы избавить гостей от брани, доносившейся с улицы, то его лично подобные выражения не пугают, ибо он жил в Калахорре, а там ругаются сильнее, чем где бы то ни было в Ла-Риохе. Балконы снова открыли, и, хотя ругательства доносились по-прежнему, после слов епископа никто уже не обращал на них внимания.

Поместье Сидамон, как я уже отмечал, сильно отличалось от усадьбы в Канильясе. В Сидамоне все выглядело значительно проще. Там постоянно жил Маноло, мой брат по отцу, который сам довольно энергично и эффективно руководил хозяйственными работами в поместье. Доходы Сидамон приносил значительно меньшие, чем Канильяс. Брат жил уединенно и скромно, совершенно не стесняя себя соблюдением обычаев, считавшихся в Канильясе обязательными. В своем имении он трудился больше всех. Вставал рано и работал целый день; когда требовалось, чинил косилку, лечил мула или готовил большие бочки для вина; не чурался никакой работы и не стыдился, если люди, пришедшие к нему с визитом, заставали его с грязными руками или в одежде, запачканной маслом или землей.

Каждый раз, приезжая в Сидамон, я старался продлить свое пребывание там. Помимо любви, которую я питал к Маноло, всегда очень радушно принимавшему меня, жизнь в поместье привлекала меня своей естественной простотой; я ездил верхом,

охотился в великолепном горном дубовом лесу, помогал брату по хозяйству. [25]

Рабочие из усадьбы и жители окрестных деревень уважали Маноло за ум, трудолюбие, простоту. Он действительно обладал многими положительными качествами, хотя, как и все люди, не был лишен и слабостей.

Одна из них - преклонение перед мнимым благородством своих предков. Удивительно, что простой по натуре человек, без барских предубеждений и замашек важных и напыщенных господ, мог интересоваться и гордиться генеалогическим древом, фамильными гербами и титулами своей семьи.

Другая его слабость - убеждение в необходимости при любых обстоятельствах защищать идеи карлистов и церковь, независимо от того, справедливо это или нет. Я не сомневаюсь, что он искренне верил в необходимость этого.

Мне никогда не удавалось понять, каким образом в Маноло совмещались самые противоречивые черты. Казалось бы, человек, полностью посвятивший себя работе в поместье, простой в обращении со всеми, независимо от того, бедняки ли это, друзья или знатные родственники, должен был в силу своего образа жизни и положительных душевных качеств симпатизировать людям и партиям, стоящим за прогресс, демократию и стремящимся к более справедливому общественному устройству. Но вопреки логике и несмотря на презрение, которое он питал к барчукам, называя их паразитами, политические симпатии и действия Маноло совпадали с интересами людей и партий, защищавших средневековые идеи и вообще выступавших против какого бы то ни было прогресса.

В 1905 году моя мать и я решили провести зиму в Мадриде.

Мы поселились в квартире сестры Росарио и ее мужа на улице генерала Кастаньос. Впервые, не считая поездок в Канильяс и Сидамон, я покинул маленькую и скромную Виторию.

Мадрид произвел на меня огромное впечатление, которое сохранилось в моей памяти, несмотря на годы, прошедшие с тех пор. Помню, меня поразили большое количество экипажей, кучера и лакеи в цилиндрах и элегантнейших ливреях. Уже тогда я безумно любил лошадей, поэтому пришел в необычайный восторг от великолепных всадников и амазонок, разъезжавших по Ретиро или Кастельяна.

В Мадриде я впервые увидел трамваи. Они были красного цвета, за что мадридцы прозвали их «раками». Садясь в трамвай, я имел возможность за 15 сантимов совершить полный круг по Листа, Сан-Херонимо и Баркильо. С удовольствием вспоминаю шум мадридских улиц, столь непохожих на улицы [26] Витории: с

раннего утра раздавалось громыханье тележек старьевщиков, вскоре к нему присоединялся звон колокольчиков молочных ослиц и пронзительные голоса уличных торговцев, нараспев расхваливавших свои товары. До сих пор помню зазывные выкрики одного из них: «Превосходный творог из Мирафлорес-де-ла-Сьерра!» Затем появлялись веселые органщики, которым всегда бросали с балконов мелкие монеты. На всю жизнь сохранились в памяти и тысячи других деталей, в общем незначительных, но оставивших в моей душе глубокий след.

Спустя немного времени у меня появились в Мадриде приятели. Они были примерно моего возраста и принадлежали к различным социальным слоям. Самого близкого из них звали Лепис. Его отец держал табачную лавочку на улице Архенсола. Другой, Хулиан, был сыном владельца угольного склада, расположенного на углу нашей улицы; Аграсор, судя по его дому, происходил, видимо, из семьи крупного буржуа и, наконец, четвертый - сын министра финансов Санта Мария.

Впятером мы составляли довольно дружную компанию. Местом наших сборищ были скамейки на площади Лас Салесас, излюбленное место нянек и кормилиц. Кто бы мог подумать, что одна из тех малюток, которых при нас кормили здоровые и элегантные кормилицы, через 26 лет станет моей женой!

По воскресеньям мы совершали дальние экскурсии на велосипедах и не раз доезжали до дворца Эль Пардо. Хорошо помню маленький поезд, который звали «машинкой», ходивший между типичным мадридским предместьем Бомбилья и Эль Пардо.

О тех месяцах, проведенных в Мадриде, у меня сохранились и более сильные впечатления, связанные со свадьбой короля и покушением на него анархиста Морраля. Обсуждение этой свадьбы в нашем доме началось задолго до празднования самого события: мужа моей сестры назначили адъютантом к одному русскому князю, приглашенному на церемонию бракосочетания. Чтобы посмотреть на свадебный кортеж, мы отправились в дом знакомого риохца, друга нашей семьи - Пио Эскудеро. Он служил заместителем директора «Банко де Эспанья» и жил на улице Фернанда VI, по которой должно было проходить свадебное шествие. Нам не удалось рассмотреть лиц молодых супругов, но мы увидели всю вереницу нарядных экипажей. Особенно меня поразили коляски с великолепно [27] украшенными лошадьми, изящные костюмы стремянных и свиты. Все свидетельствовало о расточительной роскоши. Нечто подобное я представлял себе по сказкам «Тысячи и одной ночи». Когда кортеж проследовал перед нашим балконом, кому-то пришла в голову мысль посмотреть на

него еще раз. Переулками мы добрались до улицы Майор, когда по ней уже проходила королевская свита. Вдруг мы услышали сильный взрыв и увидели множество людей, бежавших посреди улицы, не обращая внимания на солдат, загородивших путь и пытавшихся задержать их. Вскоре нам попался первый раненый. Все лицо его было залито кровью. Не знаю почему, но мы продолжали двигаться к месту взрыва, пока нас не остановили солдаты. В это время я увидел, как пронесли еще несколько раненых и убитых. Мои воспоминания об этих минутах довольно смутны, словно все происходило в кошмарном сне. Помню, мне с трудом удалось добраться домой, так как улицы вокруг места происшествия охрана перекрыла, движение было остановлено. Наконец меня пропустил один сержант, очевидно, решивший, что одиннадцатилетний мальчик не мог быть виновником покушения. Мать и сестру я застал в сильном волнении, вызванном фантастическими слухами, разнесшимися по Мадриду.

Виновник случившегося, анархист Морраль, снимал комнату с балконом на третьем этаже на улице Майор. Когда показалась королевская коляска, он бросил в нее бомбу, замаскированную в букете цветов. Немедленно последовал взрыв. Воспользовавшись паникой, Морраль бежал.

Я не помню ни деталей, ни причин, вызвавших приезд в Виторию трех господ из Сан-Себастьяна, решивших провести здесь испытания самолета своего изобретения - АМА. Название составлено из начальных букв фамилий этих инженеров - Амеска, Мухика и Аскона.

Для своих экспериментов они выбрали Кампо-дель-Акуа - поле в четырех километрах от Витории. С тех пор на протяжении многих лет оно являлось официальным аэродромом столицы провинции Алава. Это происшествие - а в то время испытание самолета несомненно было происшествием - оказало решающее влияние на мою жизнь и на жизнь моих друзей: Альфаро, Сириа и Арагона.

С того времени, как сансебастьянцы обосновались в Акуа, наша маленькая группа постоянно с любопытством следила за всеми подготовительными работами. Наш интерес к этим экспериментам был настолько велик, что, невзирая [28] на погоду и расстояние, в любое время - утром и вечером, - мы отправлялись на аэродром. Помню, я проводил по нескольку часов на поле, с нетерпением ожидая приезда кого-либо из трех владельцев аэроплана, чтобы не пропустить ни одного испытания.

Для запуска самолета сансебастьянцы построили наклонный скат с рельсами. Машина устанавливалась в его верхней части на маленькой тележке. По идее, самолет с запущенным мотором,

скользя по скату вместе с тележкой, должен был достигнуть на предельной скорости конца его, оторваться от тележки и взлететь. Однако этого ни разу не произошло.

Несмотря на столь скромные успехи, испытания АМА продолжались с удивительной настойчивостью. Наша группа была в курсе всех перипетий этих смелых экспериментов. И хотя нам так и не удалось увидеть полета АМА, то, что мы наблюдали и узнали, вызвало у нас огромный интерес к авиации. С тех пор мы загорелись мечтой стать летчиками. Прежнее стремление - поступить на службу в кавалерию - окончательно пропало: теперь меня влекла к себе только авиация.

Все мы испытывали нечто вроде сильной авиационной лихорадки, однако самым больным среди нас был, несомненно, Альфаро. Горя желанием как можно быстрее научиться летать, он убедил родителей позволить ему поехать на несколько месяцев во Францию для изучения конструкций самолетов. Эраклио Альфаро Фурниер, внук известного владельца фабрики игральных карт Эраклио Фурниера, прекрасный товарищ, которого любили и ценили друзья, был умным, пылким и необычайно упорным в достижении своих целей. Из Франции Эраклио прислал нам фотографии и чертежи маленьких планеров. По ним мы старательно строили модели.

Через три месяца Эраклио вернулся. Его страстная любовь к авиации стала еще сильнее. Уже в день своего приезда он встретился с нами и предложил Сириа, Хосе Арагону и мне построить большой планер, на котором мы смогли бы совершать планирующие полеты (в наше время их называют полетами без мотора). Эраклио привез чертежи, знал, как собрать детали, одним словом, постиг все тонкости предстоящей работы. Первое, что нам требовалось, - минимальная сумма денег на покупку дерева и других материалов. Семья Альфаро отдала в наше распоряжение сарай, где мы и основали мастерскую. После огромных усилий и жертв планер был наконец собран. Нам он казался великолепным. На нем наша тройка и [29] собиралась совершать свои подвиги. Подражая сансебастьянцам, мы окрестили планер начальными буквами наших фамилий - АСНА. Многим казалось, что мы хотели назвать свой планер НАСНА{9}, поэтому нам указывали на пропущенную букву «Н».

Постройкой планера руководил Эраклио. Значительную долю работы он проделал сам, часть выполнили рабочие с фабрики его отца.

Когда последние приготовления были закончены, не говоря никому ни слова, под утро, пока не рассвело, мы перенесли наш планер за город, на холм, вершина которого имела форму

площадки и поэтому называлась «ла сартен» {10}. За день до этого мы бросили жребий, кому лететь первому. Счастливцем оказался Сириа. С нетерпением ждали мы наступления дня. Наконец наш друг Рамон Сириа подлез под планер, застегнул ремни подвесной системы, а я и Арагон поддерживали аппарат за концы крыльев. Альфаро, руководивший операцией, дал сигнал к запуску. Мы втроем побежали с планером против ветра и, добежав до конца площадки, отпустили его. Сделав скачок, планер стал на дыбы, словно лошадь, затем накренился влево и упал на землю. Мы вытащили Сириа, который не мог пошевелиться, зажатый обломками нашей конструкции. Мысленно он уже распрощался с жизнью. К счастью, планер упал на крыло, оно сработало как амортизатор и ослабило удар. В итоге: поломана щиколотка, множество царапин и, конечно, испуг.

Первая неудача не обескуражила нас, не ослабила нашей страсти к авиации. Спустя несколько дней с той же энергией мы начали строить второй планер АСНА II.

Каждый новый успех авиации воодушевлял нас, мы воспринимали его словно наше личное дело. Помню, какое радостное волнение испытывали мы, когда Анри Фарман в 1908 году пролетел первый километр по замкнутому кругу или когда Блерио в 1909 году пересек Ла-Манш. Знаменитый полет Ведрикеса над Мадридом и приготовления к нему держали нас в напряжении в течение нескольких недель.

Эраклио Альфаро, добившись согласия своих родных, уехал в авиационную школу во Францию. Арагон, Сириа и я, [30] не имея таких богатых и сочувствующих нашим планам родителей, не видели другого пути стать летчиками, как поступить в одно из военных училищ. В то время, чтобы попасть в авиацию, требовалось прежде получить звание офицера какого-либо рода войск.

Свой путь в авиацию я начал с подготовительной школы для поступления в военное училище, расположенной у нас в Витории. Начальником ее был майор артиллерии Франсиско Рош. Наступил новый период в моей жизни, который мог плохо отразиться на моем характере и будущем.

Перейдя из колледжа Маристов в подготовительную школу Роша, я вырос в собственных глазах и в глазах окружающих, которые смотрели на меня уже как на взрослого.

Я очень легко приспособился к обычаям новых школьных товарищей, которые в большинстве своем были значительно старше меня.

Вместе с ними я часто посещал кафе и игорные дома, где

играл в карты и на бильярде. К удивлению друзей, я оказался сильным партнером - результат знаний и навыков, приобретенных в доме Католической молодежи под руководством студента-семинариста, приставленного ко мне матерью. Вскоре я осмелился играть со взрослыми и неизвестными мне людьми. До сих пор помню партию в кафе Суисо в компании с кучером из отеля Кантанилья, негром, танцевавшим «кек-бал» {11} в одном из кинотеатров, и артистом, объяснявшим публике содержание фильмов. Вначале те, кто был посовестливее, не хотели играть с таким младенцем, как я. Но большинство, рассчитывая на легкую победу, были рады заработать несколько не очень честных песет. Правда, стоило начать партию, как, почувствовав опытного противника, о моем возрасте забывали.

Будучи молодым, я, естественно, засматривался на девушек. Особые симпатии я испытывал тогда к одной необычайно жеманной модистке. Пока я вел себя как благовоспитанный юноша, она, несмотря на все мои старания, не обращала на меня никакого внимания. Однако, стоило мне ступить на сомнительный путь, девушка изменила ко мне отношение, и я даже стал ей нравиться. О таинственный женский род!

Так же как и взрослые, я пил кофе с ликером, доставлявшим мне все большее удовольствие, а когда находился при деньгах, курил большие сигары. Я становился своим человеком в игорных домах Витории. Мое присутствие там уже [31] никого не удивляло. Я настолько привык к этой среде, что все остальное для меня почти не существовало. Я перестал кататься на коньках и играть в футбол - два увлечения, без которых раньше не мыслил себе жизни. Прошла прежняя одержимость авиацией. Однако должен сказать, интерес к ней я сохранял всегда.

Занятия были полностью заброшены. Хотя я и пускался на хитрости и использовал все средства, чтобы обмануть преподавателей, они знали, какую жизнь я вел, и решили серьезно поговорить об этом с моей матерью. Мать, до которой уже начали доходить тревожные слухи, видимо, очень испугалась. Она спешно приняла меры, и спустя несколько дней меня определили в интернат военной подготовительной школы в Толедо, начальником которой был старый генерал карлист дон Сесарео Санс, товарищ и друг моего отца.

Все произошло так быстро, что, не успев опомниться, я оказался в купе поезда Ирун - Мадрид, очень расстроенный, едва сдерживая слезы. Больше всего меня волновала разлука с матерью. Впервые мы расставались с нею. Кроме того, я испытывал страшные угрызения совести из-за того, что доставил ей столько неприятностей. Она также не могла скрыть своего

беспокойства. Пытаясь поднять ее настроение, я искренне обещал хорошо вести себя и заверил, что четыре месяца разлуки пролетят незаметно.

На вокзале в Мадриде меня ждал брат Мигель. Я с трудом узнал его; на нем был фрак и цилиндр - вещи, которые я считал величайшей редкостью. Кроме того, я совершенно не ожидал увидеть его таким элегантным. Моя мать, взволнованная расставанием, забыла, что в этот субботний день в Мадриде проходил карнавал, а ночью в Королевском театре должен состояться знаменитый бал-маскарад. Наверное, моему брату не доставило особого удовольствия заниматься мною именно в такой вечер.

На мне был обычный костюм и берет, который я носил в Витории, но Мигелю он не понравился. Он нашел, что у меня деревенский вид. Мы сели в большую коляску, принадлежавшую клубу «Гран Пенья», которая отвезла нас в отель на улице Аренал, вблизи Пуэрта-дель-Соль, где мне отвели комнату. Брат, находившийся, как мне показалось, в дурном расположении духа, обещал приехать за мной на следующий день.

Воскресное утро прошло в ожидании Мигеля. После завтрака я спустился вниз, решив до его прихода посмотреть на шествие масок. Прошел день, наступила ночь, но брат [32] не появлялся. На следующий день, так и не дождавшись Мигеля, я отправился погулять по улице Алькала до бульвара Кастельяна. Все вокруг казалось мне праздничным и оживленным.

В отеле уже начали смотреть на меня с беспокойством, не понимая, что здесь может делать четырнадцатилетний мальчик один. Наконец во вторник вечером появился мой брат Фермин с кузеном Иньиго Мансо де Суньига, сыном графа Эрвиаса. Они были курсантами военного училища в Толедо и пришли забрать меня с собой. Очевидно, Мигель все же вспомнил, что сдал брата «на хранение» в отель, и передал им заботу обо мне.

Прибыв в Толедо, мы сели в старенькую коляску, запряженную очень тощими лошадьми, и, поднимаясь по бесконечному склону, добрались до Сокодовера. Затем узкими улочками доехали наконец до школы дона Сесарео Санс, стоявшей в тупике Пьерно де Пало. Дальше виднелся внушительный собор.

Дон Сесарео принял меня очень радушно и сказал, что я похож на отца, о котором он отозвался с большой теплотой. Затем представил своей жене, донье Кристете, которая отнеслась ко мне так трогательно, словно я был малым ребенком, нуждавшимся в присмотре. Наступил следующий период моей жизни, также не блестящий. Но на сей раз причина была не только во мне.

И в этой школе я оказался самым младшим по возрасту учеником, за что получил прозвище Эль пеке{12}. Вскоре уже никто не называл меня иначе. Неприятности начались с того, что моя кровать была единственной в дортуаре, не просматривавшейся из окна директора.

Буквально каждую ночь на ней устраивались карточные баталии, продолжавшиеся до рассвета.

Другой неприятной стороной моей жизни в этом училище было чрезмерное покровительство, оказываемое мне доном Сесарео и особенно доньей Кристетой, не имевшими своих сыновей. Вероятно, они считали, что меня, совсем еще мальчика, да к тому же не обладавшего хорошим здоровьем (я действительно имел бледный вид: игра в карты не давала мне спать целыми ночами подряд), не следует принуждать много заниматься. Я не мог устоять перед таким соблазном и не воспользоваться этим. Забыв обещания, данные матери, [33] я меньше всего думал об учебе и закончил курс с плачевными результатами.

Вернувшись в Виторию, я набрался мужества и рассказал матери всю правду. Она расстроилась и решила больше не посылать меня в Толедо. По ее настоянию для прохождения следующего курса учебы мне предстояло отправиться в мадридское училище, находившееся под началом майора кавалерии Антонио Ревора. Он пользовался репутацией сурового воспитателя, умевшего обуздать самых непослушных мальчишек. Я не сопротивлялся, видя, что время проходит, а мои возможности поступить в военное училище не увеличиваются. Два моих лучших друга - Сириа и Арагон - уже стали кадетами, и мне было стыдно перед ними. Я дал себе слово взяться за ум.

Училище Ревора занимало старый, большой и нескладный дом на углу улиц Фуэнкоррал и Орталеса. Я сразу почувствовал, что оно совершенно не похоже на те учебные заведения, которые я знал до сих пор. Жесткие правила, установленные здесь, проводились в жизнь, невзирая ни на что: они были тяжелы для тех, кто не хотел заниматься, и вполне терпимы для прилежных учеников. Ежедневно преподаватели проверяли знания каждого ученика, избежать этого контроля не было никакой возможности. Выполнять столь строгие правила мне помогало сознание того, что у меня остались только две возможности: или успешно закончить учебу, или стать бездельником.

Первая неделя в училище оказалась самой трудной. Чтобы выполнить все задаваемые нам уроки, пришлось упорно заниматься. Редко удавалось ложиться спать раньше двух или трех часов ночи. Зато в конце недели те, кто не имел плохих

отметок, вознаграждались за свое трудолюбие: им предоставлялась полная свобода с двух часов дня в субботу и на целое воскресенье.

Со мной в комнате жили еще два подростка. Один из них, Эухенио Боателья, севилец, сирота, имевший опекуна-священника, располагал значительным состоянием. Он обладал умом и всеми качествами настоящего андалузца, за исключением внешности: у него были светлые волосы и розовая кожа, как у англичанина. Боателья любил развлечения, имел много подружек и жил, не зная забот. Он был только на два года старше меня, но выглядел значительно взрослее. Уверенность, с какой Боателья вводил нас в ранее недоступный, а потому необычайно привлекательный мир, внушала к нему уважение. [34]

По субботам мы посещали театр.

Боателья любил ходить в Аполо, на четвертый сеанс, начинавшийся в двенадцать часов ночи. В то время там выступали актрисы Мария Палау, Маиендия и Монкайо. Иногда мы проводили ночь в каком-нибудь небольшом театре-варьете. Предпочтение отдавали тем, где артистки выходили на сцену в наиболее открытых платьях; нам особенно нравилась Челита, исполнявшая номер «Ищу блоху», очень модный тогда.

Другой мой товарищ по комнате приехал из Бадахоса. Его отец занимался разведением знаменитых альбарранских быков. Они получили свое название по фамилии этой семьи - Альбарран. Он был хорошим парнем, добрым другом и буквально помешан на всем, что относилось к быкам. Поэтому в нашей комнате в основном говорили о быках и авиации. Спустя некоторое время я заразился его любовью к этим животным, а Луис Альбарран стал интересоваться авиацией.

На протяжении всего сезона боя быков мы не пропускали ни одной корриды. Первыми матадорами{13} в то время слыли Фуэнтес, Эль Гальо, Пастор, Мачако и Бомбита. Затем появились Хоселито и Бельмонте. В нашей комнате в училище Луис Альбарран дал мне первый урок корриды. Закончив его, он сказал, что для баска я не так уж плох. Луис любил рассказывать, как выращивают быков. Раньше я не имел никакого представления о сложности этого дела. Помню, как нервничал мой товарищ, когда в Мадриде объявлялась коррида с участием альбарранских быков. С его братом и старшими пастухами мы ходили смотреть, как выгружают быков из вагонов и распределяют между матадорами. Для меня все это было ново. Я заражался серьезностью и ответственностью, с какими Альбарраны производили подготовительные операции. В день корриды братья Альбарран и старшие пастухи всегда очень

волновались. Я никогда раньше не думал, что громадное количество людей может переживать настоящую драму, если бык поведет себя недостаточно храбро и к нему применяют огненные бандерильи{14}. В тот день из шести быков пять оказались храбрыми. К одному, не желавшему приближаться к пикадорам{15}, пришлось применить огненные бандерильи. [35] Это обстоятельство Альбарраны и старшие пастухи восприняли как самое большое несчастье. Я старался успокоить их, напомнив о блестящих качествах остальных быков, но на них ничего не действовало. Они винили председателя корриды, который якобы применил огненные бандерильи раньше времени, возмущались участниками корриды и пикадорами, по их мнению, ничего не сделавшими для спасения быка. Одним словом, они были в отчаянии и считали виновными всех, кроме быка.

Мы отправились на почту, чтобы телеграфировать родственникам Альбарранов о результатах боя. Братья не спеша, тщательно обдумывали каждое слово. Дело оказалось сложным. Необходимо было сообщить, что к одному из быков применили огненные бандерильи, но этого-то им как раз и не хотелось. Они подыскивали выражения, чтобы помягче передать страшную новость, способную вызвать замешательство не только в их семье и у служащих фермы, но и у жителей окрестных деревень и даже в самом Бадахосе.

В то время в Мадрид прибыл французский авиатор, демонстрировавший полеты на аэродроме вблизи Сиудад Линеаль. Ранним воскресным утром с понятным волнением мы приехали на аэродром. Он представлял собой луг. Часть его была отгорожена веревкой, за которой находились платные места для публики и самолет. После бесчисленных проб и неудачных попыток к вечеру самолет наконец поднялся в воздух. Он сделал низко над полем два небольших круга и благополучно совершил посадку. Через некоторое время самолет вновь взлетел и, набрав высоту, взял курс на Мадрид. Продолжая оставаться в поле нашего зрения, он сделал довольно большой круг и вернулся на аэродром. Первый полет длился пять минут, второй - двадцать.

Впервые в жизни я видел аэроплан в воздухе. Страсть к авиации, немного утихшая в связи с учебой и новизной мадридской жизни, вспыхнула с новой силой. Это положительно сказалось на моей учебе, за которую я принялся с удвоенной энергией.

Хотя жизнь в училище Ревора была не сладкой, я вспоминаю то время с чувством благодарности. Мадрид оказался великолепной школой жизни, раскрывшей неизвестные мне дотоле стороны ее.

Возможно, некоторые из полученных тогда мною уроков были жестокими, порой даже слишком, но в конечном итоге и они пошли на пользу. Мы не теряли времени даром, стремясь [36] постичь как можно больше. Каждый день приносил что-то новое. Этому способствовала среда, в которой мы жили, и естественное любопытство, свойственное нашему возрасту. В Витории или в каком-либо другом тихом месте потребовались бы долгие годы, чтобы узнать то, чему научил меня Мадрид.

Не все воспоминания, разумеется, радостны. Не раз мы оказывались лицом к лицу с фактами, вызывавшими уныние, горечь или просто недовольство. Помню, например, впечатление, произведенное на меня известием, что некоторые товарищи по школе оказались физически неполноценными из-за неприятных болезней. Больше всего удивило меня их поведение. Они не

только не стыдились или, по меньшей мере, огорчались, но даже гордились своими болезнями, полагая, что это поднимает их мужское достоинство.

И еще я никак не мог привыкнуть к бедности, с которой встречался на улицах Мадрида. Хотя, вообще говоря, испанцев, постоянно сталкивающихся с социальным неравенством, нищетой не удивишь. Я очень хорошо помню возникавшее во мне чувство досады, смешанное со стыдом, как будто я нес некоторую долю ответственности за существующее положение. Как тяжело бывало на душе, когда холодной зимней ночью, возвращаясь домой с веселого праздника, я замечал бедного старика, спящего на крыльце у дверей, или нищую женщину с ребенком. Возможно, мое восприятие было особенно болезненным потому, что в Витории я ничего подобного не видел. Там редко можно было встретить бедняка, просящего на улице милостыню, или человека, спящего на пороге дома в холод и снег. Сталкиваясь с подобными явлениями, мой обычный оптимизм и радостное настроение, возникшее после приятно проведенного вечера, мгновенно исчезали. Я испытывал чуть ли не физическую боль, которая на длительное время выбивала меня из привычной колеи.

Наконец прилежные занятия у Ревора дали свои плоды: с хорошими отметками меня приняли в военно-интендантское училище в Авила, хотя, по правде говоря, мне следовало бы, учитывая мою любовь к лошадям, поступить в кавалерийское училище. Но теперь это уже не имело значения. Главное - сдать экзамен на звание офицера и как можно скорей получить возможность стать летчиком. [37]

В армии

С вступлением в армию начался следующий этап моей жизни. Я стал «кабальеро-кадете», как официально называли слушателей военных училищ.

Пока еще я не отдавал себе отчета в том, что у меня начал складываться определенный образ мыслей, позволивший без особых усилий приспособиться к военным обычаям и обстановке. Этот склад мыслей, так необходимый для военных, не создается вдруг, в первый же день вступления в армию. Для меня он явился результатом жизни в военной среде и в училищах. Его понемногу и незаметно вдалбливали в нас.

Логично думать, что человек, впервые надевший военную форму, выйдя на улицу, чувствует себя стесненно и не знает, как носить саблю и куда девать руки. Может быть! Со мной, однако, ничего подобного не случилось. Я чувствовал себя вполне естественно, сознавал возложенную на меня ответственность и

даже испытывал удовольствие, так как дома говорили, что военная форма хорошо сидит на мне. Уже в этом возрасте мое тщеславие начало проявляться довольно определенно. Особенно радовался я получению настоящего кавалерийского снаряжения. Хорошо помню, как впервые натягивал брюки для верховой езды, высокие сапоги и пристегивал шпоры.

Учебный год в военных училищах начинался первого сентября. За два дня до начала занятий я сел в Витории в мадридский экспресс, где уже ехало несколько кадетов, тоже направлявшихся в свои училища. Вскоре в вагоне разгорелась азартная карточная игра, делались довольно крупные ставки: все мы имели при себе деньги, которыми нас снабдили дома. Не следует удивляться, что я так часто упоминаю о карточной игре. В те времена Испания представляла собой как бы огромный игорный дом: играли в казино, в отелях, кафе, тавернах - везде, где только возможно. Вряд ли нашлась бы хоть одна деревушка, в которой не было своего игорного притона. Для наглядности приведу такой пример. В 1911 году мы отправились на праздник в Нахера - городишко вблизи Каниньяса, имевший менее двух тысяч жителей. Там мы насчитали девять игорных домов, но, наверное, их было больше. Игра в карты и ее последствия так или иначе оказывали влияние почти на все стороны испанской жизни.

Результат нашей игры в поезде был таков: кадеты кавалерийского училища, ехавшие в Вальядолид, остались [38] без копейки и расстались с нами в плохом настроении. Те же, кто ехал в Сеговию, попрощались очень довольные, ибо удвоили свои капиталы.

На этой станции я познакомился с первыми кадетами из моего училища - братьями Каскон. Младший, Маноло, был новичком, как и я. Внешне братья очень походили друг на друга. Небольшого роста, но сильные, с приятными лицами, они сразу же вызвали у меня симпатию. Хотя Маноло Каскон и я обладали совершенно различными характерами, на протяжении почти тридцати лет мы шли одной дорогой и нас связывала поистине братская дружба.

Училище не имело интерната. Кадеты жили в меблированных комнатах, платя обычно две с половиной или три песеты в день за полное содержание, включая картофельный омлет на завтрак, который нам приносили в одиннадцать часов к училищу служанки из пансионатов.

Я поселился в доме скромного служащего министерства финансов, обремененного семьей и вынужденного поэтому держать квартирантов. Звали его Алтолагирре. Он был славным человеком, но дом его производил тяжелое впечатление: всюду

грязь, а пища - хуже, чем где-либо в Авила. С ужасом вспоминаю семейные обеды в обществе чумазых детишек, которые никогда не могли утолить своего голода. Я прожил там полтора месяца, так как мне было жаль покинуть их. Однако моему терпению пришел конец, и я переселился в другой пансион, где жили четыре веселых и симпатичных кадета.

Занятия в училище начинались с половины восьмого и кончались в половине второго. В дни строевой подготовки или практики - с половины третьего и до половины шестого вечера. Вторая часть дня отводилась для индивидуальных занятий и приготовления уроков. Учебный план был довольно напряженным, поэтому приходилось тратить по нескольку часов сверх отведенного времени, чтобы выполнить все задания.

Курс я начал хорошо. Во второй половине дня отправлялся заниматься к Маноло Каскон. Его дом мне нравился больше, нежели мой, и там нас не беспокоили насмешками старшие кадеты.

Период пребывания в новичках продолжался до принятия присяги знамени, проводившейся обычно в октябре. После этого с новичками обращались уже как с равными, называли на «ты» и переставали издеваться. Я всегда был против насмешек [39] над новенькими, некоторые же считали, что они играют положительную воспитательную роль. Но я не разделял этого мнения. В Авила насмешки не были ни унизительными, ни оскорбительными. Они были просто глупыми. Помню, однажды новичка кадета одели, как новорожденного, положили в корзину для подкидышей у ворот монастыря и, позвонив в колокольчик, разбежались. Монахиня приняла корзину, думая, что в ней очередной младенец. Участники этой проделки потом рассказывали, какими стали лица у монашек и как они кричали, увидев вместо грудного ребенка почти голого кадета{16}.

После принятия присяги и переселения из дома Алтолагирре я почувствовал себя счастливым. Мои товарищи прекрасно знали все заведения в Авила, где можно было хорошо провести время. Одним из них было казино, где меня представили девушкам из «хорошего общества». На так называемых танцевальных вечерах я познакомился с веселыми молоденькими модистками и служанками. Ходить на эти вечера приходилось тайно от наших педагогов, переодевшись в штатское платье, так как кадетам категорически запрещалось бывать в подобных местах. Очевидно, командование считало оскорбительным для престижа военных общение с простым народом. Нередко я посещал пансионы, где можно было развлечься карточной игрой. Иногда с компанией отправлялся пешком в окрестные деревенские харчевни. Одним

словом, мы вели довольно веселую жизнь, которой отдавали все вечера и часть ночи, времени же заниматься, конечно, не хватало.

Последствия не заставили себя ждать. Наступила пора экзаменов, а с ними - и катастрофа. Преподаватели не собирались с нами шутить. За неудовлетворительные ответы воздавали по заслугам. Из 112 кадетов на второй год осталось 38. Хотя я предчувствовал провал и оказался не единственным в таком положении, неудача необычайно расстроила меня. Желая показать, что у меня сильный характер, я пытался скрыть свои переживания от товарищей, но эти усилия довели меня до нервного истощения. В общем результаты экзаменов нужно признать справедливыми: я получил максимальную оценку [40] по верховой езде и фехтованию, хорошие отметки по рисованию и курсу военного транспорта - единственным дисциплинам, по которым занимался. Остальные предметы я завалил, превратившись, короче говоря, во второгодника.

Я был очень недоволен собой. Авиация снова отдалялась от меня. Однако полученный урок не прошел даром: я сделал необходимые выводы.

С начала нового учебного года я уделял занятиям должное внимание, правда, не отказывался и от развлечений.

В то время как меня преследовали неудачи, мои друзья из Витории добились больших успехов. Эраклио Альфаро получил наконец во Франции звание летчика. Он построил самолет и осуществил мечту своей жизни: летал на празднике в Витории. Хорошо помню его полет над ареной для боя быков в день корриды и овации, которыми приветствовала Альфаро публика, узнав знакомые инициалы на крыльях самолета.

Хосе Арагон учился на третьем курсе военного училища в Гвадалахаре. У него уже начал проявляться решительный и твердый характер. Чтобы поскорее получить звание летчика, он убегал после занятий в авиационную школу, организованную в Хетафе двумя испанскими авиаторами. Там же Хосе проводил и свои каникулы. Его инструктором был один из основателей школы инженер Хулио Адаро.

Когда представлялась возможность, я всегда сопровождал Хосе на аэродром и оставался там до конца полетов. Однажды Адаро, у которого были какие-то дела с военными летчиками с аэродрома «Куатро виентос» {17}, собрался лететь туда и захватил меня с собой в качестве пассажира. Это был первый полет в моей жизни. Чувство, испытанное мною тогда, я никогда не забуду. Мы совершили посадку в «Куатро виентос» и вновь самолетом вернулись в Хетафе. Кажется, это произошло в начале 1913 года.

С большой теплотой вспоминаю годы, проведенные в училище Авила. Мои товарищи были в общем хорошими людьми, очень простыми, здоровыми телом и духом. К большинству из них я относился с симпатией, а к некоторым питал истинную любовь. Думается, они отвечали мне тем же. От друзей я не раз слышал, что в Авила хорошо отзываются обо мне. Полагаю, это было правдой.

Среди моих товарищей по училищу оказалось несколько человек, так же как и я, влюбленных в авиацию. Мы выписывали [41] журналы и книги, в которых рассказывалось о самолетах и моторах. И хотя нашим изучением авиации никто не руководил и делали мы это без всякой системы, интерес к ней позволял нам всегда быть в курсе того, что происходило в мире в этой области.

Только в Испании мог быть город, подобный Авила, с такими чудесными памятниками и так мало известный. К своему стыду, да и к стыду наших воспитателей, должен признаться, что на протяжении четырех лет, проведенных в Авила, у нас никогда не возникало мысли (и никто не подсказал ее нам) ознакомиться с его художественными ценностями. Как часто проходили мы мимо великолепных дворцов, соборов, церквей, совершенно не обращая на них внимания. В кафедральном соборе или старинных романских церквах мы бывали только во время церемоний, на которых присутствовали девушки. Лишь спустя шесть лет я вернулся в Авила со своими просвещенными друзьями, чтобы полюбоваться его достопримечательностями.

За время пребывания в Авила я значительно окреп физически. Прекрасный климат (город расположен на высоте тысячи метров над уровнем моря, большое количество солнечных дней), занятия спортом, дальние экскурсии, частое пребывание на воздухе сделали меня сильным и выносливым. Я стал крепок как дуб, обладал прекрасным здоровьем, позволившим мне позже стойко противостоять невзгодам, встретившимся на моем жизненном пути.

Трудно объяснить, почему в Авила, замечательном уголке Испании с его чудесными природными условиями, расположенном всего в ста километрах от Мадрида, не строили лечебниц, отелей средней категории или пансионов. Правда, в восьми километрах от города стояло старое здание, называемое лечебницей. Но из-за отсутствия удобств и внимания к больным туда никто не приезжал.

В Авила не было водопровода. Воду брали из немногочисленных источников, расположенных в черте города. Власть в нем принадлежала нескольким семьям аристократов, владевшим великолепными старинными домами и почти всей

землей в этой провинции. Они жили в Мадриде и приезжали в Авила только на летний сезон для охоты в своих заповедниках. (Я присутствовал на одной из них, будучи приглашен сыном маркиза Пеньяфуэнте, моим товарищем по военному училищу. Тогда я впервые в моей жизни участвовал в большой охоте. По сравнению с ней охота, которую мы организовывали [42] в Сидамоне, выглядела детской игрой.) Эти люди не испытывали недостатка в воде. У них было много прислуги, и каждый раз, когда господам приходило в голову искупаться, они отдавали приказание, и ванны наполняли таким количеством воды, какое требовалось. Пользуясь безысходной нуждой крестьян, они безжалостно эксплуатировали бедняков. В то время служанке платили семь или восемь песет в месяц.

Как только мы окончили училище и получили звание офицеров, все члены группы «любителей воздуха» подали ходатайство о приеме в военную авиацию. А пока не пришел ответ, мне надлежало отправиться по назначению в интендантскую команду войск в Севилье. Там я провел несколько месяцев, обучая рекрутов и многочисленных квотас{18}, полагавших, что в случае войны служить в интендантстве легче и безопаснее. Большинство квотас были севильскими барчуками или сынками кулаков из провинции. Было среди них и несколько тореро. Военные занятия проводились вблизи нашей казармы в поле, где всегда стояло множество колясок с родственниками, невестами и друзьями квотас. Приезжали сюда и поклонники тореро, чтобы увидеть, как их любимцы печатают шаг, и поболтать с ними в перерывах.

С наступлением весны меня командировали в Кордову в комиссию Ремонты{19}, чтобы закупить и подготовить лошадей для армии. Весь сезон я провел на ферме вблизи Утреры, где объезжали диких лошадей. Там я чувствовал себя в своей стихии, целыми днями ездил верхом и был бы совершенно счастлив, если бы не наталкивался на каждом шагу на нечеловеческие условия жизни окрестных крестьян.

Со мной вместе служил лейтенант Веласко из Сан-Себастьяна. Вдвоем мы нередко совершали дальние поездки верхом, во время которых знакомились с местностью и людьми. Однажды утром вскоре после приезда на ферму мы с Веласко отправились на прогулку, и я, восхищаясь чудесными андалузскими видами, шутя заметил своему спутнику, тоже баску: если есть рай, то он находится здесь, а не в нашей баскской провинции с ее немного грустным небом и почти постоянным дождем.

- Когда лучше узнаешь эту землю, - ответил он, - видишь, что

не для всех она рай. [43]

И действительно, очень скоро я убедился в правоте его слов. Повсюду нам попадались бедные крестьянские хижины, в которых взрослые и дети спали на мешках с соломой прямо в одежде. Раз в неделю крестьяне приходили в Утреру или в имение хозяина и выпрашивали «менестра», то есть немного продуктов на похлебку из фасоли или картофеля с небольшим количеством жира. Но основной их пищей был хлеб с асейте{20}. Я не думаю, чтобы рабы жили хуже, чем поденщики в поместьях Кордовы. У наших арендаторов в Канильясе или батраков в Сидамоне жизнь тоже была не сладкой, но по сравнению с андалузскими крестьянами их можно считать богачами.

В Утрере мы жили в скромном, но приятном своей чистотой пансионе. Содержала его худенькая, симпатичная и очень энергичная старушка. Ее одежда всегда казалась только что выстиранной и выглаженной. Ей помогали две молодые племянницы, весьма миловидные, с цветами в волосах, одетые в простые платья и очень веселые. Их лица становились серьезными, лишь когда они выходили на улицу. Кроме нас в пансионе жили еще два постояльца - скромные конторщики. Один работал на железнодорожной станции, другой - в каком-то государственном учреждении. Тот, что работал на станции, был самым печальным человеком, которого я когда-либо встречал в жизни. Он выглядел так, словно у него только что умер кто-то из близких. В таком веселом доме его уныние как-то особенно бросалось в глаза. Он выходил из дому только для того, чтобы пойти на службу. Мне всегда казалось, что этот человек платонически влюблен в одну из племянниц хозяйки. Кстати, девушка довольно остроумно высмеивала его при каждом удобном случае. Другой - дон Рафаэль - был мадридцем. В свое время у него имелись деньги, но, как мне под большим секретом рассказал его невеселый товарищ, он проиграл их в карты. Когда дон Рафаэль остался без единой копейки, родственники, очевидно пользовавшиеся здесь каким-то влиянием, устроили его на службу. Этот человек питал удивительное пренебрежение к людям Утреры. Думаю, Веласко и я были единственными, кто хоть что-то стоил в его глазах. Все свободное время он проводил в казино. Получая скромное жалованье, дон Рафаэль постоянно испытывал нужду в деньгах, но все удары судьбы переносил с достоинством, а поэтому позволял себе обо всех говорить плохо. [44]

Хотя Утрера считалась одним из самых богатых городов Андалузии, жизнь в ней протекала по-деревенски скучно. В полуразвалившемся театре с десятью большими ложами дважды в

год опереточная труппа давала представления. Ложи абонировались семьями высшего утрерского общества. Зимой их слуги приносили туда жаровни, называемые «ла копа» - бокал. Подобное мне приходилось видеть впервые. Я обратил внимание, что во всех ложах разная, но довольно роскошная мебель. Оказывается, она являлась собственностью абонирующих. Эти спектакли и несколько сеансов кино были единственными развлечениями утрерцев. Мужчины, кроме частых и тайных отлучек в Севилью, посещали казино, где имелся зал для игры в карты и салон - смесь кафе, кабаре и публичного дома, - пользовавшиеся большой популярностью.

В казино мы познакомились с группой молодых людей нашего возраста. Почти все они были детьми богатых землевладельцев и, по их словам, работали у себя в поместьях. Условия жизни этой молодежи были примерно одинаковые: хорошие дома, многочисленная прислуга, прекрасный стол и одежда, сшитая в Севилье. Мы довольно часто встречались, болтая всегда об одном и том же: о лошадях, бое быков и женщинах. Обычно, когда Веласко и я возвращались с утренней верховой прогулки, они уже сидели в казино, устроившись в креслах со стаканом вина в руках, и, поглядывая на улицу, отпускали замечания по адресу редко проходивших женщин, имевших неосторожность попасть им на язык.

Говорили они мало, почти всегда короткими фразами-афоризмами. Вначале мы приняли их за серьезных людей. Время от времени кто-нибудь из них приезжал из своего имения в рабочем костюме (самом изящном из всех когда-либо виденных мною), с самодовольным видом произносил две-три фразы о земледельческих работах или о скоте и застывал с задумчивым видом человека, обремененного заботами.

Общим у нас с ними было пристрастие к лошадям. Они возили нас в свои поместья, показывали стада и табуны, а мы имели возможность познакомиться с андалузскими барчуками, поразившими нас своими нравами и образом мыслей. Эти молодые люди никогда не работали, хотя официально считалось, что они управляют хозяйством своих поместий. В действительности же всеми их делами занимались управляющие или надсмотрщики, хорошо разбиравшиеся в сельском хозяйстве. У себя в усадьбах барчуки появлялись редко, только для [45] развлечений - охоты с борзыми, например, или если приглянулась дочь какого-нибудь арендатора. С женщинами, работавшими у них, они вели себя, как феодалы, пользуясь даже правом первой ночи.

Нас приводило в изумление полное пренебрежение этих

молодых господ к культуре и абсолютное отсутствие ее у них. Рядом с ними мы с Веласко, сами не обладавшие большими знаниями (еще в Авила в письмах к девушке, которую звали Энрикетта, я писал ее имя через два «р» {21}), могли показаться образованнейшими людьми.

Нас удивляла их манера обращения с людьми из народа: официантами казино, уличными торговцами, домашней прислугой. Они оскорбляли их бранью, чего мы никогда не видели у себя в Витории. Там ни одному сеньору не пришла бы в голову мысль потребовать от официанта привести женщину, словно речь идет о чашке кофе. Андалузские барчуки чувствовали себя настолько всесильными господами, что считали вполне естественным, чтобы человек ниже их по положению выполнял все их желания.

Если бы подобная мысль и пришла в голову какому-либо сеньору в Витории или Ла-Риохе, звук пощечины, полученной им от официанта, был бы слышен во всем городе.

Эти молодые люди громогласно рассказывали о своих любовных похождениях, проявляя абсолютное отсутствие уважения к женщине. Победы не доставляли им удовольствия, если не становились известны друзьям. Однажды, когда один из них поведал мне весьма грязную историю о нашей общей знакомой, я, страшно возмутившись и желая уязвить его, спросил: что, если бы другие мужчины рассказали подобное о его сестре. Реакция была достойной этого молодчика: совершенно спокойно и не думая обижаться - настолько мой вопрос показался ему бессмысленным, - он ответил: его сестра - это другое дело. Он был уверен, что женщины его семьи сделаны, как говорится, из другого теста.

Помещики из Витории и Ла-Риохи были трудолюбивее, значительно демократичнее, образованнее утрерских и с уважением относились к женщине. В Витории сыновья состоятельных родителей в обращении с деревенскими парнями никогда не показывали своего превосходства и не претендовали на особые права только потому, что они из богатой семьи. Если [46] кто-то и пользовался привилегиями, то добивался их ловкостью, смелостью или другими личными качествами. Должен сказать, что те из андалузских барчуков, кто не уезжал из Утреры, на всю жизнь оставались неучами, бездельниками и были несчастьем для семьи.

Мне пришлось покинуть Утреру, так как начался сезон закупки лошадей и меня назначили казначеем в одну из закупочных комиссий, которая состояла из начальника, ветеринара и контролера. Эти комиссии руководствовались

правилами, составленными в те времена, когда еще не было ни железных дорог, ни автомобилей, ни банков. Вероятно, министр считал эти три достижения современной цивилизации дьявольскими изобретениями, поэтому нам категорически запрещалось прибегать к их помощи.

Прибыв в Кордову, первое, что я сделал, - представился в Ремонте. Там я познакомился с моим начальником капитаном Эрнандесом Пинсоном, потомком знаменитых мореплавателей, водивших каравеллы Колумба. Капитан показался мне симпатичным, очень уверенным в себе человеком, но бесцеремонным. Товарищ моего брата Мигеля по военному училищу, он немедленно взял меня под свое покровительство, пригласил поужинать и обещал ознакомить с достопримечательностями Кордовы. В шесть часов вечера, зайдя за мной, он сообщил, что покажет самое интересное место в этом городе. Я полагал, что мы отправимся в мечеть, но, к моему удивлению, Пинсон повез меня в клуб Геррита. Там я был представлен великому калифу тореадоров, с которым, как мне показалось, Пинсон поддерживал довольно дружеские отношения. Не знаю почему, но капитан назвал меня виконтом Суньига. Поскольку я не являлся виконтом и был очень доволен собственной фамилией, мне столь странное поведение Пинсона не очень понравилось. Но кому было до этого дело! Мы выпили по нескольку стаканчиков вина и отправились ужинать в «кольмадо» {22}, где царило веселое оживление. Все искренне приветствовали моего провожатого. После ужина в сопровождении двух красивых и приятных подружек Пинсона мы отправились в знаменитые кордовские таверны - места попоек молодых аристократов. И там мой капитан оказался очень популярен. Наша группа сейчас же присоединилась к компании его друзей, и начался обычный кутеж: много вина, фламенко{23} [47] и женщины. Не обошлось и без перебранки, в которой мой новый начальник, не без успеха, проявил себя миротворцем.

На следующий день я отправился к начальнику бухгалтерии Ремонты, который так же просто, как дают сигареты, вручил мне 150 тысяч песет тысячными банкнотами. Единственное, о чем он меня предупредил, - категорически запрещено помещать эти деньги в банк. Получив такую сумму, я растерялся и не знал, что делать. Должно быть, у меня был вид совершенно растерявшегося человека, ибо комендант, посочувствовав мне, снабдил меня чем-то вроде дамского бюстгалтера для довольно полной женщины. Он объяснил, что, если положить туда деньги, предварительно разделив их на две части по 15 тысяч дуро{24}, и затем надеть на себя, - это лучший способ сохранить их. Но для меня такая

операция представлялась слишком сложной!

Наша комиссия получила приказ немедленно отправиться в Лос Барриос - деревню вблизи Гибралтара, откуда предполагалось начать поездку по провинции Кадис. Эрнандес Пинсон решил не придерживаться указаний всем вместе ехать из Кордовы в Гибралтар. Он распустил нас, назначив местом встречи один из постоялых дворов Лос Барриос, где нам надлежало собраться через двенадцать дней. Волнуясь за 30 тысяч казенных дуро, я подумал, что мне не следует оставаться одному, и отправился в Мадрид, где в то время жила моя мать.

Через несколько дней я покинул столицу и прибыл на железнодорожную станцию, откуда предстояло добираться до Лос Барриос. Я оказался единственным путешественником, остановившимся в этом захолустье, где не нашлось даже экипажа, чтобы доехать до деревни, находившейся всего в пяти километрах. Это расстояние мне предстояло покрыть пешком в темную ночь, через пограничную зону, кишащую контрабандистами и авантюристами. Все они знали о моем приезде от заранее предупрежденных продавцов лошадей. Кроме того, форма Ремонты достаточно красноречиво свидетельствовала, кто я. Помню, какими длинными показались мне эти пять километров, проделанные с пистолетом в руке! Я приготовился стрелять в первого, кто приблизится ко мне: в то время завладеть 30000 дуро было настоящей удачей.

На следующий день мы начали закупку лошадей на фермах, принадлежавших двум братьям Гальярдо. На этих [48] и остальных скотоводческих фермах в основном разводили боевых быков. Оба брата, симпатичные, настоящие андалузцы, прекрасно знали свое дело. Они дружили с Пинсоном, и, когда наша группа закончила работу, ветеринар и контролер отправились в Тарифу, а мы приняли приглашение погостить в поместье.

Там мы провели три прекрасных дня. Меня очень удивили и заинтересовали методы выращивания боевых быков. На ферме Гальярдов я впервые в жизни попробовал свои способности тореро. Встав перед молодым бычком, я пытался применить на практике уроки, полученные от Альбаррана в нашей комнате училища Ревора. Братья Гальярдо любили дразнить быков и делали это очень искусно. Им понравился энтузиазм и решимость, с какими я пытался вызвать ярость быка, несмотря на то, что бык уже несколько раз опрокидывал меня на землю. Мне преподали первую азбуку боя быков. Поскольку я был высоким, ловким и достаточно сильным, то быстро усвоил эти уроки.

Все шло хорошо до последнего вечера, который оставил у меня тягостное впечатление. Мы возвращались ночью с прогулки

верхом, когда прожектор с Гибралтара осветил нас. Немедленно зажглись еще несколько прожекторов и стали преследовать нашу кавалькаду. Они оставили нас только вблизи дома. Некоторые лошади, испугавшись, вставали на дыбы или пускались галопом. Я возмутился и гневно заявил, что наступило время навсегда прогнать англичан с нашей земли. К моему большому удивлению, один из Гальярдов весьма пылко стал защищать их, говоря, что уход англичан был бы несчастьем: тысячи испанцев существуют благодаря им. Другой брат, управляющий, и два старших пастуха, сопровождавшие нас, думали так же. Моему удивлению и негодованию не было предела. Услышанное вызвало во мне неприязненное чувство, но я не хотел спорить с людьми, оказавшими нам гостеприимство. В то же время они могли расценить мое молчание как согласие с их мнением. Поэтому, выбирая выражения помягче, я сказал: будь моя воля, даже под угрозой голодной смерти, я все равно выбросил бы их из Испании. Позже мне представился случай удостовериться, что большинство жителей этой зоны, подобно Гальярдам, считало, что им выпала необычайная удача - зарабатывать деньги на поставках мяса Гибралтару и приходящим в порт кораблям.

Мы продолжали закупки в наиболее крупных деревнях и на скотоводческих фермах провинции Кадис. Несколько дней [49] наша группа провела в имении маркиза Тамарон, где я с большим удовольствием и весьма успешно совершенствовался в искусстве тавромахии{25}.

Помню мое изумление, когда я увидел в Тарифе - одной из деревень - женщин с закрытыми, как у марокканок, лицами. Тарифа, живописно расположенная между Средиземным морем и Атлантическим океаном, всего в 14 километрах от африканского берега, хорошо видимого отсюда, и похожая на арабскую деревню, оставила у меня сильное впечатление.

Свою работу мы закончили на ярмарке в Севилье, которую я не буду пытаться описывать. По своей красоте и колориту она является единственной в мире.

После выполнения задания Ремонты я опять получил назначение в Севилью, где встретил моих лучших друзей по училищу: Маноло Каскона, Фернандо Сабио и Энрике Мико. Первый, как всегда серьезный и аккуратный, все свое свободное время отдавал верховой езде и боксу; Сабио и Мико подружились с жизнерадостными симпатичными севильцами и весело развлекались, даже слишком весело. Я охотно присоединился к ним.

Севилья показалась мне восхитительной. Мы жили совершенно бездумно, заботясь только о том, как лучше провести

время. Нам было по двадцать два года. Сильные, веселые, здоровые духом, полные энергии, которую не знали, куда девать, мы повсюду встречали лишь доброжелательное отношение и с легкостью предавались всему, что нам нравилось и доставляло удовольствие.

Я поселился вместе с Фернандо Сабио в центре квартала Санта-Крус, в большом старинном и нескладном доме Лос Абадес, превращенном в пансионат. Он считался солидным заведением. Здесь постоянно жили некоторые весьма состоятельные семьи. Но особую респектабельность пансиону придавал декан севильского Кафедрального собора дон Лусиано Ривас - брат известного политика Наталио. У меня с ним сложились довольно дружеские отношения. Он питал к нам симпатию, любил беседовать с нами, с интересом расспрашивал о жизни. Это был приятный, умный, общительный и в некотором роде выдающийся человек. И он знал это. Несколько раз ему предлагали место епископа, но он не хотел покидать Севилью, где пользовался огромным влиянием. В этом я имел случай убедиться. [50]

Обычно мы обедали е пансионате за большим столом во главе с доном Лусиано. Как-то, желая доказать Сабио, что вино, которое подавали декану, лучше нашего, я незаметно поменял бутылки. Действительно, вино оказалось превосходным. Дон Лусиано догадался о моей проделке и не только ничего не сказал, но с того дня, незаметно для хозяина, наливал мне вино из своей бутылки. По четвергам в классическом патио{26} пансиона девушки, жившие в нем, вместе со своими подружками танцевали севильяны{27}. Было весело. Иногда все вместе выпивали несколько бокалов мансанильи, играли в лотерею, в отгадывание слов. Подобного рода времяпрепровождение замечательно описал в своем романе «Сестра Сан-Сульписио» Паласио Вальдес.

Для меня и Сабио пансионат, с его респектабельной репутацией и с доном Лусиано, являлся убежищем, где ни один человек из нашей развеселой компании не осмеливался беспокоить нас.

В Севилье у меня был денщик - настоящее сокровище. Звали его Фуэнтес. Это был умный и хороший человек, хотя и несколько грубоватый. Я испытывал к нему истинную любовь и признательность за его постоянную заботу. Он знал меня и мои причуды почти так же хорошо, как я сам. У него была своеобразная манера разговаривать со мной. Когда у меня кончались деньги, он говорил: «У нас плохи дела с деньгами, мой лейтенант!»; если появлялась нужда в чем-нибудь из одежды, сообщал: «У нас плохо с рубашками, мой лейтенант!» Все заказы

и покупки он делал сам. Если у меня на что-то не хватало денег, Фуэнтес продавал или закладывал какие-нибудь вещи и без объяснений приносил необходимую сумму, позволявшую выйти из затруднительного положения. Он любил рассказывать о своих победах над женщинами. Многие из этих побед существовали только в его воображении. Иногда я слышал, как мой милый денщик развлекал служанок пансионата веселыми и фантастическими историями, чем завоевал у них популярность. Севилец был очень тщеславен. За полтора года, проведенных вместе, я помню лишь одну его проделку, доставившую мне неприятность.

Однажды он увидел в витрине магазина великолепную кордовскую шляпу из итальянского фетра. Поскольку она нравилась и мне, он зашел в магазин, чтобы разглядеть ее поближе [51] и примерить, но цена в 85 песет была для меня недосягаемой. В те времена офицер, только что окончивший училище, получал 28 дуро, или 140 песет в месяц. К сожалению, я не мог позволить себе такой покупки. Но проклятая витрина, находившаяся вблизи казино, где я часто бывал, постоянно служила мне вызовом. Прошло несколько недель, а злосчастная шляпа не была продана и продолжала мозолить мне глаза, пока наконец я не получил денежного перевода от матери и не совершил глупость: купил ее. В тот же день, готовя лошадь для скачек, я сломал ногу. Меня отправили в госпиталь, и я не имел удовольствия обновить покупку. В день выхода из госпиталя я сидел в военном казино, когда разразился ужасный ливень. Мы развлекались, смотря на немногочисленных пешеходов, отважившихся пуститься в путь под таким ливнем. Каково же было мое удивление и негодование, когда я увидел торопливо идущего, укрывшегося газетой моего прекрасного Фуэнтеса в великолепной шляпе из итальянского фетра, превратившейся под напором воды в нечто совершенно безобразное! Я отправил его в роту. Но моего негодования хватило ровно на три дня. Он вернулся с виноватой физиономией, но очень довольный.

В тот период я получил возможность ознакомиться с некоторыми сторонами жизни простого люда Севильи.

Однажды мой милейший Фуэнтес заболел воспалением легких и провел несколько недель в доме своих родителей. Навещая своего денщика, я смог лучше узнать простых севильцев. Его отец был плотником, мать - прачкой. Весь дом держался на матери. Отец, сеньор Сальвадор, нигде не работал. Симпатичный, привлекательный, он умел расположить к себе людей. Жена была влюблена в него, и он это знал. И хотя сеньор Сальвадор жил на скромный заработок жены, он пользовался уважением соседей. У

него было три близких друга, живших в том же дворе и достойных самого лучшего пера. Лишь один из них, муниципальный страж, которого все называли «власть», имел постоянную работу. Двое остальных, как и сеньор Сальвадор, в основном чесали языками. Друзья собирались в ближайшей таверне под названием «Крестьянский круг». Это было казино крупной севильской буржуазии. Я очень развеселился, услышав однажды, как мать Фуэнтеса сказала соседскому мальчугану: «Сбегай в «Крестьянский круг» и скажи сеньору Сальвадору, если он сможет на минутку оставить свои важные дела, пусть придет сюда». Четыре друга - различные по характеру - имели две общие черты: во-первых, [52] они до безумия любили вино и, во-вторых, с ними нельзя было говорить о работе. От таких разговоров они буквально заболевали. Я никогда не мог понять, откуда эти люди брали деньги на столь частые попойки. Мать Фуэнтеса, только заслышав шаги мужа, уже знала, в какой степени опьянения пришел он домой. Затем начиналась обычная в таких случаях перебранка. И несмотря на влюбленность в своего Сальвадора, жена обходилась с ним довольно грубо. Надо было слышать, что она говорила! Я никогда не мог себе представить существования подобных выражений, сказанных так к месту и в то же время таких обидных!

Выражения, которые я услышал во дворе дома моего денщика во время происходивших там ссор, были чрезвычайно колоритны. Трудно передать ту щедрую расточительность и изобретательность, с какой выпаливались нужные слова, предназначенные для уничтожения противника. И ответы всегда были великолепны и метки. Казалось, остроумные фразы выстреливались из пулемета! Я был восхищен, ведь эти диалоги не разучивались и не репетировались заранее.

Вскоре соседи Фуэнтесов привыкли к моим визитам и стали обращаться со мной как с хорошим знакомым. Одни называли меня лейтенантом, другие - доном Игнасио. С сеньором Сальвадором у меня установились дружеские отношения. Мне нравилось слушать его рассуждения о жизни. Делал он это простодушно и высказывал довольно оригинальные идеи. От него я узнал о жизни и чудачествах всех обитателей дома. Рассказывал он беззлобно и очень занятно. Эти люди и их нравы настолько отличались от виденных мною у себя на родине, что вначале многое сбивало меня с толку.

Однажды к дому, где жили Фуэнтесы, подкатила великолепная коляска, из которой вышла элегантная девушка. Она непринужденно прошла во двор, поздоровалась с соседями и направилась в одну из квартир. Контраст между хорошо одетой

молодой особой, приехавшей на коляске с ливрейным лакеем, и этим двором, населенным скромными людьми, был столь велик, что сеньор Сальвадор, заметив удивление на моем лице, счел необходимым дать некоторые пояснения. Эта восемнадцатилетняя девушка до 16 лет жила в их доме. После того как ее обманул жених, она пошла по рукам. Потом ей повезло, она познакомилась с богатым молодым сеньором, который взял ее на содержание. Он нанял ей дом, и вот уже почти год она живет там. Сеньор Сальвадор не видел ничего особенного в том, что шестнадцатилетняя девушка, брошенная [53] женихом, пошла на улицу, а затем какой-то богач сделал ее своей любовницей. Он не осуждал ни девушку, ни ее жениха, ни тем более любовника. На протяжении веков подобные истории считались здесь обычными. На них не смотрели как на несчастье или трагедию. Они никем не осуждались. Так же думали все жители двора. А некоторые даже завидовали семье девушки.

Я продолжал бывать в этом доме и стал довольно популярен. Скажу без скромности: ко мне относились там с симпатией и уважением, подчеркивая это всякий раз, когда представлялся случай. Разумеется, этим я в значительной степени был обязан Фуэнтесу и его родителям. Склонные к преувеличению и выдумкам, они, вероятно, описывали меня как существо необыкновенное. Я читал это в глазах местных детей: несомненно, им рассказывали обо мне фантастические истории.

Говоря о том времени, я не могу не остановиться еще раз на азартных играх. В Севилье, как и повсюду в Испании, играли во всех слоях общества и везде, начиная с изысканных казино и кончая дешевыми притонами. Играли только на деньги. Даже в прославленных игорных домах в Монте-Карло, Биаррице, Танжере и т. д. я не видел такой азартной игры, как в офицерском казино в Севилье. Опишу только двух игроков, делавших при мне ставки по 100 тысяч песет за ночь. Одним из них был знаменитый тореро Фуэнтес, потерявший все свое состояние и вынужденный вернуться на арену, несмотря на то что уже неоднократно прощался с испанской публикой. Последнее проигранное им поместье «Ла Коронелья» считалось одним из лучших в Андалузии. Другим известным профессиональным игроком был Мартин Велос (Мартинилье). Он служил капитаном милиции на Кубе и пользовался поддержкой Примо де Ривера - отца будущего диктатора. Мартин был настоящим гангстером. На его счету имелось немало темных дел; одно из них - убийство в игорном доме, которое он совершил, не вынимая пистолета из кармана.

* * *

Моя мать мечтала сделать меня рыцарем ордена Калатравы{28}. Возможность носить крест Калатравы до некоторой степени льстила моему тщеславию, хотя я и не придавал этому [54] чрезмерного значения. Находясь в Севилье, я получил от матери письмо, в котором она сообщала, что попросила заняться этим делом нашего родственника, члена ордена, Рикардо Эспехо маркиза де Гонсалес де Кастехон, являвшегося одним из моих крестных. Другую рекомендацию мне должен был дать товарищ маркиза - Серапио дель Алькасар и Рока де Тогорее, также принадлежавший к ордену Калатравы. Для переговоров с ними мне предстояло отправиться в Мадрид.

Не буду останавливаться на тех абсурдных условиях, которыми обставлялось вступление в орден. Некоторые из них просто смешны. Например, претендент должен был дать клятву никогда не садиться на осла. Главное же условие, которому придавалось особое значение, - благородство четырех первых фамилий кандидата. Для проверки их орден назначал двух рыцарей. Все расходы оплачивали будущие калатраво. Мое дело, судя по всему, было простым, ибо три мои фамилии уже принадлежали к ордену. Следовательно, как только я докажу, что в роду Лопес-Монтенегро не было плебеев, мне разрешат после уплаты умеренного взноса в десять или двенадцать тысяч песет носить на груди крест.

Я отправился в Виторию повидать мать. Получив от нее требуемую сумму, вернулся в Мадрид, но, на мое несчастье, маркиз уехал в Париж по каким-то делам и должен был возвратиться не раньше чем через семь дней. Отпуск мой кончался. Не имея больше возможности ждать, я вернулся в Севилью. Не вдаваясь в детали, откровенно признаюсь, что, развлекаясь вместе со своими друзьями, я истратил и 12 тысяч песет и почти всю сумму гонорара лицам, назначенным заниматься проверкой моей фамилии. Пока у меня не осталось ни одной песеты, я и не вспоминал о своем намерении вступить в орден Калатравы. В этой истории, так возмутившей рассудительных членов нашей семьи, я сожалел только об одном - об огорчении, доставленном матери.

* * *

Сабио, Мико и я продолжали развлекаться, используя каждый удобный случай. Мы обзавелись невестами - настоящими

сеньоритами, с которыми постоянно объяснялись в любви через кованую решетку окна{29}. Последствия такой жизни не замедлили [55] сказаться. Прежде всего, мы оказались в затруднительном денежном положении. Моя мать после дела с калатравами не посылала мне ни копейки. Понемногу мы продали все более или менее ценное и дошли до того, что у нас остался один штатский костюм на троих - благо мы были одного роста и могли носить вещи друг друга. Это был зимний костюм, и летом им можно было пользоваться только ночью, когда он не так бросался в глаза.

С ним у меня связаны довольно неприятные воспоминания. Как-то в середине июня один мой веселый севильский друг, Эстебан Роче, владелец фабрики шляп, пригласил меня на именины своей подружки. Поскольку предусматривалось посещение танцевальных залов и таверн, куда не полагалось ходить в военной форме, я облачился в вышеназванный костюмчик, полагая, что ночью никто не разберется, какой он, а я постараюсь до рассвета вернуться домой. Однако праздник затянулся, и я не заметил, как наступил день, да настолько жаркий, что сам Сид-Воитель{30} не отважился бы выйти на улицу в таком костюме. Роче и его подружка приготовили мне постель, как вдруг у дверей раздался звонок и, к моему величайшему удивлению, я увидел добрейшего Фуэнтеса с моей полной военной формой в руках. Скороговоркой он сообщил, что через полчаса я должен явиться в казарму, так как моей роте надлежит присутствовать при расстреле пограничника, убившего в ссоре капрала. Всю ночь Фуэнтес искал меня. Наконец в одном из танцевальных залов он напал на наш след. На стоянке экипажей извозчик, отвозивший нас, указал ему нужный адрес.

Я появился в казарме как раз вовремя, успев присоединиться к роте, направлявшейся к месту расстрела. Я никогда не видел казни и не имел никакого желания присутствовать при ней. Думаю, что и мои люди, судя по их лицам, испытывали те же чувства. Когда мы пришли на место, там уже находились другие воинские части, которых тоже обязали быть при расстреле и пройти перед трупом казненного. Построившись, стали ждать командира, который всегда приказывал строиться задолго до нужного часа, не думая о том, что этим он утомляет своих людей. [56]

Смена обстановки была столь резкой, что печальная сама по себе картина показалась мне еще ужаснее. После долгого ожидания трагедия началась: первым прибыл похоронный фургон, в котором должны были отвезти труп казненного. Затем прибыли судебные власти и капеллан, одетый в черные одежды, а

за ними в старом экипаже-клетке, который медленно тащили два мула, привезли осужденного пограничника в зеленой форме, с сильно осунувшимся лицом. Первое, что он увидел, - похоронный фургон с ящиком, в который положат его тело и отвезут на кладбище. Это было слишком жестоко и бесчеловечно. Для совершения приговора прибыл отряд его товарищей.

У некоторых солдат сцена казни вызвала обморочное состояние. Возвращались в казарму подавленные, в полном молчании. Впечатление, которое хотели создать у нас, обязывая присутствовать при этой казни, создать не удалось. Наоборот, у всех осталось ощущение, что мы наблюдали жестокое и отвратительное зрелище. Я не собираюсь здесь рассуждать, является смертная казнь целесообразной или нет; единственное, что мне хочется подчеркнуть, - этот расстрел, как и вся предшествовавшая ему церемония, кажутся мне бесчеловечными.

На протяжении двух лет моей службы в армии после окончания училища Ревора в мире происходили события огромного значения. Я не намерен анализировать последствия первой мировой войны для моей страны, не претендую и на описание социальной обстановки, приведшей к забастовкам 1917 года{31}, как и на разбор действительных мотивов, явившихся причиной создания военных хунт{32}. Постараюсь только дать представление о моих личных настроениях и настроениях моих друзей в связи с событиями, свидетелями и участниками которых мы были, зачастую не задумываясь над причинами всех этих явлений. [57]

Однако должен отметить: мои друзья и я были по-своему озабочены происходившим. Наш образ мыслей являлся обычным для той среды. По картам мы следили за превратностями европейской войны, примерно так, как следят любители за велопробегом вокруг Франции, но с меньшей страстью. Нашим фаворитом была германская армия. Помню мое крайнее удивление, когда я узнал, что Хосе Арагон - сторонник союзников, и горячий спор, происшедший у меня с ним. В качестве своего последнего довода он заявил, что все «каркас» {33} - германофилы. Я был необычайно оскорблен, так как у него не было оснований награждать меня столь обидным прозвищем.

Однажды в столовой пансионата появилось десять немцев - офицеров из Камеруна{34}. Преследуемые англичанами и французами, они нашли убежище в Испанской Гвинее. Я подружился с одним из них, говорившим по-испански. Он рассказал о перипетиях борьбы с французами и о трудностях отступления, которые им пришлось преодолеть, прежде чем они достигли испанской территории. По его словам, во всем виноваты

французы, отказавшиеся принять предложение немцев не воевать белым между собой, чтобы сохранить престиж европейцев в Африке. Это соображение, высказанное им горячо и убежденно, показалось мне, по меньшей мере, странным. Я не понимал, как в столь жестокой войне, затеянной немцами и французами, можно было руководствоваться стремлением скрыть от африканцев вражду между белыми. Это был первый расист, с которым мне пришлось столкнуться, и, естественно, я не мог его понять. Немцы, хотя официально они считались интернированными, пользовались полной свободой. Однажды, воспользовавшись ею, они исчезли из пансионата и на подводной лодке вернулись на родину, чтобы продолжать войну. Я не только одобрял их поступок, но считал его героическим и оправдывал офицеров нашего флота, которые помогли им бежать.

В Витории много говорили об огромных барышах, нажитых на войне испанскими дельцами. Наиболее крупные торговые сделки происходили в Бильбао. Рассказывали бесчисленные истории о людях, разбогатевших за 24 часа. Прежде всего это относилось к хозяевам судов, даже маленьких. В Мадриде я встречал нуворишей{35} из Бильбао, швырявших деньгами [58] и перекупавших ночные злачные места. Мадрид принял вид большой европейской столицы. Открылись роскошные кабаре, рестораны, отели. В город привезли лучших беговых лошадей со всего мира. Тогда я впервые присутствовал на настоящих бегах.

Первый и довольно неприятный вывод, сделанный мною из войны, - отставание нашей авиации. Испания почти не имела самолетов, и ни одна воевавшая страна не хотела нам их продавать.

О больших стачках 1917 года помню только, что в Севилье нас держали по тревоге в казармах, где мы провели безвыходно шесть или семь дней, играя в бакара{36}. У меня не сохранилось в памяти каких-либо разговоров и суждений об этом мощном революционном движении, и вряд ли оно нас тогда очень занимало. Счастье, что мы не выполняли никаких карательных заданий. Порой я думаю: как бы мы повели себя, если бы нас заставили выступить против забастовщиков? Не знаю, что ответить самому себе. Мы не испытывали симпатий к забастовщикам, но не было и антипатий, а тем более ненависти.

Мои воспоминания о военных хунтах, сыгравших столь мрачную роль в политической жизни Испании, более определенны. На первом же офицерском собрании, где избиралась хунта, меня, поскольку я был самым молодым, сделали секретарем. Мне поручили вести протоколы всех выступлений, но я не имел ни малейшего представления, как это

делается. То, о чем говорили на собрании, не вызвало у меня особого интереса. В памяти сохранилась лишь длинная речь самого старшего полковника, подчеркнувшего несколько раз, что военные обязаны спасти Испанию и защитить свои права. Мои друзья восприняли создание хунт тоже без энтузиазма. Я не помню, чтобы мы хоть сколько-нибудь обсуждали этот вопрос.

Мои денежные дела стали настолько катастрофическими, что я решил написать своему брату Фермину - капитану колониальных войск в Тетуане. Ответа я не получил, но однажды утром, как приятный сюрприз, увидел его самого входящим в мою комнату. Брат обладал незаурядной внешностью. И я очень завидовал его успеху у представительниц женского пола. Прекрасный спортсмен, он имел несколько призов за прыжки в высоту и пользовался большой популярностью и симпатиями в армии. Должно быть, в Африке он показал себя хорошим [59] командиром, так как от лейтенанта дослужился до капитана. Брат играл на гитаре, хорошо пел и вообще любил развлечения. Он нравился мне - щедрый, простодушный и в то же время скромный. Мы прекрасно понимали друг друга, хотя Фермин был на шесть лет старше меня. Я чувствовал себя с ним, как с хорошим товарищем, но все же не забывал, что он старший брат, тактично заботящийся о том, чтобы я не поскользнулся на дорогах жизни.

Тот месяц мы провели великолепно. Фермин продал за 16 тысяч песет имевшиеся у него государственные бумаги и заплатил мои долги. Мы оба прилично экипировались. После длительного пребывания в Африке его одежда тоже изрядно поизносилась. Брат нанял комнату в том же пансионе, где жил я, и мы с легкой душой начали транжирить его песеты. Фермин любил осматривать чудесные памятники старины, которыми так богата Андалузия. Вместе мы съездили в Гренаду. Тогда я впервые увидел Каса де Пилатос, Альказар, Кафедральный собор. Красота их архитектуры ослепила меня. В Гренаде наше посещение Альгамбры совпало с пребыванием там генерала Дамасо Беренгера, к которому брат питал огромное уважение. Фермин представил меня, и мы продолжали осмотр вместе. Нам повезло: генерал Беренгер, хорошо знавший арабский язык, переводил надписи, украшавшие комнаты дворца, и рассказывал много поистине интереснейших сведений о жизни и обычаях мавританских королей Гренады.

Отпуск Фермина кончался, и мы вернулись в Севилью. Прежде чем отправиться в Тетуан, брат серьезно поговорил со мной и с присущим ему тактом попытался убедить меня перевестись в Тетуан. Там мы могли жить вместе до моего призыва в авиацию. Фермину хотелось получить назначение в

Мадрид, но он не осмеливался просить об этом, хотя и имел уже две награды за боевые заслуги, ибо опасался, как бы не подумали, что он стремится избежать опасностей. Поэтому Фермин решил вернуться в Испанию не раньше чем через год. К несчастью, эта щепетильность стоила ему жизни.

Меня необычайно удивил интерес брата к книгам по истории, искусству и другим отраслям знаний, на которые он тратил значительные суммы.

Кажется, от Фермина я впервые услышал выражение «Черта с два!», быстро ставшее популярным и вошедшее в испанский разговорный язык после одного весьма торжественного события. Вот рассказ одного из очевидцев о том, как появилась эта фраза: [60]

«В Сьерро-де-лос-Анхелес, считавшемся центром Иберийского полуострова, состоялась церемония открытия монумента, олицетворявшего образ Святого Сердца Иисуса, которому Альфонс XIII посвящал Испанию. Король стоял рядом с премьер-министром у подножия монумента. Министры, гранды, аристократы и остальные приглашенные находились на трибунах и, слушая речь короля, молча согласно кивали головой. Наконец наступил волнующий момент: монарх поднял руку, чтобы сбросить покрывало с монумента, и взорам всех присутствовавших открылось величественное изображение Иисуса и окружавших его фигур. Внизу выделялись выгравированные слова: «Буду царствовать в Испании!». Но вдруг восторженное волнение сменилось негодованием. Король побледнел и, что-то проговорив, поднялся на трибуну, где ему стали поспешно освобождать место. А в это время люди, стоявшие поблизости и с любопытством наблюдавшие церемонию, со смехом и шутками передавали друг другу слова, выгравированные под фразой «Буду царствовать в Испании!». Они были высечены не так красиво, как первые, но достаточно ясно: «Черта с два!»

* * *

Вспоминая свое детство, я уже говорил о том, какой большой интерес проявляли в нашей семье к карлистскому движению. Но с 1909 года после катастрофы под Барранко-дель-Лобо в Мелилье{37} внимание моих родных сосредоточилось на событиях в Марокко.

Все началось с моего брата Пако, который решил отправиться добровольцем «защищать честь» Испании. Поскольку он был

первым офицером в Витории, совершившим такой героический шаг, его проводы вылились в патриотическую манифестацию. На вокзал явились власти, представители высшего общества и те, кто чувствовал себя глубоко оскорбленным успехами марокканцев. Пако был одет в военную полевую форму того времени, кстати очень неудобную: тяжелейшее кепи, давившее на лоб, огромный револьвер в кожаной кобуре, подвязанный черным шнуром к шее, матерчатые гетры, охватывавшие внизу брюки обычной ширины, и длиннющая сабля, путавшаяся во время ходьбы в ногах. Одним словом, это было абсолютно не подходящее для войны в Африке обмундирование, [61] и его требовалось немедленно заменить. Действительно, вскоре от кепи отказались, саблю упрятали в ножны, обшитые кожей, так как металлический блеск выдавал противнику офицеров, делая их удобной мишенью, полосатую материю костюма поменяли на однотонную - цвета хаки - и приняли еще ряд необходимых мер, учитывавших особенности африканского климата.

В то время как в Витории состоялись торжественные проводы Пако, в Барселоне, Малаге и в других городах можно было наблюдать совершенно иную картину. Народ настойчиво сопротивлялся посылке войск в Мелилью. Женщины ложились на рельсы, чтобы помешать отправке поездов, по всей стране проходили кровавые столкновения с полицией, многие подверглись арестам. Для меня в то время не возникало сомнений, что хорошими испанцами, патриотами были лишь те, кто, подобно моему брату, добровольцами, рискуя жизнью, отправлялись защищать родину и мстить марокканцам за убитых солдат. Так думали все мои родные и знакомые. Об этом же писали в газетах, которые читали у нас в доме, - «Ла Эпока», «АБЦ» и «Эральдо Алавес» - и проповедовали церковники.

Пако получил назначение к генералу Беренгеру - одному из создателей регулярных туземных войск в Африке. Я неоднократно слышал, что генерал хвалил его.

Вслед за Пако добровольцем в Марокко отправился и мой брат Мигель. Спустя шесть месяцев он был тяжело ранен. Его спасли, однако на всю жизнь он остался больным человеком. Я гордился им, видя его фотографии в газетах, расточавших ему похвалы, и в глубине души слегка завидовал, что не был на его месте.

Скоро в марокканские войска перевели и Фермина. Его тоже ранили. Газеты писали о его храбрости, публиковали фотографии. Одним словом, я жил в среде, в которой не могло быть иного образа мыслей.

В Тетуане вакансий не оказалось. Меня назначили в

Мелилью, в интендантскую горновьючную роту, занимавшуюся доставкой на мулах продовольствия и боеприпасов к передовым позициям. Эта служба была страшно тяжелой, особенно для солдат, и опасной. Мы выходили на рассвете и возвращались только к ночи. Всю дорогу приходилось идти пешком, под дождем или палящим солнцем, а зачастую и под огнем вражеских снайперов. На обратном пути, хотя это категорически запрещалось, я разрешал солдатам садиться на мулов, - это [62] давало им какой-то отдых, и мы быстрее добирались к себе в часть. Такое непослушание стоило мне первого официального ареста. Нам не повезло: однажды в пути мы встретили ехавшего в автомобиле генерала Хордана. Он приказал мне ссадить людей с мулов и с возмущением заявил, что я плохой офицер, не умеющий заботиться о скоте, а мои солдаты больше похожи на шайку бандитов. Я пытался объяснить ему, что мы везли муку, испачкались в ней, а затем попали под дождь, ливший в течение трех часов. Но генерал сел в машину, не дослушав моих объяснений.

Я делил с солдатами все невзгоды, и они относились ко мне с любовью и уважением. Это были замечательные, дисциплинированные, храбрые и сильные люди (кто не был достаточно выносliв, тот попадал в госпиталь или на кладбище). Их внешний вид значительно отличался от того, какой они имели, когда прибыли из Испании.

Впечатление о необычайной бедности первых рекрутов в казармах Мелильи навсегда сохранилось у меня в памяти. Они располагались в ротах по группам, почти все грязные, небритые, одетые в старые вельветовые брюки, рубашки и альпаргаты{38}. Более молодые казались нищими рахитиками, с лицами испуганными или идиотскими. И это не преувеличение. В то время большую часть новобранцев составляли крестьяне, меньшую - рабочие; они не могли заплатить полторы тысячи песет, чтобы освободиться от военной службы. Сельские батраки большинства испанских провинций одевались плохо, питались скудно, никогда не выезжали из своих деревень. Призыв в армию, долгий путь в Марокко для участия в войне, о которой ходили страшные слухи, - все это, вместе взятое, и способствовало тому, что они имели такой жалкий вид: бедная одежда - это нищета, рахит - питание впроголодь, а страх, удивление и отупение - результат резкого изменения условий жизни.

Здесь, в Мелилье, непосредственно столкнувшись с реальной действительностью, я впервые серьезно задумался над бедностью и отсталостью моей родины. Никогда раньше я не представлял, что могут происходить такие, например, вещи: в казармах

имелись современные уборные, но вскоре они оказались забиты камнями. Их привели в порядок, а через несколько дней повторилась та же история. Выяснилось, что солдаты из крестьян, отправляя свои естественные надобности, [63] вместо бумаги использовали камни, как делали это на протяжении всей своей жизни, и бросали их в отхожее место. Или другой случай, свидетельствовавший о необыкновенной отсталости деревни. Одному из рекрутов я поручил отправить по почте письмо и дал пятнадцать сантимов на марку. Он опустил письмо и деньги в почтовый ящик.

Облик рекрутов менялся буквально на глазах. Сказывалось регулярное питание, ежедневное мытье и общение с товарищами. Несмотря на тяжелую работу, скромную еду и обращение, не всегда, мягко выражаясь, вежливое, условия их жизни в армии были значительно лучше, чем дома.

Меня назначили в один из лагерей - Сиди Аиса. Жизнь там была довольно однообразной. Спали мы в полевых палатках, время проводили главным образом за чтением какого-нибудь романа или карточной игрой. На маленьком манеже с препятствиями, построенном моими солдатами, я занимался подготовкой некрасивой, но обладавшей изумительными спортивными качествами лошади для конных состязаний, проходивших в Сеуте, Тетуане и Мелилье. Эти конкурсы служили нам хорошим развлечением: дорога оплачивалась, мы получали командировочные, нас сопровождал ординарец, ухаживавший за лошадью. В Тетуане на первом конкурсе, на который я поехал, моя великолепная лошадь выиграла несколько призов, и среди них - кубок, подаренный специально для этих соревнований калифом. Следуя традиции, я несколько раз наполнял кубок шампанским, угощая владельцев лошадей, участвовавших в конкурсе. Среди них находился подполковник Примо де Ривера (его брат позже стал диктатором Испании). Он показался мне симпатичным и любящим удовольствия человеком. В скачках принимали участие две его лошади высшего класса, и подполковник страшно возмущался, когда «пенко» {39}, как он называл моего коня, выигрывал какой-нибудь приз. Примо де Ривера был близким другом моего брата Мигеля. Благодаря конным соревнованиям и партиям в покер у нас с Примо тоже установились дружеские отношения. Позже он был убит во время сражения под Аннуалем{40}.

В Сиди Аиса находился аванпост со взводом туземной полиции, которым командовал сын дружественного нам марокканца - лейтенант Мизиан, которого называли Мизиан-хороший, [64] в отличие от его брата - Мизиана-плохого,

воевавшего против нас. Я питал больше симпатий к последнему. Во мне всегда жило предубеждение против марокканцев, получавших от нас ордена, главным образом за службу против своих соплеменников. Лейтенант Мизиан окончил в Толедо пехотное училище, и к нему относились как к испанскому офицеру, совершенно не обращая внимания на его происхождение. Несколько раз мы вместе ездили на охоту.

Однажды вечером мы заметили, как из вражеской зоны к нам скачет группа арабов, размахивая белым флагом. Мизиан разместил своих людей у парапета и приказал сержанту выяснить, кто эти люди и чего они хотят. После недолгих парламентерских переговоров мы увидели, что арабы без оружия направились в нашу сторону. Ими оказались три немца, которые сражались во время первой мировой войны против французов во главе рифского отряда, вынуждая своего противника держать в Марокко войска, которые могли быть ему весьма полезны в Европе. Деньги и оружие немцам доставляли на подводных лодках. Но когда война окончилась, прекратился и подвоз всего необходимого. Преследуемые французами, они срочно ретировались на нашу территорию. Немецкие офицеры так изумительно закамуфлировались под арабов, что если бы я с ними не заговорил, то никогда не узнал в них европейцев.

Мизиан дослужился в испанской армии до чина генерал-лейтенанта. Он занимал важные посты, например генерал-капитана Канарских островов, командующего военным округом Сеуты и т. д. Во время гражданской войны 1936-1939 годов он боролся во главе марокканских частей против республики.

Мне кажется странным, что такой человек, как Мизиан, всю жизнь сражавшийся в ударных испанских частях против своего народа, защищавшего независимость родины, позднее, когда марокканцы завоевали свободу, стал у султана Марокко командующим армией!

В Сиди Аиса я познакомился с Рикардо Бургете, с которым значительно позже меня связала большая дружба. Он был лейтенантом туземных войск. Очень худой, с лицом, на котором выделялся огромный нос, он все же казался очень симпатичным. Бургете прибыл с отрядом из Мелильи и привез рулетку, подаренную ему командиром авиационной эскадрильи, не желавшим иметь ее у себя на аэродроме. Был конец месяца. Офицерам частей, расположенных в Сиди Аиса и на ближайших позициях, выдали жалованье. После ужина в одной из [65] палаток установили рулетку. Игра, начавшаяся в шутку, окончилась довольно печально. Кое-кто, потеряв свои деньги, запустил руку в казенные. Первые проигранные 100 песет могли

бы быть легко возмещены. Но игра продолжалась, и некоторым пришлось выложить месячное жалованье. Чтобы отыграться, они крутили рулетку, пока в кассе не осталось ни одной копейки. Какими-то путями до начальства дошел слух о проигрыше казенных денег. Была назначена ревизия. Двух капитанов, не успевших вернуть в кассу деньги, выгнали из армии.

Находясь в Сиди Аиса, я получил телеграмму о гибели Фермина, павшего в бою вблизи Тетуана. Это сообщение вызвало у меня тягостное чувство. Я немедленно отправился в путь, надеясь успеть на похороны. Несмотря на то что Сиди Аиса и Тетуан разделяло всего 200 километров, добраться туда было не просто. Сначала я ехал верхом, затем поездом до Мелильи, там сел на пароход и на следующий день добрался до Малаги. Оттуда, сделав тысячу пересадок, прибыл в Альхесирас, пересек пролив, высадился в Сеуте, а там опять сел на поезд, шедший до Тетуана. Приехал я, конечно, когда погребение уже состоялось. Оставалось представиться генералу Беренгеру - верховному комиссару Испании в Марокко. Он сказал мне, что очень сожалеет о гибели Фермина, и поручил отвезти его вещи в Виторию и передать моим братьям.

По возвращении из дома меня оставили в Мелилье обучать рекрутов. Жизнь в городе по сравнению с лагерной показалась мне весьма приятной. Мелилья в то время была тихим провинциальным городом с широкими улицами, ежедневными гуляньями по главной из них и танцами. В отличие от провинциальных городов Испании, здесь работало несколько казино, в которых шла азартная игра, и было значительно больше различных мест для ночных увеселений. Прибывавшие в трехдневный отпуск офицеры имели деньги и хотели развлекаться. Обыкновенно они нанимали экипаж и в сопровождении заранее оплаченных веселых девиц отправлялись танцевать и пить в харчевни, находившиеся на окраине города.

В Мелилье жили представители четырех национальностей: испанцы (их было большинство, главным образом военные, немного торговцев, служащие, официанты и т.п.), евреи, державшие в своих руках банк и среднюю торговлю. Они делились на несколько четко разграниченных социальных слоев: от мальчишки - чистильщика сапог до миллионера-банкира. Стоящие [66] на самой низшей социальной ступеньке, с неряшливыми бородами, в старой одежде и в черных ермолках, имели нищенский вид. Как контраст с ними, девушки из богатых семей, великолепно одетые, выглядели очень привлекательно. Арабов было мало, и я их почти не видел. Они занимались мелкой торговлей или обработкой земли в окрестностях города.

Наконец, индийцы. По-испански они говорили с приятным акцентом. Большинство из них работали служащими в торговых компаниях. Через индийцев шла вся торговля восточными товарами, которую они вели в принятой на базарах манере. За любую вещь назначали высочайшую цену, и приходилось долго торговаться, чтобы добиться приемлемой цены, но и она всегда в два раза превышала фактическую стоимость. Они никогда не сердились и не реагировали на оскорбления, которые порой позволял себе какой-нибудь офицер, возмущенный тем, что за пижаму, стоившую 25 песет, запрашивали 250. Наши взаимоотношения с индийцами сводились к отношениям между продавцами и покупателями. С арабами мы почти не имели контактов. Они редко выходили из своих домов и, насколько я знаю, ни с кем не смешивались.

Мы общались только с еврейской колонией. На улицах и в кафе часто можно было видеть вместе испанцев и евреев, но, как правило, дальше этого евреи не шли. Некоторые еврейские девушки пользовались большим успехом у испанцев. Мой друг, влюбленный в одну из них и часто встречавшийся с ней, решил, что она отвечает ему взаимностью. Но как только он захотел оформить свои отношения, ее семья, поняв, что дело может закончиться свадьбой, тайно отправила ее в Касабланку и не разрешала вернуться до тех пор, пока мой друг не получил назначение на один из аэродромов в Испании. Мне известен только один случай бракосочетания нашего офицера с еврейской девушкой. Свадьбу пришлось сыграть против воли родителей. Семья не простила ей этого и не помогала даже в самые трудные моменты. Двое их сыновей впоследствии стали летчиками. Их звали Хименес Бен-Амур{41}.

В нашей среде я не замечал ни малейших проявлений расовой неприязни. Мы видели среди евреев и арабов хороших и плохих людей, симпатичных и малоприятных, но нам не приходило в голову судить о ком-то по его национальной принадлежности. [67]

Однако этого нельзя было сказать о взаимоотношениях арабов и евреев. Впервые в своей жизни я узнал о существовании расовой проблемы. Помню испуг и негодование, которые вызвала у меня сцена на базаре. Два араба спорили с евреем, взвалившим на своего осла мешок муки. Распоров кинжалами мешок и рассыпав муку, они начали избивать его хозяина. Присутствовавшие при этом оставались невозмутимы, не видя в происходящем ничего необычного. Сам еврей не пытался защищаться, протестовать, пока не увидел, что я приближаюсь с явным намерением вмешаться. Но в этом уже не было

необходимости, так как явился полицейский-араб. Он остановил избиение, однако никого не арестовал, не принял мер к возмещению убытков и, как мне показалось, грубо оттолкнул еврея, не желая выслушивать его жалобы.

* * *

Все были уверены, что в скором времени начнутся крупные военные операции. В Мелилью назначили командующим войсками генерала Фернандеса Сильвестре, адъютанта и друга короля. Он обещал взять Вилья-Алусемас и навести порядок во всей зоне. Развернулись приготовления. Одно из введенных им новшеств - создание нескольких взводов на верблюдах из кабилов{42}. Каждому кабилу платили по семь песет за верблюда и выдавали старый карабин «ремингтон» с пятью патронами. Этим отрядам поручалась транспортировка военных грузов и продовольствия на передовую линию; защищаться от возможных нападений они должны были собственными средствами. Для командования этими конвоями требовалось три офицера-добровольца из горных рот. В недобрый час пришла мне в голову мысль просить об этом назначении. Помню, первый отряд, везший мешки с сахаром и мукой, имел 80 верблюдов. Очень трудно было приучить наших лошадей (мою, сержанта и сопровождавшего меня ординарца) не пугаться их. Не знаю почему, но, стоило лошадям почуять это двугорбое животное, они становились словно бешеные. Когда мы прибыли в первый лагерь, где надлежало сдать продукты, лагерные кони стояли привязанными в двух больших загонах. Как только наш караван приблизился, лошади, почуяв верблюдов, пришли в такое неистовство, что порвали привязи и разбежались. Появился встревоженный начальник. Осведомившись о случившемся, он стал оскорблять меня и потребовал, чтобы мы немедленно [68] убирались. Мне оставалось еще сдать сахар и муку, но я решил благоразумно удалиться на некоторое расстояние от лагеря и там разгрузить верблюдов. Однако сделать это было некому, так как все люди занимались розыском разбежавшихся лошадей. Наступила ночь. Зная любовь арабов к сахару, я решил не рисковать и провел ночь с конвоем. Утром мы вернулись в лагерь, чтобы передать продукты, которые, несмотря на мое бодрствование, подозрительно уменьшились.

История с лошадьми повторялась каждый раз, как только мы приближались к позициям. Тут же появлялся адъютант или сам начальник и начинался очередной скандал. Со мной они

обращались, как с прокаженным.

Генерал Сильвестре осуществил ряд довольно смелых операций, позволивших отвоевать у противника большую территорию. Я радовался этим успехам, но, по мере того как мы продвигались вперед, меня все больше беспокоила слабость нашего тыла. Постоянно следуя за войсками, я мог составить довольно ясное представление об истинном положении дел. Но мой оптимизм и бесконечные скандалы, устраиваемые владельцами верблюдов и начальниками позиций, отвлекали меня, не давая возможности всерьез задуматься над своими личными наблюдениями.

К счастью, в один прекрасный день мне вручили телеграмму с приказом о назначении в авиационную школу и указанием срочно явиться на аэродром «Куатро виентос» в Мадриде. Бросив верблюдов и их владельцев, обезумевший от счастья, я отправился в Мадрид. Это произошло в конце 1919 или в начале 1920 года.

В авиации

Генерал Ортис де Эчагуэ - начальник военно-воздушных сил, человек с большим кругозором - многое сделал для развития военной авиации в Испании. Благодаря своей настойчивости и упорству он добился кредитов для организации летных школ на 100 учеников. Это явилось большим шагом вперед в создании испанской авиации.

После медицинского осмотра, в результате которого были признаны негодными к службе в авиации десять процентов прибывших на аэродром «Куатро виентос», мы приступили к изучению теоретического курса. Приходилось много работать, [69] так как учебный план был очень напряженным. Впервые в жизни я стал примерным учеником, занимался добровольно и с большой охотой. Этому способствовали и прекрасные педагоги, среди которых были майор Эмилио Эррера - превосходный человек и настоящий ученый, преподававший аэродинамику, и капитан Мариано Барберан, совершивший смелый перелет из Севильи в Камагуэй (Куба), преодолев 7895 километров над океаном на обычном одномоторном самолете. Впоследствии он погиб вместе с лейтенантом Колларом при перелете с Кубы в Мексику. Барберан, которого мы горячо любили за знания и скромность, вел штурманское дело.

По окончании теоретического курса нас отправили на аэродром в Хетафе для обучения пилотированию. Думаю, что нет необходимости говорить о той радости, с какой я стал учиться летать. Моим инструктором был капитан Хевиленд, английский

военный летчик, брат известного авиаконструктора, хороший пилот и прекрасный педагог. Это был типичный англичанин: блондин, с розовой кожей, флегматичный, до безумия любивший виски и, к счастью, мало говоривший, ибо его испанский язык походил на язык риохских извозчиков. На одном из приемов в английском посольстве, пытаясь побеседовать по-испански с женой министра, он сказал ей такую грубость, что дело едва не окончилось дипломатическим скандалом.

В то время в Хетафе имелся один старый ангар и небольшое здание штаба с комнатой, где стояла постель для дежурного офицера. Мы жили в Мадриде, но в полдень, чтобы не тратить время на езду в город и обратно, пользовались услугами маленького аэродромного буфета. Каждый день солдат приносил из буфета картофельные омлеты, которыми в то время питались на всех аэродромах. Однажды, когда я вел самолет на высоте тысячи метров, мой инструктор вдруг вырвал у меня управление и, переведя машину в глубокое пике с сильным скольжением на крыло, совершил посадку. Я не мог понять, в чем дело. Очевидно, у добрейшего Хевиленда в тот день был особенно хороший аппетит. Чувствуя, что приближается время, когда на аэродроме должен появиться солдат с омлетами-тортильями, он захотел побыстрее оказаться на земле.

Мне нравилось летать. Я испытывал необычайное наслаждение, пилотируя учебный самолет, имевший мотор в 80 лошадиных сил и максимальную скорость 120 километров в час. Самолет был такой хрупкий, что в полете ощущался физически, и настолько чувствительный к потокам воздуха и изменению [70] давления, что с момента взлета и до посадки все время приходилось держать управление в руках. Работу мотора контролировали три бортовых прибора, но они часто ломались, и на их показания нельзя было положиться. В полете приходилось руководствоваться ощущением силы воздушного потока, звуком мотора, интуицией, по которой и определялся уровень мастерства пилота.

За редким исключением, мои товарищи с большим воодушевлением изучали все предметы, имевшие отношение к авиации. Наши преподаватели могли не сомневаться, что мы станем специалистами своего дела и будем проявлять в работе максимальное усердие. Не было такого случая, чтобы кто-либо из нас добровольно отказался от полетов, не имея на это серьезной причины. Если кто-то опаздывал на автобус, отвозивший нас в Хетафе, то добирался туда самостоятельно, используя все возможности, чтобы не пропустить ни одного занятия в воздухе. Мы говорили только на авиационные темы, постоянно спорили о

полетах, были одержимы авиацией и не могли жить без нее. Никто не мог заставить нас «переменить пластинку». Мы были страстно влюблены в свою профессию и представляли собой почти идеал курсантов: предельно добросовестно, не считаясь со временем, выполняли все учебные задания. Не могли повлиять на нашу привязанность и наказания за ошибки. Все это облегчало задачу педагогов и помогало формированию у нас особого, типичного для авиаторов образа мыслей.

Однажды, когда я уже налетал семь часов в самолете с двойным управлением и совершил 82 посадки, в машину со мной, как обычно, сел инструктор, но через пять минут приказал идти на посадку. Выйдя из самолета, он спокойно, словно это были ничего не значившие слова, сказал, что я могу летать один. Помню мое удивление: я не предполагал так скоро услышать их. Хевиленд не объяснил, какие у него основания для столь неожиданного решения. Когда я понял, что мне предлагают лететь самостоятельно, должен откровенно признаться: у меня от страха перехватило дыхание. Но, опасаясь, что Хевиленд заметит мою растерянность, я глупо улыбнулся, пытаясь скрыть свои чувства, и неестественным голосом ответил, что очень счастлив. Хевиленд дал мне последние советы. Сильно нервничая, я завел мотор. Без инструктора самолет оторвался от земли раньше положенного времени, но, как только я понял, что лечу, волнение мгновенно исчезло. Самолет был послушен мне, и я без труда совершил посадку. Хевиленд подал знак сделать еще круг, и снова я благополучно [71] приземлился. Во время этих полетов меня удивили только размеры нашего аэродрома: с воздуха он показался значительно меньше обычного. Товарищи искренне поздравили меня. Даже флегматичный Хевиленд взволнованно обнял меня; я был первым учеником в Испании, которому он дал путевку в небо. Я отправился за вином, и мы очень весело отпраздновали первый в Хетафе самостоятельный полет.

С первыми полетами курсантов без инструкторов начались и происшествия. Мой товарищ по училищу, Серапио дель Алькасар, сразу же допустил грубый промах и поплатился за это. Ему пришлось оставить авиацию и вернуться в сухопутные части. Вскоре он умер. Первая катастрофа со смертельным исходом произошла с лейтенантом интендантской службы Хавиером Осуна. Меня это страшно потрясло, так как мы были большими друзьями. Впервые я видел похороны разбившегося летчика: торжественным строем проходили войска, пролетали самолеты, сбрасывая цветы на траурную процессию, прибыл представитель короля, присутствовало высокое начальство.

Катастрофы не прекращались. Редкая неделя обходилась без

того, чтобы на балконах аэроклуба на Савильской улице не вывешивались драпировки с черным крепом, объявлявшие о гибели какого-нибудь летчика.

Постепенно мы научились менее болезненно реагировать на сообщения о разбившихся самолетах. Это не значило, что мы потеряли чувствительность. Продолжая летать, мы невольно проникались определенной философией, вырабатывая в себе своеобразный фатализм, избавлявший нас от неприятных дум о том, что и мы можем погибнуть в любой момент.

В Хетафе начались заключительные полеты на получение звания пилота. Наступили дни больших, но в общем радостных волнений. Наконец моя долгожданная мечта осуществилась. В круглую авиационную эмблему, которую мы с такой гордостью носили на груди, добавили теперь четырехлопастный пропеллер - знак летчика. Последним испытанием, которому нас подвергли, был полет на 300 километров с двумя посадками на запасных аэродромах. Один из моих товарищей, лейтенант Муньос, выполняя его, посадил свою машину вблизи Кинтанара. Среди многочисленной толпы любопытных, сбежавшихся посмотреть на самолет, оказалась женщина в кресле-коляске, парализованная уже двадцать лет. Чтобы взлететь, Муньос должен был сам запустить мотор, толкнув винт рукой. Мотор заработал на больших оборотах, и самолет [72] без летчика помчался в направлении группы людей, стоявших возле парализованной женщины. При виде надвигавшегося на нее чудовища она испытала такое сильное потрясение, что, к великому удивлению присутствующих, побежала вместе со всеми. С того времени Муньоса называли «знахарем».

Помню и случай с лейтенантом Парамо. Одно из испытаний заключалось в том, чтобы набрать высоту 1500 метров, остановить мотор и посадить самолет в круг диаметром 100 метров, обозначенный мелом на поле аэродрома. Когда Парамо поднялся на заданную высоту, управление показалось ему более тугим, чем обычно (происходило это из-за сильных порывов ветра). Не осмеливаясь развернуть самолет, Парамо произвел посадку, лишь израсходовав весь бензин, в 280 километрах от указанного места.

* * *

Иногда я ходил обедать к сестре Росарио, всегда державшей изумительных кухарок. К тому времени ее муж был назначен адъютантом короля и заканчивал проект подводного туннеля под

Гибралтарским проливом. Его работой интересовались правительство и некоторые компании. Ему всячески содействовали и даже предоставили в его распоряжение судно. Сестра жила хорошо, в прекрасной квартире в квартале Саламанка. Она относилась ко мне очень сердечно и настаивала на том, чтобы я жил вместе с ними. Но я предпочитал независимую жизнь, к тому же мне не хотелось ссориться с ней из-за ее сына Пимпина, становившегося с каждым днем все более несносным. Он постоянно доставлял сестре множество хлопот, но она так любила его и была настолько слепа в своей любви, что ничего не предпринимала, чтобы раз и навсегда пресечь его глупые выходки. Она не умела отказать сыну ни в чем, и все проделки Пимпина, даже самые безрассудные, казались ей прекрасными. Мальчик отлично понимал это и злоупотреблял слабостью матери, делая жизнь окружавших его людей совершенно невыносимой. Однажды моя мать пригласила на чай очень уважаемых лиц. Среди них была наша родственница Аделаида Гонсалес де Кастехон, важная особа в возрасте более шестидесяти лет, из высшего общества. Эта почтенная сеньора пошла в туалет, но как только она вернулась в салон, появился Пимпин и крикнул: «Она использовала четырнадцать бумажек!» Мерзкий мальчишка нумеровал листы гигиенической бумаги и забавлялся тем, что подсчитывал, кто сколько расходовал ее. Не могу передать, какое выражение [73] лица было у доньи Аделаиды, моей матери и всех присутствовавших! Другой раз во время обеда, на который пригласили жену аргентинского посла, подругу моей сестры, когда горничная принесла блюдо с крокетами и подошла с ним к почетной гостье, ребеночек, в то время уже достаточно во всем разбиравшийся, изо всех сил заорал: «По пять на каждого и остается три!» Он очень любил крокеты и заранее пересчитал их. Если бы все его проказы были подобного рода, им не стоило бы придавать большого значения, но время от времени он совершал непростительные поступки, тревожившие всех, кроме его матери.

В тот период я часто встречался с братом Мигелем, который бросил меня когда-то в отеле в мой первый приезд в Мадрид. Он получил уже звание подполковника, служил в кавалерийском полку под командованием полковника Гонсало Кейпо де Льяно и успешно продвигался по служебной лестнице. Мигель был симпатичным человеком, хотя и со странностями, как и все Мансо де Суньига. Раньше он не воспринимал меня всерьез, теперь же стал обращаться со мной, как с равным, очевидно найдя меня уже достаточно взрослым и менее деревенским, чем раньше. Мы все чаще стали проводить время вместе. Он

представил меня своим друзьям, среди которых были интересные люди. Между нами возникли дружба и доверие, но, к несчастью, скоро все это трагически рухнуло. Однажды, когда мы вышли из дома нашей сестры, Мигель почувствовал себя плохо. На следующий день врач сказал, что состояние больного тяжелое, - после ранения в Африке ему так и не удалось поправиться. О его болезни сообщили матери. Она приехала из Витории, едва успев застать его в живых.

И на этот раз был соблюден бессмысленный обычай хоронить умершего в семейном пантеоне под главным алтарем церкви в Канильясе. Мне поручили сопровождать тело брата. Моя мать считала такой порядок обязательным, я придерживался той же точки зрения. Началась обычная для похорон торжественная церемония переноса тела на Северный вокзал. В Аро нас ожидали представители духовенства, родственники из Витории и Риохи и капеллан. Похоронный ритуал повторился, и мы отправились в Канильяс. В деревнях, мимо которых мы проезжали, священники тоже читали молитвы по усопшему. Наконец прибыли в Канильяс, где собрались духовенство из окрестных деревень, соседи и многие местные жители. Все началось сначала. Заупокойные богослужения длились [74] целую неделю. Все эти дни в нашем доме беспрестанно кормили и поили многочисленных церковных служителей и всех присутствовавших на похоронах. В итоге погребение Мигеля в семейном пантеоне не только стоило много денег, но чуть не свело меня с ума. Еще долгое время в голове звучали похоронные мелодии.

* * *

Постоянным местом наших сборищ в Мадриде являлся аэроклуб, роскошно обставленный, с рестораном и баром, где имелся большой выбор блюд и вин по весьма дешевым ценам. В то время клуб был очень богат, большие деньги поступали от игорного зала, где делались весьма значительные ставки. Члены клуба, главным образом представители крупной буржуазии и аристократии, владели солидными состояниями. Летчики тоже играли в рулетку и бакара. Рамон Франко{43} проиграл там однажды все месячное жалованье. Вернувшись в Хетафе, он провел на аэродроме целый месяц безвыездно. Спал на кровати дежурного офицера, питался, подписывая счета в буфете, чтобы, получив деньги, повторить все сначала.

В то время в Хетафе проводились испытания автожира - изобретения инженера Хуанито де Ла Сиерва, сына известного

политика-консерватора. Автожир построили в военных авиационных мастерских. С учебного самолета «Авро» сняли крылья и взамен их поставили четыре большие лопасти несущего винта, благодаря которым машина двигалась вертикально вверх. Сам Ла Сиерва не пилотировал свой автожир, пока тот не был достаточно усовершенствован. Первые испытания провели военные летчики Спенсер и Лорига.

В Хетафе изобретателю всячески помогали: в конструкцию автожира вносили различные усовершенствования, необходимость которых выявлялась в результате опасных экспериментов. Спенсер и Лорига бескорыстно рисковали жизнью, испытывая его. Они устраняли дефекты и улучшали аппарат, на основе которого спустя несколько лет родился современный геликоптер (вертолет).

В 1921 году в Бургосе велись приготовления к торжественной церемонии в связи с переносом останков Сида-Воителя. В ней приняла участие и военная авиация, организовавшая на четырех старых колымагах воздушные гонки из Мадрида в Бургос. Я летел на учебном самолете «Хевиленд» в составе [75] экипажа капитана Хосе Луиса Урета. Нас очень беспокоила погода. От нее зависело благополучное преодоление горного перевала Пуэрто де Соммоссьера - единственного места, где мы могли перелететь сьерру, ибо потолок самолета не превышал 1500 метров.

В назначенный час мы покинули аэродром «Куатро виентос», почти царапая дорогу, миновали перевал и, оптимистически настроенные после успешного преодоления наиболее трудного участка пути, взяли курс на Бургос. Однако спустя некоторое время мотор стал давать перебои, и самолет начал терять высоту. Вскоре мотор заглох совсем. Мы решили произвести посадку на поле, которое показалось нам с воздуха ровным. Но мы не заметили предательской канавы и угодили прямо в нее. Самолет разбился, однако нам повезло: мы отделались незначительными, но неприятными ушибами: у Урета из носа текла кровь, у меня была разбита губа. Прибежавшие на помощь люди с испугом смотрели на наши окровавленные физиономии. Среди соболезнующих находилась приятная дама, владелица поместья, на территории которого потерпел аварию наш самолет. В ее комфортабельном доме нам оказали первую помощь. Но больше всего мы нуждались в обыкновенной воде: стоило нам умыться, мы сразу приобрели нормальный вид, и наша привлекательная и гостеприимная хозяйка успокоилась.

Урета и я, несмотря на ушибы, разбитый самолет и невозможность продолжать гонку, были все же довольны. Встреча с молодой хозяйкой поместья представлялась нам романтическим

приключением. Во мне родилось неизвестное дотоле чувство - «радость спасенного». Такое состояние возникало у меня впоследствии не только после несчастных случаев, но и по окончании любого путешествия.

Нам приказали, не ожидая отгрузки самолета, отправиться в Бургос на автомобиле. Прибыв туда, мы узнали о тяжелом поражении испанской армии под Аннуалем.

Военным округом в Мелилье командовал, как я уже упоминал, генерал Фернандес Сильвестре, начальник военного королевского дома{44}. Привыкший к легким победам над племенами с равнины Лараче, значительно менее воинственными, чем рифы, он, не встретив вначале большого сопротивления, продолжал легкомысленно продвигаться в глубь территории [76] противника, не обеспечив надежного тыла. Впрочем, это и невозможно было сделать из-за невероятной скудости средств, которыми генерал располагал.

Быстро наступая, Сильвестре достиг Аннуаля - ключевой позиции для выхода войск на Вилья-Алусемас. Здесь испанские войска и потерпели поражение.

После гибели генерала Сильвестре началось отступление. Вначале соблюдался некоторый порядок, пока со всех сторон не появились «дружественные» кабилы, присоединившиеся к преследовавшим наши войска рифам.

С большим трудом генералу Наварро, заместителю командующего военным округом Мелильи, удалось сконцентрировать отходившие части на позиции Монте Арруит - стратегическом пункте, довольно хорошо защищенном, но не имевшем воды.

Окруженный восставшими марокканскими племенами, считавшимися прежде дружественными, Наварро решил договориться с ними до подхода рифов, руководимых Абд-эль-Керимом. По условиям соглашения испанцы обязались сдать оружие марокканским вождям, а те гарантировали свободный выход наших войск и офицерского состава с занимаемых позиций. Но прежде чем первые испанские части ступили на дорогу, отделенную от форта маленькой тропкой, прозвучали выстрелы и началась резня. Кабилы и подошедшие рифы напали на разоруженных испанских солдат.

Марокканские вожди, находившиеся внутри крепости, догадавшись о том, что произошло, попытались спасти генерала Наварро и некоторых его офицеров. Тех, кому удалось выйти живым с Монте Арруита, вожди кабилов отвели в свои палатки. Позже Абд-эль-Керим захватил их в качестве военнопленных.

Этот рассказ в общих чертах отражает мой тогдашний взгляд

на то, что произошло в Аннуале и Монте Арруите. Он изложен в 1939 году в книге «Вместо роскоши» {45}, и я не хочу ничего изменять в нем, ибо представляю себе эти события именно так, и только так.

Новое поражение произвело в Испании огромное впечатление. Испанцы узнали о размере катастрофы по дошедшим до них отдельным сообщениям. За несколько дней мы потеряли убитыми около 8 тысяч человек. Кроме того, марокканцы [77] захватили Восточную зону со всем, что мы там имели, и подошли к воротам Мелильи, создав очень опасное положение в этом районе.

У меня, как, впрочем, и у моих знакомых, случившееся вызвало вначале замешательство, а затем негодование против «предательства» «дружественных» африканских племен. Мы преисполнились непреодолимого желания отвоевать потерянную территорию и наказать изменников, дабы восстановить престиж армии и, следовательно, Испании. Одним словом, мы поддерживали кампанию дешевого патриотизма, начатую правительством совместно с крупной буржуазией, церковью и прессой.

В то же время десятки тысяч испанцев реагировали на эти события иначе, полагая, что наказать следует не марокканцев, выполнявших свой патриотический долг и боровшихся против захватчиков, а испанцев, ответственных за эту войну. Одним словом, большая часть испанского народа считала необходимым оставить Марокко, чтобы сразу же покончить с этой проблемой, стоившей Испании огромных человеческих жертв и материальных затрат.

Атмосфера, в которой мы жили, не позволяла понять и оценить значение и справедливость этих взглядов, столь отличавшихся от наших. Она как раз помогала складыванию того идеального для правительства образа мыслей, при котором мы добровольно выполняли возложенную на нас миссию. Мы искренне думали, что наш долг - военных и испанцев - скорее отправиться в Мелилью и начать борьбу против марокканцев. Могу заверить, что в тот момент никто из нас не думал о чинах и медалях; единственным вознаграждением, к которому мы стремились, - сознание выполненного долга. Это было действительно так. На первом этапе нового наступления в Марокко, длившемся почти два года, за военные заслуги не повышали в чинах, хотя он был наиболее тяжелым за всю войну. Несмотря на это и на большие потери, люди сражались храбро.

Позже, когда восстановили порядок повышения по служебной лестнице за военные заслуги, мы, естественно, стремились и к этому. Такое честолюбие понятно, ибо в авиации, лучше всего знакомой мне, чины не дарили. Их надо было заслужить в тяжелом бою, рискуя жизнью.

Вернувшись в Мадрид, я получил направление в Хетафе, в одну из эскадрилий, формируемых для отправки в Мелилью. Как я уже говорил, Испания располагала лишь учебными самолетами. Требовалось срочно, не считаясь ни с ценой, [78] ни с другими обстоятельствами, закупить боевые самолеты для войны в Марокко. Нам достались машины «Бристоль», очень удобные в полете, но их моторы слишком часто выходили из строя. Они поднимали по десять одиннадцатикилограммовых бомб, имели

сдвоенную пулеметную установку для наблюдателя и скорость 130 километров в час.

В ту же эскадрилью получили назначение мой хороший друг и товарищ по училищу Манолильо Каскон, мой двоюродный брат Пепе Кастехон и Рамон Сириа, тот, что сломал себе ногу при испытании нашего планера в Витории.

Прибытие новых самолетов задерживалось.

На их ожидание и на последующую тренировку ушло несколько месяцев. Мы стремились использовать это время как можно продуктивнее: не только осваивали новые машины, но и безудержно развлекались. В какой-то степени мы находились в положении людей, отправлявшихся в неизвестность, не знавших, что ждет их завтра, и желавших в последний момент максимально насладиться жизнью.

Как- то мы организовали в Алькала-де-Энарес большой банкет. Из Хетафе на него приехали мой кузен Пепе, Маноло Каскон и я. Помню некоторых из приглашенных: майора Варела, по прозвищу «Варелочка дважды лауреат» (по окончании гражданской войны он стал генерал-лейтенантом, а когда умер, Франко посмертно присвоил ему звание герцога и капитан-генерала); писателя и поэта Пепе Луна, автора книги «Мартинетес» (песни фламенко); Маноло Перес де Гусмана, моего друга, очень хорошо певшего фламенко, брата де Уэльва, известного исполнителя танцев фанданго. На банкете присутствовали шесть или семь красивых девушек. Среди них была Каоба -необыкновенной красоты андалузка, прославившаяся при диктатуре Примо де Ривера скандалом, связанным с ее арестом. Дело касалось наркотиков, и сам диктатор приказал освободить ее. С Каоба приехала молодая севильская певица Соледад. В тот вечер с ней познакомился мой кузен Пепе, и эта девушка сыграла немаловажную роль в его жизни.

По окончании банкета Пепе Луна выразил желание полетать, так как до сего времени ему ни разу не приходилось подниматься в воздух. Мотор моего самолета не запускался, и мы уже договорились отложить полет на следующий день. Вдруг я увидел Манолильо Каскона, готовившего свой самолет для возвращения в Хетафе. Мы попросили его сделать вместе с Пепе Луна один круг над аэродромом. Каскон усиленно сопротивлялся. Он всегда неукоснительно выполнял установленные [79] правила. Наконец после настойчивых просьб неохотно согласился совершить двухминутный полет. Пепе сел на место наблюдателя. Они поднялись, пролетели немного, и, когда стали возвращаться обратно, мотор заглох. Маноло пытался дотянуть до аэродрома, чтобы спасти самолет, но потерял скорость и ударился о землю. Я

страшно испугался, так как чувствовал себя виновником этого происшествия. К счастью, оба отделались незначительными ушибами, а поломку самолета мы отнесли за счет инцидента во время тренировки. Пепе отправили в Мадрид, в отель «Малага», в котором он жил. Уладив дела, я поехал повидать его. Он лежал в постели, как тореадор, подхваченный быком на рога, окруженный друзьями и очень довольный. Этот случай дал ему возможность несколько месяцев рассказывать в казино «Малага» о своем приключении.

Я спросил Пепе, каковы его впечатления от полета. Прекрасно помню его слова: «Когда я услышал, как что-то затрещало, словно барабан на святой неделе, пурумпур… пурумпуррр… я сказал себе, что мы - воронье мясо, и стал заискивать перед богом, пока мы не шлепнулись…»

С тех пор мне не приходилось встречаться с веселым «малагцем». Он довольно часто пишет в «АБЦ» и подписывается с приставкой «де» - Хосе Карлос де Луна. И мне немного жаль, что и он заразился дворянской эпидемией, начавшейся в Испании с установлением диктатуры Франко.

Мы жили в период, когда авиация переживала героическую эпоху. Несчастные случаи резко участились с тех пор, как прислали военные самолеты, еще более опасные, чем учебные. На улицах постоянно можно было слышать крики продавцов газет, сообщавших об очередной катастрофе, траурные крепы на балконах аэроклуба стали обычным явлением. Люди смотрели на нас в какой-то степени как на несчастных сумасшедших, избравших своим уделом смерть в авиационной катастрофе. К нам относились с симпатией и уважением, а мы, не лишенные тщеславия, чувствовали себя польщенными и бравировали тем, что жизнь нам не так уж и дорога. Эта атмосфера баловала нас, мы вели себя не считаясь с общепринятыми нормами поведения, полагая, что нам все дозволено.

У меня вошло в привычку гулять по ночам с кузеном Пепе и Солеа, которые очень подружились. Солеа решила приобрести специальность парикмахерши и маникюрши. Все ее знакомые, в том числе и мы с Пепе, ходили с порезанными пальцами, так как она упражнялась на нас. Мы не протестовали, [80] одобряя ее желание самой зарабатывать себе на жизнь. Стояло лето. Работали кабаре на открытом воздухе. Почти в каждом из них шла карточная игра. Время от времени и мы испытывали судьбу и почти всегда проигрывали.

Однажды ночью мы наблюдали за игрой в зале кабаре «Паризиана», находившемся на месте теперешнего Университетского городка. Один господин, очевидно не раз

становившийся жертвой жульнических проделок крупье, поставил фишку в 100 песет на сукно, а затем достал из кармана двух маленьких оловянных жандармов и разместил их по бокам своей фишки.

В том же игорном зале я пережил сильное и неприятное волнение. Как-то ночью я встретил там одного из моих лучших товарищей, имевшего глупость проиграть деньги, в которых он должен был утром отчитаться. Пришлось прибегнуть к помощи друзей, но удалось собрать только третью часть нужной суммы. Он рассказал мне о случившемся со спокойным фатализмом. Это особенно взволновало меня, так как, зная его достаточно хорошо, я был уверен, что он не переживет позора изгнания из армии. Затем мой друг проделал следующее: поставил на один цвет все деньги, собранные у знакомых. Я с волнением ждал, когда шарик рулетки остановится: на сей раз все обошлось благополучно. Я вздохнул с облегчением. Не забирая денег, он продолжал играть на том же цвете и той же ставке. Я затаил дыхание. Крупье пустил шарик. Сделав несколько оборотов, тот несколько раз подскочил, прежде чем окончательно остановиться. Мне казалось, мое сердце тоже остановится еще до того, как крупье назовет выигравший номер и цвет. И снова счастье улыбнулось моему другу. Но самое чудовищное случилось дальше. Уже имея необходимую сумму, он приготовился продолжать игру. Тогда я грубо оттащил его от игорного стола и проводил домой.

Конечно, тому, кто не жил в атмосфере азартных игр, крайне распространенных тогда в Испании, мой рассказ покажется непонятным или преувеличенным. Но нет худшего порока, чем этот, ибо профессиональный игрок, когда ему нужны деньги, способен продать жену и пойти на любую подлость. Я знал такие случаи. Мне известны почтеннейшие люди, совершавшие позорные поступки, будучи охвачены игорной лихорадкой. Мой друг, «герой» только что рассказанной истории, был самым хорошим и честным человеком из всех, кого я знал. Несмотря на то что он проиграл чужие [81] деньги, в нем сохранилось еще чувство собственного достоинства. Он находился только в начале падения. Поэтому я опасался, что он покончит с собой, если не вернет их.

* * *

Несколько дней я провел с матерью в Канильясе. Возвратившись, я нашел письмо от мадридского нотариуса дона Хосе Мария де ла Торре, в котором он приглашал посетить его

контору по интересующему меня делу. Очень удивленный необходимостью обсуждать дела с таким важным нотариусом, я отправился к нему на улицу Баркилье, на углу Королевской площади. Де ла Торре сообщил мне, что моя дальняя родственница донья Амалия Гарсия дель Валье умерла и в завещании назвала меня своим наследником. Новость ввергла меня в величайшее удивление. Я никогда не думал, что эта добрая сеньора питала ко мне такую привязанность. Я даже решил, что меня спутали с кем-нибудь и мое имя ошибочно вписано в завещание.

Необычайно торжественно нотариус прочел довольно длинное завещание. Он дал мне ряд объяснений, употребляя многочисленные специальные термины, перепутавшиеся в моей голове. Я был настолько ошеломлен, что не осмелился спросить, как велико наследство. Я ушел, зная, что должен заплатить почти 30 процентов королевских пошлин, что в завещании перечислялись различные дары многочисленным родственникам и друзьям, что своей доверенной служанке она передала один дом в Мадриде и некоторые вещи, не интересовавшие меня. Но мне так и не удалось уяснить, что же останется мне самому после выполнения всех пунктов завещания.

Сообщив новость сестре и шурину, тоже удивившимся поступком доньи Амалии, я телеграфировал в Виторию матери. На следующий день в сопровождении шурина я вновь отправился к нотариусу, решив использовать свое право урегулировать вопрос о наследстве до отъезда в Марокко.

Однако дело затягивалось, поскольку необходимо было выполнить бесконечное количество формальностей. После уплаты государству 200 тысяч песет, мне оставалось 150 тысяч, что по тем временам считалось солидной суммой.

Жизнь мне улыбалась, я обладал отличным здоровьем, обожал свою профессию, пользовался симпатией товарищей, был абсолютно свободен, не имел никаких осложнений и располагал достаточными деньгами, чтобы позволить себе быть щедрым, а это приятная вещь. Казалось, все идет [82] прекрасно, но тут я получил самый жестокий в моей жизни удар: неожиданно умерла моя мать. Она приехала в Мадрид показаться врачам и скончалась в течение двух недель. Я отвез тело матери в Канильяс, чтобы похоронить в церковном пантеоне, рядом с ее сыном Мигелем, всегда питавшим к ней глубокое почтение.

Дни, проведенные в Канильясе, сильно подействовали на меня. Смерть матери оставила в моей жизни неизгладимый след. Впервые я почувствовал себя одиноким и узнал горечь невозместимой утраты.

Наконец пришел приказ отправляться в Марокко. Маршрут намечался такой: Мадрид - Севилья - Гренада, оттуда через море в Мелилью.

Мы старались как можно лучше подготовить машины к полету. В то время путешествие, которое нам предстояло совершить, было довольно серьезным. Наблюдателем ко мне назначили капитана Альфонсо Бурбона маркиза де Эскилаче - двоюродного брата короля, простого человека и хорошего товарища.

На первом этапе пути из-за поломок моторов потерпели аварию три самолета. Два из них после ремонта смогли продолжать полет, а третий, самолет Манолильо Каскона, на котором летел в качестве пассажира не кто иной, как сам командующий авиацией генерал Ортис де Эчагуэ, совершил посадку на вспаханном поле, скапотировал и основательно разбился. С экипажем ничего не случилось, но бедный Маноло был в отчаянии. Генерал чувствовал себя примерно так же, как Пепе Луна, то есть радовался, что столь дешево отделался и что газеты отвели этому событию много места.

В Севилье мы еще раз тщательно проверили моторы, так как многочисленные аварии вызывали у нас беспокойство. Но несмотря на принятые меры и небольшое расстояние до Гренады (250 километров), полет оказался тяжелым, но, к счастью, без жертв.

У меня первая авария произошла вблизи Кармона. Но мне удалось благополучно сесть на засеянном поле. Явились жандармы узнать наши имена, чтобы записать их в донесении об аварии. Когда Альфонсо назвал себя, они решили, что с ними шутят. Сержант очень почтительно, но серьезно попросил сообщить наши настоящие имена.

Устранив неполадки, мы без труда взлетели. Через пятнадцать минут, однако, мотор вновь остановился. И снова я удачно произвел посадку на маленьком лугу. [83]

Здесь повторилась та же история с именем Альфонсо, что и в Кармоне. Поскольку мы не могли исправить повреждение собственными силами, пришлось телеграфировать в Севилью, чтобы выслали механиков. На следующий день мотор исправили, но взлет с крошечного поля оказался очень сложным. В третий раз мотор сломался вблизи узловой станции Бобадилья. Почти чудом мне удалось сесть на прямой участок дороги. Опять мы послали телеграмму на аэродром в Севилью. Нам приказали разобрать самолет и погрузить его на поезд.

Из шести самолетов эскадрильи по воздуху в Гренаду прибыл только один - самолет лейтенанта Хименеса де Сандоваля.

Остальные привезли по железной дороге или на грузовиках.

Учитывая это, начальство отменило перелет из Гренады в Мелилью. С такими моторами, весьма возможно, мы утонули бы, пытаясь пересечь море. Нам приказали отправиться на аэродром Лос-Алькасерес и тренироваться в практическом бомбометании и стрельбе, а тем временем инженеры должны были заняться устранением неполадок в моторах.

В Марокко

На лето в Лос-Алькасерес съезжалось много городских жителей, зимой же деревушка становилась почти безлюдной. К услугам приезжих был скромный деревянный отель в стиле американского Дальнего Запада, где нас и поселили, так как на аэродроме единственными помещениями были ангар и деревянный домик. Местность на берегу лагуны Мар-Менор идеальна для авиашколы и базы гидросамолетов. Всю неделю мы не покидали аэродрома, тренируясь, купаясь и загорая. Климат здесь и летом и зимой - прекрасный. По субботам отправлялись в Картахену - типичный город, жизнь которого неразрывно связана с военным гарнизоном. Как и в других провинциальных центрах, «приличное общество» Картахены проводило свободное время в казино или прогуливалось по главной улице. Остальные заполняли публичные дома и кабаре. Эти заведения работали всю ночь. До 11 часов вечера мы гуляли с городскими сеньоритами на выданье, а затем с более уступчивыми девушками из народа. Таких можно встретить в любом морском порту, где стоят военные корабли. После каждой проведенной таким образом ночи у меня оставался неприятный осадок. Однако в следующую субботу повторялось [84] то же самое. Вероятно, в силу нашего образа мыслей мы не находили другого способа тратить накапливавшуюся в нас за неделю энергию, кроме как соревноваться в глупости с морскими офицерами.

Иногда мы ездили в Аликанте, тогда еще маленький провинциальный городок, с одним отелем третьей категории, где не было никаких развлечений. Англичане, имевшие обыкновение открывать в Испании всевозможные увеселительные заведения, еще не добрались туда. Кажется невероятным, но именно поэтому Аликанте, несмотря на самый лучший климат на всем побережье Средиземного моря, прекрасные берега и пляжи, мало привлекал приезжих.

Хотя с момента моего последнего пребывания в Мелилье прошло лишь два года, я нашел город сильно изменившимся. Сосредоточенные здесь для предстоявших военных действий войска превратили тихую Мелилью, какой я ее знал, в

оживленный город. Бросалось в глаза, что прибывшие из Испании воинские части снаряжены и оснащены лучше, чем несколько лет назад. Тогда автомобиль в армии являлся редкостью; только главнокомандующий и немногие командиры ездили на машинах. Остальные начальники и офицеры добирались до своих позиций с конечной железнодорожной станции на лошадях, а за неимением их - пешком. Возможность сесть на попутный интендантский грузовик или автоцистерну считалась большой удачей.

Организованная в некоторых слоях испанского общества подписка для сбора денег на подарки экспедиционным войскам, главным образом на автомобили, грузовики, кухни и одежду, в какой-то степени компенсировала скудость средств, которыми располагала армия, и облегчила жизнь личному составу. Эта волна патриотизма докатилась и до Витории. Каждая провинция считала делом чести подарить по подписке самолет. На его фюзеляже писали название провинции, на чьи средства он куплен. Вручался самолет с большой помпой. Епископ торжественно освящал его, чтобы как можно больше бомб упало на марокканцев и их семьи. Гражданские власти в напыщенных речах с восторгом говорили о героизме летчиков и призывали отомстить за «оскорбления», нанесенные Испании.

В Мелилье вновь встретились три друга детства: Рамон Сириа, Хосе Арагон и я. Арагона назначили начальником аэродромных мастерских. Однажды, возвратившись с задания, я узнал, что Сириа тяжело ранен, и отправился навестить его, [85] но пришел слишком поздно: Рамона ранило в артерию, и он умер от потери крови. Всю ночь Хосе Арагон и я провели у тела друга.

В те дни, когда на фронте не было боевых операций, мы с утра занимались разведкой и бомбометанием. После полудня одна эскадрилья оставалась дежурить на аэродроме, а личный состав остальных отправлялся в Мелилью.

Может показаться смешным или претенциозным после тысяч репортажей, фильмов и описаний боевых операций, совершенных воздушными армиями в большой европейской войне, говорить о действиях нашей авиации в этой «малой войне». Однако для нас «малая война» имела большое значение, и, кроме того, в жизни все относительно. Для Рамона Сириа, например, небольшая боевая операция, в которой он был убит, оказалась Верденом.

Совершая бомбардировочные полеты, мы проникали далеко в глубь территории противника. Мишенями нам служили, главным образом, базары и населенные пункты. Задания выполняли добросовестно. Я совершенно не задумывался над тем, что, сбрасывая бомбы на дома марокканцев, совершаю преступление. Мои переживания в то время были весьма определенны: с

момента перелета линии фронта я зависел от работы мотора. Неправильный выхлоп или просто перебой вызывали во мне страх, однако я стремился как можно лучше выполнить задание. Должен сказать, что никогда не мог приучить себя быть спокойным, пролетая над территорией противника. Как только терялись из виду наши боевые линии и до возвращения на позиции я испытывал страх. Угрызения же совести от того, что бомбы, сброшенные моими руками, приносят столько жертв, меня не мучили. Наоборот, я считал это своей обязанностью и долгом патриота. Но я отлично понимал, что, если из-за аварии в моторе или любой другой случайности я окажусь в руках врагов, они жестоко расправятся со мной. Я боялся попасть к ним живым и всегда брал с собой заряженный пистолет, которым рассчитывал воспользоваться в тяжелую минуту.

Участвуя в боевых операциях на фронте, я испытывал значительно меньше волнений, чем во время бомбардировочных полетов в тыл противника. И хотя для эффективного взаимодействия с войсками мы летали на малой высоте, следовательно, несли большие потери, нас не преследовала навязчивая мысль о возможном пленении, ибо при аварии или ранении в этом случае имелась хоть какая-то надежда спастись. [86]

Найти квартиру в Мелилье было трудно. Пепе и мне удалось снять комнату в деревянном, но удобном бараке. За стеной жил майор Хоакин Гонсалес Гальарса - командир группы эскадрилий, с которым я поддерживал дружеские отношения.

Однажды с моим кузеном произошло не совсем обычное приключение. Почти всех погибших летчиков по просьбе родных хоронили в Испании. Тела отправляли в сопровождении кого-нибудь из друзей убитого. После похорон сопровождавшие имели возможность провести семь или восемь дней дома. Поскольку желающих повидаться с семьей было много, установили строгий порядок. На долю Пепе выпала обязанность везти тело одного товарища из Кордовы, принадлежавшего к известной и влиятельной семье этого города. В Мелилье гроб погрузили на пароход, а по прибытии в Малагу перенесли на железнодорожную станцию и поместили в вагон, затем запломбировали его и отправили в Кордову. Там на станции поезд ожидали военный и гражданский губернаторы, алькальд{46}, духовенство с епископом во главе, эскадрон кавалерии, чтобы отдать воинскую честь погибшему, муниципальная гвардия и многочисленные жители города, собравшиеся проводить в последний путь своего соотечественника. Поезд остановился. Пепе вместе с другим ехавшим с ним офицером направился к военному губернатору

отдать рапорт и доложить о доставке тела для передачи семье. Епископ со свитой, губернатор и другие представители власти с печальными лицами, как и подобает в таких случаях, направились в хвост поезда, где должен был находиться вагон с телом погибшего, но, к всеобщему удивлению, вагона там не оказалось. Спросили у начальника станции. Тот в недоумении ответил, что, наверное, вагон прицеплен в голове поезда. Еще раз все важные чины с Пепе во главе прошествовали по перрону в поисках таинственного вагона, но его и там не оказалось. Выражение скорби у всех на физиономиях сменилось гримасой удивления. Негодование отцов города стало принимать угрожающие размеры. Они отправились к начальнику станции, но тому ничего не было известно, и он по телеграфу запросил Малагу. В тот момент кто-то вспомнил о Пепе. Власти, которые уже не могли больше скрывать своего неудовольствия, обрушились на него в неистовом гневе. Больше всех возмущался военный губернатор, так как он лишился возможности [87] произнести речь, которую долго заучивал и хранил в своей куцей памяти. Нервничал и епископ в своем торжественном облачении, ибо и он оказался без дела. Когда начальник станции сообщил, что на узловой станции Бобадилья вагон с покойником по ошибке прицепили к гренадскому поезду, все возвратились в город, к великому удивлению публики, ожидавшей похорон и не понимавшей причин задержки.

Нет необходимости говорить, что эта история прославила Пепе. Шутки в авиации по этому поводу жили годами, и, когда нужно было кого-либо хоронить или охранять что-либо, обычно говорили: «Позовите Пепе Кастехона!»

Чтобы утешиться, Пепе поехал в Мадрид, где встретился с Солеа, которая, освоив профессии парикмахерши и маникюрши, впервые в жизни стала честно работать. Когда отпуск у Пепе кончился, они, не раздумывая о возможных последствиях, вместе отправились в Мелилью.

Шутки ради, а также из-за желания, чтобы Солеа сама зарабатывала на жизнь, они поместили в «Телеграма дель Риф» - единственной местной газете - объявление, в котором Солеа представлялась как «маникюрша и парикмахерша отеля «Палас де Пари», приехавшая в Мелилью. Для заказов дали номер нашего телефона. На следующий день, когда мы вернулись с аэродрома, счастливая Солеа показала нам десять песет, заработанные ею на двух «жертвах», как она назвала своих клиенток. Но когда Солеа описала их внешность, мы забеспокоились. Это были жена и дочь самого вредного полковника во всем Марокко. Если он узнает, что в его доме бывает и общается с семьей подружка одного из

летчиков, скандал может дойти до верховного комиссара.

Солеа была чудесной хозяйкой. Она хорошо кормила нас, тщательно убирала квартиру и, что особенно важно, оказалась великолепной экономкой. При ней мы жили в тысячу раз лучше, расходуя те же деньги или, пожалуй, даже меньше, чем до ее приезда. Все как будто шло великолепно, но в один прекрасный день Солеа, которая была ревнива, как турок, и не без оснований, стала подозревать, что у Пепе есть еще кто-то в Мелилье. Начались сцены. В конце концов Солеа уехала в Испанию. Пепе очень скучал, но пытался это скрывать и на протяжении долгого времени страдал, как от боли в желудке.

Из- за больших потерь в летном составе и перспективы длительной войны в Марокко командование авиации организовало в Севилье курс ускоренной подготовки пилотов. Скажу без ложной скромности: назначение инструктором на эти [88] курсы застало меня врасплох. Я сам недавно начал летать, да к тому же имел только чин лейтенанта, а среди моих учеников оказались и капитаны. Но все же мне было очень приятно сознавать, что командование так высоко оценило мои способности летчика, поручив столь ответственную работу.

Сомнения и опасения по поводу того, смогу ли я справиться с обязанностями инструктора, мучившие меня, исчезли, как только начались занятия. К своим новым обязанностям я относился очень серьезно и с огромным интересом. Мне удалось заслужить доверие курсантов, после чего я почувствовал себя с ними более свободно. Прекрасно помню утро, когда решил выпустить в самостоятельный полет первого ученика. Сойдя с самолета, я дал ему последние инструкции. Беспокоился и волновался я так же, как в день своего первого полета, и, когда летчик благополучно приземлился, облегченно вздохнул.

Мое второе пребывание в Севилье было хоть и коротким, но приятным. Работа мне нравилась, летал я без ограничений, сколько хотел. Ученики ценили меня, и среди них я обрел несколько новых друзей. Кроме того, в Севилье жила одна наша дальняя родственница, настоятельница монастыря в Хересе, с которой моя мать, когда еще была жива, постоянно переписывалась. Используя свое большое влияние, эта монахиня позаботилась, чтобы мое пребывание в Севилье стало еще более интересным. Я, к большому удивлению, стал получать приглашения во многие дома на праздники и обеды. Малознакомые люди с первой же встречи относились ко мне с большой симпатией. В Севилье это было редчайшим явлением, ибо тамошняя знать жила замкнуто.

Мне нравилось такое внимание. Особенно я бывал доволен,

когда меня приглашали в загородные имения, где я мог возобновить тренировки боя с быками. Несколько раз я прилетал в поместья на учебном самолете, проделывая различные фигуры высшего пилотажа и поднимая в воздух желающих, которых всегда имелось в избытке. Естественно, это придавало праздникам особое оживление, а я становился почти знаменитой личностью.

На праздник, устраиваемый семьей Гамеро Сивико на своей скотоводческой ферме, я полетел вместе с начальником нашей школы майором Гильермо Дельгадо Бракамбури. Гильермо был симпатичным и общительным человеком, я ценил его и поддерживал с ним дружбу. Хотя он не летал уже много лет, но в Севилье пользовался славой искусного летчика. Если [89] севильцы видели в небе какой-нибудь самолет, выполняющий фигуры высшего пилотажа, они с гордостью говорили: «Это наш земляк Бракамбури, Бельмонте{47} среди летчиков». Гильермо никогда не пытался развеять эту легенду. В тот день он попросил меня проделать в воздухе несколько упражнений. Очевидно, он хотел удивить кое-кого из приглашенных женщин. Меня не пришлось уговаривать, ибо я сам любил подобные проделки. Мы устроили настоящее представление, показав все известные акробатические фигуры, а когда приземлились, гости встретили нас бурной овацией. Они окружили Гильермо, будучи уверены, что все эти трюки выполнил он. На меня никто не обращал внимания. Вдруг к Гильермо подошла жена одного из Гамеро Сивико, красивая элегантная женщина, австрийка, и весьма решительно попросила его полетать с ней. Какое-то время Гильермо в нерешительности молчал. Положение его было тяжелым. После такого триумфа он не мог раскрыть ей правду, но не мог и отказать сеньоре в ее настойчивой просьбе. С находчивостью, присущей андалузцам, Гильермо нашел выход. Поднимаясь в кабину, он сделал вид, что вывихнул запястье руки, и с гримасой боли на лице сказал: «Я не осмеливаюсь лететь с такой рукой, но Идальго де Сиснерос, тоже хороший летчик, сделает это вместо меня». Прекрасной австрийке такая перспектива, видимо, не очень пришлась по душе. Она разочарованно посмотрела на меня, но не отважилась отказаться от полета. Не скрывая неудовольствия, она заняла место в самолете, и мы поднялись в воздух. После полета, радуясь благополучному завершению приключения, сеньора любезно поблагодарила меня.

Если имелась возможность, я всегда отправлялся на праздники в загородные имения на самолете, и делал это не столько из-за удобства путешествия, сколько из-за тщеславия.

Мне казалось, что мною восхищаются, когда я выхожу из самолета в андалузском костюме, сшитом у лучшего севильского портного, с красным плащом для боя быков на руке и с нарочито безразличным видом.

Странно, что мне, баску, так по душе пришлись обычаи Андалузии. Помню свою первую поездку в Херес по приглашению одного тамошнего жителя - Пепе Хименес де ла Куадра{48}, которого все называли Хименес дель Гарахе{49} из-за его страсти к автомобилям. С нами ехал стопроцентный андалузец [90] Маноло Перес де Гусман. В Хересе они отвезли меня в Либреро, шикарное казино для состоятельных господ. Там я познакомился с несколькими владельцами знаменитых хересских винных погребов и был очень удивлен, увидев, что они пьют не свой чудесный херес, а что-то белое. Это что-то оказалось обыкновенной виноградной водкой. Попробовав, я убедился в ее великолепных качествах.

Не забуду изумительного зрелища, увиденного мною на арене для боя быков перед началом корриды: вереницу роскошных экипажей с впряженными в них богато украшенными лошадьми, управляемыми молодыми, красивыми женщинами в грациозных андалузских нарядах. По своей живописности и изяществу эта картина была совершенно необыкновенна.

Я пытался обрисовать обстановку, в которой мы жили, когда в сентябре 1923 года нас застал врасплох государственный переворот Примо де Ривера, наиболее значительное политическое событие в Испании с начала двадцатого столетия.

На следующий день после этого события в пехотных казармах созвали собрание, на которое пригласили и авиационных офицеров. На нем выступило несколько полковников, восхвалявших Примо де Ривера и высказавших уверенность, что все присутствующие поддерживают новую власть. В действительности же мы совершенно равнодушно отнеслись к перевороту. Нам было безразлично, какое правительство - гражданское или военное - будет управлять страной. Никто из нас не сознавал, какие последствия для Испании может иметь этот акт. Не помню всего, о чем говорили на собрании, но до сих пор не забыл фразу одного из выступавших, который заявил, что Примо де Ривера явился, «чтобы сделать испанцев счастливыми». С тех пор всегда, если кто-нибудь из нас становился грустным, ему напоминали, что ни о чем не следует беспокоиться, ибо Примо де Ривера заботится о его счастье.

Но меня удивило одно: я не понимал, почему Примо де Ривера, такой, как мне казалось, общительный и пользовавшийся симпатией человек, занимавший пост генерал-капитана

Каталонии, на котором, я слышал, он хорошо показал себя, бросился в эту авантюру. Зачем ему понадобилось взваливать на себя хлопоты по управлению всей Испанией?!

Первое время мне казалось, что все идет, как и раньше, но диктатура вскоре показала свои зубы. Я уже говорил, что мой друг Хосе Мартинес Арагон был прямолинейным человеком, всегда решительно отстаивающим собственное мнение. Отец Хосе служил адвокатом в Витории и пользовался большим [91] авторитетом. В политическом отношении он разделял убеждения своего близкого друга дона Хосе Каналехоса - либерала с довольно прогрессивными взглядами. Адвокат привил их и своим сыновьям - явление редкое среди крупной буржуазии, к которой он принадлежал. Итак, Хосе Арагон, прочтя в одном из обращений Примо де Ривера к испанскому народу, что «вся армия с ним», отправил диктатору телеграмму. «Когда вы говорите, - писал он в ней, - что с вами вся армия, сделайте исключение для капитана Мартинеса де Арагона, который никогда не был согласен с вами». Примо де Ривера не ответил на это послание. Хосе отправил его вторично, но снова не получил ответа. Тогда он послал по почте заказное письмо с текстом телеграммы. На сей раз ответ не заставил себя ждать: Хосе Арагона арестовали и предали суду. Согласно правилам военного суда защитником на процессе может выступать только военный, и Хосе выбрал своим адвокатом Манолильо Каскона, тоже обладавшего твердым характером. Когда началось заседание суда, Маноло попросил слова в порядке ведения процесса и произнес следующее: «Из всех генералов, командиров и офицеров, присутствующих здесь, единственно, кто находится в рамках закона, - это обвиняемый капитан Мартинес де Арагон. Все остальные, поскольку мы не протестовали против мятежа Примо де Ривера, стали его участниками и, таким образом, нарушили присягу верности конституции». Председатель суда прервал его, и заседание закончилось. Маноло арестовали и вместе с обвиняемым заключили в одну из крепостей. Приговор им вынесли без права обжалования.

Среди летчиков я был не единственным, кто возмущался этим процессом. Большая часть товарищей встала на сторону Арагона и Каскона.

Хосе Арагон, игравший важную роль в моей жизни, действительно являлся выдающимся человеком в нашей офицерской среде. Он отличался прямолинейностью, честностью, человечностью и умением понять слабости других. Наши матери дружили, и мы были знакомы еще задолго до поступления в колледж Маристов. Таким образом, с раннего возраста у нас

установились братские отношения. В детстве Хосе, как и вся его семья, был ярым католиком. Из всей нашей группы только Хосе никогда не пропускал мессы.

Но однажды, после долгого раздумья, он не пошел в церковь и с тех пор навсегда порвал с религией. Раз в год общество «Бедных сестричек» организовывало в колледже [92] обед для призреваемых, на котором мы выступали в роли официантов. Дома нам давали табак для передачи престарелым, но поскольку мы сами курили с ранних лет, то часть его брали себе на сигареты. И лишь Хосе отдавал все. Будучи курсантом военного училища в Гвадалахаре, он прочел в газете «Эральдо Алавес», издаваемой в Витории, заметку, оскорбительную для его отца. Не сказав никому ни слова, Хосе сел в поезд и вскоре появился в редакции. Там он надавал пощечин автору статьи, после чего вернулся в Гвадалахару. Я уже рассказывал, как он стал летчиком: бегал по вечерам в авиационную школу в Хетафе.

Когда Арагон начал летать, в Испании еще никто не занимался воздушной акробатикой. И вот как-то на одном из учебных самолетов, которые ломались от одного взгляда на них, Хосе удивил всех, проделав серию фигур высшего пилотажа.

Только раз я видел его пьяным, но никогда не забуду этого случая. Праздновались именины нашего товарища по пансионату, очень много пили. Хосе был сердит на свою невесту и сильно возбужден. Чья-то неосторожная фраза вывела его из себя. Он встал из-за стола, подошел к балконной двери и ударил кулаком по стеклу. Из руки потекла кровь. На шум явился встревоженный хозяин пансионата и спросил, как это произошло. Хосе серьезно ответил: «Вот так!» - и здоровой рукой, сжатой в кулак, выбил второе стекло. Пришлось отправить его в лечебницу скорой помощи.

Хосе Арагон - один из немногих известных мне молодых людей нашего круга, сохранявший абсолютную верность своей невесте, а затем жене. В одиннадцать лет он влюбился в девочку по имени Тересита Арриета. Сколько километров мы с ним отмерили по Вокзальной улице в Витории, ожидая, не выйдет ли она на застекленный балкон! Сколько раз ходили к колледжу Урсулинок{50}, чтобы только увидеть, как Тересита садится в экипаж! Его влюбленность с годами превратилась в большое чувство. Вначале Тересита не принимала ухаживаний Хосе всерьез, но потом заинтересовалась им и стала его невестой. Я не знаю, какой была любовь у Абелардо и Элоизы{51}, но Тересита и Хосе любили друг друга не менее сильно и преданно. Я не смог присутствовать на их свадьбе, так как воевал в то время в Марокко. Когда же мы вновь увиделись, Хосе, встретивший меня

на вокзале, сказал, что не будет [93] больше летать. Зная его любовь к авиации и уважение, каким он пользовался среди товарищей, я оцепенел от изумления. По дороге к дому он объяснил, что Тересита поставила категорическое условие - прекратить летать. После долгого раздумья он понял, что у жены имелись все основания требовать этого. С момента ухода Хосе из дома и до его возвращения Тересита не знала ни минуты покоя. Она заболевала каждый раз, когда читала в газетах объявления о несчастных случаях в авиации или видела траурные драпировки в аэроклубе. Так долго не могло продолжаться. Кроме того, Тересита готовилась стать матерью. Хосе решил пожертвовать своей карьерой ради жены. Он уволился в запас и посвятил себя работе инженера по отопительным системам, создав промышленную компанию. Это занятие давало ему хороший заработок, хотя он и не нуждался в нем, ибо имел значительное состояние, да и жена его получила хорошее наследство.

После военной катастрофы в Марокко в армию призвали всех офицеров запаса. Хосе назначили в Мелилью, но, верный обещанию не летать, он занял должность начальника аэродромных мастерских.

Хосе страшно ненавидел барство. В Витории я не мог заставить его пойти ни в клуб, где собиралось «приличное общество», ни в крупное казино, где устраивались веселые праздники. Он ходил в бары, которые посещала скромная публика. Ему не нравилось, как я провожу свободное время, но он никогда не критиковал меня и даже защищал перед моими родственниками, считавшими что я слишком много развлекаюсь. Он говорил им, что обо мне не стоит беспокоиться, ибо я один из немногих, умеющих ходить по грязи, не замаравшись. Нам нравилось проводить время вместе, но у каждого из нас была и своя жизнь. Постепенно я проникался к нему все большим уважением, ценя его образ жизни и мыслей, хотя он и был противоположен моему. Мы часто спорили, но спустя какое-то время я убеждался в правоте Хосе. Он был первым встретившимся мне человеком, никогда не ругавшим большевиков.

Завершив в Севилье обучение курсантов, я возвратился в свою эскадрилью в Мелилью. Каскон и Арагон, отбыв наказание, тоже вернулись на прежние должности.

В те дни я познакомился с Франсиско Франко{52}. Он имел звание майора и командовал бандерой{53} в Иностранном [94] легионе. Франко приехал на аэродром, чтобы отсюда отправиться на самолете в один из военных лагерей.

Подполковник Кинделан, командовавший авиацией в Мелилье, собрал нас и объявил, что Франсиско Франко из

Иностранного легиона решил воспрепятствовать осуществлению плана Примо де Ривера уйти из Марокко, война с которым стоила Испании стольких жертв. Очень скоро мы узнали, что со стороны Франко это был лишь маневр для привлечения сторонников. (В действительности же Франко и его друзья хотели заставить Примо де Ривера восстановить отмененный им порядок присвоения чинов за военные заслуги. Мильян Астрай, Франко и им подобные стремились добиться получения высших воинских званий, не дожидаясь истечения предусмотренного уставом срока.) Кинделан поддержал Франко и хотел знать, можно ли на нас рассчитывать. Это сообщение застало всех врасплох, ибо мы впервые услышали о том, что Примо де Ривера решил вдруг оставить эту территорию. Я не знал, что ответить. Думаю, другие испытывали то же самое. Некоторое время царило гробовое молчание, создавшее весьма напряженную обстановку. Разрядил ее Хосе Арагон. Спокойно, но твердо он заявил, чтобы на него не рассчитывали. Он не согласен как с захватом власти Примо де Ривера, так и с предложением Франко и, хотя совершенно не симпатизирует войне в Марокко, считает, что наступило время покончить с волнениями в армии. Вновь воцарилась напряженная тишина. Кинделан не предвидел такого оборота и не нашелся что ответить. В авиации больше не возвращались к обсуждению этого вопроса. Через некоторое время порядок повышения в чинах за военные заслуги был восстановлен.

Арагон, как только закончился срок его пребывания в Африке, вновь попросил об увольнении в запас и вернулся к своим отопительным системам.

Вскоре был получен приказ о срочной переброске эскадрильи в Тетуан, где испанские войска вновь потерпели поражение, не менее жестокое, чем под Аннуалем. Марокканцы подошли к воротам Тетуана, установили на ближайших высотах несколько пушек и начали обстрел города. Прилетев туда, мы убедились, что положение очень серьезное. Большая часть наших позиций (прежде всего небольших, находившихся на гребнях гор) была окружена противником. Без воды, продовольствия и почти без боеприпасов, войска держались из последних сил. Они нуждались в немедленной помощи. Находившиеся в распоряжении командования немногочисленные наземные [95] части обороняли Тетуан, подкрепления же, вызванные срочно из Мелильи и Испании, еще не прибыли; к тому же требовалось хоть какое-то время, чтобы подготовить их для дальнейшего использования. В этих условиях единственной боеспособной силой оказалась наша эскадрилья. Она начала действовать сразу же, в день своего прибытия, не теряя ни часа. Сбрасывать мешки с брусками льда

на маленькую позицию, расположенную на вершине горы и окруженную противником, было для нас делом новым. Оно оказалось нелегким: чтобы груз попал внутрь проволочного заграждения, приходилось опускаться очень низко, летя на высоте всего нескольких метров над землей, и, естественно, марокканцы изрешечивали нас пулями. В первый же день они сбили три самолета. Мы потеряли два человека убитыми и три ранеными. Погибший в этом бою капитан Карильо, командир эскадрильи, был одним из самых талантливых испанских летчиков. Обстановка на фронте складывалась тяжелая. Несмотря на огромные усилия авиации, мы могли снабдить наши зажатые в кольце позиции лишь небольшим количеством продуктов, воды и боеприпасов.

Со временем мы научились выполнять задания с большей эффективностью и меньшим риском. Сомкнутым строем на задания вылетали три самолета, средний вез мешки с грузом. Подлетев к нашим позициям, летчики производили глубокое пикирование, в это время наблюдатели на боковых самолетах обстреливали окрестности из пулеметов, а средний сбрасывал груз. Марокканцы близко подступили к нашим линиям, поэтому мы не могли бомбардировать их. Новая тактика позволила нам в течение нескольких дней дышать свободнее, но вскоре противник разгадал этот трюк, и наши потери вновь возросли. Летчики заметно погрустнели. Рано утром, приезжая на аэродром, мы первым делом шли смотреть, какова гора подготовленных для сбрасывания мешков, и подсчитывали количество вылетов на сегодняшний день.

Я не помню точное число наших потерь в этих операциях, но могу заверить: они были кошмарно большими - свыше 30 процентов летного состава. Добавьте к этому постоянное напряжение, так как полеты производились с рассвета и до ночи, ибо от наших действий зависела жизнь гарнизонов.

Успехи в Мелилье и Тетуане, должно быть, вскружили Абд-эль-Кериму голову, так как он допустил серьезную ошибку. Не закончив войны с испанцами, он атаковал французов и одержал над ними значительную победу, пожалуй даже [96] более значительную, чем над нами. Однако он не учел возможной реакции французского и испанского правительств на столь тяжелые поражения, и это оказалось гибельным для него. Руководители обоих потерпевших государств решили объединить свои силы и, не считаясь с жертвами, покончить с восстанием и его руководителем{54}.

В Испании и во Франции началась ускоренная подготовка к совместным операциям. Эскадрильям, действовавшим в Тетуане и

понесшим большие потери, было приказано вернуться в Мелилью для реорганизации, пополнения материальной части и личного состава, в чем мы особенно нуждались. Но через три дня я получил приказ срочно явиться в Мадрид.

Авиация, которую раньше воспринимали чуть ли не как своего рода спорт, стала в центре внимания верховного командования армии. Воздушные операции в Марокко показали, какие колоссальные возможности таит она в себе как новый вид оружия. В военном министерстве хорошо понимали, что для эффективного использования нового оружия его прежде всего необходимо хорошо изучить. С этой целью организовали курсы для видных армейских командиров, способных занять высокие посты в авиации.

Преподавателями были назначены Алехандро Гомес, Спенсер и я. Такое поручение удивило меня. Выбор, павший на Спенсера, показывал, какое значение командование придавало курсам, ибо Спенсер, несомненно, являлся лучшим летчиком в Испании. Он прекрасно знал материальную часть самолета и обладал высокими личными качествами. С другой стороны, такое назначение свидетельствовало, что в армии происходит настоящая революция, превратившая нас, лейтенантов, в учителей авторитетных полковников. Одним словом, подобное доверие могло удовлетворить любое тщеславие, каким бы большим оно ни было. Слушателями курсов стали полковники Нуньес де Прадо из кавалерии, Ломбарте из артиллерии, Гонсалес Карраско, Кампин, Бурбон, Бальмес и еще двое [97] из пехоты, фамилии которых я не помню. Обучение проходило нормально. Все, за исключением Гонсалеса Карраско и Ломбарте, успешно закончили курсы и получили звание летчиков 3-го класса.

В то время я жил у сестры Росарио и шурина Жевенуа. После смерти матери мы решили снять квартиру побольше. Я вносил свою долю квартплаты и имел отдельную комнату. Наша новая квартира находилась на Пасео де ла Кастельяна, куда перевезли часть мебели из Канильяса. Небольшое наследство, оставленное Росарио и мне матерью, мы разделили без каких-либо недоразумений, что случалось редко в нашей среде. Мы с сестрой даже соревновались в великодушии. Будучи холостым и получая хорошее жалованье, я мог позволить себе роскошь - подарить сестре дом в Канильясе со всем имуществом и слугами, включая капеллана.

Помимо комнаты в квартире сестры я нанимал вместе со Спенсером квартиру в квартале Саламанка. Помню, довольно долгое время меблировка ее состояла всего из двух кресел.

По окончании занятий на курсах мне было приказано отправиться в Барселону на крейсер «Рио де ла Плата», где находилась школа морской авиации. Обычная и морская авиация решили обменяться офицерами. Моряки отправили пять курсантов в нашу летную школу в Альбасете, а я с четырьмя другими товарищами поехал в Барселону, чтобы стать морским летчиком.

Попытаюсь вспомнить кое-что из тогдашних каталонских впечатлений. Никогда не думал, что Барселона так отличается от Мадрида. Увиденное там помогло мне с достаточной объективностью осудить столицу Испании и ее жизнь. Я не бывал еще в больших европейских городах, но из книг и рассказов очевидцев у меня создалось о них довольно определенное представление, позже подтвердившееся. Конечно, Барселона значительно отличалась от крупнейших европейских городов. Но по сравнению с нею Мадрид казался маленькой деревней, где все жители знали друг друга. Не выходя за рамки общепринятых норм и обычаев, в Барселоне можно было вести двойную и даже тройную жизнь.

Наша группа состояла из майора артиллерии Рамоса, капитана Перико Ортиса и трех лейтенантов: Гутиереса (Эль Гути), Сбарби и меня. Мы обосновались в довольно приличном пансионате. Его владелец, сеньор Висенс, стопроцентный каталонец, был вежлив с нами, уважал, как состоятельных клиентов, хотя и смотрел на нас словно на редких насекомых, [98] сравнивая с другими своими жильцами - серьезными людьми, ведущими весьма размеренную жизнь. Его удивляло, что мы заказывали еду сверх положенной нормы, часто не показывались в пансионате по нескольку дней, не предупреждая хозяина и не требуя вычетов из месячной платы. Каждый раз во время обеда сеньор Висенс подходил к нашему столу и, указывая на аляповатую вазу с искусственными цветами, обращался с одним и тем же вопросом: «Вы уже посмотрели на них?» Мы отвечали утвердительно, и он уносил ее на другой стол. На шестой или седьмой день нашего пребывания в пансионате майор Рамос полетел на гидросамолете приветствовать свою невесту; должно быть, Рамос совершил несколько кругов над ее домом и на последнем, потеряв скорость, упал на него. Поскольку катастрофа произошла в центре Барселоны, газеты много писали о ней, помещая сообщения на первых полосах. Когда после случившегося мы вошли в столовую и попросили убрать прибор Рамоса, а затем приступили к обеду, как и в обычные дни, все сидевшие за столом смотрели на нас с состраданием.

Узнать жизнь армии и особенно флота можно, только

непосредственно принимая участие в ней. Вступление четырех армейских офицеров в одно из морских соединений было явлением необычным. Особенно если учесть, что моряки всячески старались, чтобы посторонние не совали свой нос в их дела.

И вот однажды утром с некоторым предубеждением, но испытывая огромное любопытство, пять летчиков явились на крейсер «Рио де ла Плата». Мы сразу же заметили, что решение высших сфер об обмене офицерами не одобрялось здесь. В программе, выработанной для нашего обучения, ясно чувствовалось стремление ее авторов держать нас подальше от морской авиации.

Нам выделили хорошего и симпатичного инструктора. Жаль, не могу вспомнить его фамилии. Через три или четыре дня мы стали самостоятельно летать на гидросамолетах. С этого момента стена изоляции рухнула. К большому неудовольствию начальника школы, мы просунули свой нос в морскую авиацию. Понемногу у нас завязалась дружба с нашими коллегами, положившая конец холодным отношениям первых дней.

Вообще же морская авиация значительно отставала от нашей. Ее личному составу не хватало того энтузиазма и той любви к своей профессии, которые испытывали мы. Среди [99] морских летчиков лучшие специалисты были из рядовых и сержантов, на которых офицеры смотрели как на шоферов. Офицеры летали мало и производили впечатление людей, презиравших пилотаж, но всегда стремившихся дать понять, что только они, и никто больше, способны отдавать приказы. Офицерский состав представлял собой особую касту, рьяно защищавшую свои привилегии, приобретенные в давние времена и еще продолжавшие жить.

Рядовые летчики и младшие командиры относились к нам с искренней симпатией и проявляли ее всегда, когда представлялась возможность. Мы обращались с ними просто и сердечно, что было для них непривычно. Офицеры и матросы делились как бы на две касты: высшую, со всеми привилегиями, и низшую, только с обязанностями.

С подобным отношением к подчиненным мы столкнулись впервые. На наших аэродромах между солдатами, младшими командирами и офицерами существовали сердечные человеческие отношения, как между членами одной семьи. Я ничего не имею против флота. Наоборот. Многие мои предки были моряками. Некоторые из них даже довольно известными, например дон Балтазар Идальго де Сиснерос, командовавший «Святейшей троицей» - самым большим кораблем испанского флота, принимавшим участие в Трафальгарском сражении{55}.

Но я не буду искренним, если скажу, что общение с моряками оставило у меня хорошее впечатление. Нормы поведения во флоте и стремление к обособленности объяснялись не столько гордостью и боязнью разглашения каких-то тайн, сколько горячим желанием моряков сохранить свои традиции и привилегии, дававшие им материальные выгоды. Так, крейсер «Рио де ла Плата» не имел котлов и был непригоден для плавания. Он стоял на якоре в порту и использовался как помещение для школы. Нас удивило, что судно находится в трех-четырех метрах от пирса и до него приходилось добираться на шлюпке. По приказу часового матрос на весельной шлюпке приставал к пирсу, брал человека и доставлял его к трапу крейсера; чтобы вернуться на берег, требовалось проделать ту же операцию в обратном порядке.

Мы, конечно, поинтересовались, почему нельзя пришвартовать корабль к пирсу, чтобы можно было подниматься [100] и спускаться с него по сходне. Но ответа не получили. Решили, что это, видимо, причуда или какая-то морская традиция, но позже узнали: по существовавшим правилам, если корабль находится в море или стоит на якоре в порту, но не пришвартован к пристани, его экипажу выплачивается дополнительное вознаграждение. Поскольку крейсер «Рио де ла Плата» находился в нескольких метрах от пирса, его команда получала такую надбавку. Можно было бы сослаться и на другие примеры, убедительно подтверждавшие, что многое во флоте было не так уж романтично.

Но, повторяю, особенно потрясло меня отношение офицеров к судовой команде. Однажды ночью на крейсере устроили ужин, чтобы отпраздновать наши первые самостоятельные вылеты на гидросамолете. Все было хорошо организовано, все нам нравилось, пока не прибыло несколько девиц, приглашенных для оживления праздника. Офицеры развлекались, пили, острили, не стесняясь в выражениях и действиях, и при этом не обращали никакого внимания на матросов, которые обслуживали нас на протяжении всей ночи в качестве лакеев. Могу заверить: на наземных аэродромах такое было бы невозможно. Если бы какой-нибудь офицер попытался сделать нечто подобное, товарищи воспрепятствовали бы этому.

Унизительные обычаи и манера обращаться со своими людьми, разумеется, не могли не сказываться на отношении матросов к офицерам.

Прошло немного времени, и факты подтвердили правильность наших наблюдений о слабости подготовки летчиков морской авиации. Во время боевых операций в Марокко по взятию

Вилья-Алусемаса эскадрильи французского и испанского флотов действовали совместно. Мы находились в одинаковых для выполнения боевых заданий условиях. С первых же дней французские летчики показали себя с самой лучшей стороны. Летчики же испанских морских эскадрилий просто опозорились. Мы уже заранее знали: если боевое задание поручено нашим морским летчикам, резервная эскадрилья должна обязательно подняться в воздух и выполнить приказ вместо них. Всегда находилась какая-то причина, мешавшая им справиться с заданием.

Получив звание морского летчика, я был назначен на базу гидроавиации в Мар-Чика, в Мелилье. База располагала довольно хорошими германскими гидросамолетами «Дорнье Валь». Одной из двух расположенных здесь эскадрилий командовал капитан Перико Ортис, другой - Рамон Франко. [101]

Начались боевые операции. Их целью было приблизить наши позиции к Вилья-Алусемасу, где укрепился Абд-эль-Керим. Продвижение шло довольно медленно, марокканцы, воодушевленные предыдущими победами, упорно защищали каждую пядь своей территории. К тому же они были хорошо вооружены захваченным у нас оружием. Морской авиации поручалось разведывать и бомбить главные силы противника, расположенные в населенных пунктах, удаленных от наших линий, но относительно близко лежащих от моря. Мы довольно часто значительно углублялись в тыл марокканцам, хотя нашему командиру всегда казалось, что мы летаем недостаточно далеко. Почти каждый раз гидросамолеты возвращались изрешеченные пулями, как садовая лейка, а иногда с убитым или раненым членом экипажа.

На пять гидросамолетов эскадрильи имелось шесть летчиков, и по решению Ортиса в боевые полеты мы отправлялись с ним вместе. Для него это было прогулкой, для меня - тяжелой нагрузкой, ибо я постоянно испытывал страх. Я никогда не говорил Ортису об этом, скрывая свои чувства под смехом кролика, словно был храбрее самого Сида-Воителя.

Другая задача, которая возлагалась на морскую авиацию, - прикрытие самолетов, фотографировавших местность и обстреливавших из пулеметов неприятельские пушки, установленные на скалистых берегах в местах наших предполагаемых высадок. Летчики с наземных аэродромов охотно летали в сопровождении гидросамолетов, всегда готовых подобрать их в случае, если они будут сбиты.

Во время одной из таких операций в мотор самолета, пилотируемого капитаном Гонсалесом Хилом, попала пуля.

Летчик немедленно развернулся в сторону моря, чтобы не попасть в руки противника, и приказал сержанту-стрелку приготовить два спасательных пробковых круга, имевшихся в самолете на случай аварии. Но сержант, доставая их, выронил один круг за борт, немедленно крикнув Гонсалесу: «Мой капитан, ваш круг упал!» К счастью, Хил прекрасно плавал и мог без спасательного круга ждать, когда другой гидросамолет подберет его. Эту ставшую знаменитой историю долго потом рассказывали в авиации как анекдот. Но я могу заверить, что она совершенно правдива.

После того как распространились слухи (оказавшиеся впоследствии ложными), что Абд-эль-Керим купил самолеты, единственную испанскую эскадрилью истребителей перебросили в Мелилью. Она была оснащена самолетами английского [102] производства «Мартин-Сайд», удобными в полете и позволявшими делать любые фигуры высшего пилотажа. Летать на них доставляло истинное наслаждение. Эту эскадрилью называли «Свадьба и крестины», так как она принимала участие в праздниках, встречах и проводах важных лиц, то есть во всех фронтовых торжествах. Быть в составе этой эскадрильи считалось большой честью. Существовало мнение, что в нее назначали самых способных летчиков. Зная мою слабость, не следует удивляться, что я немедленно стал просить о переводе меня в эту часть. Прошло несколько месяцев, прежде чем появилась вакансия. Однажды, когда эскадрилья участвовала в проводах какого-то высокого лица, в воздухе столкнулись два самолета и два лучших летчика - лейтенанты Матео и Морено - разбились. Их места заняли Перико Ортис и я. Ортису, назначенному командиром эскадрильи, не давало покоя приставшее к эскадрилье прозвище «Свадьба и крестины», и он предложил помимо традиционных обязанностей выполнять боевые задания непосредственно на линии фронта и в тылу противника. Одним словом, получалась своего рода двойная добровольная нагрузка. Переходя в истребительную эскадрилью, я ни в коей мере не обманывал себя, - просто хотел летать на хороших самолетах и при случае демонстрировать свое умение выделывать в воздухе всевозможные трюки. Меньше всего я намеревался пускаться в опасные авантюры, ибо немало испытал, летая на гидросамолетах. Сбарби и Гути, назначенные в эскадрилью вслед за нами, тоже не рассчитывали на такой оборот дела. Они чувствовали себя слишком утомленными. В нашего же командира словно вселился бес, как будто Ортис хотел быть убитым или попасть в плен. С каждым разом мы выполняли на истребителях все более опасные задания, все дальше проникая в глубь

территории противника. Из-за самолюбия мы не решались сказать Ортису, что уже достаточно пережили и нас больше не радуют поздравления, время от времени получаемые от высшего начальства. Тщеславие и стремление показать себя снова сослужили мне плохую службу.

Как- то к нам пришел лейтенант Рикардо Гарридо и в отчаянии пожаловался, что его родители и жена постоянно отравляют ему жизнь, настаивая на уходе из авиации. Поэтому он решил пригласить их вечером на аэродром и попросил меня проделать на истребителе несколько упражнений воздушной акробатики. Если они увидят, что даже такие трюки не обязательно кончаются трагически, то поймут: авиация не столь [103] уж опасна. Спустя два дня на аэродроме появились его родители, жена и брат. Я сел в самолет и в течение получаса демонстрировал различные фигуры высшего пилотажа, способные произвести наибольшее впечатление. Приземлившись, я спокойно катился к стоянке, когда, на мое несчастье, у самолета сломалось колесо, он скапотировал и перевернулся, а я, получив сильный удар о заднюю часть одного из пулеметов, рассек губу и, как баран на ордене «Туазон д'ор» {56}, остался висеть на поясных ремнях. Почти в бессознательном состоянии, с кровоточащей губой и разбитым носом меня вытащили из самолета. И хотя ничего страшного не произошло, излишне говорить, каким оказался успех демонстрации безопасности в авиации.

Вскоре я получил приказ срочно явиться в Мадрид. Начался следующий этап моей авиационной жизни, значительно более бурный и насыщенный событиями.

Я никак не мог понять, чем руководствовалось управление авиации, купив четыре самолета «Фарман Голиаф» - настоящих мастодонтов, пригодных разве только для гражданских линий Париж - Лондон, где они и использовались с 1919 года. В военной авиации этим самолетам трудно было найти применение.

С «Голиафами» у меня произошла та же история, что и с верблюжьими конвоями во времена генерала Сильвестре и с эскадрильей истребителей в Мелилье. Я напросился на эти самолеты отчасти из-за любопытства, но, главное, движимый желанием отличиться. Проклятое тщеславие и здесь вовлекло меня в авантюру.

В Мадриде мне сообщили, что фирма «Фарман» уже сдала первую из четырех машин и я должен перегнать ее на севильский аэродром - единственный, имевший ангар, в котором могли разместиться эти монстры.

Перелет на «Фарман Голиаф» преследовал пропагандистские цели, и французы поинтересовались, нет ли среди испанских

летчиков добровольца, желающего совершить его. Не подумав, я вызвался сделать это. В мою бытность инструктором в Севилье я видел один из таких самолетов. Его пилотировал, если не ошибаюсь, знаменитый французский летчик Босутро. Босутро провел со мной два или три полета, не выпуская управления из рук, а затем заявил, что я могу [104] пилотировать машину самостоятельно. Но я не был в этом уверен, водить подобные самолеты мне не приходилось.

Я приехал на аэродром «Куатро виентос», где находился «Голиаф», и попросил французского летчика совершить со мной несколько полетов, объяснить действие неизвестных мне бортовых приборов и рассказать о возможных «подвохах» боковых моторов, с которыми мне придется лететь впервые. Но француз должен был срочно вернуться в Париж, и в «Куатро виентос» не оставалось никого, кто знал бы эту машину.

У самолета меня встретили два механика и радист, только что назначенные на «Голиаф». Они, так же как и я, не знали самолета. Мы залезли в машину и довольно долго возились в ней, стараясь разобраться в ее особенностях. Я очень волновался, так как на следующий день нам предстояло отправиться на этом мастодонте в Севилью и мне самому предстояло разрешать все затруднения, которые могли возникнуть в пути. В моем положении казалось бы вполне естественным откровенно рассказать о своих сомнениях и попросить необходимую помощь. Но я опасался, как бы не подумали, что я трушу. В авиации между летчиками сложились простые, откровенные и дружеские отношения, мы часто доверительно делились друг с другом своими переживаниями, однако всегда придерживались неписаного правила: никогда не признаваться, что хоть на йоту испытываешь страх. Итак, на рассвете следующего дня, сильно волнуясь, я поднял в воздух огромный самолет с двумя механиками и радистом на борту. По их спокойным лицам я понял, что мне удалось скрыть свое волнение. Спустя почти пять часов после начала полета (самолет делал лишь 120 километров в час вместо официальных 150), показавшихся мне вечностью, поскольку каждую минуту я ожидал каких-либо осложнений, мы увидели Севилью. Опустившись на землю, я испытал уже упоминавшееся мною чувство «радости уцелевшего».

Командование решило превратить Севилью в основную базу для «Голиафов». Здесь имелись хорошее укрытие и ремонтные мастерские. Один из самолетов всегда должен был находиться в Марокко для выполнения боевых заданий. Поскольку там он стоял под открытым небом и много летал, через 20 или 25 дней его отправляли в Севилью на ремонт, а в Мелилью посылали

следующий, уже отремонтированный самолет.

Все мы с удовольствием прилетали на несколько дней в Севилью, поэтому я составил четкий график этих отпусков. [105]

Вторым пилотом ко мне назначили лейтенанта Ристола - из юридического корпуса, моего бывшего ученика.

Севильский аэродром Таблада, расположенный в излучине реки Гвадалквивир, являлся единственным в своем роде. Его здания, построенные с большим вкусом, красиво вписывались в окружающий пейзаж. Они утопали в великолепных садах, всегда полных цветов. Их аромат, тонкий и сильный, ощущался даже на аэродроме, уничтожая специфические запахи касторового масла и бензина. Уже с первых минут у иностранцев, прилетавших в Таблада, Андалузия вызывала восхищение. Посадочные площадки аэродрома были так живописны, что казались специально сделанными для показа туристам. Отдавая землю под аэродром, муниципалитет Севильи не упразднил веками существовавшего обычая - использовать Таблада, где имелось хорошее пастбище, для выгона скота. Посадочная полоса аэродрома всегда была заполнена коровами, телятами и быками, забракованными скотоводческими фермами для коррид. Мы привыкли к подобной картине и не видели ничего необычного в том, что перед отправлением самолетов на летное поле выезжала машина и сгоняла с него скот. Эту старую машину называли «бычьим Фордом». Под таким названием она фигурировала и при назначении дежурств и в приказах по аэродрому. Как только затихал шум пропеллеров, животные постепенно снова возвращались.

Со скотом, постоянно разгуливавшим по аэродрому, связано множество историй: иногда экипажи самолетов не могли выйти из машины, иногда происходили столкновения с быками. Мне не раз приходилось, прибыв на Таблада, сажать самолет прямо в середине пасущегося стада. Понятно удивление иностранцев, впервые видевших аэродром, заполненный быками.

Севилью тех времен я вспоминаю с большой теплотой. Моего двоюродного брата Пепе направили летчиком-испытателем в мастерские, где ремонтировались наши «Голиафы». Он жил в хорошей квартире вместе с Солеа, с которой снова помирился. Часто мы отправлялись гулять втроем. Особенно нам нравились поездки в окрестные таверны в экипаже, запряженном лошадьми. В небольших загородных ресторанчиках мы пили мансанилью и слушали фламенко. У Солеа был небольшой голос, но пела она с чувством, и профессионалы ценили ее за глубокое проникновение в характер цыганского пения. Лично мне с течением времени фламенко начали нравиться. Именно с течением времени. В свое

первое пребывание в Севилье я имел счастье, или несчастье, общаться [106] с друзьями, увлекавшимися пением фламенко. Мне оно не доставляло удовольствия, но я не осмеливался признаться в этом, боясь потерять репутацию. Часами (праздники фламенко никогда не кончались) я скучал и страдал, слушая пение с видом человека, всем существом наслаждавшегося им. Вероятно, я неплохо играл свою роль, ибо прослыл в Севилье большим любителем фламенко. Иногда меня просили оценить ту или иную песню. Я напрягал все свои актерские способности, стараясь казаться заинтересованным, и произносил несколько незначительных фраз. Репутация знатока стоила мне немалых денег, ибо я вынужден был часто посещать таверны, и при моем появлении официанты спешили объявить певцам, что прибыл «дон Инасио».

В конце концов я привык к шуму праздников фламенко, а спустя несколько лет уже мог сказать, что они мне почти нравятся.

Я уже говорил, что Солеа была страшно ревнива и устраивала Пепе частые сцены. Очередная не заставила себя ждать и проходила особенно бурно.

Пепе как- то сказал Солеа, что отправляется на два дня в Мадрид по делам службы. На самом же деле он поехал с одной из подруг Солеа в Малагу. Об этой проделке ей стало известно в ту же ночь. Солеа превратилась буквально в дикого зверя. Схватив ножницы, она разрезала на куски форму и штатские костюмы Пепе, превратив брюки и пиджак в метелки для смахивания пыли. После чего она села в мадридский экспресс и укатила. Когда Пепе вернулся, его глазам открылось печальное зрелище. Взбешенный Пепе разыскал меня и потащил к себе на квартиру. Несмотря на негодование кузена, я разразился хохотом и был вынужден признать, что проделка Солеа, хотя и обошлась Пепе довольно дорого, все же забавна.

Конца этой истории я не знаю, так как должен был отправиться на «Голиафе» в Мелилью со своим родственником Рикардо Эспехо маркизом де Гонсалес де Кастехон, полковником инженерных войск, назначенным заместителем командующего авиацией. На фюзеляже моего «Фармана» севильский художник Хуанито Ла Фита с большим мастерством изобразил Давида, метающего из пращи камень в гиганта Голиафа. Это было настоящее произведение искусства, и, где бы мы ни приземлялись, оно всегда имело большой успех.

Мой дядя Рикардо, одетый в костюм времен Наполеона III, имел необычайно живописный вид: коричневая фетровая [107] шляпа с высокой тульей, галстук пластрон и ботинки на

пуговицах. Долго живя во Франции, он говорил по-испански с акцентом, употребляя иногда французские слова. Дядя носил титул маркиза, имел крест лауреата Сан Фернандо, являлся кавалером ордена Калатравы, располагал большим состоянием, владел отелем на Кастельяна, а теперь получил назначение на должность заместителя командующего авиацией, хотя ничего не понимал в ней. Этот оригинальный человек питал ко мне истинную слабость. Она проявлялась прежде всего в том, что он приглашал меня на ужин в казино «Сиудад Линеаль» и возил в своем великолепном экипаже, который обращал на себя всеобщее внимание, ибо был единственным в своем роде.

Дяде нравились эстрадные артистки из театра Казино. Время от времени он посылал им цветы и конфеты, однако при встрече ограничивался улыбками и похлопыванием по щечкам. Он не осмеливался на большее, и отнюдь не из-за недостатка желания, а скорее из страха попасть в ад, ибо добродетельный маркиз был необычайно набожным. Если к нему приезжала жена, он приглашал меня к себе в дом, но это уже было менее интересно, так как обычно в этих случаях мы все отправлялись повидать его сына, находившегося в интернате иезуитского колледжа в Чамартине.

Когда дядя стал заместителем командующего авиацией, полковник Сориано, наш командующий, выпроводил его (думаю, не с самыми лучшими намерениями) инспектировать воздушные силы в Марокко. Меня же дядя взял с собой скорее как адъютанта. На «Голиафе» с Давидом, изображенным Ла Фитом, мы отправились из Севильи в Тетуан. Инспекционная поездка дяди началась.

На следующий же день после прибытия в Тетуан мы вылетели в Мелилью. На борту самолета находилось восемь человек. Надо сказать, первое африканское турне доставило маркизу немало неприятностей. На половине пути, вблизи Вилья-Алусемаса, один из моторов стал угрожающе терять обороты, а предстояло пролететь еще 70 километров, чтобы достичь гор, за которыми находились наши позиции. Мы пережили 30 драматических минут, боясь потерять скорость и упустить из виду узкий проход в горах - единственное место, где можно было перевалить через них. По мере приближения к перевалу нам казалось, что он поднимается все выше и выше, и мы все больше сомневались, сможем ли преодолеть его. Наконец, едва не касаясь скалистых вершин, самолет миновал [108] горы и мы оказались над нашей территорией, по счастливой случайности не встретив марокканцев на своем пути и избежав их огня.

Машина благополучно приземлилась вблизи одной из наших

передовых позиций. Я уже несколько раз признавался в своем тщеславии. И сейчас с некоторой гордостью вспоминаю, как члены экипажа «Голиаф», едва мы сели, взволнованные, подошли ко мне и искренне поздравили с благополучным окончанием полета. Они поздравляли и обнимали меня так, как это делают товарищи по футбольной команде, игрок которой забил решающий гол. Я же, на протяжении всего пути сохранявший спокойствие, теперь, так сказать, задним числом, осознал грозившую нам опасность и был растроган этими проявлениями признательности. Радист, механики и особенно три летчика, летевшие на «Голиафе» в качестве пассажиров, прекрасно понимали, чего нам удалось избежать. Мой дядя Рикардо по поведению других понял, что произошло что-то необычное, но оставался спокойным.

В тот день я познакомился с будущим асом нашей авиации, тогда еще лейтенантом интендантской службы Карлосом де Айя. Он находился в составе автомобильной роты, рядом с которой мы сели, и первым подъехал к нам на мотоцикле. Карлос де Айя с радостью предложил нам свои услуги, сказав, что в его части есть хорошие механики и он предоставляет их в наше распоряжение. Айя добивался назначения в авиацию и ждал приказа. Воспользовавшись встречей с заместителем командующего авиацией, он намекнул ему о своем страстном желании летать и нетерпении, с каким ожидает уведомления из «Куатро виентос».

Нас перевезли в лагерь, и, пока мой набожный дядя присутствовал на мессе, которую служили по воскресеньям на позициях, мы выпили по нескольку бокалов вина за счастливое окончание полета.

Летчики в Мелилье приняли дядю холодно. Их справедливо возмущало назначение на высокий командный пост человека, никогда не имевшего дела с авиацией. Кроме того, внешний вид дяди и его манера держаться давали великолепную пищу для злой, иногда чересчур злой, иронии летчиков. Он был совершенно сбит этим с толку, не понимал причин постоянных насмешек, а поводов для них было более чем достаточно, ибо дядя часто прибегал к наивным хитростям, откровенно свидетельствовавшим о его эгоизме и скупости. Мы питались в отеле «Виктория». Каждый день нам на десерт подавали [109] фрукты. Дядя брал персик или грушу, тщательно ощупывал их и, если находил твердыми, любезно передавал соседу. Если же плод казался ему хорошим, ел сам. Мы, конечно, сразу заметили это и с нетерпением ожидали десерта, чтобы понаблюдать за ним. Или такой факт. Мы всегда заказывали к обеду минеральную воду. Она подавалась прямо из холодильника. Если в бутылке

оставалась вода, официант карандашом ставил на ней номер наших комнат и убирал в ледник до следующего дня. Бутылка минеральной воды стоила две песеты, но мой дядя, несмотря на свое богатство, считал такую плату обременительной для себя и просил подавать ему обыкновенную воду. Но ее не охлаждали. Тогда дядя, большой плут, придумал следующее: заказал бутылку минеральной воды и, прежде чем встать из-за стола, каждый раз доливал ее простой водой. Мы быстро обратили внимание на его жалкую проделку. Заметил это и официант. Иронически улыбаясь, он приносил ему бутылку обыкновенной холодной воды.

За этой мелочностью, вызывавшей к нему всеобщую нелюбовь, не замечали его хороших черт. Например, дядя бесстрашно летал на боевые задания с любым летчиком, независимо от того, считался он хорошим или плохим. Надо было видеть, как важный маркиз, садясь в самолет, осенял себя крестным знамением, после чего готов был отправиться хоть в лагерь противника. Летчики специально летали с ним на небольшой высоте и возвращались в самолете, изрешеченном пулями. Но это совершенно не волновало его.

Такое отношение к дяде было неприятно мне, хотя его бестактность и жадность тоже возмущали меня. Я был уверен, что, несмотря на свои молитвы, он вернется однажды с пулей в животе. Приезд командующего, полковника Сориано, положил конец моей пытке. Сориано приказал дяде немедленно возвратиться в Мадрид.

Так окончились приключения доброго маркиза на арабской земле.

В Мелилье наступило время интенсивных боевых операций. Руководил ими генерал Санхурхо{57}. Мне несколько раз пришлось летать с ним на гидросамолете. Я дружил с его сыном Пепе, выполнявшим роль личного секретаря своего отца. Это был хороший парень, никогда не кичившийся своим особым [110] положением, что нередко свойственно детям высокопоставленных родителей. Другой сын Санхурхо, Хусто, обучался у меня на курсах в Севилье. В нем барских черт было больше, чем в брате. В то время я довольно часто бывал у генерала Санхурхо. Несколько раз отвозил его в Тетуан. Генерал стремился к популярности и старался казаться простым и демократичным.

Несколько раз мне довелось летать и с Франсиско Франко, получившим в те дни чин подполковника. К нему я не испытывал ни малейшей симпатии. На базе в Мар-Чика никто не любил его, начиная с родного брата, с которым он едва разговаривал. Когда требовался гидросамолет для подполковника Франсиско Франко,

летчики старались уклониться от этого задания: нас задевало его поведение. Он прибывал на базу всегда вовремя и держался очень надменно, стараясь вытянуться как можно больше, чтобы казаться выше и скрыть свой начинавший появляться животик. По словам его брата, Франко постоянно преследовало недовольство своим ростом и склонностью к полноте. Он приветствовал нас строго по уставу и зло говорил что-нибудь неприятное, если самолет еще не был готов. Затем садился рядом с летчиком и сидел, не проронив ни слова, до прибытия на место назначения, где отпускал нас также строго по уставу, сохраняя при этом вид человека, делающего что-то необыкновенное. Не помню, чтобы я хоть раз видел его улыбающимся, любезным или проявляющим хоть какие-то человеческие чувства. Со своими товарищами по Иностранному легиону Франко вел себя точно так же. Его боялись, с ним никто не дружил, его никто не любил. Франко был антипатичен всем, кто с ним имел дело.

В те дни я получил задание, давшее мне постыдную и печальную привилегию быть первым летчиком, сбросившим с самолета бомбы с ипритом - ядовитым газом, впервые использованным под Ипром в конце первой мировой войны. Германская артиллерия нанесла тогда своим противникам колоссальный ущерб, обрушив на них град снарядов, начиненных этим отравляющим веществом. Однажды на аэродроме в Мелилье появились ящики с авиационными бомбами, наполненными ипритом. Всего 100 бомб по 100 килограммов каждая. Их приобрели на военных складах союзников. В годы первой мировой войны эти бомбы не успели использовать: наступило перемирие.

Перевозили их, соблюдая все меры предосторожности. Специально прибывшие на аэродром техники обращались с [111] бомбами очень бережно. В Мелилье они перешли в ведение капитана Планелла (впоследствии стал министром промышленности у Франко), которому дали звучный титул «начальника химической войны».

Поскольку «Голиаф» являлся единственным самолетом, способным поднять такие бомбы, на мою долю и выпала эта «честь». Должен признаться, мне ни на секунду не приходила в голову мысль о подлости или преступности полученного задания. Не помню, чтобы меня мучили угрызения совести после его выполнения. Внушенный нам образ мыслей определил ту потрясающую естественность, с какой мы совершали подобное зверство. Я, как и большинство моих товарищей, был нормальным человеком, с известной долей чувствительности. Мы стремились быть честными, не шли на поводу у плохих людей и вообще

готовы были по-донкихотски все отдать для уничтожения несправедливости, конечно в нашем понимании этого слова. Можно привести множество примеров, подтверждающих это. Мы имели собственный взгляд на жизнь, свое понятие о чести. В этом кодексе и заключался секрет нашего поведения. Сколько же потребовалось лет, чтобы понять, какое чудовищное преступление мы совершали, сбрасывая бомбы с отравляющими газами на марокканские деревни!

Я начал осознавать это во время вторжения итальянцев в Абиссинию. Прекрасно помню, как возмущался, читая заявления летчика, сына Муссолини, в которых он с огромным удовлетворением сообщал о бомбардировках и расстрелах из пулеметов беззащитных людей. Я осуждал летчиков, которые, ничем не рискуя, не встречая противника в воздухе, убивали неповинных людей, стремясь захватить их территорию. Эти события происходили в 1935 году. Исподволь я стал понимать, что наше поведение в Марокко напоминало действия итальянцев в Абиссинии. Взгляды, привитые нам армией и церковью, накопившими вековой опыт пропаганды, невозможно быстро и легко выбросить за борт. Кроме того, нельзя забывать, что борьба мавританцев и испанцев началась много веков назад и с того времени продолжалась почти беспрерывно. Сначала мавританцы вторглись на нашу землю, потом мы завоевывали их территорию. Эта борьба стала для испанцев традиционной. В Испании в праздничные дни устраивались представления, связанные с войнами между мусульманами и христианами. Помню, как в поместье Сидамон в день именин моего отца показывали любительский спектакль, в котором эта борьба была основным мотивом. [112]

Поэтому нас нетрудно было убедить, что война в Марокко - естественное явление. Все сказанное мною не оправдание, а лишь объяснение нашего поведения.

Итак, мои заботы, связанные с газовыми бомбами, ограничивались техническими вопросами. Моральная же сторона предстоящего дела меня не беспокоила. Приступая к освоению нового оружия, мы получили столько советов и рекомендаций, что совершенно растерялись. Прежде всего, надо было научиться осторожно обращаться с ним. Механики, поскольку раньше им не приходилось иметь дела с ипритовыми бомбами, потратили целый день на опробование бомбодержателей. Бомбы могли не отцепиться от бомбодержателей, и тогда летчику пришлось бы совершить посадку вместе с ними.

Первый раз мы сбросили свой зловещий груз на небольшую позицию противника, расположенную на вершине горы. Этот

дозор постоянно изводил нас снайперской стрельбой. На позиции имелась пещера, где марокканцы укрывались от бомбежек. Мы пролетели очень низко и сбросили четыре бомбы. Взрыв поднял огромные облака пыли, помешавшие увидеть результаты налета. На следующий день мы поспешили к месту бомбежки, чтобы посмотреть, что же там произошло. Каково же было наше удивление, когда мы не только не обнаружили никаких повреждений, но увидели спокойно разгуливавших марокканцев, словно сбросили на них не иприт, а конфетти!

Бомбежки продолжались. Всего было сброшено 60 бомб. Однако на другой день после бомбардировок мы каждый раз убеждались, что марокканцы расхаживали по своим укреплениям как ни в чем не бывало. Казалось, они просто выплевывали иприт! На аэродроме летчики подшучивали над нами и, смотря на наши приготовления к очередному вылету, изощрялись в остроумии, рекомендуя сбросить вместо ипритовых бомб бутылки с газированной водой. (Надо сказать, газированная вода в Мелилье была настоящей отравой.) По крайней мере, говорили они, можно причинить противнику хотя бы боль в желудке. Подтрунивание продолжалось до тех пор, пока одна из бомб не лопнула на аэродроме и не пострадало двадцать человек. Некоторые из них получили сильные ожоги. Среди раненых оказался и капитан Планелл - наш «начальник химической войны».

Безвредность иприта для противника объяснялась довольно просто. Газ, содержавшийся в четырех или шести бомбах, сбрасываемых нами при каждом налете, улетучивался [113] вместе со взрывом. Остатки газа, попадавшие на землю, не давали никакого эффекта. В 1925 году я разговаривал с марокканцами, участниками тех боев, и они подтвердили это. Мы должны были сбросить все 100 бомб на одну позицию, чтобы получить результат, какого добились немцы на Ипре, где газ тек ручьями.

* * *

Мелилья стала очень оживленной. Сюда постоянно приезжали люди с деньгами, жаждавшие развлечений. Летчики пользовались привилегией жить в городе и стремились как можно лучше использовать ее. Наши небольшие апартаменты в деревянном бараке теперь оказались очень кстати, так как найти квартиру в Мелилье стало проблемой. Городская жизнь была приятной, она не потеряла своего испанского провинциального духа, и в то же время в ней уже чувствовались новые веяния, направленные против традиционных порядков и норм поведения.

Эти противоречия между желанием приобрести известную личную свободу и укоренившимися обычаями приводили нередко к осложнениям. Так случилось с одним из моих друзей, который часто встречался с одной красивой и жизнерадостной девушкой, однако не имел намерения жениться на ней. В плохую погоду он иногда приводил ее к себе на квартиру. Однажды, когда они сидели у него дома, туда явились мать девушки, двое свидетелей и судья. Пришлось сыграть свадьбу, иначе бы возник большой скандал. Подобные дела в Испании назывались «ловушкой». Иногда родственники по собственной инициативе выслеживали девушку, в других случаях девушка сговаривалась с родителями и подстраивала ловушку, которая вела в церковь. И в этом нет ничего удивительного, так как в те времена единственное, к чему стремились девушки в Испании, было замужество.

В этой связи вспоминаю историю, приключившуюся с моим кузеном Пепе. Я уехал в Севилью, а Пепе, оставшись один в квартире, пригласил на чай девушку из мелильской буржуазной семьи, весьма привлекательную и довольно решительную. Она настолько быстро приняла приглашение, что Пепе был слегка озадачен и подумал: не готовится ли для него ловушка? Поскольку об отступлении не могло быть и речи, оставалось принять меры предосторожности. Я уже говорил, что по соседству с нами жил Хоакин Гальарса. Наши квартиры разделял узкий коридор с окном, через которое легко и незаметно можно было попасть из одной квартиры в другую. [114]

Пепе попросил своих приятелей Сбарби и Гути в случае необходимости оказать ему услугу. Они должны были провести три часа в комнате Гальарсы, готовые немедленно прыгнуть в соседнюю квартиру, если появятся родители девушки с судьей и свидетелями. Вместо влюбленной пары они обнаружили бы девушку в компании трех вполне серьезных сеньоров, то есть создалась бы ситуация, не наказуемая законом. Казалось, все шло хорошо. Гути и Сбарби расположились у Гальарсы. Но Пепе совершил ошибку, вручив им несколько бутылок хорошего вина. Через два часа непрерывного возлияния телохранители моего кузена решили, что выполняемая ими роль не очень благородна, и начали во весь голос выкрикивать различные остроты, а затем, окончательно опьянев, разбили окно и учинили настоящий скандал. К счастью, Пепе успел увести девушку.

* * *

Когда генерал Санхурхо садился в самолет без адъютанта, мы

уже знали: официальная поездка в Тетуан закончится в Севилье, Малаге или каком-либо другом месте Андалузии, где можно хорошо провести время. Мне нравились такие изменения маршрутов. Со мной Санхурхо всегда обращался просто, внушая тем самым к себе доверие. Повсюду он имел друзей и знакомых, умевших развлекаться. В общем, эти поездки были приятны. В тот день он собирался лететь в Санлукар-де-Баррамеда на совещание с генералом Примо де Ривера - такова была, по крайней мере, официальная версия. Санлукар был знаменит своей несравненной мансанильей и бегами. Тот факт, что Колумб отправился оттуда в одно из своих плаваний, прославил город меньше, нежели его вино и лошади. Путешествие из Мелильи в Санлукар при хорошей погоде и на таком гидросамолете, как «Дорнье», было очень приятным. За день до вылета сильный шторм и ливень очистили небо, и видимость была прекрасной. Пока самолет набирал высоту, чтобы пересечь полуостров Трес-Форкас, мы могли созерцать необыкновенный по колориту пейзаж. Залив Мар-Чика, с его спокойными водами, блестел на солнце как зеркало. Узкий нежно-желтый песчаный язык, вытянувшись к островам Чафаринас, отделял Мар-Чика от моря, с его характерным темно-лазурным цветом и отливающей белизной пеной. Мы пролетели над маленьким портом Мелильи. За несколько минут оставили позади полуостров Трес-Форкас - серый, скалистый, почти необитаемый. Его большой и [115] обрывистый волнорез постоянно атаковывало море, совсем не похожее здесь на Средиземное. На северо-востоке полуострова, на двух рифах, как мост, лежал линкор, не заметивший в тумане скал и оставшийся тут навсегда. Грандиозное и в то же время грустное впечатление производил этот бессильный колосс, постоянно подвергавшийся ударам волн, понемногу разрушавших его. Кажется, он назывался «Альфонсо». Это был один из трех линкоров, купленных Испанией и прослуживших очень недолго. В 1937 году в водах Сантандера английским торпедным катером был потоплен второй линкор - «Испания». В порту Картахена фашисты взорвали последний из них - «Хаиме».

На фоне чистого горизонта вскоре показались горы Испании. Когда мы подлетали к Вилья-Алусемасу, Санхурхо приказал приблизиться к берегу. Самолет прошел почти над. самым островом Алусемас, и несколько человек на террасе одного из домов приветствовали нас. Соблюдая необходимые меры предосторожности, мы пролетели над главным штабом Абд-эль-Керима в Вилья-Алусемасе, но не увидели там никакого движения, в нас не стреляли даже с береговых постов. В те минуты нельзя было предположить, что через несколько часов это

кажущееся спокойствие закончится трагически.

Мы продолжали наше восхитительное путешествие и вскоре уже летели над Гибралтарским проливом. Отсюда открывался вид на большую часть Андалузии и Сьерра-Неваду. Под нами еще можно было различить Сеуту и Альхесирас, а слева уже показался Танжер - весь белый, окруженный зелеными холмами, с живописными виллами дипломатов, авантюристов и богатых компрадоров. Справа от нас, смело вдаваясь в море, купался в лучах солнца Кадис. Его трудно не узнать: узкий язык земли, на котором едва хватило места для автомобильной дороги и железнодорожной линии, проложенных для сообщения с материком. Панорама пролива, открывающаяся с воздуха при хорошей погоде, необыкновенно красива. Наконец мы подлетели к устью Гвадалквивира и сели на воду возле Санлукара. На пристани Санхурхо уже ожидал генерал Примо де Ривера с одним из своих адъютантов.

После полудня я сидел в казино за бокалом вина, когда на автомобиле подъехал адъютант Примо де Ривера и передал мне приказ генерала Санхурхо немедленно явиться к нему в загородное поместье. Генерал сказал мне. что Примо де Ривера должен быть этой же ночью в Альхесирасе, и спросил, можно ли доставить его туда на гидросамолете. [116]

До наступления темноты - тогда еще ночью не летали - оставалось два часа, времени было в обрез. Уступая настойчивости Санхурхо, я ответил, что, если отправимся тотчас же, можно попытаться. По моим расчетам, посадка на воду в Альхесирасе не должна быть трудной, даже при слабом освещении. Внезапно появился Примо де Ривера с маленьким чемоданом и торопливо поздоровался со мной. Мы запустили моторы и, не теряя ни минуты, поднялись в воздух. Но в спешке не сумели вовремя преодолеть одну из волн, обычно очень сильных в устье реки, в результате в самолет попало много воды. Примо и Санхурхо промокли с ног до головы. Инстинктивным движением я уклонился от этой ванны, спрятавшись под стеклянным козырьком. По мере того как мы набирали высоту, чтобы, сокращая путь, лететь над землей, температура воздуха понижалась и обоих генералов, сидевших в насквозь промокшей одежде, стало бить от холода, как в лихорадке. Пришлось сбросить форму, чтобы немного подсушить ее, а пока закутаться в моторные чехлы. Странно было видеть высокомерного диктатора и знаменитого генерала, закутанных в чехлы поверх нижнего белья, скорчившихся позади сиденья пилота.

Мы прибыли на место вечером, благополучно приводнились и сразу же отправились в отель «Альхесирас» - один из лучших в

Испании. Помню, комната здесь стоила фунт стерлингов в день и оплачивалась в английской валюте, так как большая часть клиентов были англичанами, приезжавшими из Гибралтара. К девяти часам Примо де Ривера пригласил меня на ужин. Я отправился в город, который мне показался некрасивым и грязным. Мне было стыдно, что многие иностранцы судили по нему об Испании.

К ужину я пришел точно в назначенное время, но генералы все еще сидели на совещании, должно быть очень важном. Оно закончилось в половине одиннадцатого ночи. Видимо, Примо де Ривера был доволен его результатами. За ужином я с интересом слушал рассказы диктатора. У него был тонкий голос и сильный андалузский акцент; он казался симпатичным, общительным и прекрасно рассказывал разные истории. В Испании говорили, что Примо много пьет. В действительности же он употреблял только минеральную воду «Соларес». К концу ужина явился Гарсия де ла Эрранс, тогда подполковник инженерных войск. (В начале войны 1936-1939 годов в чине генерала был убит в казарме Карабанчель.) Очевидно, он близко знал Примо, так как обращался к нему [117] на «ты» и называл Мигелем. Весьма торжественно он вытащил завернутую в газету бутылку и сказал, что, узнав о присутствии Мигеля в отеле, пришел приветствовать его и принес вино, очень старое и исключительное на вкус. С удрученным видом Примо ответил, что больной желудок не позволяет ему употреблять ничего спиртного, и, даже не попробовав, передал вино нам. К концу ужина Санхурхо вручили срочную телеграмму на нескольких листках. В ней сообщалось, что марокканцы, сосредоточив против острова Алусемас большое количество артиллерии, вот уже несколько часов интенсивно обстреливают его. Бомбардировка принесла большие разрушения и многочисленные жертвы; число убитых до сих пор не подсчитано. Санхурхо предупредил меня, что утром мы отправимся в Мелилью.

Хорошо помню свое отношение к этому известию. Я понял, почему марокканцы не подавали признаков жизни несколько часов назад, когда мы пролетали над островом Алусемас. Вместе с тем я подумал, что сообщение о жертвах резко контрастировало с той наполненной жизнью обстановкой, в которой мы находились. Возможно, именно тогда я начал осознавать, что война в Марокко абсурдна. Но мои сомнения длились недолго. Выполняя приказ Санхурхо, я предупредил механиков, чтобы они подготовили самолет к вылету на рассвете, а сам отправился отдохнуть и заснул, как младенец.

Через несколько дней началась операция в секторе Тафарси в

направлении Вилья-Алусемас. Одна из воздушных эскадрилий, понесшая большие потери, нуждалась в летчиках. Я вместе с моим наблюдателем капитаном Поусо вылетел ей на помощь. Однажды после бомбометания мы приблизились к линии фронта, чтобы пулеметным огнем поддержать наступление наших частей, шедших в авангарде «харки» {58} дружественных нам марокканцев. Пытаясь разобраться в обстановке и боясь спутать своих марокканцев с «чужими», что было нетрудно, мы летели очень низко. Несмотря на многочисленные предупреждения офицеров, чтобы «харки» для нашей ориентировки пользовались сигнальными полотнищами, они никогда этого не делали. Подлетев к фронту, мы увидели во дворе одного дома группу марокканцев в сорок или пятьдесят человек, которые, заметив нас, выкинули белый флаг. Мы решили, что это друзья, но они вдруг открыли [118] огонь, ранили моего наблюдателя в лицо и пробили радиатор. Поняв, что мы остались без воды, и увидев в зеркало окровавленное лицо Поусо, я сделал вираж в сторону своих линий, но в тот же момент почувствовал два резких удара в колени, как будто в меня попали камнями. Удары оказались настолько сильными, что сбросили ноги с педалей управления. В первый момент я не почувствовал острой боли и восстановил управление. Но заглох мотор. Я знал лишь приблизительно, где находятся наши войска. Используя имевшуюся высоту, я начал планировать, стремясь покрыть возможно большее расстояние, чтобы не попасть в руки противника. Но вскоре самолет потерял скорость и камнем упал на землю с высоты 20 метров. Удар был настолько сильным, что Поусо потерял сознание, а я находился в полуобморочном состоянии и не мог сделать ни малейшего движения, зажатый обломками самолета. Все же я заметил, что к нам спешат пять или шесть марокканцев. Кто они - друзья или враги? Я не мог достать пистолет из кобуры, но, чувствуя, что меня оставляют последние силы, собрал всю свою волю, не желая сдаваться врагам. О скольких вещах можно подумать за несколько минут! Сильное нервное напряжение, желание выжить во что бы то ни стало позволили мне удержать сознание до тех пор, пока один из бежавших не крикнул: «Эстар де Эспанья! Эстар де Эспанья!» {59} Что было потом, не помню. Пришел в себя, когда нам оказывали первую помощь. Кстати, это делал ветеринарный врач в звании лейтенанта туземной полиции. Не знаю, чем он занимался в «харки», но Поусо и я очень признательны ему за заботу о нас. На двух мулах, поддерживая с обеих сторон, марокканцы довезли нас до первого санитарного пункта. Там нас сфотографировали. На этом снимке, обошедшем многие иллюстрированные журналы, я был похож на Дон-Кихота, когда

его везли на Росинанте, избитого палками после печального приключения с иянгуэсцами.

Я уже находился в санпункте, когда прибыл адъютант Санхурхо. Генерал командовал позицией, около которой нас подбили, и видел падение самолета. Он приказал отправить нас на автомобиле в госпиталь. Так спустя три часа после ранения я очутился в великолепной операционной госпиталя в Мелилье. На этот раз мое положение было серьезным: я получил по пуле в каждую ногу, довольно большую трещину в черепе (врачи даже подумывали о трепанации) [119] и множество ран и ушибов при падении. У моего наблюдателя было несколько переломов и других повреждений, а также пулевое ранение в щеку, оставившее шрам на всю жизнь.

Первые недели в госпитале были тяжелыми; лечение протекало болезненно, но благодаря искусным врачам и моей огромной выносливости я уже спустя два месяца выписался и сделал первые шаги на костылях. Месяц я провел вместе со своей сестрой Росарио и братом Маноло, восстанавливая здоровье, в Канильясе и Сидамоне, а затем вернулся в Мелилью, как раз к моменту взятия Вилья-Алусемаса. На этом Примо де Ривера закончил войну в Марокко.

Взятие Вилья-Алусемаса

На базе в Мар-Чика все пребывали в сильном возбуждении. Для участия в алусемасской операции выделили две эскадрильи гидросамолетов: испанскую и французскую. Последняя прилетела из Бизерты (Тунис). С первого же дня между испанскими и французскими морскими летчиками установились сердечные отношения. Я уже говорил, что летчики нашей морской авиации в отношении знания техники оставляли желать много лучшего. Французские морские летчики, наоборот, действовали умело и применяли тактику, значительно отличавшуюся от нашей. Разница заключалась прежде всего в их жесткой дисциплине во время полета. Мы же больше походили на ФАИ{60}. Давая нам задание, командование никогда не указывало высоту полета, и каждый летел на той, какую находил для себя более подходящей, конечно в зависимости от обстановки. На первый взгляд такой порядок мог показаться абсурдным, но на практике, в ходе войны в Марокко, он имел свои преимущества.

Действия французов более подходили для военных операций в Европе. После двух или трех совместных боевых вылетов у меня сложилось мнение, что тактика, применяемая ими в Марокко, тоже не лишена недостатков.

Среди летчиков французской эскадрильи находился

лейтенант Пари, ставший вскоре самым знаменитым асом французской авиации. Он был симпатичным, веселым человеком и прекрасным пилотом. Неоднократно мы вместе летали [120] на задания. Последний раз я видел Пари за несколько дней до его гибели в Касабланке.

Шли последние приготовления к высадке в Вилья-Алусемасе. Командование подтянуло сюда испанскую эскадру и часть французского флота. В числе французских кораблей прибыл и линкор «Париж» - самый мощный в то время военный корабль в мире. Я не буду подробно описывать десант в Вилья-Алусемасе, ограничусь лишь некоторыми деталями, запечатлевшимися в моей памяти.

В баре нашей базы гидросамолетов всегда царило оживление. Там постоянно имелся большой выбор самых лучших вин и ликеров, приобретаемых контрабандным путем в Гибралтаре. Помню «международную» партию в покер между испанцами и французами. Она практически никогда не прекращалась: игроков, отправлявшихся на бомбардировки, заменяли те, кто уже вернулся с задания; ложившихся спать - те, кто вставал. Ели, не прекращая игры, на придвигаемых столиках. Однажды ночью Рамон Карранса, летчик эскадрильи испанской морской авиации, впоследствии ставший алькальдом Севильи, выиграл 20 тысяч песет. В другой раз командир французской эскадрильи выиграл несколько тысяч франков. Вероятно, он был с Корсики, так как каждый раз, меняя тысячефранковый билет на песеты, без особого уважения вспоминал святую Мадонну.

Наиболее выгодными клиентами в баре считались французские и испанские моряки.

Во время алусемасской кампании существовала хорошая практика - отправлять на боевые задания смешанные экипажи из французских и испанских летчиков.

С самого начала операции я почти ежедневно летал над заливом и видел высадку десанта в Вилья-Алусемасе. Наши самолеты имели запас горючего только на четыре часа полета, поэтому, когда оно кончалось, мы садились на воду рядом с одним из наших кораблей и пополняли свои бензобаки. Внушительно и вместе с тем смешно выглядел огромный линкор «Париж» посреди залива Алусемас. По боевой тревоге экипаж, укрытый и защищенный броней, поднимался и палил из огромных орудий по обрывистому берегу, где, как предполагалось, марокканцы установили несколько маленьких пушек. В официальных донесениях часто употреблялись слова: «концентрация сил противника». В действительности же почти всегда это были восемь или девять человек, прятавшиеся в скалах.

[121]

Взятие мыса Морро-Нуэво силами Иностранного легиона я тоже наблюдал со своего пилотского сиденья. Мне было все так хорошо видно, как если бы я находился в театре в первом ряду балкона. Наступавшие легионы двигались в строгом боевом порядке. Офицеры, руководившие операцией, шли впереди. Тогда-то я понял причину большой разницы в потерях среди офицеров легиона и в обычных войсках. Наступил момент, когда наше продвижение приостановилось (должно быть, сопротивление оказалось очень сильным) и отряд укрылся в скалах. Но вот появились еще две роты легионеров, присланные на помощь. Построившись для боя, они быстро пошли вперед, оставляя за собой убитых и раненых. Дойдя до высоты, где укрепились наши войска, они вместе с ними бросились в атаку. Огромные потери свидетельствовали об ожесточенности схватки. Наступление велось по всей широте Морро. Марокканцы, которым некуда было отступать - позади начинались высокие и обрывистые скалы. - стояли насмерть.

Мы произвели посадку у авианосца «Дедало», чтобы запастись бензином. Я поднялся на борт выпить кофе и, когда вышел из каюты, заметил на палубе нескольких морских офицеров, смотревших в бинокль на Морро-Нуэво, на позицию, взятие которой Иностранным легионом мы несколько минут назад наблюдали. Они рассказали, что легионеры бросают с крутого обрыва в море захваченных в плен марокканцев. Я взял бинокль, и мне представилось ужасное зрелище: с высоты почти 100 метров легионеры сбросили в море двух человек. Увиденное потрясло и возмутило меня. По радио я сообщил командующему авиации о взятии Морро-Нуэво, отметил храбрость, проявленную подразделениями Иностранного легиона, но одновременно доложил о жестокости и бесчеловечности, с какими его солдаты расправлялись с пленными. Свое донесение я закончил словами: «Подобные дела бесчестят всю армию». Позже мне стало известно, что полковник Сориано, получив мое радиосообщение, немедленно передал его Примо де Ривера.

Естественно, Абд-эль-Керим не мог совершить чуда: разница в соотношении сил была слишком велика. Объединенные армии Испании и Франции разгромили героически сражавшиеся отряды марокканцев.

После взятия Вилья-Алусемаса и захвата французами в плен Абд-эль-Керима война в Марокко закончилась. [122]

Старый «Фарман Голиаф», на котором Ла Фита нарисовал Давида, метающего камень в гиганта, стоял на ремонте в Мелилье. После окончания ремонтных работ самолет надо было перегнать на базу в Севилью. В связи с этим у меня родился план: оставить там «Голиаф» и продолжить путешествие на север, где и провести месяц отпуска. Накануне моего отъезда из Мелильи мы устроили маленькую пирушку, как всегда шумную и веселую, и со всеми почестями попрощались с самолетом-ветераном. Обычно такие полеты, какой предстоял мне, летчики использовали для отправки различных посылок своим близким и друзьям. Я тоже получил много поручений. Среди подарков был даже маленький барашек, которого Гильермо Дельгадо посылал сыну своего друга, и примерно пять больших посылок с чайными сервизами из знаменитого китайского фарфора, стоившие в Мелилье в три раза дешевле, чем на полуострове. Перелет оказался тяжелым: болтанка продолжалась почти четыре часа, и на «Голиафе» к ней было трудно приспособиться. Я летел без второго пилота, поэтому прибыл в Севилью, буквально умирая от усталости и с нетерпением ожидая момента приземления. Как только показалась Таблада, я направил самолет на аэродром и совершил посадку, несмотря на сильный ветер, дувший в хвост. Машина

ударилась о землю, перевернулась и… развалилась. Так из-за моей поспешности, непростительной для опытного летчика, закончил свое существование ветеран «Голиаф» с картиной Ла Фита. С экипажем, включая барашка, ничего страшного не произошло. Мы отделались легкими ушибами. Спустя немного времени я получил из Мелильи радиограмму, взволновавшую меня еще до ее прочтения. Как всегда самонадеянный, я решил, что товарищи, узнав об аварии, беспокоятся о моем здоровье. Каково же было мое разочарование, когда я понял, что их интересует лишь судьба чайных сервизов, отправленных со мной!

Вскоре я был уже в Витории, где получил телеграмму от полковника Кинделана, в которой он сообщал, что за военные заслуги мне присвоили чин майора, и искренне поздравлял меня. Без ложной скромности могу сказать, что не ожидал такой высокой оценки моей службы, ибо минул лишь год, как мне дали чин капитана. Таким образом, я прошел путь до чина майора менее чем за двенадцать лет и передо мной открывалась блестящая карьера. Я не мог жаловаться на судьбу, которая была ко мне весьма благосклонна. Война в Марокко закончилась, когда она уже стала для меня нестерпимой; [123] я по-прежнему страстно любил свою профессию, чувствовал себя молодым, сильным, не имел серьезных осложнений в жизни и был совершенно свободен, в том смысле, как я это тогда понимал.

Несколько дней я провел в Витории, где поселился мой брат Пако, служивший в пехотном полку. Он женился на одной из наших дальних родственниц - Маричу Алонсо де Ареизага, к которой всегда испытывал искреннюю любовь. Они имели трех сыновей и жили довольно скромно. Пако всегда точно и честно выполнял свои обязанности и на службе и дома. В армии его считали одним из самых способных офицеров. О семейной жизни Пако скажу только, что в Витории матери ставили его в пример, как образцового мужа. В те дни мы часто встречались с ним, и с каждым днем он все больше нравился мне. Я открывал в нем неожиданные для меня качества, удивлялся его знаниям и умению разбираться в самых сложных проблемах.

В то лето я приобрел открытый автомобиль «фиат», одну из первых моделей с обтекаемыми формами, привлекавший всеобщее внимание. Однажды Пако предложил мне поехать навестить нашу сестру Инесу, проводившую лето в деревне Маесту, вблизи Витории, где у нее был огромный и прекрасный дом. К Инесе я никогда не питал симпатии. Она казалась мне хмурой и злой, но из уважения к Пако я согласился. К тому же мы не виделись несколько лет. За это время произошло много событий, например мое серьезное ранение и др. Одним словом, у

нас имелось более чем достаточно причин для волнующей встречи. Итак, мы подъехали к ее дому. Услышав шум автомобиля, Инеса вышла на балкон. Увидев мой «фиат», даже не поздоровавшись, она воскликнула: «Игнасио, откуда у тебя средства на покупку такой роскошной машины? Это же безрассудство для серьезного человека!» Я был поражен, возмущен и резко ответил, что поступаю так, как мне нравится, и не обязан отдавать кому-либо отчет в своих действиях, особенно ей. Во время разговора Инеса оставалась на балконе, а я сидел в машине и думал о том, чтобы возвратиться в Виторию, не заходя к ней в дом. Но дипломатично вмешался Пако, и мы отправились обедать. Эта сцена дает прекрасное представление о характере моей сестрицы. Но жизнь полна абсурдных вещей! Ее муж, Висенте Абреу, в то время майор артиллерии, симпатичный и веселый человек и талантливый художник, невероятно любил Инесу. Несмотря на ее характер, он, казалось, был счастлив. [124]

По требованию начальника авиационной школы в Алькала-де-Энарес майора Пепе Легорбуру, родом из Витории, меня назначили к нему заместителем. Между нашими семьями давно установились почти родственные отношения, и я уважал Пепе, как старшего брата.

Легорбуру был выдающимся человеком. По своему культурному уровню он значительно выделялся из нашей среды. Пепе много путешествовал за границей, любил музыку и довольно искусно играл на пианино, обладал тонким вкусом и качествами, редко встречавшимися среди военных, был умен и смел. У него имелись друзья во всех слоях общества - от высокомерного аристократа до каменщика. Он поддерживал дружеские связи с известными учеными и политиками.

Жил Пепе вблизи станции Алькала в комфортабельной квартире. Одну из ее комнат он уступил мне. Питались мы в таверне сеньора Маноло, находившейся в том же доме. Кормили там великолепно. Готовила жена Маноло, сеньора Алехандра, умевшая угодить своими блюдами всем гостям, включая настоящих гурманов. На стол подавали самое лучшее вино из Арганды - родины сеньора Маноло. Супружеской чете помогали две молодые хорошенькие и работящие племянницы. Эта семья необычайно внимательно заботилась о Пепе и обо мне. Мы всегда чувствовали их доброту и сердечность. Это было очень трогательно, и, естественно, мы отвечали им тем же.

Я так много говорю о Пепе и об Алькала потому, что тот период оказал на мою жизнь немалое влияние. Новое назначение мне очень нравилось. Всю неделю я много летал с курсантами школы, а в субботу мог отправляться на самолете, куда хотел.

Тогда мы часто охотились с воздуха на дроф - глупых и пугливых птиц. Они водились в большом количестве у речки Тороте, протекавшей в шести километрах от аэродрома. Сначала мы низко пролетали над водой, и испуганные шумом мотора птицы тотчас поднимались в воздух. Тогда мы отделяли от стаи группу или одну самую большую дрофу и начинали преследовать ее, летя на близком расстоянии. Наиболее сильные из них выдерживали погоню минут двадцать, а затем сдавались и садились на землю. Мы снова заставляли ее взлететь, но через какую-нибудь минуту птица падала окончательно. Тогда мы опускались и забирали ее, соблюдая осторожность, так как дрофы больно клюются. [125]

В то время я часто встречался с подполковником Августином Муньосом Грандесом{61}, командовавшим батальоном велосипедистов в гарнизоне Алькалы. Он нередко обедал с нами, после чего мы играли с ним в бильярд, и он всегда обыгрывал меня. Я знал Грандеса с Африки. Как офицер он пользовался большим авторитетом. Во время войны в Марокко Грандес получил шесть или семь ранений и, несмотря на молодость, был произведен за военные заслуги в чин подполковника. Из стремления к оригинальности он носил иногда гражданский костюм, купленный без примерки в магазине «Эль Агила», и фуражку шарманщика, не обращая внимания на то, что думают по этому поводу окружающие.

Не знаю, по каким соображениям, но Пепе Легорбуру ненавидел монархию и диктатуру Примо де Ривера. Он симпатизировал и поддерживал контакт со многими генералами и политиками, противниками диктатуры. Среди них, я помню таких генералов, как Агилер, Батет, Нуньес де Прадо, и политиков Санчеса Герра, Алькала Самора{62} и Мараньона. В Алькала Пепе дружил с некоторыми республиканцами, среди которых был и сеньор Маноло - фанатик республики.

Легорбуру четко разделял своих друзей: одна группа состояла из людей высшего общества, мужчин и женщин, имевших обыкновение время от времени приезжать к нему, чтобы насладиться превосходными кушаньями сеньоры Алехандры. Пепе не скрывал перед ними своего отрицательного отношения к королю и диктатуре, но они не придавали этому большого значения и не воспринимали его речи всерьез. Следующая группа - интеллигенты-республиканцы, такие, например, как Мараньон. Пепе уважал и ценил в них больше интеллектуалов, чем политиков. В третью группу входили активные политические деятели - враги монархии и диктатуры. С ними Пепе связывала конспиративная деятельность.

Легко понять мое удивление, когда я узнал об этой стороне его жизни, столь новой для меня. Я не участвовал в деятельности Пепе. Но, поскольку мы жили вместе, поневоле многое знал о ней. Хотя Легорбуру никогда не пытался втянуть меня в свои дела, он питал ко мне полное доверие и поэтому [126] в моем присутствии не принимал никаких мер предосторожности. Я уважал его взгляды. С каждым днем они казались мне все более правильными.

По воскресеньям, а иногда и среди недели в таверну сеньора Маноло, закончив свою работу на стройке, приходил каменщик-социалист по имени Педро Блас. Он помогал обслуживать клиентов и таким образом зарабатывал дополнительно несколько песет, которые, несомненно, были ему очень кстати. Однажды строители объявили забастовку. Руководил ею наш знакомый Педро Блас, с которым Пепе и я поддерживали дружеские отношения. От него мы узнавали, как развиваются события на стройке: каковы настроения рабочих, какие трудности и т. п. Забастовка затягивалась, денег стало не хватать. Пепе Легорбуру с присущей ему решительностью вызвался помочь рабочим. Ему не пришло в голову ничего другого, как с группой летчиков организовать платный бой быков. Зная, что во время моих андалузских приключений я участвовал в бое быков, он решил привлечь и меня в качестве одного из тореадоров. Я не возражал, и прежде всего потому, что при нашем разговоре присутствовал Блас. Хотя планы Пепе я считал несколько утопическими, в глубине души возможность блеснуть в качестве тореро льстила мне. Тогда я видел только приятную сторону этой затеи и не думал о трудностях, с которыми столкнулся позже.

Мне пришлось на два дня уехать в Севилью. Возвратившись, к своему большому удивлению, я нашел приготовления к предстоящему бою в самом разгаре. Вместе со своими друзьями Пепе развернул бурную деятельность. Уже были напечатаны программы и афиши. Их расклеивали на улицах Алькалы, а часть отправили в аэроклуб, «Гран Пенья» и другие мадридские клубы. Когда я понял, что дело поставлено на вполне серьезную основу, меня охватило беспокойство. Я даже немного испугался, увидев свое имя на афишах, рекламирующих меня как первого матадора. Хотя я и участвовал раньше в бое быков и получил некоторые навыки, но тогда мои схватки с быками происходили среди знакомых мне людей и на маленьких импровизированных аренах. Кроме того, мне никогда не приходилось убивать быков, и я беспокоился, удастся ли мне сделать это по всем правилам - с одного раза или придется несколько раз колоть его, прежде чем я смогу его прикончить. С другой стороны, меня терзали сомнения,

как я буду чувствовать себя на настоящей арене перед неизвестной мне публикой, заплатившей деньги за представление. [127]

На следующий день мы отправились на скотоводческую ферму, находившуюся на Хараме и принадлежавшую другу Легорбуру, выбирать молодых быков. Нас сопровождал «Студент» - тореадор высшей категории, согласившийся помочь руководить боем быков. Когда мы подошли к загону, хозяин, прежде чем выбрать для меня быка, спросил, убивал ли я когда-нибудь этих животных. Я ответил, что нет, не приходилось. Тогда он отобрал быка поменьше. Я сейчас же подумал: когда публика увидит меня, такого великана, рядом с этим насекомым, она тотчас начнет издеваться надо мной. А мне, честно говоря, не хотелось быть посмешищем. Тогда хозяин заметил, что животные в поле, да еще если смотреть на них, сидя верхом на лошади, всегда кажутся гораздо меньше, чем на самом деле. Он пытался убедить меня, что бычок не так уж мал. Но, донимаемый навязчивой мыслью, как бы не выглядеть смешным, я настаивал, чтобы дали большого быка. Но и второй показался мне маленьким. Видя мое упорство, торговец сдался, но предупредил, что выбранный мною бык великоват. Накануне корриды мы отправились на арену, чтобы посмотреть на наши будущие жертвы. Я попросил старшего пастуха показать моего быка. Он направил меня к одному из загонов. Я посмотрел в окошко и, к своему удивлению, увидел огромного, с внушительными рогами быка! Вернувшись к старшему пастуху, я сказал, что, видимо, произошла ошибка, этот зверь вовсе не мой, а предназначается, очевидно, для «Студента». Отлично помнивший нашу поездку на ферму, старший пастух очень спокойно, но с некоторой иронией ответил: никакой путаницы не произошло, этот зверь, как я его назвал, именно тот бык, которого я сам выбрал, и добавил, что не следует слишком беспокоиться, ибо быки в загоне кажутся больше, чем в действительности.

Я ушел с арены взволнованный. Последние слова старшего пастуха не успокоили меня. Животное казалось таким огромным, что не испугало бы разве только самого Хоселито{63}. Чем больше я думал о предстоящей корриде, тем сильнее нервничал. Я с ужасом отметил в себе симптомы, похожие на те, какие возникали у меня перед некоторыми опасными боевыми операциями в Марокко. У меня появился страх перед быком. Я знал, что иной раз даже знаменитые тореадоры теряли в таких случаях контроль над собой и самым постыдным образом убегали с арены на глазах у публики. Я спрашивал [128] себя: достаточно ли велики во мне достоинство и гордость, чтобы доминировать

над остальными чувствами, и негодовал за то, что так глупо впутался в эту историю, из которой не знал, как и выйти. Уже какой раз мои честолюбие и тщеславие играли со мной злую шутку!

По мере приближения часа корриды я нервничал все больше и больше. Всю ночь я не спал, до утра проворочавшись на постели и думая о самых разных вещах. Вдруг мне в голову пришла не очень умная идея, но я все-таки немедленно осуществил ее. Вызвав своего денщика, я дал ему денег, чтобы он купил 40 или 50 билетов на корриду и раздал солдатам на аэродроме, предложив им разместиться на всех трибунах. И если публика начнет издеваться надо мной, они должны вступиться за меня. Зная их любовь ко мне, я верил: они не допустят никаких неприятных эксцессов.

В день корриды в Алькала стали прибывать друзья из Мадрида. Перед боем они собрались пообедать с нами в доме сеньора Маноло. Среди них я помню группу американцев и красивых американок. В тот день мне казалось, что все они говорят только глупости, и поэтому ужасно раздражали меня. Пепе продемонстрировал им мой действительно великолепный костюм тореро и шляпу. Одна из американок настойчиво просила разрешения надеть его, чтобы сфотографироваться в нем. В другое время просьба показалась бы мне забавной и я сам помог бы сеньоре облачиться в него. Но в тот день у меня было настолько плохое настроение, что я забрал костюм и, не сказав ни слова, заперся в своей комнате.

Наконец мы прибыли на арену. Мой костюм имел огромный успех. При иных обстоятельствах я был бы этим польщен, но в тот момент мне казалось: чем больше ко мне присматриваются, тем ужаснее окажется провал. По традиции участники корриды совершили шествие по арене под аккорды Пасодобле{64}. Трибуны были заполнены. Я поприветствовал королеву корриды - молодую, красивую девушку. Правда, разглядел я это позже. Наконец прозвучал рожок - сигнал к началу боя.

Открылась дверь, и на поле, делая огромные прыжки, выскочил мой бык. На всем ходу он повернулся вокруг себя. Никого не заметив, бык остановился на середине круга. Я смотрел на него, и в голове у меня с невероятной быстротой мелькало множество абсурдных мыслей. Но я собрал [129] свою волю и сказал себе: «Это твой бык, и публика ждет тебя! Я иду! Что будет, то будет!» Схватив двумя руками свой плащ, я решительно бросился вперед и остановился перед быком. Мне повезло. Он атаковал меня с таким благородством и храбростью, что позволил проделать несколько приемов, имевших у зрителей

успех. Затем я отбежал к барьеру, не догадываясь, что раздавшиеся аплодисменты предназначались мне. Теперь наступила очередь бандерильеро{65}. Я стал ожидать момента, когда должен убить быка.

Взяв шпагу и мулету{66}, я направился к балкону, где сидела молодая королева в мантилье, с гребнем, и, сняв шляпу, церемонно приветствовал ее, произнеся несколько несвязных слов. Затем, повернувшись вполоборота, бросил ей, как требовал обычай, свою шляпу. Между тем настал решающий момент - бык остался один в центре круга. За несколько секунд до этого «Студент» посоветовал мне целиться немного ниже «креста» {67}, то есть в самое уязвимое место, и хотя этот прием не совсем правильный, однако животное от такого удара гибнет быстрее. Я направился к быку и повторил с мулетой те же манипуляции, что и с плащом: став близко к своей жертве, поставил ноги вместе и, не сдвигаясь ни на миллиметр, сделал ею несколько пасов, судя по крикам, довольно живописных. Как только бык замер, я вплотную подошел к нему и вонзил шпагу. С удивлением я увидел, что шпага вошла по рукоятку, и бык сразу уткнулся в землю. Такой неожиданный и великолепный финал вызвал у меня самого крайнее изумление, что, должно быть, отразилось на моей физиономии. Некоторые зрители, хотя я и находился в центре арены, заметили это и потом рассказывали мне, какое у меня было удивленное лицо.

Страх, плохое настроение и нервное напряжение тотчас улетучились. Меня наградили ухом{68} и предоставили право совершить круг почета. С каким энтузиазмом аплодировали пятьдесят солдат с аэродрома, приглашенных защитить меня! Мы ужинали с восхищенными американками, вновь ставшими казаться мне привлекательными. Я с удовольствием отдал в [130] их распоряжение свой костюм, и они по нескольку раз сфотографировались в нем.

Вырученные участниками корриды несколько тысяч песет Легорбуру передал нашему другу Педро Бласу, который был очень тронут этим.

* * *

В те дни правительство объявило о новой структуре организации военно-воздушных сил, которую летчики приняли с большим воодушевлением. Был сделан первый важный шаг по пути самостоятельной организации воздушной армии в Испании, чего все мы так желали и что считали необходимым. В авиации

создавались послужные списки кадров независимо от общих списков армии, учреждались правила и распорядки, предназначавшиеся исключительно для авиации. Нам выдали новую форму, совершенно не похожую ни на армейскую, ни на морскую, - темно-зеленого цвета, с золочеными пуговицами и значками, с поясом из той же материи; сапоги и брюки навыпуск, шинель или кожаное пальто. Все это дополняла зеленая пилотка с двумя остриями, как у солдат Иностранного легиона, с золоченой кисточкой, свисавшей на лоб и изящно болтавшейся во время ходьбы. Для торжественных приемов мы имели «чупа» - короткий фрак без фалд, а для парадов - кортик, большие эполеты с бахромой и золоченый пояс, довольно красивый, но слишком броский. Однажды я ожидал Хосе Арагона у подъезда отеля «Регина» в Мадриде. Ко мне подошла иностранка, вышедшая из отеля, и приказала найти ей такси. Она приняла меня за швейцара, и не удивительно, ибо в больших отелях и кабаре-люкс швейцары имели форму, похожую на нашу. Должен признаться, это не доставило мне удовольствия. Но я постарался скрыть свое раздражение и, через силу улыбаясь, передал поручение дамы груму отеля. В 1930 году в высших сферах и дворцовых кругах стали считать зеленую форму формой разрушителей основ господствующего строя и упразднили ее в наказание авиаторам за их малую приверженность монархическим институтам.

Чтобы числиться в кадрах военно-воздушных сил, недостаточно было иметь звание просто летчика. Требовался диплом летчика-наблюдателя. Для получения второго звания надо было пройти курс навигации, бомбардировки, радио, механики и т. д., то есть серьезно заниматься и работать. На аэродромах «Куатро виентос» и Лос-Алькасерес организовали курсы для изучения этих предметов. Я записался на первый [131] курс в Лос-Алькасерес, которым руководил инфант{69} дон Альфонсо Орлеанский, подполковник, опытный летчик, страстный энтузиаст авиации. Решительный сторонник независимости военно-воздушных сил, он немало содействовал введению в авиации новых реформ. Дон Альфонсо долго жил в Англии, выглядел как истый англичанин и имел много привычек, приобретенных там и обращавших на себя внимание. Он был горячим приверженцем гимнастики и в обязательном порядке заставлял нас заниматься ею. Не было ни малейшей возможности отвертеться от этого. Дон Альфонсо ввел для использования на аэродромах форму английского типа цвета хаки: рубашку, короткие брюки и носки. Такой костюм был удобен для работы. Но в нас, хотя мы считались людьми с довольно прогрессивными взглядами по сравнению с представителями остальных родов

войск, еще жили предрассудки типичной деревенской непримиримости ко всему новому, столь распространенные в Испании. Поэтому мы долго сопротивлялись и не хотели надевать «детскую форму», как у нас ее называли. Наибольшие неприятности доставляли нам носки и ботинки. Нам нравилось ходить в сандалиях без носков. Но тогда исчезало изящество всей формы, к великому отчаянию инфанта, который не мог понять, как офицеры авиации, в общем культурные люди, могли проявлять столь плохой вкус.

Спустя несколько недель в Лос-Алькасерес прилетел Пепе Легорбуру. Он обожал море и, несмотря на свои политические убеждения, дружил с инфантом, любившим беседовать с ним. Хотя Пепе не скрывал своих взглядов, многих все-таки удивляла свобода, с какой он говорил со всеми и обо всем. Правда, никто не воспринимал всерьез его разговоры, никто не прерывал его и уж тем более не сообщал властям.

По окончании курсов я вернулся в Алькала. Пепе еще больше погрузился в политику. К нему часто приезжали военные, не скрывавшие своих республиканских взглядов. Среди них я помню Луиса Рианьо и Анхела Пастора - старых майоров авиации (им тогда было по 42 года). Из высших чинов я видел у Пепе генерала Нуньеса де Прадо, которого высоко ценил с тех пор, как познакомился с ним на курсах в Хетафе. Нередко бывал майор пехотных войск по имени Аграмонте или что-то в этом роде. Посещали Легорбуру Муньес Грандес, мой родственник Фернандо Энриле - полковник кавалерии, командовавший одним из полков в Алькала, политически [132] нейтральный человек. Особенно запомнился майор Мигелито Узльва из школы верховой езды, веселый, игравший на гитаре и постоянно изрекавший собственные сентенции человек. Если он видел кого-либо скучным, то обыкновенно говорил: «Это печальнее, чем прогулка без закуски» - и прочее в том же духе. Он был ярым республиканцем, и ничто не могло заставить его придерживать свой язык.

Трудно объяснить причины той атмосферы, царившей в стране, когда огромное большинство испанцев с невероятным безразличием выслушивало недовольных. Я не могу этого сделать еще и потому, что сам проявлял полнейшее равнодушие к происходящему и не придавал значения услышанному. Можно было наблюдать такие, например, странные вещи. В клуб «Гран Пенья», то есть в одно из самых заметных мест столицы, где всегда собиралась наиболее реакционно настроенная часть мадридского общества: аристократы, крупная буржуазия, придворные, военные, консервативные политики, одним словом,

ярые представители монархического режима, по вечерам приходили Пепе Легорбуру, Луис Рианьо, Аграмонте, сын генерала Вейлера{70}, критик-искусствовед, и некоторые другие, которых я не помню. Они совершенно открыто выражали недовольство существующими порядками, и никто из высокопоставленных сеньоров - придворных, консерваторов и им подобных не останавливал их и не принимал абсолютно никаких мер. Я редко ходил туда, но иногда целые вечера просиживал с Легорбуру и его друзьями, слушая те же речи, что и в Алькала. Я вступил в члены клуба «Гран Пенья», чтобы иметь возможность посещать его бар - комфортабельное кабаре, с особым входом для дам - со стороны улицы Рейна. Это кабаре не предлагало ничего неприличного сверх преимуществ находиться в «Гран Пенья», то есть пользоваться великолепным обслуживанием, хорошими винами, замечательной кухней, умеренными ценами и возможностью встретиться со знакомыми. Рядом с большим салоном для танцев имелось несколько отдельных комнат, обставленных оригинально и с большим комфортом. Одним словом, бар «Гран Пенья» отвечал своему назначению - услаждать жизнь сливкам общества. Он пользовался особой репутацией у женщин легкого поведения. Приглашение в бар являлось своего рода посвящением их в персоны высшей категории. [133]

Французская компания «Латекоер» открыла почтовую воздушную линию Тулуза - Южная Америка, проходившую через Испанскую Сахару. Ее самолеты пролетали 1200 километров над нашей территорией, совершая посадки в Кабо-Хуби и Вилья-Сиснерос - маленьких фортах с несколькими испанскими солдатами, словно заточенными внутри проволочных заграждений. Эти два укрепления и пост в Агуэре являлись единственными позициями, занимаемыми нами на всей территории Испанской Сахары. Контроль над ней осуществляли главный инспектор, находившийся в Кабо-Хуби, и два губернатора: один - в Вилья-Сиснерос, другой - в Агуэра. Столь звучные титулы давались скорее для формы, так как на самом деле сеньор «инспектор Испанской Сахары» имел власть только над маленьким гарнизоном своего форта, не располагая юридическими правами на Вилья-Сиснерос и Агуэра. Губернаторы управляли территорией, заключенной в ограду из колючей проволоки, и 25 или 30 солдатами, не осмеливавшимися далеко отходить от своих укреплений.

Бывали случаи, когда местные племена брали в плен и убивали экипажи самолетов компании «Латекоер», вынужденных совершать посадку в пустыне. Франция сделала представление Испании об отсутствии безопасности на нашей территории,

сопровождавшееся громкой кампанией в печати. Озабоченное этим обстоятельством, правительство решило направить для защиты самолетов гражданской линии одну эскадрилью, поручив мне возглавить ее и присвоив мне громкое звание командующего воздушными силами Испанской Сахары. Эти воздушные силы никогда не превышали 9-10 самолетов, но используемые мною служебные бланки всегда производили большое впечатление благодаря своему грифу, достойному Тартарена.

В Сахаре

Выполняя приказ, я вылетел из Севильи во главе эскадрильи самолетов «Бреге-14». Эти машины были легки в управлении, прочны и приспособлены для пустыни, так как могли садиться и взлетать с любой площадки. Ночь мы провели в Ларache. Нас встретили командующий гарнизоном, впоследствии видный фашистский генерал Мола (кстати, он первым применил во время гражданской войны выражение «пятая колонна»), и командир авиационной части, симпатичный [134] и жизнерадостный капитан Мартин Луна. На следующий день мы отправились в Касабланку.

То ли от избытка смелости, то ли от несознательности, но я не помню, чтобы меня хоть в малейшей степени беспокоило предпринятое нами путешествие. Хотя оснований для этого было более чем достаточно. Впервые я оказался в положении командира, не имевшего возможности ни с кем посоветоваться и вынужденного самостоятельно разрешать все затруднения, какие могли возникнуть. К тому же я никогда ранее не выезжал за границу. Пока мы находились на испанской территории, все это меня не волновало. Отчасти, видимо, как я уже сказал, из-за несознательности, но в какой-то степени и из-за фатализма, который время от времени проявлялся во мне. Иногда он удобен, но всегда обрекает на бездействие. Только оказавшись во французской зоне, я понял, что мы летим за границу и на мне лежит вся ответственность за наши действия.

С воздуха Касабланка показалась мне огромным белым городом, возможно потому, что в тот день как-то особенно ярко светило солнце. На аэродроме нас встретил испанский консул Бегония. Он помог нам выполнить ряд небольших формальностей, связанных с приездом в чужую страну, с которыми без него мне было бы трудно справиться.

В Касабланке мы провели два отличных дня. Жили в великолепном отеле, питались в лучших ресторанах. Французская кухня привела нас в восторг. Должен признаться, здешние вина понравились мне больше, чем знаменитые риохские. Нужно было

прилететь в Касабланку, чтобы узнать, что французская кухня и вина не имеют себе равных в мире!

Следующая посадка предполагалась в Магадоре. В день нашего отъезда из Касабланки, точнее, в час отлета обнаружилось отсутствие одного летчика-наблюдателя, лейтенанта Фернандо Эрнандеса Франка. Моторы уже были запущены, и мы готовились взлететь, как вдруг я заметил автомобиль характерной для такси окраски, в котором ехал этот гуляка. В руках он держал две огромные куклы и букет цветов, проданные или подаренные ему в кабаре, где он истратил на шампанское, очевидно, немалую сумму денег.

Магадор с воздуха имел прелестный вид. На его маленьком аэродроме нас ожидали испанский консул Маэстро де Леон, префект, алькальд и военный начальник полковник спаги{71}, элегантный на вид человек, с моноклем, и еще кто-то. [135]

В группе встречавших стояла сеньора с двумя девочками. Неожиданно у меня возникла идея. Я попросил у Эрнандеса Франка куклы и цветы и, прежде чем поздороваться со всеми, к великому удивлению французов и испанцев, преподнес куклы девочкам, а цветы - сеньоре. Оказалось, это были жена и дочери консула. Затем я отдал приветствие властям и представил своих летчиков. После того как мы устроились в отеле, консул пригласил нас и представителей французских властей на обед. В тот же вечер Маэстро де Леон рассказал мне, какой эффект произвел на французов мой маленький жест с куклами и цветами. Они были невероятно удивлены нашей вежливостью, называли нас настоящими испанскими идальго, полагая, что мы заранее продумали наше поведение. Я не осмелился открыть правду. О пребывании в Магадоре у нас остались самые приятные воспоминания. Все носились с нами. Консул оказался симпатичным человеком и способным дипломатом. У него сложились хорошие отношения с французскими властями, и они уважали его. С тех пор остановки в Магадоре при перелетах из Испании в Сахару стали обязательными, и все мечтали о них.

Три дня в Магадоре промелькнули незаметно. На четвертый день рано утром мы отправились в Агадир, намереваясь к вечеру прибыть в Кабо-Хуби. Эта часть пути произвела на нас сильное впечатление: справа простирался океан, слева - Малый Атлас с его снежными вершинами. Под нами - ландшафт с первыми признаками пустыни. В Агадире мы заправились бензином. Предстояло преодолеть последние километры. Миновали Ифни - большое нагромождение глиняных домов того же цвета, что и земля, которое поэтому трудно было разглядеть. Тут заканчивались французские позиции. Пролетев Санта-Крус-де-

Мар-Пекеньо, в то время еще не занятый Испанией и выглядевший оазисом среди зыбучих песков, мы оказались в Испанской Сахаре. Кабо-Хуби появился значительно раньше, чем все ожидали, - мы не учли пассатных ветров, сильно подгонявших нас. С воздуха он показался нам самым затерянным и печальным местом в мире.

Обязанности инспектора в Кабо-Хуби выполнял подполковник Пенья. Его секретарем был капитан Гуарнер. Здесь же находилась казарма дисциплинарной роты - подразделение, в котором отбывали наказание осужденные трибуналом военные. Ею командовал другой Гуарнер, брат секретаря. В захудалую факторию форта время от времени приезжали местные жители, чтобы продать несколько килограммов шерсти [136] и купить чаю, сахару, муки и пользующуюся огромным спросом голубую материю, линявшую, как калька. Лавчонка была маленькой, грязной и бедной, но через нее поддерживался контакт с местным населением. Испанцы никогда не удалялись от Кабо-Хуби дальше чем на 100 метров. Подполковник Пенья производил впечатление хорошего человека. Его семья жила на Канарских островах (я думаю, он поступил на службу, чтобы накопить некоторую сумму денег). Пенья редко выходил из своих комнат и никогда не вмешивался в наши дела. Отношения между нами всегда были спокойными и корректными. Братья Гуарнер своей несносной педантичностью вызывали у нас антипатию. Здешний врач, молодой человек со скучающим лицом, проводил время, подсчитывая оставшиеся до возвращения в Испанию дни.

Испанские летчики и два француза-механика жили вне форта, в домике представителя французской авиационной компании «Латекоер». Они не захотели воспользоваться предложенной им комнатой в форту, чтобы быть ближе к своим самолетам и располагать большей свободой. Представителя компании звали Антуан Сент-Экзюпери. Он был первым, кого мы увидели, прилетев в Кабо-Хуби. Экзюпери помог устроить наши самолеты среди дюн, покрывавших аэродром.

Жизнь в Кабо-Хуби могла превратить любого человека в неврастеника. Врагом номер один был песок. Хотя мы много знали о пустыне из книг, фильмов, рассказов, действительность оказалась намного хуже, чем мы себе представляли. Не успеешь выйти из самолета, как на зубах начинает хрустеть песок. Песок становится неотъемлемой частью твоего существования, ибо он - один из составных элементов здешней атмосферы, и бесполезно пытаться избавиться от него. Максимум, что мы могли сделать ценой огромных усилий, - немного ослабить его действие.

Вид ангара и маленьких домиков, где разместился персонал

аэродрома, менялся так же часто, как декорации на сцене театра. Утром, открыв окно, вместо моря, которое видел вчера, замечаешь дюну высотой больше дома, появившуюся за ночь. Приходилось постоянно вести борьбу с песком, чтобы не быть погребенными в нем. Мы старались не придавать слишком большого значения этому бедствию и, как могли, приспосабливались к местным условиям. Брили головы, чтобы в волосы не набивался песок, носили белые комбинезоны или пижамы, сандалии, разумеется без носков, и летные очки. [137]

Песок был обязательной частью любого блюда, и мы привыкли, жуя пищу, чувствовать его на зубах.

Человеку, в первый раз прибывающему в Кабо-Хуби, казалось, что песчаный ветер - временное явление и, как только он перестанет дуть, все придет в норму. На самом деле ветер дул день и ночь, неделями и месяцами, не прекращаясь ни на мгновение.

Поэтому основной нашей заботой стал уход за самолетами, и в первую очередь за карбюраторами, которые быстро портились от песка.

Другой неприятной стороной жизни в Сахаре была большая влажность, съедавшая металлические части самолетов, превращая их в нечто слоеное. Мы были убеждены, что испытываемые нами неудобства - результат непродуманного месторасположения аэродрома. По нашему мнению, Кабо-Хуби меньше всего подходил для стоянки самолетов, так как ветер, наталкиваясь на высокие стены форта, создавал завихрения, ускорявшие возникновение дюн. Я запросил разрешения перенести аэродром в другое место, более удобное, но получил отказ. Видимо, начальство думало, что, если мы будем прилеплены к форту, это обеспечит нам большую безопасность. Так боязнь ответственности принудила нас на протяжении нескольких лет есть яичницу с песком и проклинать это ужасное место. Надо сказать, что ангар в Кабо-Хуби был транспортабельным и перебазирование его не составило бы особого труда.

Скоро я понял: необходимо чем-то занять личный состав. Опасно, когда молодые, полные энергии парни бездельничают, сидя целый день в комнате, превращенной в казино, и играя в домино, шахматы или карты. Азартные игры я категорически запретил. Партии в покер пришлось решительно прекратить в первые же дни, ибо они никогда не кончались и игра велась на деньги. Если бы я не принял меры, кто-нибудь из офицеров выиграл бы деньги у всей эскадрильи или произошло что-нибудь еще более неприятное.

Мы занялись топографической съемкой берега и местности

Пуэрто-Кансадо, интересовавших министерство. По утрам учились фотографировать с воздуха, после полудня изучали материальную часть самолета и проводили лабораторные работы. Такие занятия были очень полезны. Кроме того, что на них уходил целый день (вместе со временем, которое мы вынуждены были тратить на содержание в порядке самолетов в наших условиях), мы получали хорошую подготовку к полетам [138] над пустыней, приобретали опыт, пригодившийся нам потом не однажды. Мы приняли также меры для обеспечения минимальной безопасности полетов, так как вся территория вокруг Кабо-Хуби была заселена враждебными нам племенами. В воздух всегда поднималось не менее трех самолетов, летевших в сомкнутом строю. В один из них брали проводника-араба, хорошо знавшего местность; в другой - механика и необходимые запасные части. В командирский самолет садился летчик-наблюдатель с фотоаппаратом. На всех машинах имелись пулеметы и по карабину на каждого члена экипажа, а также запас воды и продуктов на несколько дней. Если один из самолетов совершал вынужденную посадку, остальные садились возможно ближе к нему и совместными усилиями принимались устранять поломку. Если же это не удавалось или к месту аварии приближались вооруженные люди, наша группа, чтобы избежать столкновений, бросала поврежденный самолет и рассаживалась на оставшиеся два.

Помню две вынужденные посадки. Одна произошла вблизи Кабо-Хуби. Тогда мы смогли исправить повреждение, оставшись незамеченными. Вторая авария оказалась более серьезной. Нам пришлось провести несколько часов в 90 километрах от форта. В течение этого времени за нами наблюдал небольшой отряд арабов, вооруженных винтовками. Наш проводник сказал, что, вероятно, они поджидают подкрепления и не упустят случая напасть на нас. И действительно, когда, устранив поломку, мы взлетели, показалась большая группа арабов на верблюдах. Увидев самолеты, они начали стрелять по ним.

Ночью на охрану аэродрома приходилось выделять почти половину личного состава форта. Солдатам было очень тяжело, и мне пришла в голову мысль использовать для этой цели собак. С Канарских островов нам прислали пса с устрашающей мордой, и проблема была решена. С этого времени дозор нес один солдат с собакой, и можно было не опасаться, что кто-либо приблизится к аэродрому. Однако пес едва не стал причиной настоящей драмы.

Сент- Экзюпери и я быстро подружились. Мне нравилось беседовать с этим образованным, интересным человеком. Я часто приглашал его обедать с нами. Как к товарищу по службе в

авиации, мы испытывали к нему уважение и симпатию. Наши взаимоотношения были сердечными, и мы во всем, в чем могли, помогали друг другу. Однажды ночью, сидя в своей комнате, я услышал под окном громкие крики о помощи. Я немедленно выбежал узнать, что случилось, и увидел [139] Сент-Экзюпери, распростертого на земле. Он пытался защититься от пса, словно фурия наскакивавшего на него и уже укусившего в плечо. Я принялся оттаскивать пса, но тот имел привычку не выпускать своей жертвы. Пришлось ударить его по голове самолетной стойкой, случайно попавшейся под руку. Наполовину оглушенный, пес разжал свои клыки. Сент-Экзюпери был спасен. Я немедленно послал за врачом. Раны оказались незначительными, но нервное потрясение, вызванное неприятным происшествием, было довольно сильным. Кто знает, не подоспей я вовремя, смогли ли бы мы восхищаться Сент-Экзюпери - большим писателем и одним из самых популярных героев Франции. Это происшествие чрезвычайно огорчило меня. К счастью, через неделю Сент-Экзюпери поправился, и мы отпраздновали его выздоровление, устроив большой банкет, на котором он произнес краткую речь и прочел великолепный рассказ о летчиках пустыни (в то время он писал свою знаменитую книгу «Южная почта» {72}), а затем показал несколько забавных фокусов.

Однажды Сент-Экзюпери, его механик и два испанских летчика, взяв старую львиную шкуру, неизвестно где раздобытую французами, сделали несколько фотоснимков, вошедших позднее в историю. Один из шутников надел шкуру и на четвереньках взобрался на девственную дюну, оставив на песке следы лап с когтями. С земли он выглядел несколько толстоватым, но, когда проявили фотографии, сделанные воздушной камерой, всех поразило его сходство с настоящим львом, который взобрался на вершину дюны и остановился там, встревоженный шумом авиационных моторов. Я не вспомнил бы об этих фотографиях, если бы в 1929 или 1930 году не увидел их в «Иллюстрасион франсэз» - одном из серьезных французских журналов - и не прочел там статью известного писателя о его поездке в Южную Америку. Рассказывая о нашей зоне в Сахаре, он вполне серьезно писал, что видел там несколько львов, и как подтверждение опубликовал две фотографии, сделанные ради забавы его товарищами.

Все то время, что я провел в Кабо-Хуби, нам везло: арабы не захватили ни одного экипажа самолетов фирмы «Латекоер». Помню лишь одну вынужденную посадку, но она закончилась вполне благополучно. Позже я прочел некоторые рассказы Сент-

Экзюпери о его пребывании в Кабо-Хуби. Многое в них было вымыслом и фантазией. Так, он рассказывал [140] о спасении, я уж не знаю скольких, экипажей самолетов. Всякий человек, знакомый с пустыней, сразу же увидит неправдоподобность этих рассказов. Когда самолет с людьми совершал вынужденную посадку и попадал в руки враждебных племен, не было иного выхода, как договориться с ними о выкупе или отправить на выручку отряд войск. Но ни французское, ни испанское командование никогда не посылали для этого войска.

Мы с нетерпением ожидали окончания постройки ангара на аэродроме в Вилья-Сиснерос, чтобы перебазировать туда штаб и часть самолетов. Однажды я получил срочную телеграмму из штаба авиации. В ней предлагалось как можно быстрее вместе с эскадрильей перелететь в Вилья-Сиснерос. Мне не объяснили мотивы этого решения. Подполковник Пенья тоже ничего не знал. Сделав необходимые приготовления, на следующее утро мы отправились в Рио-де-Оро{73} с надеждой, что пассат поможет нам добраться туда, ибо имевшегося запаса бензина едва хватало, чтобы покрыть расстояние от Кабо-Хуби до Вилья-Сиснерос.

Приказ штаба был срочным и конкретным, его надлежало быстро и беспрекословно выполнять. Очевидно, наше присутствие в Рио-де-Оро было крайне необходимо. Мы приняли все меры, чтобы благополучно совершить перелет. Опыт, приобретенный в Кабо-Хуби, облегчил нам задачу. Самолеты были в полном порядке, личный состав хорошо натренирован и подготовлен к неожиданным полетам. Из всех членов эскадрильи только меня беспокоило предстоящее путешествие. Мы должны были преодолеть 650 километров над неизвестной и враждебной землей, с запасом бензина как раз только до Вилья-Сиснерос, да еще в расчете на помощь пассата! Никогда еще эскадрилья не совершала столь длинного перелета, и меня волновало, выдержит ли летный состав палящее солнце на протяжении стольких часов. Чтобы частично защититься от него, мы надели, в первый раз, шлемы из белой шерсти, рекомендованные нам летчиками «Латекоер». Не знали мы и как поведут себя моторы и самолеты в такую жару, когда металлические части нагреваются так, что до них нельзя дотронуться голой рукой, без перчаток.

Все опасения сразу же покинули меня, вернее, показались незначительными, как только я почувствовал, что лечу во главе эскадрильи на юг и ветер дует нам в хвост. Всегда было так: я волновался или испытывал страх до тех пор, пока не начинал [141] действовать. Под нами расстилались огромные пространства дюн, которые, если на них долго смотреть, буквально укачивали, так как летели мы очень низко, чтобы

пассат лучше подгонял нас. Мы видели пять или шесть фюзеляжей брошенных самолетов. Это было печальное зрелище. Они казались скелетами больших животных, оставленными на караванном пути. Попались нам и несколько пароходов, севших на мель возле берега. Их торпедировали во время войны 1914 года. Пролетели над легендарным мысом Богадор, считавшимся когда-то концом света.

Итак, половина пути пройдена. У берега мы с радостью увидели несколько рыболовецких судов, экипажи которых помахали нам руками. Они приплыли с Канарских островов. В этих пустынных местах приятно получить дружеское приветствие. Наконец с огромным облегчением я различил вдалеке узкий полуостров, на котором находился Вилья-Сиснерос. Я сообщил об этом остальным летчикам покачиванием крыльев. Если бы в этот момент кто-нибудь увидел нас, он подумал бы, что с эскадрильей происходит что-то неладное - летчики, чтобы выразить свою радость, стали проделывать в воздухе самые невообразимые фигуры. При вылете из Кабо-Хуби мне казалось, что я один волновался, но по прибытии на место у всех на лицах сияла «радость выживших». Началась жизнь, совершенно не похожая на ту, что мы вели в Кабо-Хуби, и значительно более интересная.

Первое, что бросилось нам в глаза еще с воздуха, - на той части полуострова, где находились форт и аэродром, не было песка. Однако нас ждал другой сюрприз. Мы много слышали о ветре в Рио-де-Оро, и все же встреча с ним застала нас врасплох. Он дул, словно ураган, который, казалось, никогда не прекратится. Его сила в десять раз превышала силу ветра в Кабо-Хуби. При первой посадке из-за отсутствия у летчиков опыта приземления в таких условиях ветер перевернул один самолет. После столь трудного перелета потеря самолета выглядела ужасно глупой.

Нас ждал губернатор. Его вид поразил меня. Он носил такую же, как у Мориса Шевалье{74}, шляпу канотье, но очень старую. Хотя я уже не помню всех деталей его одежды, но она меньше всего подходила для губернатора Сахары. Однако еще больше нас удивил вид 30 или 40 солдат форта. Только половина из них имела форму. Остальные - в фетровых [142] шляпах или картузах, альпаргатах, блузах или пиджаках производили странное и убогое впечатление. Это были крестьяне или рыбаки с Канарских островов, по какой-то причине отправленные сюда без формы.

Губернатора звали Ромераль. Его отца, губернатора Бильбао, убили анархисты. Ромераль провел меня в кабинет, где объяснил причины нашего вызова. Три дня назад он ехал на небольшом грузовике со своим секретарем и слугой-негром на маяк,

находившийся в четырех километрах от форта. Вдруг раздался залп. Одного из сопровождавших убили, но шоферу удалось довести машину до форта. Немедленно были приняты меры для отражения предстоящего нападения, считавшегося неизбежным. Губернатор сообщил, что, по сведениям, полученным из достоверных источников, местные племена концентрируются в окрестностях форта с намерением атаковать его. Это явится началом общего наступления. Он был уверен в точности своих сведений и сообщил о них в министерство, которое и решило послать нас на помощь. В тот же день мы совершили разведывательный полет, но не увидели ни одной живой души в радиусе пятидесяти километров. Как стало известно позже, нападение на грузовик было простой попыткой ограбления, совершенной четырьмя арабами, не предполагавшими, что губернатор может ехать в грузовике. Они хотели захватить продукты, доставляемые каждые 15 дней на маяк.

Жизнь в Вилья-Сиснерос была значительно приятней и разнообразней, чем в Кабо-Хуби. Его великолепный аэродром в те времена являлся, несомненно, одним из лучших. Поле в несколько километров длиной, с совершенно гладкой и твердой, как цемент, поверхностью; сильный ветер, дувший всегда в одном направлении, - все это идеальные условия для взлета тяжело нагруженных самолетов.

Мы приступили к воздушным съемкам полуострова и время от времени производили разведку в глубь материка. Все необходимое, включая воду для людей и машин, привозили из Лас-Пальмас на пароходе, совершавшем рейсы: Канарские острова - Кабо-Хуби - Вилья-Сиснерос - Агуэра. Вода строго учитывалась и охранялась - у резервуара всегда стоял часовой, ибо каждый литр воды ценился на вес золота. В пустыне не было такой добродетели, которая помогла бы устоять против бутылки столь драгоценной жидкости. Вначале я не учел этого, и нам опорожнили хранилище с двухмесячным запасом.

Постепенно мы начали привыкать к новому месту. В окрестностях форта жило довольно много местных жителей, [143] с которыми летчики быстро установили контакты. Наш быт не мог быть ни слишком веселым, ни очень комфортабельным, но мы постарались сделать его достаточно терпимым.

Вилья- Сиснерос имел свои положительные качества, которыми мы научились пользоваться. Одно из них -несметное количество рыбы. Именно за неисчислимые рыбные богатства полуостров назвали Золотой Рекой. Во время прилива в фиорд входили огромные косяки отличной рыбы. Когда же прилив спадал, почти вся она оставалась в заливе. Я не раз видел там

стаи больших креветок. Жители выбирали их ковшами, горшками и всевозможными черпаками. Однажды я приехал в Вилья-Сиснерос на пароходе. Когда корабль вошел в залив, нам показалось, что он плывет по чему-то твердому - его нос отбрасывал рыбу, как плуг землю.

Каждый день перед обедом мы купались в фиорде и принимали солнечные ванны. Когда приближался час второго завтрака, кто-нибудь из офицеров брал ружье, взбирался на камень и делал два-три выстрела в воду. Немедленно всплывали три или четыре большие рыбы. Их относили повару. Ежедневно подаваемую нам к столу рыбу всегда добывали таким способом. Так же ее ловили и для солдатской кухни.

Вторая достопримечательность Рио-де-Оро - изобилие ракушек и прочих морских животных. Мой рассказ может показаться преувеличением, но эти чудеса существовали на самом деле, и не только в нашу эпоху, но еще задолго до нее на протяжении сотен тысяч лет, ибо полуостров, на котором находится Вилья-Сиснерос, состоит из окаменелых морских животных. Море, всегда беспокойное в этом месте, непрестанно ударяясь о крутые берега, подмывает их и отрывает целые куски. Здесь можно найти огромные окаменелые раковины, более твердые, чем скалы полуострова Рио-де-Оро. Во время отлива на берегу можно набрать сколько угодно самых различных морисков{75}, не опасаясь, что их запасы истощатся. До нашего прибытия местные жители не подозревали, что этих животных можно употреблять в пищу. Съедобные ракушки устилали берега на многие километры, а на пляжах фиорда имелось такое изобилие маленьких раков, что, когда кто-нибудь неожиданно появлялся там, казалось, весь пляж движется к морю: тысячи ракообразных, почувствовав чье-либо присутствие, устремлялись к воде. [144]

Наши обеды всегда проходили несколько торжественно. В придачу к морискам мы имели самые хорошие вина, ликеры, пиво, которые заказывали в свободном порту Лас-Пальмас по смехотворно низким ценам. Иногда мы съедали такое количество моллюсков, креветок и т. д., что, беспокоясь за своих офицеров, я обязывал их принять в качестве противоядия по бутылке молока. Но я не помню ни одного случая отравления морисками.

* * *

В Вилья- Сиснерос мы столкнулись с явлением, необычайно поразившим нас. На аэродроме под руководством лейтенанта

инженерных войск производились работы, на которых были заняты негры и несколько арабов. Но у кассы, где выдавали зарплату за неделю, я не встречал ни одного негра. Деньги получали незнакомые мне арабы. Лейтенант объяснил, что эти люди -хозяева негров. Каждую неделю они приходят получать деньги, заработанные их рабами (так повелось с самого начала работ, и губернатор знает об этом). Я был поражен и тотчас же отправился к Ромералю. Выслушав меня, он ответил, что это весьма деликатная проблема. В этой части пустыни существует такой обычай: негры, только потому, что они негры, - рабы, как в нашей, так и во французской зоне. И ничего с этим поделать нельзя, в инструкции приказано оставить все так, как есть. Я заявил, что не согласен с таким положением и по крайней мере на нашем аэродроме не допущу подобного варварства. Моя реакция была стихийной, но у меня ни на мгновение не возникло сомнения относительно правильности моих поступков. Я переговорил с офицерами эскадрильи, и мы решили, что оплата будет производиться персонально тем, кто работал, и, если за ней не придут сами негры, ее не получит никто. Договорились также проследить, чтобы при нас арабы не обращались с неграми, как с рабами. Хотя эти меры в отношении столь безобразного явления, с которым мы столкнулись, могут показаться наивными и незначительными, они свидетельствовали о заметном росте нашего сознания. Мы возмущались беззаконием и не на словах, а на деле готовы были бороться с ним, что и доказали спустя несколько месяцев. Мы выполнили свое решение - выдавать деньги тем, кто их заработал. Правда, наши усилия оказались малоэффективными. По субботам, когда неграм выплачивали зарплату, хозяева ожидали их за пределами аэродрома, чтобы сейчас же отобрать ее. [145]

Несмотря на этот выпад против арабов, летчики стали приобретать среди них авторитет. Им нравилось все, что было связано со стрельбой, но особенно сильное впечатление на них производили выполняемые эскадрильей упражнения по стрельбе из пулеметов по заданным целям. Их приводила в восхищение скорость нашего огня и точность попадания. Другим поводом для роста нашей популярности, чем, правда, мы не особенно могли гордиться, была репутация сумасшедших. Арабы вообще относились с большим уважением к юродивым, считая их отмеченными особым знаком аллаха. Славе ненормальных мы были обязаны разным причинам. Во-первых, тем, что ходили почти раздетыми. Для арабов, даже кончика носа не показывавших наружу, это было непостижимо. Во-вторых, они никак не могли понять, зачем мы принимаем солнечные ванны.

Но особенно их удивляло, что мы едим устриц. «Едят камни», - с изумлением говорили они. Один араб, хорошо относившийся к нам, рассказал мне, что первыми сведениями, полученными им обо мне, были такие: ест камни, ходит раздетый и работает. Вполне достаточно одного из этих моментов, чтобы запереть самого уважаемого араба в сумасшедший дом.

По вечерам мы усаживались около дома с безветренной стороны, болтали и пили апиритив. Наступало самое хорошее время суток: спадала дневная жара, но еще не чувствовалось неприятной ночной влажности. Однажды после полудня мы увидели бредущую из пустыни группу арабов человек в пятьдесят, в основном женщин и детей, имевших ужасный вид. С разбитыми ногами, с потрескавшимися от жары губами, они выглядели настолько худыми, что были похожи на ходячие скелеты. Арабы подошли к воротам аэродрома и, совершенно обессиленные, упали на землю. Это оказались остатки племени, которое, перекочевывая на другое пастбище, подверглось нападению банды разбойников. Грабители убили и ранили большую часть мужчин, захватили нескольких женщин, рабов, верблюдов с продовольствием, воду и палатки. Те, кому удалось спастись, четыре дня шли по пустыне, не встретив на своем пути ни одного колодца.

Их приход совпал с часом обеда на аэродроме. Через несколько минут несчастные получили кувшины с водой и тарелки с пищей, которые принесли солдаты. Появившийся губернатор застал их за едой. Чаю им дали столько, сколько они хотели, а на десерт открыли самые лучшие из имевшихся на складе банок со сладким. На ночь беженцев разместили [146] в домах арабов, живших в окрестностях форта. На аэродроме о них заботились с такой искренней сердечностью, что губернатор шутя говорил мне: если мы будем и дальше так относиться к своим подопечным, то удвоим колонию.

В пустыне часов не наблюдают. Время имеет там совершенно иную ценность, чем у нас. Прошло более двух месяцев. Мы почти забыли о спасенных, когда на аэродром явились пять арабов, одетых по-дорожному, на очень хороших верблюдах. Я никогда не вмешивался в политические дела пустыни - они относились к сфере деятельности губернатора. Поэтому, увидев делегацию, направляющуюся на аэродром, подумал, что арабы ошиблись адресом, и приказал переводчику проводить их в кабинет Ромераля. После длительных переговоров с ними переводчик вернулся и сказал, что они не хотят видеть губернатора, а желают говорить с «шейхом тайяра», то есть с «шейхом птиц» - так арабы Вилья-Сиснероса называли меня. Я возражал, так как Ромераль

ревниво относился к вмешательству в его дела, но, уступая их настойчивости, предложил пройти в мой кабинет. Один из арабов, удостоверившись, что я действительно являюсь «шейхом птиц», извлек из-под своих многочисленных одежд портфель и вынул оттуда письмо, написанное по-арабски, с двумя большими печатями, на которых были изображены гербы наподобие дворянских и два или три слова. Письмо адресовывалось мне. Написал его Бучарайя - брат Синего султана{76}. В послании после многочисленных приветственных выражений, употребляемых арабами, говорилось следующее: «Я знаю, что ты дал пищу моим детям. Я благодарю за твои действия, которые мы никогда не забудем…» Письмо было длинным, любезным и настолько поэтичным, что я не берусь воспроизвести его.

Печати на конверте имели фамильные гербы «Ма эль Аинин» - племени, члены которого считались потомками Пророка. На следующий день я передал эмиссару Бучарайя письмо, в котором благодарил за послание, выражал желание лично познакомиться и приглашал провести в Вилья-Сиснерос несколько дней.

Губернатора заинтересовала эта переписка. Он сказал мне, что Бучарайя пользуется огромным авторитетом в пустыне, и доказывал, что тот не примет приглашения. Французы несколько раз предпринимали попытки пригласить его, но никогда не получали согласия. [147]

В пустыне, повторяю, часов не наблюдают. Прошло еще почти три месяца. Однажды вечером мы увидели приближающуюся к форту группу из десяти прекрасно экипированных, на породистых верблюдах арабов. Это был шейх Бучарайя со своим эскортом, прибывший ко мне с визитом. Он намеревался остаться в Вилья-Сиснерос на два дня, но, очевидно, ему показалось у нас не так уж плохо, и шейх прожил в форту целую неделю. Больше всего ему понравились упражнения по стрельбе из пулемета с воздуха. Они, действительно, могли произвести впечатление. Цели мы поместили вблизи зрителей, и те прекрасно видели шквал из трассирующих пуль, высекавших искры из камней. Бучарайя впервые с момента приезда утратил вид невозмутимого человека и выражал восхищение, как обычный смертный.

Патроны в пустыне ценились чрезвычайно дорого, и никто не позволял себе роскошь расточать их понапрасну. Но для Бучарайя и его свиты мы, не скупясь, организовали несколько учебных курсов стрельбы. Гости, в том числе и Бучарайя, были счастливы. Они никогда не стреляли столько, сколько в те дни. Увидев, что мы хорошие стрелки, они прониклись к нам еще большим уважением.

Другим развлечением, приведшим в восторг наших гостей,

была охота за газелями на автомобиле. В нашем распоряжении находился открытый «шевроле», который мы называли «верблюдом». Это была необыкновенная машина. Тысячи и тысячи километров покрыл наш «верблюд» по бездорожью, без единой аварии. Отправляясь на охоту, мы грузились в него по пять человек, вооружались карабинами и брали пару гончих собак. Как правило, вскоре же обнаруживали стадо из несколько тысяч газелей или антилоп и начинали преследовать одну из них, отделившуюся от основной массы. Быстрота этих животных невероятна - 80 километров в час! Один прыжок равен десяти метрам. Приблизившись к жертве на ружейный выстрел, прямо на ходу мы стреляли в нее, пока животное не падало. Иногда, чувствуя, что оно начинает уставать, мы спускали собак. Для непривычного человека такая охота казалась безумием, ибо, мчась на предельной скорости по неровной местности, машина совершала фантастические прыжки, и не было бы ничего удивительного, если бы пуля попала в голову одного из охотников.

На охоту, устроенную для гостей, со мной отправились Бучарайя и два человека из его свиты. Первую газель мы убили за несколько минут; вторая задала нам работу. Она [148] бросилась в дюны, куда на автомобиле мы проникнуть не могли. Бучарайя и два его охранника предложили преследовать ее пешком, утверждая, что газель ранена. Я согласился, но спустя некоторое время сообразил, что совершил глупость, оставшись наедине с тремя вооруженными арабами за много километров от форта. Как-никак Бучарайя был вождем племен, считавших нас врагами. Не показывая своего беспокойства, я продолжал охоту. Мы действительно нашли раненую газель, а когда вернулись на аэродром, Бучарайя очень трогательно обнял меня. Я подумал, что он признателен за охоту. И только через несколько месяцев Бучарайя сказал мне, что благодарил за доверие.

Я совершил с Бучарайя несколько полетов. В воздухе он держался спокойно. В его честь губернатор устроил протокольный банкет. Перед каждым приглашенным поставили по нескольку приборов и бокалов. Бучарайя, как и его соотечественники, никогда раньше не пользовался столовыми приборами и удивленно взирал на сервировку. Но, будучи очень хитрым человеком, он не приступил к еде, пока не увидел, как это делают другие. Тогда он взял соответствующий прибор и вполне естественно начал орудовать им. Я не раз удивлялся, с какой легкостью выходил он из затруднительных положений. В разговорах он был находчив, обладал некоторыми манерами важного господина, умел и знал, с кем «играть на деньги». На

аэродроме он держался свободнее, нежели в форту. Однажды утром я проверял в ангаре карбюратор своего самолета. В это время появился милейший Бучарайя со своими людьми. Увидев меня выпачканным в масле и занятым работой, он остановился от удивления. Я рассмеялся. Чтобы сопровождающие не видели совершаемого мною «преступления», он приказал им немедленно выйти наружу. Обратившись ко мне, Бучарайя серьезно сказал, что я поступаю нехорошо: начальник не должен работать. Он не хочет, чтобы его люди видели это, дабы я не потерял авторитет в их глазах. Я убедился, как непоколебимо жители пустыни соблюдают обычаи, ставшие для них законом. Один из них категорически запрещал работать тем, кто принадлежит к высшим слоям.

Накануне отъезда Бучарайя мы зашли с ним в казино. Я показал ему карту Западной Сахары, на которой мы отметили характерные особенности данной местности: наиболее близкие к нам колодцы, соляные разработки, районы частых дюн, сухие русла и т. п. Я спросил, может ли он хотя бы приблизительно определить на карте место, где его ждет племя. [149]

Шейх внимательно посмотрел на карту, потом спросил о значении некоторых знаков и указал нам пункт в 200 километрах от Вилья-Сиснероса. Там находилась его семья (так он называл свою Кабилию). Я доверял Бучарайя, поэтому у меня родилась мысль отвезти его туда. Не раздумывая, я предложил ему отправить свой эскорт с верблюдами, а самому остаться еще на пару дней, после чего меньше чем за два часа мы доставим его по воздуху на стоянку, и он сэкономит пять дней пути. Гость колебался и сказал, что подумает. Через два часа он согласился с моим планом.

Я рассказал об этом летчикам. Новость взволновала их. Очень довольный, я сообщил о ней губернатору, полагая, что и тот обрадуется. Однако, к моему удивлению, Ромераль заявил, что не позволит совершить такое безрассудство. Мы долго и довольно горячо спорили. Я был возмущен, ибо считал, что мой план - единственная возможность установить дружественные отношения с кочевниками, обитавшими в нашей зоне, и упустить ее мы не должны. Питая доверие к Бучарайя, я был убежден, что мы не подвергаем себя опасности. Ромераль упорствовал, считая глупым сажать самолет в пустыне, среди племени, насчитывавшем несколько тысяч человек, многие из которых никогда не видели христиан. Он пытался доказать мне, что власть Бучарайя относительна и тот не сможет удержать своих людей, если они захотят расправиться с нами. Губернатор опасался, что нас задержат вместе с самолетами, чтобы получить выкуп, который

обогатит всю Кабилию. Я понимал: боязнь ответственности была у Ромераля сильнее желания добиться политического выигрыша. Я продолжал настаивать: если полет окончится благополучно, политический успех, начало которому положил визит Бучарайи, может неожиданно дать министерству немало шансов в будущем. В конце концов губернатор согласился с планом, за которым можно было скрыться от любой неприятности: официально будет считаться, что я отправился на выполнение обычного задания, а в воздухе никто не может помешать мне случайно отвезти Бучарайя в Кабилию, и, если произойдет какая-нибудь неприятность, вся ответственность ляжет на меня.

Мы вылетели на рассвете. Со мной отправились два лучших офицера эскадрильи: лейтенанты Луис Бургете (сын генерала) и Эрнандес Франк, тот, что приобрел куклы в Касабланке. К обоим я относился с полным доверием. Бучарайя сел в мой самолет. Перед вылетом мы детально изучили предстоящий нам путь, рассчитали бензин и договорились: если [150] через два часа не обнаружим стоянки, возвращаемся в форт. Итак, самолеты взяли заданный курс. Летели низко, чтобы Бучарайя мог ориентироваться по местности. Направление он указывал мне рукой, но я видел, что он не вполне уверен, правильно ли мы летим. На карте я отмечал наш путь, чтобы не заблудиться при возвращении. Полет проходил нормально. Спустя полтора часа я заметил, что мой пассажир как-то особенно внимательно рассматривает местность. По его указаниям, я несколько раз менял направление и наконец понял: мы заблудились. Оставалось одно - возвратиться в Вилья-Сиснерос. Положив самолет в вираж, чтобы развернуться, я увидел внизу верблюдов, несколько шатров и множество людей, перебегавших с места на место. Я спросил Бучарайя, не его ли это семья. Он попросил сделать еще один круг. В зеркало я наблюдал, с каким вниманием он рассматривал шатры и скот. Наконец, должно быть, узнал своих и подал знак садиться.

Я выбрал наиболее удобное место, и три самолета почти одновременно приземлились. Бучарайя сказал, чтобы мы оставались здесь. Сидя в самолетах с работающими моторами, мы видели, как он в сопровождении своего телохранителя направился к шатрам, где собралось много людей. После длительных переговоров, показавшихся мне вечностью, ибо моторы нагрелись почти до 100 градусов, Бучарайя вернулся и сообщил, что приказал приготовить чай и еду; кроме того, нас придут приветствовать его двоюродные братья. Честно говоря, это известие не обрадовало меня. Я предпочел бы попрощаться с Бучарайя, запустить мотор и вернуться в Вилья-Сиснерос. Но при

создавшихся обстоятельствах столь быстрый отъезд мог быть расценен как боязнь или недоверие к хозяевам. Почти фантастические успехи нашей дружбы с кочевниками сразу же были бы сведены на нет, и мы вернулись бы к временам, когда не могли выйти за ограду форта. Всего этого нельзя было не учитывать. Я покорился судьбе и без всякого энтузиазма приказал выключить моторы, давая понять, что нам следует задержаться.

Очевидно, Бучарайя не разрешил своим людям приближаться к самолетам слишком близко. Толпа, которая все-таки вызывала у нас беспокойство, держалась на некотором расстоянии. Мы уселись под крыльями самолета, пытаясь укрыться от палящего солнца. Вскоре с чайными приборами подошли двоюродный брат и два сына Бучарайя. Все трое были вооружены французскими винтовками «Лебель». Время [151] от времени мы слышали споры между людьми из толпы и «охраной». Бучарайя имел вид невозмутимого человека, но я заметил: ничто не ускользает от его внимания. Подошли еще пять или шесть вооруженных кабилов с двумя неграми, принесшими еду и несколько ковров, которые расстелили на земле. И эти приготовления не доставили мне удовольствия. Началась трапеза. Я торопился закончить ее, но Бучарайя и около десятка его двоюродных братьев не спешили. Когда принесли последнее блюдо, я намекнул, что нам пора лететь. Хозяева ответили, что мы ни в коем случае не можем покинуть их, не выпив еще несколько чашек чаю. Помню, Эрнандес Франк и Бургете многозначительно переглянулись. Через полчаса я еще более настойчиво выразил желание распрощаться. На этот раз сам Бучарайя попросил не спешить и выпить еще чашку чаю. Меня охватило серьезное беспокойство. Не оставалось сомнений: нас задерживают. Офицеры казались невозмутимыми, но дали мне понять о возникшем у них недоверии. Я встал, решив, что обстановка достаточно ясна, и очень строго приказал запускать моторы. Затем подошел к Бучарайя, чтобы поблагодарить его и попрощаться. Наступил кульминационный момент. Сейчас мы узнаем: отпустят нас или задержат. Я увидел, как братья Бучарайя дружелюбно и искренне прощаются с офицерами. Бучарайя взял мои руки в свои, обнял, поцеловал в плечо, а затем снял кольцо с агатовым камнем, которое постоянно носил, и в знак дружбы надел мне на палец.

Растроганный и одновременно пристыженный за свои сомнения в лояльности и доброжелательности Бучарайя, я сел в самолет и дал сигнал к отлету. Приветствуя и прощаясь с нашими новыми друзьями, мы сделали над шатрами круг на малой высоте и, взяв курс к морю, без приключений прибыли в Вилья-Сиснерос, к великому удивлению губернатора, уже не рассчитывавшего

увидеть нас.

Дружба с Бучарайя позволила расширить наши связи с различными группами кабилов, кочующих по пустыне. Мы оказали им несколько полезных услуг. Однажды нам удалось предотвратить беду. Обычно при перелете в Агуэра мы делали посадку на французском аэродроме Порт Этьен. С французами у нас установились хорошие взаимоотношения, и мы часто посещали друг друга. В один из таких визитов мы узнали, что банда из 300 хорошо вооруженных людей, совершив несколько ограблений во французской зоне, направляется на испанскую территорию, как раз в ту ее часть, где паслись [152] стада наших друзей. Через два часа после получения этих сведений наш самолет опустился вблизи одной из групп кабилов и предупредил их об опасности. Сообщение пришло вовремя и позволило им принять необходимые меры предосторожности.

Эти незначительные услуги получили широкий отклик в пустыне, где нас стали считать друзьями. Однажды, возвращаясь с задания, мы заметили небольшую группу шатров и спустились ниже, чтобы приветствовать их хозяев, но вдруг раздались выстрелы. Я был удивлен и не мог понять, что произошло и почему в нас стреляют. Вернувшись на аэродром, мы с недоумением обсуждали происшествие. Спустя несколько дней к нам прибыли четыре кабила, чтобы выразить свое сожаление. Единственный аргумент, приведенный ими в свое оправдание, - они «приняли нас за французов», считая, видимо, такое объяснение вполне обоснованным. Французам они не доверяли и боялись их.

В другой раз во время ужина, поглощая очередной квинтал{77} морисков, мы увидели негра, вбежавшего на аэродром, и трех или четырех арабов, с громкими криками наседавших на часового, не пропускавшего их. Негр оказался беглым рабом. Вместе с двумя своими друзьями хозяин преследовал его, намереваясь избить до смерти в назидание остальным. Испуганный негр прибежал к нам. Мы послали к чертям его хозяина, и тот, негодуя, отправился жаловаться губернатору.

Арабы абсолютно не сомневались, что вправе вернуть своего раба, так же как мы нашли бы естественным получить обратно сбежавших от нас барана или лошадь. Ромераль не осмелился прямо приказать нам выдать негра, но упорно намекал, что не следует выступать против вековых обычаев, поскольку мы все равно ничего не сможем изменить, и повторял приказ министерства избегать инцидентов с местными жителями. После долгого спора с ним и арабами я купил у хозяина его негра за 90

дуро, и он, успокоенный, отправился в Кабилию.

Прошло несколько недель. Однажды на аэродроме появился еще один беглец. Его никто не преследовал. Но через два дня пришел его хозяин и потребовал выдачи своего раба. Ему тоже заплатили 90 дуро. [153]

«Латекоер» не занималась перевозкой пассажиров. Ее самолеты доставляли только почту, но обычно на их борту почти всегда летел еще кто-либо кроме экипажа. Это были, главным образом, французы - офицеры из гарнизонов, расположенных во Французской Сахаре или в Мавритании. Мы, испанцы, также использовали эту линию для своих поездок на родину. Спустя десять дней после того, как к нам прибежал второй негр, на линейном самолете в Вилья-Сиснерос прилетел пожилой французский подполковник, занимавший важный пост в Мавритании. У него состоялся длинный разговор с губернатором. После ужина гость сказал, что хотел бы поговорить со мной. Я не буду излагать нашу длинную беседу, ограничусь лишь ее резюме. Визит подполковника объяснялся двумя причинами: первая - моя дружба с Бучарайя; вторая - вопрос о неграх. Относительно Бучарайя он хотел получить кое-какие сведения и подробнее узнать о моих отношениях с шейхом и его людьми. Подполковника интересовало, были ли эти отношения каким-то политическим шагом, санкционированным испанским правительством, или это моя личная инициатива. Одним словом, приезд Бучарайя в Вилья-Сиснерос и наши многочисленные визиты к кабилам внутрь страны, куда европейцы никогда не проникали (и надо сказать, наши походы оканчивались благополучно), - все это волновало французов, и они хотели получить информацию.

О неграх он говорил в покровительственном, почти отеческом тоне. Нарочито деликатно и вежливо, что привело меня буквально в ярость, он убеждал, что я молод, не знаю пустыни, поэтому мне не стоит вмешиваться в столь сложные дела, ибо они могут скомпрометировать испанскую политику в Сахаре и даже бросить тень на французское командование. Кроме того, как только негры в пустыне узнают о летчиках Вилья-Сиснерос, дающих приют и защищающих от хозяев, они повалят сюда тысячами. Как тогда я разрешу эту проблему?

Этот человек, державшийся со мной с видом покровителя, действовал мне на нервы. Мне захотелось выбросить его в окно. Я не находил слов для достойного ответа. В голову лезли лишь глупости. Полковник же, наоборот, казался совершенно спокойным. У него, видимо, был большой опыт, ибо, поняв мое душевное состояние, он весьма дипломатично изменил свой тон

и, сделав вид, будто не придает значения нашему разговору, вежливо распрощался.

Результаты визита французского полковника не заставили себя долго ждать. Ромераль сообщил обо всем в колониальную [154] дирекцию, французское правительство сделало легкий намек, и наше военное министерство дало понять командующему авиации, что климат Сахары вреден для моего здоровья. По радио я получил сообщение о новом назначении на базу гидроавиации в Мар-Чика с указанием срочно явиться туда.

Такой срочный вызов преследовал одну цель: как можно быстрее выдворить меня из Вилья-Сиснерос. Очевидно, мое пребывание в тех местах угрожало спокойствию правительства. Поскольку в Мар-Чика не нуждались в моем присутствии, я отправился в отпуск в Мадрид.

Это происходило накануне открытия испано-американской выставки в Севилье, в связи с которым предполагалось проведение различных торжеств, обещавших быть довольно веселыми. Поэтому я без колебаний принял приглашение Гильермо Дельгадо Бракамбури провести во время этих праздников несколько дней у него в Севилье. Отправился я туда вместе со своим кузеном Пепе Кастехоном в его новеньком комфортабельном автомобиле.

В то время в Испании, если видели стоящую на дороге машину, обязательно спрашивали, не требуется ли помощь. Километрах в пятидесяти от Кордовы мы заметили автомобиль с дипломатическим номером. Шофер что-то исправлял в моторе. Рядом стоял господин, по внешнему виду типичный английский офицер в отставке, а немного поодаль - девушка-блондинка с приятной внешностью. Оказалось, машина принадлежит английскому посольству, а господин - губернатор Гибралтара, который вместе с дочерью едет в Севилью. Шофер-испанец сказал нам, что у него не хватает какой-то детали, а без нее он не может устранить повреждение. Англичанин говорил на испанском языке плохо, но дочь его объяснялась на нем довольно свободно. Пепе предложил им оставить автомобиль и шофера ждать, пока из Кордовы не прибудет помощь, и ехать в Севилью с нами. Они с радостью согласились.

Узнав, что я прибыл из Сахары, губернатор на протяжении всего пути расспрашивал меня об Африке, Пепе же в это время о чем-то весело болтал с девушкой. В Севилье мы остановились в отеле «Альфонс XIII», где для нас уже были заказаны номера. Потом я отправился в дом моего хорошего друга Гильермо Дельгадо. Мы с ним в один день получили чин майора. Дом у Гильермо был необычный. Он принадлежал к королевскому

родовому имуществу и сдавался внаем за незначительную сумму. Чтобы войти в него, надо было [155] пересечь настоящий «Патио де лос наранхос» {78}. К нему же был обращен и фасад здания.

Гильермо жил с двумя дочерьми - 16-ти или 17-ти лет, красивыми, приятными и элегантными. Несколько раз мы с Гильермо летали над интернатом, в котором они учились, сбрасывая какой-либо подарок, тут же подбираемый монашками или девушками-воспитанницами.

В те дни в Севилье приземлился дирижабль «Граф Цепеллин», только что совершивший кругосветный полет. В составе его экипажа находился испанец, тогда подполковник авиации Эмилио Эррера. К сожалению, немцы оценили его знания в области аэронавтики значительно выше и щедрее, чем соотечественники. «Цепеллин» открыл аэродром Сан-Пабло, который с тех пор стал официальным аэродромом Севильи.

В те дни мы с Гильермо часто посещали знаменитое казино «Касиниль де ла Кампана». В Севилье его называли «Витриной холодильника», потому что салон, занимавший первый этаж, имел полукруглую форму и из-за большого количества окон казался витриной. Несколько раз я бывал в «Витрине» еще с Санхурхо. Такое казино могло существовать только в Андалузии и только в Севилье. Я уже рассказывал о баре «Гран Пенья» в Мадриде. Казино «де ла Кампана» производило впечатление значительно более утонченного и современного. Прием в члены клуба был строго ограничен. В него могли вступить аристократы, землевладельцы и крупная буржуазия, а также высшие власти города: губернатор, капитан-генерал, алькальд. Кроме того, при вступлении в клуб предусматривался ряд условий, не имевших ничего общего с этикой, моралью и честностью в том смысле, как это понимает большая часть человечества.

Что касается женского общества, то в этом отношении больших строгостей не было. Приглашали самых модных артисток и известных профессионалок… Кухня была великолепной. Винный погреб, конечно, лучший из лучших. Казино посещали владельцы главных винных складов, естественно знавшие толк в этом деле. Закажешь оливки - принесут лучшие в мире и без всякого обмана: ведь здесь бывали хозяева знаменитых в Испании оливковых плантаций. Окорока из Арасена доставляли в казино из имения одного из членов клуба. Приглашали владельцев лучших рыболовецких судов, [156] в частности Карранса, занимавшегося ловлей тунцов в Проливе. И конечно, тунцы, подаваемые в «Витрине», были отборными. То же относилось и к апельсинам и вообще ко всему, что только есть в Андалузии.

Когда в Севилье происходили бои быков, казино абонировало лучшие места на трибунах. В ложах и в первых рядах имелись специальные кресла со спинками для избранных членов общества, привыкших к особому комфорту. Позади них стояли присланные из казино лакеи в ливреях и подавали мансанилью, виски и т. п. с соответствующими закусками. У публики это не вызывало ни малейшего протеста. Невероятно, до чего укоренилось в нас барство! Я тоже пользовался этими привилегиями и преимуществами, но должен сказать, что уже тогда мне иногда становилось стыдно и за себя и за других. Я понимал всю несправедливость существовавшего положения, однако мирился с ним, ибо подобный образ жизни был мне в общем приятен.

Мне очень нравились корриды в Севилье. Здесь была самая красивая арена в Испании. Обычно я сидел в окружении друзей в удобном кресле, откуда было все прекрасно видно, и любовался на севильянок в изящных платьях и мантильях. Я не беру на себя смелость описывать ни севильские корриды, ни севильских женщин.

В то время мое недовольство вопиющим неравенством между различными слоями общества было умозрительным, и только значительно позже я сумел на практике выразить свой протест против него. Однако уже тогда налицо был некоторый прогресс в моем сознании. Жизнь, которую я вел, не привлекала меня до такой степени, чтобы я не мог отказаться от нее. Помню удивление Гильермо, увидевшего однажды, как возмутил меня поступок, казавшийся для завсегдатаев казино, где мы сидели еще с одним господином, нормальным. Во время нашей беседы по улице прошла красивая молодая девушка. Наш собеседник, член клуба, спросил у Дельгадо, знает ли он ее. Тот ответил, что не знает. Тогда этот человек попросил служащего, словно речь шла о самых обычных вещах, разузнать, где она живет, есть ли у нее жених или любовник, каково ее поведение и т. п. Сводничеством занимались почти все служащие казино. Этот факт может дать представление о жизни, какую вели наиболее привилегированные классы.

Между членами клуба существовала круговая порука. Достаточно было легкого намека, и все дела - судебные или любые другие - решались в пользу членов клуба или по [157] их рекомендации. Делалось это за счет простых смертных, не входивших в клан «избранных».

В те времена я дважды встречал в казино Примо де Ривера, который чувствовал себя там как рыба в воде. Он никогда не пил спиртного и держался с достоинством.

В казино мало говорили о политике. Все его члены были

монархистами до мозга костей и ярыми защитниками церкви, хотя никогда не посещали мессы и не выполняли самых элементарных обязанностей католика. В один из дней святой недели я сидел в казино и наслаждался прохладной мансанильей. Я заказал знаменитую ветчину из Арасена и, лишь когда ее принесли, вспомнил, что сегодня нельзя есть мясо. Меня давно уже не заботили подобные вещи, но, чтобы не оскорблять религиозных чувств других, я приказал унести ветчину. Каково же было мое удивление, когда рядом я заметил ревностных католиков, уплетавших окорок вопреки церковному запрету!

Много раз, удивляясь, я думал о том, почему народ с такой безропотной покорностью переносил жизненные тяготы и несправедливость. Тогда я не замечал в нем недовольства и возмущения жизнью и поведением господ, и, конечно, никто никогда мне об этом не говорил. Однако первое, что сделал народ, когда восстал, - сжег казино.

Несколько дней я не видел своего кузена Пепе. Наконец он позвонил мне по телефону и пригласил на обед в таверну моего старого друга Пилина. Увидев кузена, я сразу понял, что он счастлив и хочет поделиться своей радостью. С того времени, как Пепе познакомился с английским губернатором и его дочерью, он не переставал думать о девушке. На следующий день после нашего приезда, в 9 часов утра, он отправил своего шофера вместе с автомобилем и письмом к губернатору. В послании он писал, что для него будет большой честью предложить им свой автомобиль, пока их машина находится на ремонте. Губернатор послал ему любезнейший ответ и пригласил на ужин, чего Пепе как раз и добивался. И вот мой кузен уже наполовину жених. Мне он превозносил свою новую симпатию до небес. Больше всего Пепе восхищало ее умение естественно держать себя в любом обществе. Когда же я спросил его о Солеа, он сразу стал серьезным и сказал, что это - его единственная забота, так как ему сообщили о ее приезде в Севилью.

В тот же вечер, когда мы с Гильермо сидели в таверне «Антекера» после осмотра быков для следующей корриды, [158] появилась Солеа в компании трех незнакомых нам сеньоров. Она приветствовала нас. Меня бросило в дрожь при мысли, что в таверне может появиться Пепе со своей англичанкой. Я пытался позвонить ему по телефону, но не застал дома. Когда мы с Гильермо садились в автомобиль, чтобы вернуться в Севилью, подошла Солеа и спросила, не хотим ли мы взять ее с собой. Ей так не терпелось поговорить со мной, что она, не раздумывая, покинула своих друзей. Без предисловий Солеа заявила, что знает, как Пепе восхищен одной «прилизанной» англичанкой.

Слава богу, он уже мало интересует ее, между ними давно уже нет ничего общего, с этим покончено раз и навсегда. Однако любопытства ради ей хотелось узнать, верно ли, что Пепе совсем потерял вкус… Она долго говорила в таком же духе, пытаясь даже своим тоном показать полную индифферентность. Разговор очень встревожил меня. Имелись все основания подозревать, что Солеа может выкинуть любой фокус.

На аэродроме Таблада устроили большой праздник, на котором присутствовала королевская семья. Помню показательный удар «мордой о землю», как мы его называли в авиации, выполненный Гути на истребителе в десяти метрах от королевы. У самой земли он хотел выйти из пике, но самолет ударился о нее, к счастью под острым углом, и покатился по полю, Гути чудом удалось спастись. Тогда я последний раз видел короля. В разговоре он использовал мадридский жаргон. Бывая среди нас, король, не стесняясь, употреблял совсем не протокольные выражения. Думаю, таким путем он пытался завоевать наши симпатии. Заметив на аэродроме архиепископа, пришедшего приветствовать его, король подмигнул нам и, как Дон-Кихот, сказал: «Сталкиваемся с церковью». Затем стал смирно, по-военному и почтительно поцеловал его перстень. Наконец, помню случай с принцем Галесом, ныне виндзорским герцогом. Во время пробы бычков, устроенной на летном поле (необыкновенно красивое и яркое зрелище, в котором участвовали лучшие наездники Андалузии, в живописных костюмах и на прекрасных лошадях), принц, увидев, как сбили с ног первого бычка, демонстративно удалился с поля в сопровождении своего испанского адъютанта, кажется Моренеса, и отправился в аэродромный бар. Эта выходка принца была расценена как неуважение ко всем испанцам - от короля до последнего летчика. К тому же для нее у принца Галеса не было оснований. Бычкам в таких пробных боях не причиняли никакого вреда. Когда закончилась эта [159] часть праздника, мы зашли в бар выпить виски. Наш прекрасный принц все еще находился там, болтая с летчиками и попивая вино. Все мы были возмущены его поведением. Своим поступком он как бы обвинял нас в дикости и бесчеловечности. Один из летчиков воспользовался представившейся в разговоре возможностью и отплатил ему тем же. Он завел речь об охоте и, обращаясь к принцу, сказал, что до сих пор хранит неприятное воспоминание, вызванное гравюрой, когда-то висевшей в его детской комнате. На ней была изображена охота на лис в Англии: собаки терзали бедное животное, а охотники в красных сюртуках, и среди них несколько женщин, с восторгом созерцали кровавое зрелище. Принц

прекрасно понял намек, но ничего не ответил и вышел из бара.

Английский губернатор и его дочь были в восторге от праздника, на котором их сопровождал Пепе. Бедный, он не мог представить себе, что ждет его через несколько часов!

Солеа интересовалась всем, что имело отношение к Пепе и англичанке. Как я и предполагал, она выкинула один из своих классических номеров. Во дворе своего дома она взяла двух мальчишек шести и семи лет, купила им сладостей и направилась с ними в отель «Альфонс XIII». Там она приказала посыльному передать англичанке, что имеет к ней срочное поручение. Девушка немедленно спустилась вниз. Солеа, указав ей на мальчиков, сказала: они - сыновья ее и Пепе; она пришла спросить, неужели англичанка прибыла так издалека, чтобы разрушить их семейное счастье. Об этой сцене мне потом рассказал посыльный. Бедная девушка покраснела и не знала, что ответить. Люди, находившиеся вокруг, конечно, поняли, в чем дело. В итоге разразился грандиозный скандал. Губернатор поторопился с отъездом. Молодая англичанка уехала, не пожелав выслушивать объяснений Пепе.

В Севилье мне довелось присутствовать на церемонии открытия канала Таблада, превратившего наш аэродром в остров. Я наблюдал за ней с подъемного моста, который соединил новый остров с городом. По этому случаю инженеры устроили настоящее представление. На полном ходу к мосту приблизился эсминец, и, когда столкновение казалось неизбежным, мост подняли, и эсминец вместе с каравеллой «Санта Мария», стоявшей на якоре вблизи моста, прошел по каналу.

Несмотря на жизнь, которую вел в то время, я все же был изолирован от политических дел. Однако до нас доходили слухи, указывавшие на то, что обстановка в стране весьма неустойчива. Первым серьезным выступлением против Примо де [160] Ривера явилась Санхуанада{79}. Оно потерпело неудачу, и несколько генералов, в том числе Батет и Агилера, были осуждены.

Восстание артиллеристов, вызванное упразднением существовавшего порядка продвижения в чинах, послужило поводом для роспуска артиллерийского корпуса и для занятия войсками его казарм. В Сиудад Реаль, где артиллеристам удалось на время захватить город, суд приговорил одного полковника к смертной казни, других командиров - к пожизненному заключению. Приговор, правда, не был приведен в исполнение. Эти события нельзя было скрыть, их обсуждали всюду, и совершенно открыто.

Среди моих друзей больше всего этой расправой возмущался Рамон Франко. Перелет из Европы в Буэнос-Айрес сделал Рамона

всемирно известным. Впервые Атлантический океан был пересечен по воздуху{80}. Перелет, который он сам подготовил и осуществил, явился настоящим сюрпризом для авиаторов. Руис де Альда, его штурман, вошел в состав экспедиции, когда все приготовления уже закончились, помогал Франко только Барберан. Морского летчика Дурана, фигурировавшего в качестве одного из героев экспедиции, в последний час навязало Рамону командование морской авиации, которое не могло допустить, чтобы в столь важном мероприятии обошлись без них. Такое насилие едва не привело к отмене перелета.

Уже в Буэнос-Айресе у Франко произошла серьезная стычка с Примо по телефону. Диктатор приказал Франко отправиться в какую-то страну, но тот категорически отказался. Примо пришлось уступить. В то время Рамон был очень знаменит. Когда он вернулся в Испанию, ему устроили грандиозный прием в Уэльве. Я находился там с эскадрильей гидросамолетов. Тут же присутствовал его брат Франсиско, с которым Рамон не разговаривал уже несколько лет. На этом путешествии Франко основательно заработал, ему вручили множество подарков и денег, собранных по подписке испанцами, проживавшими в Америке, и т. д. Деньги он с примерным великодушием разделил между Руисом де Альда, Дураном и Рада. Рамон Франко стал национальным героем, пользовался огромной популярностью, приобрел значительное [161] состояние и прослыл республиканцем и врагом Примо де Ривера.

После возвращения Рамона из Америки я провел с ним несколько дней. Маленький отель, где он жил, превратился в центр конспирации республиканцев. Я был изумлен энтузиазмом, с каким Рамон занимался политической деятельностью. Он с большой расточительностью раздавал деньги, поэтому вокруг него постоянно толпились прихлебатели. Эти люди не внушали мне доверия, и постепенно я стал отдаляться от него.

Обстановка, складывавшаяся в стране, начала беспокоить придворных, до тех пор витавших в облаках. Ту же озабоченность я замечал и в доме сестры, куда к моему шурину Жевенуа часто приходили Рикардо Эспехо, Мигель Понте и некоторые другие и обсуждали так называемое «безразличие» многих военных к королю. Для пресечения этой опасной тенденции генералы и офицеры, наиболее преданные монархии, создали своего рода хунту. Мне не известны во всех подробностях цели этой организации. Я знал только о некоторых ее решениях. Одно из них предусматривало обновление военного дворцового персонала за счет привлечения молодых авторитетных военных, не принадлежавших к привилегированным семьям. Кандидатами в

адъютанты короля называли майора авиации Эдуардо Гонсалеса Гильярса и подполковника Августина Муньеса Грандеса - двух молодых офицеров, пользовавшихся большим авторитетом в армии и происходивших из относительно бедных семей.

Никто не сомневался, что назначения будут приняты теми, кому их предлагали. Но, к большому удивлению в высших сферах, Муньес Грандес отказался от предложенного поста. Впервые военный отверг честь стать адъютантом короля. Назначили Паблито Мартина Алонсо, молодого подполковника, тоже из небогатой семьи. Муньес Грандес предпочел вернуться в Марокко и командовать местной полицией.

Кроме того, члены хунты считали, что надо дать лошадей для игры в поло некоторым кавалерийским и артиллерийским полкам в провинции, где офицерство стало испытывать «безразличие» к монархии. В Испании поло всегда было игрой привилегированных классов. Они думали, предоставив офицерам в провинции возможность заниматься аристократическим спортом, льстившим их тщеславию, создать у них иллюзию близости к дворцовым кругам. Для поддержания верноподданнических чувств к монарху они предусматривали, чтобы [162] секретариат короля больше рассылал офицерам поздравлений, фотографий и проявлял другие признаки внимания, о которых монарх может не знать, но которые произведут хорошее впечатление и заставят думать, будто он постоянно помнит о своих подданных. О значении таких мелочей могу судить, исходя из собственного опыта. Когда мне присвоили чин майора, я получил фотографию короля с надписью: «Майору Идальго де Сиснеросу, Альфонс XIII».

Вначале меня удивило такое внимание. И хотя уже тогда мои симпатии к монархии начинали исчезать, должен признаться, королевская фотография польстила моему тщеславию и в глубине души я гордился подарком. Потом я узнал: этой милостью я обязан Мигелю Понте, подсказавшему мое имя в секретариате и рассчитывавшему таким образом восстановить мою пошатнувшуюся приверженность монархии.

В одну из поездок в Сеуту я представился ее военному коменданту генералу Мильяну Астраю, который пригласил меня на обед. Во время трапезы он расспрашивал меня о политической деятельности Рамона Франко. Видимо, это сильно беспокоило его. Большой интерес генерал проявил к настроениям в авиации. Не знаю почему, этот монархист-фанатик считал меня своим единомышленником.

В то лето меня послали в составе Хорнады Рехии{81} в Сантандер, где я должен был оставаться в течение двух месяцев, которые собиралась провести в этом городе королевская семья.

Но должно быть, вмешался какой-то республиканский дух, так как перелет закончился весьма плачевно. В Мар-Чика мне приготовили гидросамолет. Очень настойчиво нам рекомендовали взять с собой парадную форму и фраки, так как придется присутствовать на многих приемах. К отлету мы явились, словно на свадьбу.

Первое несчастье случилось у мыса Сан-Висенте. Авария в одном из моторов вынудила нас совершить посадку на воду, но из-за большого волнения на море сломались несколько шпангоутов. С трудом устранив повреждения, мы чудом оторвались от тридцатиметровых волн. Посадка на воду и взлет имели трагические последствия. До Кадиса, где находился авиационный ремонтный завод, мы добрались на самолете, уже непригодном для дальнейшего использования. Нам дали [163] другой. На нем мы долетели до Виго с остановкой на один день в Лиссабоне. Из Виго вылетели рано утром с полными баками горючего, намереваясь добраться до Хихона. Запустив передний мотор, мы удалились от берега, чтобы стать против ветра, но в это время обнаружили пожар. Огонь стремительно распространялся по трюмам гидросамолета, в которых находились баки с тремя тысячами литров бензина. Мы попали в сложное положение. Берег находился в четырех-пяти километрах, поблизости не было видно ни одного судна. Броситься в воду, оставив гидросамолет, мы не могли, так как горящий бензин разлился бы по поверхности моря и настиг нас. Включив мотор, на предельной скорости я направил самолет к берегу. Пламя, словно шлейф, тянулось за нами. Должно быть, это было внушительное зрелище: бешено несущийся гидросамолет, пять человек экипажа, сгруппировавшиеся на носу, и пламя в черных клубах дыма. Внезапно мы заметили шедший от берега бот. Подлетев к нему, я приказал всем бросаться в воду. Нам удалось достичь бота раньше, чем бензин начал растекаться по воде. Спасло нас еще и то, что бензиновые баки, заполненные доверху, не имели воздушных камер и поэтому не взорвались. Газета «АБЦ» на первой странице поместила фотографию гидросамолета, объятого огнем, с поднимающимся над ним столбом дыма, который терялся вдали. Нашим спасителем оказался молодой человек, получивший в награду за свой смелый поступок «Крест благодеяния». Авиация тоже преподнесла ему хороший подарок: ведь, чтобы приблизиться к горящему гидросамолету, нужно было проявить большую смелость. Мы потеряли весь свой великолепный гардероб. Самолет потопили выстрелами с морской базы.

Первое политическое выступление, в котором я участвовал,

произошло на авиабазе в Мелилье. Поводом для него послужила «добровольная» подписка на подарок диктатору. Однажды у нас удержали часть жалованья. Не помню, достигала ли она 10 процентов всей суммы. Офицер, первым обнаруживший это, возмутился, почему без его согласия сделаны такие вычеты. Мы единодушно поддержали его. Кассиру пришлось полностью выплатить причитающиеся нам деньги. Никто из офицеров не придал большого значения этому событию. Мы находили свое поведение естественным. Лицемерные же действия властей преследовали цель не только получить дополнительно два или три миллиона песет, но также убедить нас, что в этом - проявление уважения испанского народа к диктатору. [164]

Спустя несколько дней нашего командира подполковника Камачо вызвал генерал Посас, военный комендант Мелильи. Он был озабочен тем, что одна из воинских частей в его округе не пожелала сделать взнос на подарок. Убеждениями и даже угрозами он пытался заставить нас изменить свое решение. Но мы оставались непреклонными и, не считаясь с возможными последствиями, твердо стояли на своем. Наша часть оказалась единственной в вооруженных силах, которая не сделала запланированного вклада. Однако репрессий не последовало. Очевидно, в высших сферах понимали, что благоразумнее не давать ход этому делу. Мы гордились уроком, преподанным властям, и с тех пор безотчетно заняли более определенную позицию в отношении диктатуры. Помню, как, не стесняясь, мы повсюду выражали недовольство мероприятиями Примо де Ривера. Критические высказывания делались не раз и по адресу монархии.

Находясь в отпуске в Мадриде, как-то ночью я зашел в модное в то время кабаре «Ледяной дворец». Все столики были заняты. Я подсел к знакомому лейтенанту и двум его товарищам. Не обращая на меня внимания, они продолжали спор, прерванный моим приходом. Спорили горячо. Вначале я не прислушивался к их разговору, но понемногу заинтересовался. Говорили о диктатуре, монархии и республике. Двое офицеров были республиканцами, третий - монархист и фанатичный приверженец Примо де Ривера. Республиканцы оперировали простыми разумными доводами, убедительными примерами. Монархист же в раздраженном тоне пытался противопоставить им общие положения. Я не имел никакого желания вмешиваться в спор, но монархист, очевидно, принял меня за своего единомышленника и обратился за поддержкой. Промолчать было нельзя, и, поскольку он действовал мне на нервы своей глупостью, я со всей горячностью выдвинул против диктатуры и

монархии аргументы, некогда слышанные мною от республиканцев в Алькала. Помню испуг на лице этого офицера, сменившийся затем негодованием. Он не мог или не нашел сил возразить и, исполненный собственного достоинства, удалился.

Офицеры- республиканцы тоже были удивлены. Они не ожидали найти во мне союзника и, конечно, не могли предположить, что в глубине души я не придавал большого значения существу спора. Один из них серьезно заметил, что они рады встретить в моем лице сторонника. Ничего не скрывая, они стали рассказывать о республиканском движении. Поняв, что [165] со мной пытаются говорить о вещах, которые мне не положено знать, я извинился и, сославшись на желание потанцевать, прервал их излияния. Воспользовавшись приходом своих друзей, я вскоре распрощался с офицерами. Они еще раз выразили удовлетворение по поводу нашего знакомства и обещали не терять связи со мной. Со временем это происшествие выветрилось из моей памяти.

Я был доволен службой на базе гидроавиации в Мелилье. Сослуживцы оказались приятными людьми, и мы прекрасно ладили друг с другом. Редкостное явление - дисциплина на базе была сознательной, какой и должна быть настоящая воинская дисциплина. Солдаты не боялись командиров. Я не припомню ни одного случая ареста рядового. Офицеры старались облегчить жизнь своих подчиненных, улучшить их питание. Посторонние, которым доводилось пробовать солдатскую пищу, не верили, что она приготовлена для рядового состава. Секрет заключался в искусстве хозяйственников и в умелом использовании некоторых наших специфических возможностей. Раз в месяц мы отправлялись на гидросамолете в Гибралтар, являвшийся порто-франко{82}, и закупали большое количество продуктов, стоивших намного дешевле, чем в Мелилье. Помню, цены на сахар, табак и ликеры были там в четыре раза меньше. Другим источником дохода являлся бар. На все, что в нем продавалось, делалась надбавка в один процент. Полученные от этого деньги шли на улучшение питания солдат. Хотя подобные операции не очень-то разрешались законом, их цель оправдывала себя.

Служба на базе была нетрудной. В моем ведении находился один гидросамолет, обслуживавший верховного комиссара протектората. Мы располагались в порту Сеуты, в маленькой бухте с одним ангаром.

Я провел здесь несколько месяцев. Думаю, следует остановиться и на других преимуществах моей жизни на базе, имевших для меня в то время решающее значение: прекрасное жалованье, полная свобода, отсутствие какого-либо начальства,

предоставленные в мое распоряжение гидросамолет, великолепный моторный катер, автомобиль, обширная квартира, никакой работы, так как верховный комиссар редко совершал полеты. Я пользовался всеобщим уважением. Многим нравилось бывать на вечеринках, устраиваемых мною. Гибралтар находился в десяти минутах полета, поэтому я [166] всегда имел погреб с хорошо подобранным запасом вин. Мы могли совершать прогулки на моторном катере и гидросамолете. Одним словом, мой пост был идеальным для любого молодого аристократа, даже чрезмерно избалованного и капризного.

Восстание в «Куатро виентос»

Однажды я полетел в Мелилью, чтобы поменять самолет. На следующий день во время киносеанса ко мне подошел подполковник Камачо и заявил: наступил момент, когда он должен мне кое-что сказать. Несмотря на взаимное доверие, Камачо и я ни разу серьезно не говорили о политике. Камачо, хорошо знавший меня, конечно, не имел оснований предполагать, что я могу быть участником политического заговора. Он и сам никогда не рассказывал мне, что является членом республиканской организации.

По выражению лица Камачо я понял: он хочет сообщить мне что-то важное. Возможно, речь пойдет об авиационной катастрофе или о какой-либо любовной интрижке - единственные для меня в то время серьезные дела.

По самым пустынным улицам Камачо повел меня в порт и возбужденно стал рассказывать о том, что в течение ближайших четырех дней что-то будет готово и я должен этой же ночью отправиться в Мадрид. Из его бессвязной тирады я ничего не понял. Когда же он объяснил, что речь идет о восстании с целью провозглашения республики в Испании, мне, естественно, оставалось только выразить удивление. Я никак не мог понять, почему он обратился ко мне и что меня связывает с этой затеей. Наш разговор походил на диалог между сумасшедшим и глухим. Он не допускал мысли, что я ничего не знал, и поэтому не мог понять моего отношения к его сообщению. Со своей стороны я не совсем разобрался, о чем, собственно, идет речь. Я совершенно забыл о своей беседе в кабаре «Ледяной дворец», которой не придал никакого значения. Мне трудно было представить, что мое знакомство с Рамоном Франко, Легорбуру и другими республиканцами могло создать обо мне мнение как об их единомышленнике. Естественно, я был удивлен, и мне стоило многих усилий догадаться, чего от меня хотят.

Наконец мне удалось кое-что уяснить. Камачо получил

сообщение о дате мятежа и список офицеров-республиканцев. [167] Из них он выбрал четырех, которые должны поехать в Мадрид для участия в нем. Очевидно, я был одним из них. Я немедленно ответил: все это абсурд и на меня не следует рассчитывать, ибо я не имею никакого отношения к этому делу.

В Мадрид, как сообщил Камачо, вместе со мной должны были ехать лейтенант Мельядо и младший лейтенант Валье. Мельядо, решительный офицер, пользовался большой популярностью в авиации и располагал солидным состоянием, позволявшим ему превосходно жить. Он не скрывал своих республиканских убеждений и, должно быть, с вполне искренней решимостью и энтузиазмом пускался в эту авантюру. Младший лейтенант Валье считался хорошим летчиком и великолепным радистом. Он также был известен как республиканец.

Камачо беспокоился, какую позицию займут Мельядо и Валье, когда узнают о моем отказе. Тем более что четвертый участник предстоящего путешествия подполковник Августин Муньес Грандес тоже не мог лететь с ними, так как находился в инспекционной поездке, и Камачо не имел возможности связаться с ним. Младшим офицерам могло показаться, что их хотят отправить одних, а старших по чину оставить.

Но меня начинало волновать другое.

Мои друзья из-за своего легкомыслия и неосведомленности рассчитывали на меня и теперь будут думать, будто в решающий момент я струсил и бросил их. Эта мысль брала верх над логическими рассуждениями по поводу абсурдности моего участия в подобной авантюре. Я ей даже не сочувствовал, да и глупо ставить на карту свою жизнь со всем, что я имел. Однако я решил ехать в Мадрид.

В ту же ночь Хоакин Мельядо, Хосе Мария Валье и я приехали в Малагу. Никто из нас не имел ни малейшего представления о дальнейших действиях. Единственное, что сообщил мне Камачо, - надо установить контакт с подполковником авиации Сандино и получить у него инструкции.

В пути я убедился: мои товарищи тоже лишь понаслышке знали о подготовке восстания. Правда, им были известны имена некоторых его вдохновителей - Алькала Саморы, Прието, Марселино Доминго, Мигеля Маура{83} и нескольких [168] других, менее значительных. Из военных, принимавших участие в заговоре, они знали лишь лейтенантов и капитанов. Но особенно нас обрадовало сообщение о том, что одним из руководителей подготавливаемого восстания является Рамон Франко.

Престиж Рамона Франко в те дни поднялся до небес в связи с его последним приключением: бегством из военной тюрьмы. Вся

пресса посвящала личности Рамона пространные статьи. Реакционеры с негодованием требовали применить к нему самые строгие меры. Левые же горячо симпатизировали Рамону. Появились даже фантастические рассказы о его побеге из тюрьмы. Вся Испания говорила о Рамоне Франко. Слава первого авиатора, совершившего перелет через Атлантический океан, ясность политических позиций, враждебных диктатуре и королю, мужество, с которым он открыто заявил о своих убеждениях, опубликование в газете письма, в котором он резко выступал против собственного брата, называя Франсиско Франко фашистом и реакционером, арест и прочие более или менее достоверные эпизоды создали вокруг его личности романтический ореол. Он стал всеобщим любимцем. Реакция считала его своим смертельным врагом. Рамон Франко сыграл немалую роль в установлении республики в Испании.

Приехав в Мадрид, я расстался со своими товарищами, условившись о порядке связи с ними.

Так началась моя деятельность революционера.

Первой проблемой для меня стал вопрос о квартире. Я мог бы поселиться в своей комнате у сестры Росарио, но при теперешних обстоятельствах мне казалось неудобным находиться в одном доме с адъютантом короля и фанатичным монархистом, каким был мой шурин. Я снял комнату в отеле для холостяков на площади Бильбао, довольно комфортабельном и спокойном, где раньше иногда останавливался.

Впервые после разговора с Камачо я смог тщательно обдумать положение, в котором оказался. Оно было не из легких. Я знал лишь, что приехал в Мадрид принять участие в восстании против короля, но не имел никакого представления, каким образом оно будет осуществлено, кто его участники, что нужно делать.

Я хотел повидать Легорбуру или Нуньеса де Прадо, но они словно сквозь землю провалились. После нескольких бесплодных попыток мне удалось наконец установить по телефону связь с Сандино. Он находился в здании военного министерства, [169] в крыле, занимаемом авиационным ведомством. Мне показалось, ему не доставило большого удовольствия мое желание поговорить с ним. Он дал мне понять, что находится под арестом и не может покинуть помещение министерства. В результате моей настойчивости договорились попытаться встретиться во второй половине дня. Обычно после двух часов в учреждениях уже никого не бывает.

В пять часов вечера я появился в министерстве и без малейших затруднений проник в комнату, где находился

Сандино. Я застал его весьма унылым и озабоченным. Подполковник сказал, что причину ареста ему не объявили, и он опасается, не сообщил ли кто-либо о его связях с республиканцами. Поведав о цели приезда, я попросил ввести меня в курс дела и дать инструкции мне и другим прибывшим со мной летчикам.

В общих чертах Сандино рассказал следующее. Движение возглавляет хунта под руководством Алькала Самора, в которую среди прочих входят Асанья{84}, Прието, Касарес Кирога{85}, Маура… В случае успеха хунта станет правительством. Восстание поддерживают социалистическая партия и Всеобщий союз рабочих (УСТ), которые объявят всеобщую забастовку по всей Испании.

Об участии военных он сообщил, что оно весьма широко - на стороне восставших выступит целый ряд гарнизонов. При этом Сандино назвал имена генералов, готовивших мятеж: Нуньес Прадо, Кейпо де Льяно… Движение поддерживают и многие офицеры из авиации. Главный удар предполагается нанести по аэродрому «Куатро виентос». Его радиостанция должна передать приказ к началу действий на других аэродромах и в гарнизоны. Нарисованная Сандино картина произвела на меня впечатление хорошо подготовленного заговора, руководимого влиятельными лицами и поддерживаемого рабочими и большей частью народа.

Когда Сандино закончил, я попросил сказать, что конкретно должны делать Мельядо, Валье и я, с кем установить связь, когда и куда явиться, кто будет руководить взятием аэродрома «Куатро виентос» и т. д. и т. п. Короче говоря, я хотел узнать, какую роль отводят нам. Но энтузиазм, с которым он сообщал общие сведения, объяснял обстановку, [170] превратился в пустую болтовню, когда речь зашла о конкретных вещах. Он заявил, что, находясь под арестом, потерял контакт с товарищами и не осведомлен о последних распоряжениях, и порекомендовал повидаться с Мигелем Маура, членом хунты, занимавшимся подготовкой участия военных в восстании. Иными словами, мне предстояло восстановить связь с Маура, Рамоном Франко и капитаном Фуэнтесом, в доме которого на следующий день было назначено собрание Доенных.

Сандино сообщил приметы дома, где скрывался Рамон Франко, дал явочное письмо к Маура, с которым я не был знаком, и рассказал, что нужно сделать, чтобы присутствовать на предстоящем совещании.

Я вышел из министерства так же свободно, как и вошел туда.

Свидание с Сандино вызвало во мне противоречивые чувства. После его информации об общем положении дел я несколько

успокоился и воспрянул духом, хотя меня тревожил ряд моментов, показавшихся мне неясными, тем более что Сандино, ответственный за подготовку восстания в авиации, многого не смог объяснить мне. Я не понимал, почему отсутствует связь между заговорщиками именно в эти решающие дни. Ведь я проник в министерство без всяких затруднений, что могли сделать и другие. Я так и не узнал от Сандино ни имен других летчиков - участников операции на аэродроме «Куатро виентос», ни ее плана. Я стал подозревать, что плана нет и в «Куатро виентос» ничего не подготовлено. С другой стороны, меня несколько удивил приказ посетить самого члена революционной хунты, ибо это означало, что Сандино возложил на меня почти накануне восстания задачу установления соглашения с ним, а также поручение присутствовать на следующий день на собрании военных. Мне казалось, поскольку я не принимал участия в организации выступления и приехал в Мадрид всего лишь за три дня до него, то мне просто укажут место, которое, по моим представлениям, должно было быть уже определено для меня руководителями.

Я отправился в небольшой особняк, в котором жил Маура, и через слугу передал ему записку Сандино. Меня ввели в нарядный кабинет с великолепным диваном и креслами, обтянутыми красной кожей. На одном из кресел лежала гитара. Я запомнил эту деталь, ибо мне казалось совершенно немыслимым, чтобы в такое время в кабинете одного из руководителей восстания кто-либо мог думать о развлечениях. [171]

Я не знал Маура и не предполагал, что он так молод. Первое впечатление о нем было положительным. Маура показался мне человеком энергичным, решительным, простым, с приятной внешностью. Он был хорошо одет и совершенно не похож на революционера в моем представлении.

- Итак, вы приехали из Мелильи, чтобы принять участие в захвате «Куатро виентос»? - обратился он ко мне.

И сразу же с огромным воодушевлением заговорил о восстании. По его словам, все прекрасно подготовлено, успех гарантирован. Слушая его, я успокоился. Его оптимизм придал мне бодрости. Затем он спросил:

- Теперь расскажите мне о военных, все ли подготовлено и уверены ли участники в себе?

Я оцепенел от изумления. Я пришел, чтобы он ввел меня в курс дела, а получалось наоборот - я обязан информировать его. Пришлось напомнить ему, что я приехал только сегодня утром и ни о чем не осведомлен. Сандино приказал мне установить связь с ним и Рамоном Франко именно для того, чтобы получить приказ о дальнейших действиях. После моих слов он почувствовал себя несколько неудобно, но затем все так же бодро заявил:

- Хорошо, очень хорошо. Отправляйтесь повидать Франко и договоритесь с ним.

Все же свидание с Маура произвело на меня отрадное впечатление. Он показался мне человеком, внушающим доверие. Я вышел от него воодушевленным и спокойным, хотя настораживало то, что представитель хунты, на обязанности которого лежала связь с военными, спрашивал меня о ходе дел и не имел ни малейшего представления о подготовке восстания на аэродроме «Куатро виентос».

Я отправился разыскивать дом, где скрывался Рамон Франко, сгорая от нетерпения поговорить с ним.

Мне и в голову не приходило принимать какие-либо меры предосторожности. Я вел себя так, как если бы находился в официальном отпуске. Я побывал в здании министерства, посетил Маура, совершенно не думая, что могу быть задержан полицией. Мое поведение в тех условиях было абсурдным, но в то же время старший офицер, действовавший столь неосмотрительно, вряд ли мог вызвать подозрение.

Внешний вид Рамона Франко поразил меня. Он был страшно бледен, так как много дней не выходил на улицу. Эту бледность подчеркивала большая вьющаяся, очень черная борода, которую он отрастил за время вынужденного заточения. [172]

На нем были дешевый, довольно потрепанный штатский костюм и фланелевая клетчатая рубашка, расстегнутый ворот которой обнажал заросшую волосами грудь. Рамон был похож на бандита с Сьерра-Морены. Появись он в таком виде на улице, его бы немедленно арестовали.

С Франко меня связывала большая дружба, долгое время алы вместе служили и, полагаю, обоюдно ценили друг друга. Я знал его хорошие и плохие качества. Он был умен, легко и быстро ориентировался в обстановке и в то же время обладал рядом привычек и странностей, которые никому не удавалось искоренить в нем. Одной из них была привычка небрежно одеваться. Он всегда носил потрепанную и грязную гражданскую

одежду или военную форму. Порой он совершал довольно странные поступки, нисколько не беспокоясь об их последствиях. Это был настоящий дикарь, и ему очень подходило полученное в авиации прозвище «Шакал». На мой вопрос, почему он в таком маскараде, Рамон серьезно ответил: чтобы не узнали. Я убедил его побриться, постричься и надеть форму, ибо появиться в таком виде на аэродроме «Куатро виентос», куда он думал направиться, было бы совершенной нелепостью… Хотя Рамон несколько месяцев провел в тюрьме, а затем долго скрывался, у меня создалось впечатление, что он обо всем хорошо осведомлен. Его рассуждения казались логичными, а проекты вполне реальными.

В общих чертах он изложил мне план восстания. Оно начнется в Мадриде и некоторых провинциях на рассвете дня «х». Генералы и старшие офицеры, которым предстояло командовать силами восставших, уже на своих местах. Гражданские в день «х» объявят всеобщую забастовку по всей Испании. Мобилизованы все левые партии, каждый политический руководитель знает свое место. По словам Франко, восстание хорошо подготовлено и победа почти предрешена.

Аэродрому «Куатро виентос» революционная хунта отвела одну из наиболее важных задач: начать восстание. Аэродром необходимо было захватить в первые часы дня «х», подготовить самолеты, нагрузить их прокламациями и воззваниями, вооружить бомбами и пулеметами. По радиостанции «Куатро виентос» на всю страну будет провозглашена республика и передан призыв к народу оказать поддержку новому режиму.

Одновременно сильный гарнизон из Кампаменто{86} направится в столицу, чтобы с помощью рабочих завладеть королевским [173] дворцом и главными общественными зданиями. Кроме этого республиканцев поддержит большая группа студентов.

Беседа с Рамоном Франко дала мне достаточно ясное представление обо всех приготовлениях и вызвала новое чувство: впервые я осознал свое отношение к восстанию. Неприятная, навязчивая мысль, что я дал вовлечь себя в непонятное для меня дело, стала частично исчезать.

Мы условились встретиться на следующий день для уточнения последних деталей.

Из разговора с Рамоном я вынес и другое впечатление, несколько встревожившее меня. Оказывается, моя миссия будет не такой простой, как я полагал. В предварительных планах, разработанных Франко, мне отводилась весьма ответственная роль. Это никак не прельщало меня, и, честно говоря, казалось неразумным поручать важные дела столь неопытному в вопросах

революции человеку, каким был я.

Мы расстались с Рамоном Франко в восемь часов вечера. Чтобы разобраться в своих впечатлениях, я решил пройтись пешком до центра города. Результаты размышлений не обрадовали меня. Непроизвольно я вновь видел отрицательные стороны и недостаточно ясные обстоятельства предстоящего выступления, и мой оптимизм быстро исчезал. Я стал нервничать и наконец решил ни о чем не думать, предоставив событиям идти своим чередом. А чтобы не оставаться наедине с тревожными мыслями, пошел в аэроклуб, надеясь встретить друзей, которые развлекли бы меня. Одновременно я рассчитывал разузнать у них, не предпринимаются ли какие-нибудь контрмеры со стороны правительства.

Мое появление в клубе не вызвало удивления, никто не спрашивал, почему я оказался в Мадриде. Все восприняли это как должное, будто видели меня здесь еще накануне и, казалось, не подозревали о готовящемся восстании.

Из аэроклуба я отправился в бар Кук. Меня интересовало, какая атмосфера царит там. В те времена бар Кук считался очень модным. Его посещал весьма узкий круг избранных лиц (аристократы, дипломаты, некоторые иностранцы). Бар был скорее маленьким клубом. Почти все его посетители знали друг друга. Женское общество тоже было весьма ограниченным. В него имело допуск лишь небольшое число аристократок без особых предрассудков. Содержал бар Эмилио Сарачо, богатый промышленник из Бильбао, фанфарон по натуре, который, подобно своим состоятельным землякам, [174] подолгу жил в Англии. Бар был обставлен комфортабельно и со вкусом. Он славился шотландскими виски высшего качества, которые привозили в бочках и поглощались здесь в большом количестве.

Эмилио Сарачо, с которым я поддерживал весьма дружеские отношения, был забавным типом. Я думаю, бар он содержал отнюдь не ради бизнеса, а скорее из-за желания иметь удобное место для встреч с друзьями, чтобы угощать их таким виски, какого не найдешь ни в одном другом казино Мадрида. Речь Сарачо была необычайно груба. Если бы не своеобразная баскская искренность и манеры английского джентльмена, он был бы невыносим. Сарачо был фанатичным монархистом и больше всего гордился дружбой с королем. Я помню, в какой великолепной рамке держал он поздравительную телеграмму, присланную ему монархом в день именин.

Мне хотелось поговорить с Сарачо, так как он обязательно поделился бы со мной своими подозрениями или опасениями. Два часа, проведенные с ним, убедили меня, что ни Сарачо, ни

кто другой из его компании не имели никакого представления о готовящемся перевороте.

На следующий день я отправился на собрание военных, о котором говорил Сандино. Оно состоялось в доме пехотного капитана Фуэнтеса, о котором я слышал не слишком лестные отзывы. Первым, кого я увидел там, оказался Хосе Мартинес де Арагон. Внезапная встреча вызвала обоюдное изумление и огромную радость. Мне было необычайно приятно в такой сложной ситуации иметь рядом лучшего друга, к которому я питал безграничное доверие, как к самому честному из всех, кто когда-либо встречался мне. Хосе был очень удивлен, ибо не предполагал, что я могу интересоваться политикой. С этого момента мы не расставались.

На собрании присутствовало десять или двенадцать офицеров. Первое впечатление обескуражило меня. Мы встретили там трех или четырех знакомых офицеров, не пользовавшихся никаким авторитетом. Один из них изгонялся из армии за какие-то грязные денежные махинации. Эти люди, которым я никогда бы не доверился, очевидно, участвовали и играли в движении какую-то роль.

Встреча с Хосе помогла мне преодолеть неприятное впечатление, возникшее в связи с присутствием этих типов. Арагон сказал, что революцию делают не только с «сестрами милосердия», в подобных движениях всегда участвовали люди с [175] запятнанной репутацией или те, кто хотел бы, чтобы другие забыли о некоторых событиях в их жизни. Необходимо более широко смотреть на вещи.

Тон собрания показался мне деловым. Из разговоров я понял, что участие войск из Кампаменто обеспечивал Кейпо. Захват мадридских казарм, всеобщая забастовка и выступления в различных провинциях прекрасно подготовлены.

Поднявшиеся с аэродрома «Куатро виентос» самолеты выбросят над столицей сигнал к началу всеобщей забастовки и к атаке казарм и королевского дворца. Если дворец не удастся взять сразу, самолеты должны будут подвергнуть здание бомбардировке.

Детали организационных мероприятий на аэродроме «Куатро виентос» нам следовало уточнить с Франко и Сандино, а затем согласовать с командующим авиацией Луисом Рианье, поддерживающим контакт с Алькала Самора. Он и сообщит нам точную дату восстания.

На следующий день положение опасно усложнилось. Капитаны Галан и Гарсия Эрнандес, по каким-то соображениям, мне не известным, начали восстание раньше намеченной даты.

Галану, руководившему восстанием, удалось привлечь на свою сторону большую часть гарнизона Хака. Тех, кто не хотел участвовать в нем, вежливо заперли, чтобы избавить от ответственности в случае неудачи. Одним из них был командир батальона подполковник Берлеги.

Верные правительству войска подавили эту вспышку. Галана судил военно-полевой суд и вместе с капитаном Гарсия Эрнандесом приговорил к расстрелу.

События в Хака отразились на общих планах подготовки восстания. Арагон и я, обеспокоенные случившимся, отправились повидать Рианье, связанного с главными руководителями. От него мы узнали последний приказ хунты: начать восстание на следующее утро, дабы помешать правительству принять контрмеры. По его словам, приказ передан всем группам участников и пока не поступало никаких сведений о его отмене. После разговора с нами Рианье отбыл в Бургос, чтобы вместе с генералом Нуньесом дель Прадо попытаться выполнить возложенную на них миссию - захватить город и аэродром.

Арагон и я отправились к Рамону Франко. Последний был возмущен переносом даты выступления на более ранний срок, опасаясь, что не хватит времени провести окончательные приготовления к захвату «Куатро виентос». Внезапно явился [176] взволнованный механик Рада с неприятным известием: в Мадриде арестовано несколько членов революционной хунты, среди них Алькала Самора и Маура. Правительство приняло срочные меры предосторожности и отдало приказ об аресте большого числа подозреваемых лиц. Одним словом, в результате ошибок руководства, вызвавших путаницу и послуживших поводом к отказу членов организации от участия в восстании, она оказалась разбитой.

Обсудив ситуацию, сложившуюся после событий в Хака, мы все-таки решили выполнить возложенную на нас задачу, то есть отправиться в «Куатро виентос» и поднять восстание. Такое решение мы приняли под влиянием Арагона. Если летчики, сказал он, не выполнят своего обязательства - дать сигнал к началу восстания, ответственность за его неудачу ляжет на них. «Военные, - говорил Арагон, - не могут еще раз предать рабочих, которые завтра выйдут на улицу сражаться за республику, ведь мы им обещали свое участие». Эти слова произвели на меня огромное впечатление. И хотя после всего случившегося казалось безумием отправляться в «Куатро виентос», я не только не возражал, но решительно поддержал Арагона.

Своим друзьям мы сказали, что с одиннадцати до часу дня безвыходно будем сидеть в кафе «Колониаль», чтобы не

пропустить каких-либо важных новостей. Оттуда мы отправимся за генералом Кейпо и проводим его до Кампаменто.

Плохие вести приходили одна за другой. Естественно, нам хотелось знать, удалось ли предупредить летчиков - участников заговора об изменении дня восстания и кто из них к нашему приезду будет в «Куатро виентос». Добыть эти сведения мы поручили капитану авиации Артуро Гонсалесу Хилу, одному из наиболее авторитетных летчиков и авиаконструкторов. Он был известен также своими прогрессивными политическими убеждениями. Его имя стало особенно популярно после того, как он завоевал первый приз в конкурсе на создание легкого самолета для нашей авиации. Призыв к восстанию Гонсалес Хил встретил с воодушевлением. Но несмотря на присущий ему оптимизм, в тот день он находился в плохом настроении. Неожиданно в кафе появились капитан Мадрасо и два офицера-артиллериста. Они подошли к нашему столику и от имени офицеров-артиллеристов гарнизона Кампаменто и себя лично заявили, что ввиду дезорганизации и ареста революционной хунты выходят из движения, о чем просят сообщить Кейпо де Льяно. [177]

Это был тяжелый удар, ибо силам Кампаменто отводилась чуть ли не главная роль в осуществлении наших планов. Арагон безуспешно пытался уговорить их изменить свое решение. Неистовый Гонсалес Хил, видя, что доводы Арагона не помогают, в состоянии крайнего возмущения стал оскорблять отступников. И тогда меня словно что-то толкнуло. Я, несомненно, меньше, чем они, желавший ввязываться в эту историю, мечтавший о каком-нибудь происшествии, которое помешало бы отправке в «Куатро виентос», не спавший несколько ночей и пребывавший в очень нервозном состоянии, одним словом, испытывавший классические муки страха и малодушия, реагировал, однако, на реплики Гонсалеса несколько неожиданным для меня самого образом. Я сказал, что, если он продолжит свои оскорбления, дело закончится дракой, нас задержит полиция и тогда мы не сможем выполнить возложенной на нас задачи. Таким образом, своим вмешательством я исключил то, чего больше всего хотел в тот момент.

Арагон и я поехали на такси за Кейпо де Льяно, ожидавшим нас в окрестностях Мадрида. Там совместно с компаньоном он держал небольшую фабрику по выработке синьки. Мы сообщили ему об измене артиллеристов Кампаменто. Эта весть поразила его словно выстрел. На вопрос, как думают поступить летчики, мы ответили, что по-прежнему готовы захватить «Куатро виентос». Условились так: он поедет с нами на аэродром и оттуда, взяв тамошних солдат, отправится в Кампаменто.

Кейпо де Льяно был типичным солдафоном-кавалеристом, каких описывают в романах и изображают в театре. В генеральском мундире, высокий, худой, с большими усами, он казался энергичным и решительным. На меня произвела впечатление быстрота, с какой генерал принял решение - несмотря ни на что, идти с нами. Мы помогли ему облачиться в военную форму. Подавая шелковый генеральский пояс, я вспомнил картину, изображающую тореадора, завязывающего с помощью ассистента свой кушак перед боем быков. Поверх мундира Кейпо надел гражданское пальто, в карман которого сунул пистолет. Мы сели в такси, заехали ко мне в отель, где я тоже переоделся в военную форму, и направились в «Куатро виентос».

В машине, не желая разговаривать в присутствии шофера, мы сидели молча. Я думал о сложном положении, в котором оказался, ибо не сомневался, что начатое нами дело обречено на провал. Но путь к отступлению был уже отрезан. [178]

Я испытывал противоречивые чувства. Наиболее сильные из них - страх, любопытство и фатализм. Страх вызывал ощущение легкой боли в желудке, возникающей обычно при плохом настроении или в моменты паники. Проклятая боль становилась все сильнее по мере приближения к аэродрому. Несмотря на это, мне хотелось знать, чем же кончатся события ближайшей ночи. Фатализм - «кому что предопределено», как говорят арабы, - свойствен многим испанцам. В ту ночь я поставил на карту все, абсолютно все! На карту, которая не могла выиграть!

Мы подъехали к воротам аэродрома, и мои неприятные размышления были прерваны. Жребий брошен, оставалось только действовать, раздумья уже бесполезны.

Стало легче, когда я оказался лицом к лицу с конкретной обстановкой. Перестав думать о последствиях, я почувствовал себя значительно спокойнее и преисполнился решимости преодолеть любые препятствия.

Я вспомнил, в Алькала-де-Энарес, перед тем как убить первого в моей жизни быка, я испытывал то же самое. Только выйдя на арену и увидев быка, я понял: надо действовать, другого выхода нет, и, преодолев охвативший меня животный страх, обрел спокойствие и решимость.

Мы отпустили такси и направились к воротам аэродрома. Часовой приказал мне остановиться и вызвал разводящего. Тот отдал честь и, полагая, что мы офицеры, ночующие на аэродроме, пропустил нас.

По правилам ключи от аэродромных ворот должны находиться у дежурных офицеров. Но те, чтобы не доставлять

себе лишних хлопот и иметь возможность спокойно спать, передоверяли их разводящим.

Я направился в зал знамен. Арагон и Кейпо остались возле дверей, готовые прийти мне на помощь. Дежурство по караулу нес молоденький лейтенант, прозванный «Пилюлькой» за увлечение фармакологией и очень маленький рост. Я его знал, так как он учился у меня.

Дежурный спокойно спал. Для удобства он снял свою кожаную портупею с пистолетом и повесил на стул. Проснувшись и увидав меня, «Пилюлька» испуганно вскочил, полагая, что я устрою ему разнос. Не без труда ему удалось попасть ногами в сапоги и застегнуть пуговицы на мундире. Когда он привел себя в порядок, я отдал ему портупею, но без пистолета, который, к его явному неудовольствию, держал в руке. [179]

Приказав ему сесть, я как можно спокойнее объяснил, что этой ночью начинается восстание с целью провозглашения в Испании республики. Группа летчиков-республиканцев должна захватить «Куатро виентос», и я сожалею, что на его долю выпало дежурство как раз в эту ночь. Он может или присоединиться к восставшим, или дать себя арестовать и, таким образом, если нас постигнет неудача, оправдаться, сказав, что его захватили силой.

Напуганный и ошеломленный «Пилюлька», полагая, что у меня приступ помешательства, на все отвечал согласием. Он дал запереть себя в одной из комнат, не оказав никакого сопротивления…

Как сообщил дежурный, на аэродроме ночевали 25 офицеров. Первое, что нам предстояло сделать, - нейтрализовать их, то есть почти всех арестовать, так как относительно большинства из них мы не питали никаких иллюзий. Тем временем на другом автомобиле прибыли Гонсалес Хил, Мельядо и еще два офицера. Оставив одного из них в карауле взамен «Пилюльки», мы направились в «Палас» {87}, где жили расквартированные на аэродроме офицеры.

Спальни находились на первом этаже. Оставив товарищей в коридоре, я вошел в первую комнату. Включив свет, я увидел на кровати крепко спящего капитана Виргилио Сбарби, моего хорошего друга, очень веселого, симпатичного человека, вечного забулдыгу, для которого ничего, кроме развлечений, не представляло интереса. С трудом мне удалось разбудить его. Сердитым тоном Сбарби попросил оставить его в покое, ибо поздно лег, вечером основательно выпил и должен рано лететь. Затем повернулся на другой бок, намереваясь продолжать спать. Однако я не отставал от него, повторяя, что речь идет о важном деле, не терпящем отлагательства. Весьма недовольным голосом

капитан спросил, нельзя ли подождать до утра, чтобы «завести пластинку». Я ответил, что нет. Уступая моей настойчивости, он сел и мрачно приготовился слушать.

Я «завел пластинку», похожую на ту, что сыграл «Пилюльке»: сообщил о решении провозгласить республику и о захвате аэродрома летчиками-республиканцами; разбудил я его, чтобы узнать, примет ли он участие в восстании; если нет, мы запрем его в одной из комнат. По мере того как я говорил, выражение удивления на физиономии Сбарби сменилось [180] возмущением. «Уж если кого следует запереть, так это тебя, - ответил он, придя в ярость. - Если ты пьян или тебе захотелось пошутить, отправляйся к какому-нибудь дяде, а меня оставь в покое!» И, снова повернувшись спиной и проворчав по моему адресу проклятия, попытался лечь.

Я не знал, что делать. Он вынуждал меня терять драгоценное время. Сбарби был совершенно убежден, что такой завзятый гуляка, каким он считал меня, может говорить о республике так же, как о какой-либо Челите, и поэтому, даже угрожая пистолетом, я не мог убедить его в серьезности моих слов.

В отчаянии я придумал, чтобы закончить эту трагикомическую сцену, следующий ход: заставив его вновь сесть, я сказал, что совершенно трезв и немедленно докажу это. Затем вышел в коридор и позвал Кейпо де Льяно. Когда Сбарби увидел в дверях генерала с огромными усами и пистолетом в руке, он понял, что с ним не шутят.

Из 25 офицеров, ночевавших на аэродроме, лишь двое примкнули к нам: майор Роа и, к моему великому удивлению, мой двоюродный брат Пепе Кастехон. Остальных закрыли в большом зале «Паласа», но это было сделано только для видимости, так как зал находился в цокольном этаже и не имел на окнах решеток.

Уже после этого прибыли Рамон Франко, Рада и еще три или четыре офицера-республиканца. Мы направились в солдатские спальни. Там события развертывались совсем по-иному. Наши расчеты строились на том, что, достаточно солдатам увидеть Рамона Франко, они тотчас примкнут к восстанию. Мы разделились на группы. В сопровождении двух офицеров я вошел в одну из спален. Появился дневальный и отдал мне рапорт. Я приказал разбудить солдат и как можно быстрее построить их. Приказ мгновенно был выполнен. Обратившись к строю, я сказал, что группа офицеров, руководимых Рамоном Франко, восстала против монархии, чтобы провозгласить Испанию республикой. Кто хочет, пусть присоединяется к восставшим, кто против - должен остаться в спальне. Никакие наказания им не грозят.

Один из солдат выкрикнул здравицу в честь республики. Это вызвало настоящий взрыв энтузиазма. Все солдаты предоставили себя в наше распоряжение, провозгласив «Вива!» {88} республике и Рамону Франко. [181]

Я был глубоко потрясен тем, с каким доверием отнеслись солдаты к нам и республике, с какой радостью, решимостью и спокойствием разобрали они винтовки и подчинились нашим приказам. Так начались мои первые серьезные шаги в революцию.

Поскольку на самом «Куатро виентос» ничего не было подготовлено к восстанию, нам пришлось импровизировать.

Майор Роа с несколькими рабочими аэродромной типографии отправился печатать манифест и прокламации, которые предстояло разбросать над Мадридом.

Для захвата бомбового погреба, расположенного в двух километрах от аэродрома и охраняемого пехотинцами, снарядили небольшой отряд.

По рации мы сразу же начали передавать тут же сочиненный манифест о провозглашении Испании республикой.

С помощью нескольких офицеров Кейпо де Льяно приступил к формированию колонны для наступления на Кампаменто.

Казалось невероятным, чтобы четыре безумца, явившихся в «Куатро виентос», смогли развернуть такую деятельность, не встретив ни малейшего сопротивления.

В шесть часов утра были готовы к вылету два первых самолета, на которых механики по собственной инициативе закрасили монархическую кокарду красной краской. Альварес Бурилья{89} и я поднялись в воздух, чтобы сбросить над Северным и Южным вокзалами Мадрида прокламации и дать сигнал к прекращению движения на железных дорогах и началу всеобщей забастовки.

Арагон, летевший со мной, сбросил над вокзалом Аточа несколько прокламаций, которые железнодорожники тут же подобрали. Сделав несколько кругов над городом, мы вернулись на аэродром.

Кейпо де Льяно со своей колонной, развернутой в цепь, только еще направлялся в Кампаменто. Я не знаю, почему он так задержался, но из-за этой медлительности преимущество, связанное с внезапностью, было потеряно.

На аэродром «Куатро виентос» стали прибывать первые автобусы с офицерами, жившими в Мадриде. Прежде чем они выходили из автобусов, мы предлагали им присоединиться к нам либо добровольно согласиться на арест. К восстанию примкнули только полковник Анхел Пастор, лейтенант Кольяр - товарищ Барберана по его будущему неудачному перелету на [182] Кубу -

и еще три офицера. Большинство же прошли в зал «Паласа», где уже сидели остальные арестованные. Всего там набралось 70 человек.

Арагон и я заправили свой самолет горючим и отправились в столовую «Паласа» выпить кофе. Между тем арестованные открыли двери зала и свободно разместились в вестибюле. На нас они смотрели словно на диковинных животных или безумных.

В «Куатро виентос» царил энтузиазм. Количество сторонников республики увеличивалось за счет трамвайщиков. Прибыв на конечную станцию и узнав о восстании, они просили дать им винтовки, чтобы тоже принять в нем участие. И еще один примечательный факт: когда мы перекрыли Эстрамадурскую дорогу, буржуа присоединились к «арестованным» офицерам, а рабочие, шоферы и извозчики, то есть простые люди, с огромной охотой брали оружие и решительно вставали в наши ряды.

Мы еще раз поднялись в воздух, чтобы разбросать над Мадридом прокламации, призывавшие народ примкнуть к восстанию. Однако, к нашему разочарованию, транспорт работал нормально, жители спокойно ходили по улицам, на вокзалах, как обычно, прибывали и отправлялись поезда. Одним словом, обещанная всеобщая забастовка не была объявлена.

Возвратившись на аэродром, мы увидели колонну Кейпо, остановленную силами Кампаменто. Нас с тревогой расспрашивали, что происходит в Мадриде. Никто не понимал, почему в столице так спокойно.

Рамон Франко решил бомбардировать королевский дворец, полагая, что это может изменить обстановку. В «Куатро виентос» все с волнением следили за полетом его нагруженного бомбами самолета. Он несколько раз пролетел над дворцом, а затем повернул назад, не сбросив ни одной бомбы. Когда Рамона спросили, что произошло, тот ответил, что на Восточной площади было много детей и он побоялся начать бомбардировку.

В это время появился генерал Кейпо де Льяно. Он приказал своей колонне занять оборонительные позиции у аэродрома, так как войска мадридского гарнизона уже окружали нас и артиллерийские части приготовились начать обстрел. Посовещавшись, Кейпо де Льяно, Рамон Франко и другие офицеры решили организовать круговую оборону. Под четыре самолета было приказано подвесить бомбы, остальным трем сбросить над Мадридом прокламации и попытаться [183] рассмотреть, решилось ли наконец население вмешаться. Обстановка быстро ухудшалась. Непростительное опоздание Кейпо, помешавшее захватить Кампаменто, неудача со всеобщей забастовкой нанесли нам тяжелый удар. Большая часть

арестованных офицеров вышла из «Паласа» и совершенно свободно разместилась на большой лестнице здания, наблюдая за перипетиями нашей борьбы. Знаменательно, что ни в тот момент, когда они поняли, что обстоятельства складываются не в нашу пользу, ни тем более позже, когда уже стало ясно, что мы проиграли, никому из них не пришло в голову вмешаться и восстановить прежнее положение. А ведь их было в четыре раза больше, чем нас. Я уверен, что они не сделали этого не из-за страха стать лицом к лицу против нас, а из-за нежелания защищать монархию.

Арагон и я вновь поднялись в воздух, чтобы посмотреть, какова обстановка в Мадриде, сбросить прокламации и узнать, что делается на позициях атакующих нас войск. В столице жизнь шла своим чередом: ничто не указывало ни на забастовку, ни на восстание. Мы летели очень низко. Я был так возмущен, что бросал свой самолет чуть ли не на мостовую, желая заставить жителей понять, что мы восстали. Мне запомнилась одна деталь, имевшая для меня определенное значение. Пролетая, едва не царапая черепичные крыши, над Каррера Сан-Херонимо, вблизи отеля «Палас», я увидел господина, спокойно читавшего театральную афишу. Это обескуражило меня: если кто-то раздумывает в такой день над тем, в какой театр пойти вечером, совершенно ясно, что нам нечего ждать от мадридцев.

Войска, посланные на подавление восстания, двигались несколькими развернутыми колоннами. Особое впечатление произвела на меня колонна жандармерии, так называемой гражданской гвардии, шедшая через Карабанчель. Было холодно, поэтому жандармы надели свои черные плащи. Сверху они казались сплошной черной массой, вызывавшей неприятное чувство. Впервые в жизни я смотрел на жандармов как на врагов. До сих пор я видел в них приветливых и услужливых людей, каждую неделю посещавших нас в Сидамоне или Канильясе. Их приглашали закусить, в ответ они спрашивали, не нужна ли их помощь.

Артиллерия уже приступила к обстрелу аэродрома. Мы хорошо видели разрывы снарядов на взлетно-посадочной полосе и у ангаров. Позже я узнал, что ею командовал мой шурин Педро Жевенуа. [184]

Как только мы приземлились, к нам подбежал полковник Анхел Пастор и возбужденно сообщил, что Кейпо, Рамон Франко и еще несколько офицеров приняли решение прекратить сопротивление, так как дальнейшие жертвы бесполезны. Офицеры, которым может угрожать расстрел, должны на самолетах перебраться в Португалию. Рамон Франко, Кейпо и еще

несколько человек уже улетели, а солдаты, которыми теперь командовали арестованные офицеры, сдавали оружие. Нам также следует немедленно бежать, если мы не хотим попасть в плен.

Для меня, не имевшего никакого революционного опыта, это был сильнейший удар. Я не мог себе представить, что финалом этой истории может быть бегство на самолете! Я не испытывал бы того тяжкого страха, который терзал меня накануне восстания, если бы знал, что в случае поражения буду иметь возможность спастись. Арагон тоже был удивлен. Тогда Пастор, обладавший большим здравым смыслом, нежели мы, сказал, что, кроме нас, никому из оставшихся на аэродроме ничто не угрожает. С нами же расправятся в 24 часа, как сделали это с Галаном и Гарсия Эрнандесом два дня назад, а поэтому глупо самим лезть в петлю.

Я не знаю: Пастор ли убедил нас или под влиянием каких-то других причин, но после некоторых размышлений мы решили лететь. Между тем обстрел продолжался, башня управления и один ангар были уже уничтожены, снаряды рвались, главным образом, на взлетно-посадочной полосе. Противник явно стремился воспрепятствовать взлету самолетов.

Наша машина не имела горючего, и в тех условиях о заправке нечего было и думать. Другие самолеты находились уже на пути в Португалию. Таким образом, собравшись бежать, мы не могли осуществить своего намерения.

Неожиданно появились механики и сообщили, что в ангаре стоит заправленный самолет. Это был «Р-III». Я никогда не летал на самолетах такого типа, но, ни минуты не колеблясь, влез в пилотскую кабину. Пастор сел на место наблюдателя, Арагон устроился у него в ногах.

Механики, словно они сами намеревались лететь, прилагали невероятные усилия, пытаясь запустить мотор. Но все их попытки были безрезультатны. Правительственные войска уже вступили на аэродром. Убедившись, что «машинка» не завертится, мы предложили механикам уйти, чтобы их не захватили на месте преступления. Но они не слушали нас, и вдруг мотор взревел. Не ожидая, пока он прогреется, я дал газ, [185] самолет покатился по полю, однако холодный мотор не давал возможности оторваться от земли. Я видел, что взлетная полоса кончится раньше, чем самолет сможет подняться в воздух. Впереди уже развернулся в цепь инженерный батальон. Солдаты, поняв, что машина несется прямо на них, разорвали строй, чтобы дать нам дорогу. К счастью, на нашем пути встретился маленький бугорок, и самолет взлетел. Ни один из солдат не подумал стрелять в нас, хотя мы промчались в нескольких метрах от них.

Итак, благодаря упорству и стремлению механиков спасти

нас «Р-III» покинул аэродром. Это произошло в два часа тридцать минут пополудни. Стало холодно. Пастор и я в какой-то степени были защищены от ветра, но Хосе Арагон дрожал как осиновый лист.

На самолете, взятом прямо из ремонтных мастерских, не работал ни один бортовой прибор, не было ни компаса, ни карты. Меня особенно беспокоило, сколько в баках горючего. Бензомер не действовал, и я не имел ни малейшего представления, как долго мы сможем продержаться в воздухе. Поскольку ориентироваться было не по чему, я взял направление по реке Тахо и так летел в течение двух часов. Когда горючее кончилось и мотор заглох, мы не знали, испанская под нами территория или уже Португалия. Я посадил самолет на убранном поле и спросил у пастуха, чья это земля. Узнав, что португальская, мы облегченно вздохнули.

Трудно объяснить мое состояние в тот момент. Горечь и разочарование охватили меня. В том, что произошло, я видел только отрицательные стороны и чувствовал себя подавленным, морально сломленным, человеком, спасшим свою жизнь бегством. Я был уверен, что за несколько часов потерял родину, друзей, семью, погубил карьеру - одним словом, лишился всего, из чего, как думал, состояла моя жизнь. В то время я еще на все реагировал с позиций странного экземпляра человеческой породы - сложного, тщеславного, самолюбивого, приписывающего себе какие-то особые качества, - именуемого «испанским грандом».

Мои товарищи Арагон и Пастор, должно быть, испытывали нечто похожее. Никто из нас не имел ни малейшего опыта в подобных делах, мы никогда не попадали в обстановку, хотя бы отдаленно напоминавшую ту, в какой очутились. Итак, мы оказались в провинции Кастель Бранко, в нескольких километрах от испанской границы, и абсолютно не знали, что делать дальше. [186]

Оставив самолет, мы отправились в деревню, замеченную нами еще с воздуха. Шли молча. Каждый думал, что предпринять в создавшейся малоприятной ситуации. Наша группа - три небритых сеньора с угрюмыми лицами, одетые один (Хосе) в гражданский костюм без шляпы, двое (Пастор и я) в бросающуюся в глаза зеленую форму испанской авиации, - производила, наверное, странное впечатление.

Невдалеке на вершине холма красовался великолепный помещичий дом. Нам, уставшим, не знавшим, куда идти, очень хотелось передохнуть в этом особняке, но мы понимали, что это невозможно, и продолжали путь. Пройдя около трех километров, мы увидели едущий нам навстречу автомобиль. Знаками

попросили водителя остановиться. В машине сидел хорошо одетый господин, лет сорока, с нескрываемым удивлением смотревший на нас. Он удивился еще больше, когда мы спросили его, далеко ли до железнодорожной станции. «Каких-нибудь сорок километров», - ответил он и добавил: «Мне неизвестны ваши планы, но, думаю, вы не намереваетесь добираться туда пешком?» Мы сказали, что хотели бы сесть на поезд, идущий в Лиссабон, чтобы присоединиться к своим товарищам, уже находящимся там. Затем сообщили, что мы участники неудавшегося восстания против монархии, происшедшего сегодня утром в Мадриде. Выслушав все, он задумался, не переставая упорно рассматривать нас, а затем, не говоря ни слова, выключил мотор и вышел из автомобиля. Подойдя к нам вплотную, он очень серьезно сказал: «Ваша первая встреча на португальской земле оказалась не совсем удачной, я глава португальских монархистов всего этого района и нахожусь в противоположном вам политическом лагере. Но, как говорят в Испании, «одно другому не мешает». Да будет мне позволено в положении и обстоятельствах, в которых мы встретились, заняться вами, пока вы не сядете в лиссабонский поезд». В 1930 году политические противники могли себе позволить подобное обращение.

Каково же было наше удивление, когда, приняв его предложение отвезти нас на станцию, мы увидели, что он направил свою машину к прекрасному зданию, попасть в которое нам так хотелось некоторое время назад. Как оказалось, он был хозяином этого дома и жил там вдвоем с женой. Нас представили хозяйке. Пока мы брились и умывались, нам приготовили вкусный завтрак, который был съеден с аппетитом, не уступавшим нашему пессимизму. [187]

Чтобы не возвращаться более к этому настоящему португальскому кабальеро, скажу, что он отвез нас на станцию, купил билеты в вагон первого класса, дал некоторую сумму денег на дорогу и посадил в поезд, не пожелав принять от нас испанские песеты в уплату за все издержки. Он дал свой лиссабонский адрес, и через несколько дней мы возвратили ему деньги, еще раз поблагодарив за внимание.

Я умирал от усталости и, как только поезд тронулся, заснул как убитый. Проснулся, когда поезд подошел к лиссабонскому вокзалу и фотокорреспонденты начали «стрелять» в нас своими лампами-вспышками. Со сна мне показалось, что это продолжается канонада, сопровождавшая наше бегство с «Куатро виентос».

На вокзале нас встречали полицейские, журналисты и два португальских офицера. Подойдя к вагону, офицеры сообщили,

что они прикомандированы к нам военным губернатором в качестве сопровождающих и готовы отвести туда, где уже находятся Кейпо, Рамон Франко и другие испанцы. В автомобиле нас доставили в знаменитый монастырь Мафра, что-то вроде испанского Эскориала{90}, расположенный в 35 километрах к северу от Лиссабона. Здесь размещалась военная школа, но в те дни она не функционировала. Хосе Арагона и меня поместили в большой, мрачной и холодной комнате с двумя кроватями. На этом закончился длинный и беспокойный день, так круто изменивший мою жизнь.

Португальские власти вели себя по отношению к нам весьма корректно. Прикомандированные офицеры держались по-товарищески. Мы находились в тех же условиях, что и слушатели школы: скромные комнаты, довольно скудная пища, но при этом не следует забывать, что материальный уровень жизни военных в Португалии был значительно ниже, чем в Испании. Монастырь с его огромными коридорами, полутораметровой толщины стенами, плохо освещенный, сырой и неотапливаемый, вызывал неприятное чувство. Если еще учесть наше моральное состояние и отсутствие многих необходимых вещей (смены белья, туалетных принадлежностей, пальто), станет понятно, что впечатление от первого дня пребывания в изгнании было довольно безотрадным.

Мы получили первые мадридские газеты с описанием восстания. Правые, особенно «Эль дебате» и «АБЦ», естественно, [188] называли нас предателями. Они напечатали нечто вроде биографии каждого из десяти или двенадцати офицеров, бежавших в Португалию. Они не только лгали и извращали факты, но и осыпали нас множеством оскорблений. И, странная вещь, казалось, мы не должны были бы придавать значения такой явной клевете, однако, следует признаться, она все же задевала и возмущала нас. Мы впервые сталкивались с подобным явлением и, как говорится, имели слишком чувствительную кожу. Особенно были взбешены Кейпо и Рамон Франко. Обо мне, не знаю почему, газеты писали в несколько ином тоне. Только сумасшедший, дурак или глупый сноб, кричали они, мог решиться на подобную выходку.

Хосе Арагон был единственным, кто успокаивал нас, доказывая, что бешеные нападки реакционных газет показывают, как правые напуганы. Бросая грязью в участников восстания, они тем самым пытаются уменьшить его значение.

Тогда я впервые услыхал о «золоте Москвы». Одна из газет намекала, что русские деньги сыграли не последнюю роль в организации заговора.

В первые дни нашего пребывания в Мафра меня приехали

проведать пять офицеров португальской морской авиации, с которыми я познакомился во время перелета на гидросамолете из Мелильи в Сантандер вдоль побережья Пиренейского полуострова. Этот визит доставил мне большую радость, особенно если учесть созданную вокруг нас обстановку. Они привезли два ящика необыкновенного вина «порто», провели с нами вечер и искренне предложили свою помощь на будущее. Прощаясь, они обещали вскоре вновь навестить нас, но это посещение оказалось первым и последним. Министр, узнав об их визите, страшно возмутился и категорически запретил показываться в Мафра.

Чтобы перегнать в Испанию самолеты, на которых мы перелетели в Португалию, командование испанской авиации отправило в Лиссабон группу летчиков во главе с капитаном Лакалье (ставшим позже генерал-лейтенантом). Перед отъездом из Мадрида они получили строгие инструкции, запрещавшие устанавливать какие-либо контакты с «отступниками». Однако некоторые летчики связались перед полетом с нашими семьями и предложили отвезти нам все необходимое. Таким образом мы получили первые чемоданы с вещами и некоторое количество денег. Теперь можно было снять военную форму, мешавшую выходить из монастыря, хотя власти не препятствовали этому. [189]

Тогда же мы получили рекомендацию эмигрантского комитета (созданного некоторыми республиканскими руководителями, обосновавшимися к тому времени во Франции) при первой же возможности выехать в Париж, где мы находились бы в большей безопасности, чем в Португалии. Одновременно сообщалось о высылке денег на эту поездку.

Во время продолжительных прогулок по окрестностям Мафра Арагон, мой двоюродный брат Пепе и я, естественно, обсуждали наше положение и решили перебраться в Париж. Но у Хосе Арагона возникла нелепая идея: плыть туда на пароходе в качестве матросов и тем самым сэкономить комитету стоимость нашей поездки. Как ни старались, мы не могли убедить Хосе в нелепости его затеи. На следующий же день он отправился в Лиссабон наниматься на какой-нибудь корабль. Мне не хотелось оставлять его одного, поэтому я последовал за ним, решив испытать судьбу. К счастью, дело оказалось не таким простым, как представлял себе Арагон. Во-первых, мы долго не могли найти судно, которое не заходило бы в испанские порты. Наконец мы отыскали нужный нам пароход. Когда же Хосе попросил записать нас в судовую команду, капитан, пристально глядя на наши руки, сказал, что очень сожалеет, но экипаж уже

укомплектован. То же самое, но в значительно более грубых выражениях, ответили нам на парусно-моторном судне, направлявшемся в Ля Рошель.

Наконец Арагон согласился, что с нашей внешностью аристократов не стоило и думать наняться в матросы. Таким образом, на двадцатый день пребывания в Португалии мы спокойно сели на пароход, совершавший рейсы Конго - Бельгия.

В Антверпене нас ожидала полиция. Она обошлась с нами вполне корректно и не чинила никаких препятствий при высадке на берег. В Брюсселе мы были приняты самим префектом. Воспользовавшись пребыванием в этом городе, мы посетили дона Франсиско Масья{91} (его выслал, по-моему, Примо де Ривера), который жил в окрестностях бельгийской столицы в скромном, но приятном пансионе. Масья, каталонский Дон-Кихот, произвел на меня сильное впечатление. Его лицо казалось энергичным и в то же время добродушным. Он жил с дочерью. Нам понравились ее простота в обращении с гостями и нежное отношение к отцу. [190]

Во время этого визита Кейпо де Льяно вел себя нетактично, а если говорить прямо, глупо. Прощаясь с доном Франсиско, он сказал несколько фраз, показавшихся нам грубыми или, по меньшей мере, неуместными. Он дал ему понять, что не разделяет его сепаратистских взглядов и что если и посетил его, то только потому, что тоже находится в эмиграции.

Париж

В Париж мы прибыли в десять часов вечера. На перроне нас ожидала полиция. В комиссариате вокзала нам устроили допрос, а на следующий день в довольно неприветливой форме передали вызов в префектуру.

Поселились мы в скромных меблированных комнатах недалеко от вокзала. Моя комната с маленькой тусклой электрической лампочкой, с большой супружеской кроватью, биде и умывальником, спрятанным за ширмой, с потемневшими от времени обоями, выглядела очень мрачной. Это было классическое убежище для двух персон, интересующихся только друг другом. Я же в этой конуре чувствовал себя совсем одиноким и забытым в огромном, незнакомом городе. Знаменитый, веселый Париж произвел на меня удручающее впечатление. К счастью, я страшно устал, сразу же бросился на кровать и заснул.

На следующее утро мы отправились в полицию, чтобы привести в порядок свои документы. Кейпо де Льяно, Рамона Франко и меня принял, чем мы были немало удивлены, сам префект Парижа, не кто иной, как Кьяпп, известный своими

преследованиями всех более или менее прогрессивно настроенных людей. Помню, в его большом кабинете почти всю стену занимала картина, изображавшая атаку полиции на группу забастовщиков. Видимо, эта картина вдохновила его на зверскую расправу 6 февраля 1936 года{92}. Внешность префекта не внушала симпатий. Он старался быть вежливым, но я находил его поведение фальшивым. Кьяпп заявил, что во время пребывания во Франции мы не должны вмешиваться в политику и полиция не будет беспокоить нас. Затем, выдавая разрешение на жительство в Париже, выразил надежду, что [191] испанские офицеры, оценив предоставленные им льготы, будут вести себя примерно. И, обращаясь к Рамону Франко, добавил, придав своему голосу отеческий оттенок: «Я не рекомендую вам заниматься во Франции теми делами, какими вы занимались в Испании, так как здесь последствия окажутся значительно более неприятными». Рамон Франко довольно резко ответил, что не нуждается ни в чьих наставлениях и сам знает, что ему делать. Я опасался, как бы их перепалка не закончилась так же, как в пьесе «Четки Авроры» {93}, но, к счастью, префект не принял слова Рамона всерьез, и мы мирно распрощались.

Из префектуры мы отправились в Люксембургский сад, где должна была состояться наша встреча с кинорепортерами. Рамон Франко пользовался популярностью настоящей «звезды», и кое-что от его славы революционера перепало и нам. Журналисты ни на минуту не оставляли нас в покое. «Юнайтед пресс» платила по 500 долларов за маленькое интервью о восстании в «Куатро виентос». Деньги мы поровну распределяли между собой.

Через некоторое время на улице Вожирар мы отыскали приличный пансион. Кейпо, Арагон, Пепе и я немедленно перебрались туда, с радостью покинув мрачный отель у вокзала.

Наше новое жилище, в центре Латинского квартала, в нескольких десятках метров от театра Одеон, было приятным и спокойным. Большинство его жильцов составляли типичные старые англичанки, постоянно занятые вязанием. Они приехали в Париж на зимний сезон, чтобы избавиться от туманов у себя на родине и воспользоваться благоприятным обменным курсом фунтов стерлингов на франки. Работавшая в отеле миловидная и симпатичная девушка-кассирша, одновременно выполнявшая обязанности телефонистки, довольно хорошо знала испанский язык. Звали ее Елена.

После ужина мы отправлялись в кафе «Наполитэн», расположенное на Бульварах. Там всегда собирались испанцы, эмигрировавшие во Францию. Хотя компания располагалась в глубине кафе, споры на испанском языке слышались уже у двери,

контрастно выделяясь на фоне спокойных и серьезных разговоров постоянной публики. Шум, устраиваемый испанцами, выходил за рамки общепринятых норм поведения, но таков уж наш национальный обычай - разговаривать во весь [192] голос, не считаясь с тем, что это может беспокоить окружающих.

Там я познакомился с Индалесио Прието, Марселино Доминго, Рикардо Бароха, Сеферино Паленсиа, Грако Марса и некоторыми другими, имена которых не сохранились в памяти.

Раньше мне не раз приходилось слышать о Прието и Марселино Доминго дома и в клубе «Гран Пенья», читать в «АБЦ» или «Ла Эпока» - газетах, получаемых нашей семьей. Но я никогда не читал их собственных статей или речей и не слыхал отзывов о них беспристрастных людей, поэтому, совершенно естественно, имел об этих политических деятелях весьма превратное представление.

Прието я представлял себе хитрым, решительным и непримиримым врагом монархии и диктатуры. Он вызывал во мне интерес, и я гордился тем, что знаком с человеком, о котором столько говорили в среде, где я раньше жил.

О Марселино Доминго у меня сложилось совершенно иное мнение. Я начитался и наслышался о нем таких глупостей, что встреча с ним не привлекала меня. Его характеризовали как человека антипатичного, извращенного, ненавидящего все испанское, и особенно армию. Подобные пороки реакция обычно приписывала анархистам, масонам и сепаратистам. Не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что дон Марселино - хороший человек, корректный, необычайно скромный и страстно любящий свою родину.

Впервые в жизни я общался с людьми левых убеждений, и к тому же видными революционерами. Они произвели на меня сильное впечатление. Встречаясь с ними, я испытывал робость и еще какие-то трудно объяснимые чувства, мешавшие мне говорить. Что бы ни приходило на ум, все казалось недостойным быть высказанным в таком обществе.

Эспла, корреспондент одной либеральной мадридской газеты, после ежедневных телефонных разговоров с редакцией имел обыкновение приходить в кафе и рассказывать последние новости из Испании. Как-то ночью он принес Прието письмо.

В нем сообщалось, что Леру{94}, воспользовавшись арестом и эмиграцией большей части руководителей, назначил себя главой республиканского движения. Новость привела Прието в негодование, которое он и не пытался скрыть. Я необычайно изумился, услышав употребляемые им по адресу Леру слова, [193] ибо, по неведению, представлял себе Леру настоящим

революционером. Выражения Прието показались мне чрезмерно грубыми. Впервые я понял, что единство, взаимное уважение и солидарность среди республиканских руководителей вовсе не так уж сильны, как я думал.

На следующий день в нашем симпатичном отеле едва не возник серьезный конфликт.

Как я уже говорил, Рамон Франко в те дни считался в Париже «звездой» первой величины. Газеты и журналы помещали его фотографии, рассказывали эпизоды из его жизни, многое преувеличивая и присочиняя. В кинотеатрах показывали хронику о том, как Рамон Франко и я гуляем в Люксембургском саду. В тот день мы пригласили Рамона отобедать в нашем пансионе. Одна из старых англичанок, видевшая эту хронику, узнала его и, поскольку читала только реакционные газеты, поносившие нас, должно быть, сильно перепугалась, обнаружив, что живет под одной крышей с такими опасными и страшными преступниками, задумавшими свергнуть симпатичного Альфонса XIII. Она сообщила о своем открытии соотечественницам и заявила о намерении сменить пансион. Встревоженная хозяйка рассказала нам о случившемся. Она ничего не имела против нас, но не хотела терять и более солидных клиентов. Тогда мой двоюродный брат Пепе, считавший себя истинным испанским идальго, в необычайно изысканных выражениях произнес перед англичанками речь о том, что им не стоит утруждать себя переездом, так как мы, испанцы, сами покинем пансион. Эти слова повлияли на перепуганных англичанок. Они решили остаться.

Вскоре к нам в пансион переехали Прието и Марселино Доминго. Мы опасались, что новое испанское вторжение вызовет очередной переполох среди старых английских леди, но, очевидно, новые постояльцы показались им безобидными людьми, хотя префектура приставила к каждому из них по полицейскому. Эти шпики неотступно следовали за ними, если те выходили на улицу, или весь день торчали у пансионата, если они оставались дома. Такой же привилегией пользовался и Рамон Франко. Кейпо, несмотря на беспокойство, причиняемое постоянно торчащим за спиной полицейским, считал себя обиженным, ибо его оставили без надзора.

Легкость, с какой наш незадачливый генерал делал политические декларации любому, кто разговаривал с ним, начинала все больше беспокоить нас. Последняя его выходка была особенно неприятной. Один бельгийский журналист злонамеренно [194] воспользовался ответами Кейпо на некоторые свои вопросы и написал статью, где ловко использовал его

высказывания против испанского республиканского движения. Чтобы избежать в дальнейшем подобных неприятностей, мы учредили при Кейпо своего рода службу адъютантов, дабы лишить его опасной инициативы и свободы действий. Сделали мы это под предлогом того, что генералу неудобно одному ходить по Парижу. С тех пор кто-либо из нас всегда сопровождал его, и генерал считал это вполне естественным.

Однажды утром, вернувшись в пансион, я увидел ожидавшего меня лейтенанта артиллерии Игнасио Анитуа, моего родственника и друга. В течение долгого времени я ничего не слыхал о нем, поэтому необычайно удивился, встретив в Париже, да еще в качестве изгнанника за участие в восстании против монархии. Анитуа никогда не имел ничего общего с политикой. Он временно командовал батареей в Хака, когда капитан Галан поднял там восстание. Игнасио не собирался принимать в нем участия, но, увидев, что большинство его подчиненных поддержало Галана, решил разделить их судьбу.

После поражения восстания Игнасио спрятался в доме одного крестьянина и оставался там до тех пор, пока у моего брата Маноло родственные чувства к брату жены не возобладали над его монархическими убеждениями. Тогда он отвез его на своей машине к французской границе и переправил вместе с какими-то контрабандистами.

После стольких весьма трагических приключений Игнасио Анитуа, простой и славный парень, оказался в Париже, словно свалился с луны. Печальный, сбитый с толку, он постоянно вспоминал свою молодую жену. Его поведение в Хака - еще одно доказательство того, что армейские офицеры не питали особых симпатий к монархии и не имели желания защищать ее.

Жизнь в Париже принесла мне много новых впечатлений. Я познакомился с людьми, чьи представления о жизни совершенно отличались от тех, что сложились у меня до сих пор. В этой абсолютно неизвестной для меня среде я чувствовал себя неуверенно, хотя и старался держаться естественно.

Я понимал необходимость, хотя бы частично, изменить мои старые взгляды, отбросить прежние предрассудки, но расстаться с тем, что приобретено в течение всей жизни, очень нелегко.

Однажды вечером в компании, собравшейся в кафе, испанский студент, эмигрировавший в Париж, с большим апломбом [195] рассуждал о восстании. Он утверждал, будто причина провала - в поведении военных. Несправедливость его нападок возмутила меня. К тому же я полагал, что он намекает на меня. Несмотря на принятое решение стараться управлять своими чувствами, я не мог сдержаться и резко вскочил с места. Прието

понял, что может последовать за этим, стал между нами и предотвратил скандал, столь непростительный в данных обстоятельствах.

Спустя несколько дней после нашего приезда в Париж довольно известный французский писатель (не помню его фамилии, что-то вроде Джермен) пригласил Рамона Франко, Кейпо и меня в свою великолепную квартиру на «коктейль парти». Собралось много гостей. Все шло хорошо до тех пор, пока хозяин дома не решил, что настал момент продемонстрировать гостям «редких зверей» - сюрприз приема. Экзотическими существами оказались Рамон Франко, Кейпо и я.

Нет смысла повторять все небылицы, с серьезным видом рассказанные хозяином дома, когда он представлял нас своим гостям и говорил о восстании в Мадриде. Рамона Франко он изобразил как самого бесстрашного революционера эпохи; Кейпо - как нечто среднее между Дон-Кихотом и средневековым капитаном - завоевателем Испанской империи (наш усатый, длинный и необыкновенно худой генерал имел огромный успех у собравшихся). Когда же очередь дошла до меня, писатель не знал, что сказать. Очевидно, его запас выдумок иссяк. Наступило неловкое молчание. Он посмотрел на листок бумаги, где записал наши фамилии, и прочел мое имя - Идальго де Сиснерос. Фантазия, присущая большим писателям, подсказала ему слова для воздействия на воображение гостей. Забыв, что католические попы не могут иметь законных потомков, он торжественно объявил, что я знаменитый испанский дворянин, прямой потомок кардинала Хименеса де Сиснероса. Заканчивая свое представление, он сказал, что если наше восстание потерпело провал, то лишь потому, что Рамон Франко отказался от победы, не решившись бомбардировать королевский дворец в Мадриде из-за боязни принести в жертву детей.

На следующий день в кафе «Наполитэн» перед самым закрытием появился наш вчерашний гостеприимный хозяин, пришедший присмотреть других знаменитостей для своего очередного приема. Его сопровождали два изысканно одетых молодых человека. На вечере я не очень приглядывался к писателю, [196] но в кафе сразу же обратил внимание (он и не пытался этого скрывать), что его не интересуют женщины. Прието весьма серьезно передал ему, как я возмущен выдумкой о моих родственных связях с кардиналом Сиснеросом. Когда дон Инда находился в хорошем настроении - а в тот вечер он был особенно весел, - то буквально расточал пикантные шутки. Литератор поговорил с нами и любезно предложил отвезти на своем великолепном «испано» в пансион. Прието, Кейпо и я уселись в

машину. Когда проезжали площадь Одеон, где находилось кабаре русских белоэмигрантов, в котором все лакеи и служащие - бывшие генералы и полковники царской армии, имевшие большие титулы, чем герцог Альба, наш друг предложил выпить по бокалу шампанского. Я с изумлением увидел, что Прието и Кейпо охотно согласились. Я не осмелился что-либо возразить и пошел за ними. Меня не покидало неприятное чувство, что мы встретим кого-нибудь из испанцев или какой-либо журналист сфотографирует нас. Не знаю, что бы произошло, если бы в прессе появилось фото с изображением социалистического лидера Индалесио Прието, генерала Кейпо де Льяно и майора Сиснероса в компании со знаменитым писателем, имярек, очень известным в определенных парижских кругах, и двумя его молоденькими дружками и под этим снимком стояла бы подпись, утверждавшая, что мы пили в фешенебельном кабаре на золото, выданное Москвой для восстания против монархии. Мне до сих пор непонятно, как мы могли совершить подобную глупость.

Наконец я и мой кузен получили из Испании несколько чемоданов с одеждой, обувью и другими вещами. Нам даже прислали смокинги, так что мы вновь имели возможность выглядеть аристократами. Когда вечером на следующий день мы оделись по последней моде, это вызвало в пансионе некоторую сенсацию.

Мои денежные дела уладились. Отпала необходимость обращаться в комитет, опекавший нас. Обычно он выдавал каждому нуждавшемуся эмигранту тысячу франков в месяц. На эту сумму можно было жить скромно, но вполне прилично.

Первым прислал мне в Париж деньги один мой друг, ярый сторонник монархии. Многие члены его семьи занимали видные посты при королевском дворе. Однажды он дал мне взаймы большую сумму, сказав при этом, что я могу не беспокоиться и вернуть ее, когда улучшатся мои денежные дела. Очевидно, узнав о моей эмиграции и предположив, что я сижу [197] без гроша, он, проявив поистине дружеские чувства, раздобыл где-то деньги и при первой же оказии отправил мне банковский чек на сумму в два раза большую, чем я был ему должен. В своем письме, не содержавшем никаких политических комментариев, он просил принять эти деньги, посылаемые по его собственной инициативе, не беспокоясь об их возвращении.

Это еще одно доказательство, что в то время политические противники могли позволить в отношениях друг с другом некоторое великодушие, не опасаясь скомпрометировать себя. Трое или четверо знакомых, которым я давал взаймы, немедленно вернули долги, узнав мой адрес. Я получил несколько денежных

переводов и от людей, симпатизировавших республиканскому движению. Некоторые из них прислали мне деньги, собранные вскладчину. Все это свидетельствовало о сочувствии к нам.

Одним словом, в «Лионском кредите» {95} у меня появился текущий счет, обеспечивший вполне приличное существование в Париже и даже позволявший тратить часть денег на развлечения.

Но не все относились ко мне так великодушно. Реакция моих братьев была весьма типична для испанских аристократических семей. Узнав по радио о моем участии в восстании на аэродроме «Куатро виентос», они вначале не хотели этому верить, полагая, что в сообщение вкралась ошибка. Затем, когда убедились в его достоверности, возмутились и принялись бранить за то, что я навсегда обесчестил семью. Однако в конце концов вполне человечно решили: несмотря на мои отвратительные поступки, нельзя оставить меня на чужбине без денежной поддержки. Они встретились и обсудили, какую сумму мне ежемесячно отправлять. Потом собрались вновь, чтобы на сей раз установить пропорциональную часть взноса каждого в зависимости от его финансовых возможностей. Очевидно, братья так и не смогли договориться, ибо споры продолжались до провозглашения в Испании республики. Так за время эмиграции я и не получил от них ни одного сантима.

Индалесио Прието являлся признанным главой эмиграции. Ему беспрекословно подчинялись даже такие видные политические фигуры, как Марселино Доминго, Мартинес Баррио, Рамон Франко, лидеры каталонцев и басков - словом, все [198] испанские эмигранты независимо от их партийной принадлежности.

Прието посещали такие аристократы, как герцог де ла Торрес, крупные промышленники, как Эчиварриета и Сота, политические деятели типа Сантьяго Альба{96}, высшие иерархические чины масонов, лидеры различных партий и рабочих организаций и т. д. и т. п. Вообще каждый испанец, оказавшийся в Париже, обязательно наносил ему визит. Многие специально приезжали, чтобы повидать его. Прието поддерживал довольно тесный контакт с руководителями французских социалистов.

Кроме постоянного личного общения с множеством людей он вел обширную переписку. На все письма отвечал сам и любил относить их к поезду, идущему в Андай{97}. В первые дни знакомства я иногда сопровождал его на вокзал, но затем эти прогулки стали ежедневными и вошли в привычку. Отправлялись мы туда обычно в шесть часов вечера. К этому времени дон Инда разделывался со своей корреспонденцией и заходил за мной.

Возвращались обратно уже поздно по краю Люксембургского сада. На протяжении всего пути дон Инда напевал мелодии из испанских оперетт. Он обладал хорошим слухом и голосом и знал тексты многих песен.

Любопытно и вместе с тем странно, что такие разные люди, как Прието и я, смогли подружиться. Я испытывал к нему симпатию, и все, что он делал, казалось мне прекрасным. Думается, и он чувствовал ко мне расположение. По словам Марселино Доминго, если я не мог сопровождать дона Инда на вокзал, он очень огорчался. Возможно, дружба Пепе и моя с доном Инда объяснялась нашими резко противоположными с ним моральными и физическими качествами. Прието с интересом наблюдал, как мы живем, как безразлично относимся к политике и беззаботно предаемся веселой парижской жизни. Мы действительно были жизнерадостными юношами с открытой и доброй душой. В то же время он видел, что, несмотря на наше кажущееся легкомыслие, в решающий момент на нас можно положиться. Прието говорил, что высоко ценит наше отношение к вынужденной эмиграции: мы никогда не сожалели и не раскаивались в совершенном.

Однажды, придя на вокзал, мы с Прието заметили, что там необычно много полицейских, но не придали этому значения и вышли на перрон. Нас немедленно окружили, препроводили [199] в помещение вокзального комиссариата и приставили охрану. Полицейский начальник подошел к Прието и очень грубо спросил, что ему нужно на вокзале. Дон Инда спокойно ответил, что мы ежедневно в это время сдаем свои письма в почтовый вагон, и в доказательство показал корреспонденцию. Полицейский, всегда сопровождавший Прието, подтвердил его слова, после чего нас освободили. Оказалось, такое скопление жандармов объяснялось мерами предосторожности, принятыми службой порядка для обеспечения безопасности короля Альфонса XIII, который по пути в Англию должен был в этот вечер прибыть в Париж. Начальник охраны, узнав, что Прието находится на вокзале, подумал о возможности покушения или какого-либо скандала.

Богатые друзья часто приглашали Прието к себе на обед. Не знаю почему, но он всегда брал меня с собой. В большинстве случаев я не был знаком с гостеприимным хозяином, и к тому же за столом обсуждались важные события и дела, которые меня совсем не касались. Но дон Инда, кажется, был заинтересован в моем присутствии, словно нуждался в свидетеле. Случалось, я уже пообедал в пансионе, и тем не менее он требовал, чтобы я ехал с ним. Помню, тогда велись переговоры о покупке доном

Инда газеты «Эль либерал», издававшейся в Бильбао. Осио, Эчиварриета и герцог де ла Торрес финансировали эту операцию. С того времени Прието стал единственным владельцем газеты.

Хотя мой кузен Пепе ничего не рассказывал о своих отношениях с симпатичной кассиршей пансиона, Прието, вечно казавшийся сонным, замечал буквально все. Он получал большое удовольствие, видя, к каким хитроумным уловкам прибегала каждый вечер молодая девушка, чтобы отказаться от настойчивых приглашений генерала Кейпо де Льяно и убежать с Пепе. Прието обладал исключительной наблюдательностью, хотя у него постоянно болели глаза. Несколько раз я убеждался в этом, сидя с ним в кино или каком-либо кабаре, где мы иногда проводили целую ночь. Он всегда знал, куда мы с кузеном собираемся направиться вечером. У нас было обыкновение предварительно посмотреть план метро, висевший в вестибюле отеля, чтобы знать, как добраться до нужного места. По моим и Пепе жестам он, видимо, и определял наш выбор.

Однажды, когда мой кузен ел шоколадные конфеты, Прието подошел к нему и сказал: «Если генерал увидит, что вы едите эти конфеты, произойдет скандал». Оказывается, Кейпо [200] получил их из Барселоны от маркиза Фронда и подарил кассирше, дабы завоевать ее расположение. А она угостила Пепе. Если бы наш генерал обнаружил ее проделку, его бы хватил удар.

Как- то один из влиятельных друзей прислал Прието билет в ложу оперы. Поскольку он не имел вечернего костюма, необходимого для такого случая, то отдал билет Пепе и мне. Мы надели свои великолепные смокинги и в сопровождении кассирши, выглядевшей в тот вечер особенно красивой и элегантной, появились в великолепной, я думаю, очень дорогой, литерной ложе, вызвав огромное удивление у наиболее реакционно настроенных испанцев и некоторых наших знакомых, которые даже не пожелали поздороваться с нами. Целый вечер они разглядывали нас, шушукались, решив, что мы растрачиваем «золото Москвы». Позже нам стало известно, что в Мадриде было много разговоров об этой ложе и кассирше.

В Париж на некоторое время приехал главный редактор мадридского журнала «Эстампа» {98} Оканья. Он казался симпатичным и добрым человеком, к тому же хорошо осведомленным обо всем происходящем в мире. Его сопровождал Цезарь Фалькон, тоже журналист, перуанец, давно живший в Испании. Фалькон ходил с длинными взлохмаченными волосами и с прорванными на локтях рукавами пиджака, но не из-за бедности, а из стремления к оригинальности. Он присоединился к нашей группе, став добровольным изгнанником.

Санчес Оканья подготовил репортаж и сделал несколько снимков о жизни испанских эмигрантов в Париже, которые были опубликованы в «Эстампа» и сыграли злую шутку с моим кузеном Пепе.

Иногда я составлял компанию Пепе и симпатичной кассирше в их прогулках по Парижу. Елена, истая парижанка, прекрасно знала город. Она водила нас по самым примечательным и малоизвестным местам. Мы узнали много интересного, увидели Париж совершенно не таким, каким его показывают туристам и вообще иностранцам.

Елена обладала элегантностью и грацией, столь присущими женщинам Парижа. Казалось, ей нравился Пепе. Оба производили впечатление людей, хорошо понимавших друг друга. В пансионе же они скрывали свои отношения. Кейпо позже всех узнал об их обоюдной симпатии. Он ничего не сказал, но в течение нескольких дней на его лице сохранялось [201] выражение скорби, как у человека, переживающего подлинную трагедию.

Однако неожиданно вновь появилась Солеа, андалузская подружка Пепе, по-прежнему экспансивная и прелестная. К тому времени испанцы перенесли место своего сбора из «Наполитэн» в кафе недалеко от Сорбонны. Однажды ночью, когда Пепе, оставив свою кассиршу в пансионе, пришел туда посидеть с друзьями, открылась дверь и в сопровождении полковника Пастора стремительно вошла Солеа. Увидев моего кузена сидящим рядом с какой-то блондинкой, она закричала по-испански с присущим ей великолепным севильским акцентом: «Это и есть та французишка, которую ты завел в Париже?» Не только испанцы, но почти все присутствовавшие в кафе с любопытством уставились на Солеа, которая вела себя очень решительно, громко произнося слова, непонятные никому, кроме нашей группы. Ее прическа подходила разве только для прогулки по Триане{99}. «Французишка», как ее назвала Солеа, в то время была невестой, а позже стала женой Видарте, депутата-социалиста. Эта-то каталонская девушка, очень образованная, симпатичная и сдержанная, учившаяся в Париже, и имела в тот вечер несчастье сидеть рядом с моим кузеном.

Хотя Солеа ревновала Пепе даже к своей тени, для каталонских женщин она почему-то делала исключение, не принимая их всерьез. Поэтому, узнав, что «французишка» родом из Барселоны, она тотчас утратила агрессивность, и к ней вернулось обычное для нее хорошее настроение.

Присутствовавшие отнеслись к этому происшествию по-разному. Кейпо увидел возможность вновь попытаться завоевать сердце кассирши. Застенчивый Марселино Доминго чувствовал

себя очень неловко от того, что мы привлекли всеобщее внимание. Дону Инда, напротив, выходка Солеа доставила удовольствие. Ему было интересно, как Пепе выпутается из этого весьма деликатного положения.

Если не знать характера Солеа, трудно понять, почему она оказалась в Париже. Полтора года они с Пепе были в ссоре и не виделись друг с другом. Но однажды в руки Солеа случайно попал номер «Эстампа» с репортажем Санчеса Оканья и фото, сделанным в кафе «Наполитэн». Она нашла, что бедняжка Пепе выглядит очень плохо, пожалела его и, не сказав никому ни слова, вернулась в Севилью, где заложила свои [202] скромные драгоценности, и на эти деньги отправилась в Париж. Ее багаж состоял лишь из маленького чемодана с двадцатью пластинками, нравившимися Пепе, и пятью килограммами его любимой риохской колбасы.

Почти всю жизнь Солеа провела в Севилье и не представляла себе, где находится Париж. Никого там не зная, ни слова не говоря по-французски, она прибыла на парижский вокзал. Оставив багаж в ближайшем отеле, Солеа, держа номер «Эстампа» в руках, подошла к шоферу такси и указала на кафе «Наполитэн». Заняв место на террасе кафе, она показала официанту нашу фотографию в газете. Тот ответил, что знает нас, но не сказал (а если бы и сказал, Солеа все равно не поняла бы), что мы уже не приходим сюда. Наступил вечер, но ни один испанец не появился. Солеа оставалась в кафе до самого закрытия. На следующий день она опять устроилась на террасе и сидела до тех пор, пока в девять часов вечера туда случайно не зашел полковник Пастор. Она подскочила от радости, вцепилась в него и не отпускала, расспрашивала, где живет Пепе. Полковник, хорошо знавший Солеа, решил не вести ее в пансион, опасаясь скандала, а проводил на собрание в кафе. Он полагал, что на людях удобнее отвести первый удар. Пепе сказал ей, что мы живем в отеле, где обосновался Санчес Оканья, а его послали подготовить там для нас две комнаты. Не помню, как мы объяснили ей недостаток своей экипировки, но, будучи взволнована встречей, она этого просто не замечала.

Урегулировав кое-как дело с Солеа, нам предстояло сделать то же самое в отношении Елены. Прието и Марселино решили помочь нам. Они сообщили ей, якобы Пепе и я срочно отправились на автомобиле к испанской границе для выполнения секретной миссии. Девушка не усомнилась в правдивости их слов. На следующий день Прието и Доминго тайно вынесли под своими пальто, стараясь не попадаться на глаза кассирше, несколько смен белья и различные предметы туалета, чтобы переправить к

нам в отель.

В Париже с Солеа произошло много забавных случаев. На двенадцатый день мы все же усадили ее в поезд, шедший в Испанию. А в пансион вернулись с видом революционеров, выполнивших ответственнейшую миссию.

Однажды нас пригласили на обед в парижский «Великий Восток» {100}. Многим испанцам масоны представлялись загадочными [203] людьми, оказывавшими большое влияние на весь мир и руководствовавшимися непременным принципом - помогать и защищать друг друга. В среде, в которой я жил, о масонах ничего не знали. Впервые я услышал о них в Марокко примерно в 1922 году, тогда много говорили о старших военных начальниках и офицерах, вступивших в общество масонов. В 1923 году Хосе Арагон спросил меня, не стать ли и нам членами этой организации. Хотя таинственная религия вызывала некоторое любопытство и желание познакомиться с ней, все же мы решили держаться от нее подальше, так как офицеры, пропагандировавшие ее, не внушали нам симпатий. К тому же они допустили промах, дав нам понять, что влияние масонов в высших сферах может обеспечить продвижение по службе и получение наград. Этим они продемонстрировали полное непонимание нашего донкихотского характера и отвратили от масонства.

Нам впервые предстояло войти в непосредственный контакт с масонами, поэтому, вполне естественно, мы с интересом приняли приглашение. Уже с самого начала мы удивились, увидев фасад здания, на котором большими буквами было написано: «Великий Восток». (В Испании все, что касалось масонов, окружалось строжайшей тайной.) Приняли нас любезно и препроводили в комнату ожидания. Оказалось, Рамон Франко и Марселино Доминго являлись членами масонского общества. После окончания тайных ритуалов Прието, Арагона, Кейпо и меня провели в большой салон, где собралась многочисленная группа «братьев». Во время торжественного приветствия на наши головы обрушили три или четыре доклада, из которых я ничего не запомнил. Собрание закончилось, и я так и не увидел никаких душещипательных церемоний. Затем мы прошли в огромную столовую, где стояли накрытые на несколько десятков персон столы. За обедом присутствовало несколько испанцев, давно живущих во Франции. Один из них, парикмахер-каталонец, сидел рядом со мной. Он имел вид приличного человека и необычную манеру разговаривать. Его рассуждения о различных событиях, происходящих в мире, казались мне странными. Он рассказал немного о своей жизни, и я узнал, что он - теософ, вегетарианец,

масон и анархист. Меня это необычайно позабавило. Не знаю почему, но то, чем хвастался мой сосед, я всегда считал первыми симптомами помешательства. Предполагаю, и я казался ему редким экземпляром, ибо на протяжении разговора он несколько раз с удивлением смотрел на меня, [204] когда я высказывал свои взгляды относительно некоторых сторон жизни.

После этого визита у меня осталось впечатление, что масоны не так уж свирепы, как их рисовали в Испании. Они показались мне неплохими людьми, лишь немного экстравагантными и много говорившими о более справедливом мире. Если бы действовать их методами, то уничтожения несправедливости пришлось бы ждать слишком долго.

В те дни в Париж приехало несколько венесуэльских студентов. Им удалось покинуть родину и избежать тюрьмы. Мы познакомились с ними и пригласили на паэлью{101} в специально снятый зал испанского ресторана. Это были симпатичные молодые люди - три студента и один рабочий.

Необыкновенно просто рассказывали они о своей страшной одиссее, потрясшей меня. На теле всех четырех остались следы пыток, которым их подвергали в полиции диктатора Гомеса{102}.

В тот день я узнал о такой стороне жизни, которая была совершенно неизвестна и неожиданна для меня. Я получил настолько сильный удар, что впечатление от него сохранилось в моей памяти до сих пор. Во времена диктатуры Примо де Риверо я никогда не слыхал о подобных жестокостях, совершаемых испанской полицией. Мне казалось, что, если бы в нашей стране совершались столь чудовищные вещи и мои товарищи по авиации узнали об этом, они не остались бы безразличными и выступили в защиту жертв, против тиранов.

Конечно, я не занимался экспертизой полицейских дел и вообще никогда не поддерживал ни малейшего контакта с полицией. Она не внушала мне особых симпатий, но у меня и не было оснований ненавидеть ее. Примерно так же я относился и к жандармерии. Я уже говорил, как местные полицейские приходили летом в поместье Канильяс или Сидамон и спрашивали, не нуждаемся ли мы в их помощи. Имея опыт лишь таких встреч, я, естественно, не мог быть в курсе возможных злоупотреблений со стороны этих институтов.

Нужно быть или большим эгоистом или бесчувственным истуканом, чтобы слышать о чудовищных преступлениях, подобных рассказанным венесуэльцами, и оставаться безучастным. Что касается меня, могу заверить: эта встреча пробудила во мне отвращение ко всем диктаторским режимам и в [205] то же время вызвала огромное сочувствие и симпатии к

страдающим от их беззаконий.

И все же ничто еще не могло заставить меня изменить свой бездумный и беспечный образ жизни. Так называемый «черный хлеб эмиграции» был для меня приятен. Время мы проводили замечательно, и я чувствовал себя почти счастливым. В тех условиях чувства протеста и возмущения, вызванные услышанным о тирании в Венесуэле, не стали достаточно сильными, чтобы превратить меня в настоящего революционера, жертвующего всем ради осуществления своих идеалов.

Впервые о предстоящих выборах в Испании я услыхал на одном из собраний в кафе. Спорили и подсчитывали, какая партия победит. Мнения разделились. Одна группа, настроенная оптимистически, доказывала преимущество левых сил; другая, руководимая доном Индой, наоборот, высказывала пессимистические прогнозы. Но ни первая, ни вторая даже не думали о возможности установления в Испании республики.

Корреспонденция дона Инда увеличивалась с каждым днем и стала настолько обширной, что он вынужден был прибегнуть к помощи секретаря, который приходил к нему по вечерам в отель.

Прието никогда не говорил со мной о политике и не пытался втянуть в нее. Наша дружба крепла, он вызывал у меня все большее уважение и восхищение. С другой стороны, его внимание свидетельствовало о сердечном расположении ко мне. Я очень мало значил и как революционер, и как политик и начинал подозревать, что симпатии дона Инда объяснялись, видимо, некоторыми моими качествами барчука-аристократа, качествами, которые, как мне казалось, должны быть ненавистны рабочему лидеру и революционеру. Мы не разговаривали с ним о выборах, но я заметил, что он волнуется. Накануне их он просил хозяйку пансиона предоставить в его распоряжение телефон и телефонистку. На следующий день с двух часов пополудни Прието поддерживал непрерывную телефонную связь с Испанией, пытаясь узнать результаты голосования. Полученные новости он тут же записывал. Благодаря хорошо организованной им службе информации мы в Париже смогли так же быстро получить полные сведения об итогах голосования, как и министр внутренних дел в Мадриде.

На другой день Прието и Марселино Доминго отправились в отель «Георг V» к дону Сантьяго Альба для переговоров. Меня они предупредили не занимать телефон, ибо ждали [206] важных новостей. Действительно, через некоторое время из Мадрида позвонил Алькала Самора. Узнав, что Прието нет в пансионе, он попросил меня немедленно передать ему, что в Испании провозглашена республика и Марселино Доминго, Мартинесу

Баррио и Прието необходимо срочно возвращаться в Мадрид. Я сразу же сообщил новость дону Инда, который решил ехать в тот же вечер, хотя времени в его распоряжении оставалось очень мало. В восемь часов андайским экспрессом в Испанию выехали Прието, Доминго, Мартинес Баррио с женой и свояченицей, Фернандо Ортис де Эчагуэ, европейский представитель аргентинской газеты «Ла Насион», Хосе Арагон и я.

В Биаррице Хосе разбудил меня. Мы отправились в купе Прието и Доминго. Когда мы вошли, дон Инда со свойственным ему «оптимизмом», полушутливо говорил Марселино Доминго: «Не стройте себе иллюзий. Как только мы переедем границу, нас схватят и посадят в тюрьму, ибо, если рассуждать логично, с тех пор, как мы говорили с Нисето{103}, обстановка должна измениться в пользу монархии». На Марселино слова Прието произвели неприятное впечатление, хотя он и стремился скрыть свое беспокойство.

Наконец мы переехали границу. Тысячи людей с оркестрами, с сотнями красных флагов и республиканских знамен с энтузиазмом встречали нас. Впервые я увидел республиканский флаг, о существовании которого даже не подозревал, и впервые услышал возгласы: «Да здравствуют герои «Куатро виентос»!» От такого приветствия у меня по коже побежали мурашки, и я почувствовал себя неловко. Никогда не предполагал, что мое неожиданное и вынужденное участие в восстании может быть воспринято как героический акт. Более того, непродуманные действия, которыми началась и закончилась эта авантюра, пугали меня.

На всех станциях нас приветствовали толпы народа со знаменами. Когда мы прибыли в Виторию (родину двух героев «Куатро виентос», ехавших в этом поезде), Прието, приготовившись выступить перед народом, заполнившим перрон, предложил Хосе и мне стать рядом с ним у окна. Но не успел он и рта раскрыть, как, к его огромному негодованию, поезд тронулся и он лишился возможности разразиться перед витoрианцами хвалебной речью, которую намеревался посвятить нашим геройским подвигам. [207]

В Миранда де Эбро Прието выработал с начальником вокзала план следования нашего поезда, чтобы он ни на одной станции не встретился с составом, увозившим во Францию королевскую семью. Прието не хотел, как он сказал, доставлять королеве страдания при виде энтузиазма, с каким народ принимал нас. Наконец в восемь часов вечера мы прибыли в Мадрид.

Даже не пытаюсь описать устроенный нам прием. Было что-то апофеозное. Скажу только, что каким-то образом я очутился в

автомобиле с десятью или двенадцатью людьми и большим республиканским флагом. В конце улицы Сан-Висенте наша машина столкнулась с другой машиной, тоже переполненной людьми. Впервые в истории Испании столкновение обошлось без оскорблений и даже без крепких выражений. Все держали себя с изысканной вежливостью. Меня пересадили в исправный автомобиль и на полной скорости, с криками «Да здравствует республика!» доставили и бережно сдали на сцену актового зала «Атенео», битком набитого народом. Оказавшись один на сцене перед тысячами людей, аплодировавших мне и, видимо, ожидавших от меня чего-то, я не знал, что делать, пока в голову мне не пришла спасительная и гениальная мысль - поднять кулак и провозгласить здравицу в честь республики. Публика ответила с неподдельным энтузиазмом и, возбужденная, ринулась на сцену. Каким-то образом я вновь очутился на оживленных улицах, по которым меня повели к центру города. Никогда я не видел такого подъема; лица у всех выражали искреннюю радость, незнакомые люди приветливо разговаривали друг с другом. При виде этого зрелища не оставалось никаких сомнений: народ Мадрида безоговорочно приветствует провозглашение республики.

И все же я чувствовал себя одиноким, мне было грустно. Нелегко объяснить мое состояние в ту ночь. Республика, для которой я многим рисковал, досталась без особого труда. Ее идея восторжествовала, я вернулся в Испанию почти героем. Мое общественное положение восстанавливалось, а с ним осуществлялось и мое самое заветное желание - летать, только этого мне и не хватало в эмиграции. В общем обстоятельства сложились так, что я должен был быть доволен, но в действительности все оказалось совсем по-иному. В городе, где большинство жителей словно сошло с ума, я никого не знал. Мои родные, друзья и знакомые не ходили по улицам, не выкрикивали здравиц и не распевали песен. Они заперлись в [208] своих домах, взволнованные, испуганные, страшась последствий происшедших изменений. Они пережили много горьких минут, считая падение монархии большим несчастьем. Я не мог увидеться с ними. Не мог появиться в казино, где часто бывал раньше. Теперь это считалось бы плохим тоном. Для многих завсегдатаев мое появление в день их поражения было бы расценено как поступок человека, не обладающего должным тактом и желающего похвастаться своей победой.

Я не мог и не хотел оскорбить своих друзей-монархистов. Ведь на протяжении всего времени моего пребывания в эмиграции они, забыв о политике, разделившей нас, относились ко мне просто, как к другу.

Поэтому- то я чувствовал себя подавленным и покинутым. Радость других только усиливала мою печаль. С грустным выражением лица, столь неподходящим для такого момента, я добрался до отеля на площади Бильбао и вызвал ночного сторожа. Бросив на меня взгляд, он, вместо того чтобы открыть дверь, пошел в бар, расположенный в том же помещении. Это показалось мне странным. Сейчас же оттуда вышли официант, хозяин бара и какой-то человек. Они подошли ко мне, подали руку, говоря, что очень рады видеть меня, и пригласили зайти в бар отпраздновать мой приход. Тронутый неожиданным проявлением уважения, я пошел вслед за ними. Подали стаканы, наполненные вином. Перебивая друг друга, ночной сторож, официант и хозяин рассказали мне: когда в ночь восстания я пришел переодеться в военную форму перед поездкой в «Куатро виентос», оставив ждать в такси Арагона и Кейпо, ночной сторож подумал, что мы что-то замышляем, и сказал об этом официанту. Утром, увидев над Мадридом самолеты, разбрасывавшие листовки, они поняли, в чем дело. Один из служащих отеля сообщил со всеми подробностями об обыске в моей комнате, устроенном полицией, описавшей и конфисковавшей мои чемоданы.

Эти события много раз обсуждались в баре. Сердечный прием, оказанный мне этими людьми, объяснялся их республиканскими взглядами.

В кругу новых друзей-республиканцев мне стало легче. Доброжелательность, сердечность и естественность, с которой они предлагали свою дружбу, взволновали меня. И все же в ту ночь я был одинок. Я не мог слиться с народом и брататься с ним, так как считал себя очень далеким от него. [209]

Часть вторая

Первые шаги республики

16 апреля 1931 года меня разбудили крики «Да здравствует республика!» и песни демонстрантов, проходивших перед небольшим отелем на площади Бильбао, в котором я остановился после приезда из Парижа. Я вышел на балкон и увидел огромную толпу людей с республиканскими флагами и среди них много военных, шагавших рука об руку с остальными демонстрантами. Хотя подобные демонстрации в те дни стали обычными, эта взволновала меня. Впервые я видел народ и армию в братском единении.

Провозглашение республики явилось для меня

неожиданностью, и все еще казалось, что демонстранты совершают что-то противозаконное.

Трудно было сразу осознать перемену государственного строя в стране, как и привыкнуть к мысли, что с этого дня для меня начинается новая жизнь, совершенно отличная от прежней.

Я не знал, что должен делать. Естественно, прежде всего надо было явиться в авиационное управление военного министерства, но я испытывал нелепую застенчивость, полагая, что товарищи при встрече будут смотреть на меня, как на победителя. [210]

Убедив себя, что сегодня уже поздно, я отложил свой официальный визит в министерство и решил пойти пообедать к сестре Росарио. Идя к ней, я испытывал некоторую неловкость. В ее доме предстояло впервые после возвращения в Испанию встретиться с монархистами, и я не знал, какова их реакция на установление республики.

Погода стояла великолепная, от чего улицы столицы казались особенно веселыми и оживленными. Люди, одетые по-праздничному, выглядели радостными и счастливыми. Никогда еще я не видел таких огромных толп народа, охваченных единым порывом. Это трудящиеся Мадрида праздновали свою победу.

Непрерывным потоком шли люди с развевающимися знаменами в руках. Они пели и кричали: «Да здравствует республика!» Их лица выражали одновременно гордость, удовлетворение и твердую решимость пресечь любые попытки посягнуть на республику.

Сестра, увидев меня, разволновалась.

За обедом все чувствовали какую-то натянутость. Старались не говорить о политике и поэтому не могли держаться непринужденно.

Росарио очень переживала падение монархии и не скрывала этого. Зять, хоть и состоял адъютантом короля, как мне показалось, на происшедшие изменения реагировал более спокойно. Он не намеревался оставлять военную службу, как это сделал наш кузен генерал Мигель Понте, один из немногих военных, покинувших армию еще до опубликования закона об отставке, изданного военным министром Асанья. Поэтому его мучил вопрос: разрешит ему республиканское правительство продолжать службу или нет. Горничная и кухарка смотрели на меня с симпатией, как на единомышленника, словно говоря: «Мы - тоже республиканцы».

Помню, в доме братьев мне бросилось в глаза большое количество портретов членов королевской семьи. До сих пор я никогда не обращал на это внимания. Между прочим, собираясь уходить, я заметил среди этой галереи портрет короля с его

личной подписью, полученный мною в подарок в связи с присвоением чина майора. Мне показалось неудобным оставлять портрет, я взял его под мышку и унес.

В тот же день я посетил аэроклуб, где увиделся с товарищами по авиации. Они встретили меня доброжелательно, а [211] друзья - радостно и тепло. Неловкости никто не испытывал. Уже через несколько минут между нами установились прежние дружеские отношения.

С некоторым удивлением я заметил, что мои товарищи довольно спокойно встретили смену режима, а многие отнеслись к новой власти даже с явной симпатией. Ни один из них не был расстроен или хотя бы огорчен из-за падения монархии. События обсуждались без резких выражений по адресу свергнутых, но и без какого-либо сожаления по поводу случившегося.

Если память мне не изменяет, только четыре или пять летчиков покинули аэроклуб в знак протеста против слишком доброжелательного отношения его членов к республике. Это были наиболее ярые монархисты: Гальярса, Ансальдо (остальных не помню). К ним присоединились несколько аристократов и подставных лиц - карьеристов, стремившихся примкнуть к привилегированному классу и воспользовавшихся случаем, чтобы показать, что они непримиримые враги республики и еще большие монархисты, чем даже сам король, надеясь таким способом проникнуть в недоступную им социальную среду. После провозглашения республики все эти люди стали встречаться в казино «Гран Пенья» - традиционном месте сборищ самых консервативных и реакционных элементов Мадрида.

После восстания в «Куатро виентос» правление клуба, объявив Рамона Франко предателем, исключило его из своих членов. Я же, видимо, казался им настолько незначительной фигурой, что вопрос обо мне даже не ставился. Однако, узнав о решении относительно Рамона, я сам подал заявление о выходе из клуба.

Республиканское правительство назначило Рамона Франко командующим авиацией. Направляясь в военное министерство, я не мог представить его в этой должности. В течение всего лишь одного года Рамон Франко был заключен в тюрьму, эмигрировал, возвратился и стал командующим авиацией. Выглядел он, как и всегда: неряшливо причесанным, в военной форме, вид которой оставлял желать много лучшего. Новое назначение совершенно не повлияло на его характер.

Стараясь скрыть свое волнение, он обнял меня и спросил, куда бы я хотел получить назначение. Я попросил, если можно, направить меня на прежний пост, то есть заместителем

начальника авиационной школы в Алькала-де-Энарес. [212]

На следующий день я уже был на скромном, но милом мне аэродроме в Алькала, чувствуя себя необычайно счастливым от того, что снова могу летать. Я жаждал сесть в кабину самолета, и, хотя со дня последнего полета прошло много месяцев, не испытывал ни малейшего затруднения, управляя им. Летать, как и ездить на велосипеде, научившись раз, никогда не разучишься.

Начальник школы в Алькала майор Пепе Легорбуру редко появлялся там. Будучи тесно связан с политическими кругами, он много времени проводил у премьера Алькала Самора.

Снова Пепе уступил мне комнату в своем доме в Алькала, как и прежде, я питался в таверне сеньора Маноло, горячо приветствовавшего республику.

* * *

Воспользовавшись несколькими днями отпуска, Хосе Арагон и я решили съездить в Виторию: он - повидать родителей, я - братьев. Мы отправились на машине, купленной мною незадолго до этого.

Мне хотелось узнать, как реагировал Пако на провозглашение республики. Он был майором и служил в расквартированном в Витории полку. Я знал его как умеренного монархиста, в политику он никогда не вмешивался, заботясь только о своей карьере. Я нашел его спокойным: смену режима он воспринял без особой радости, но и без злобы, надеясь, что провозглашение республики не повлечет за собой каких-либо изменений в его личной судьбе.

Затем я отправился в Сидамон. Мне хотелось провести несколько дней в спокойной обстановке со своим братом Маноло, хотя я заранее знал, что без жарких споров не обойтись.

Брат очень обрадовался моему визиту и с интересом слушал рассказ о моих приключениях. Будучи приверженцем монархии, он все же считал, что поскольку мы взяли на себя обязательство, то поступили правильно, выступив в «Куатро виентос».

Споры на политические темы происходили между нами постоянно. Естественно, я защищал республику, как более справедливый и гуманный строй, нежели монархия. Брат опасался посягательств республиканского правительства на церковь, семью, собственность, хотя и признавал необходимость проведения кое-каких аграрных реформ в некоторых районах Испании. Мне не удалось его успокоить, но я обратил [213] внимание Маноло на мирный путь установления республики - без

единого выстрела, без волнений и беспорядков. Я сказал, что Прието и Марселино Доминго, занимающие в республиканском правительстве посты министров общественных работ и образования, - хорошие люди, и те, кто знают их, не могут допустить и мысли, чтобы они совершили несправедливость или стали преследовать кого-то без достаточных на то оснований.

Известие о том, что я нахожусь в Сидамоне, немедленно распространилось по всей округе. Брата стали посещать друзья, которые с интересом слушали мои рассказы. Большинство этих людей были карлистами, придерживавшимися откровенно правых взглядов, и священники из соседних деревень. Карлистов не устраивала республика, но они пользовались случаем покритиковать Альфонса XIII, которому не могли простить «постыдного бегства», считая короля виновным в смене режима.

Однажды вечером в сопровождении двух священнослужителей и двух монахов из Санто-Доминго-де-ла-Кальсада нас пришел навестить дон Руфино, старый священник из деревни Баньярес. Желая побеседовать со мной наедине, они сидели у нас, пока не ушел последний посетитель. Как только мы остались одни, дон Руфино с тревогой спросил: «Как ты думаешь, Игнасио, не лишит правительство республики священников жалованья?»

Я как мог постарался успокоить их, но мои слова показались им, видимо, не очень убедительными, ибо они ушли по-прежнему встревоженные.

Я привожу этот разговор потому, что, мне кажется, он отражал отношение всего сельского духовенства к республике. Священники боялись потерять свое и без того нищенское жалованье, на которое еле сводили концы с концами, живя в крайней бедности, столь обычной для деревенских церковных служителей в Испании. Я не думаю, чтобы их особенно волновала политическая сторона событий. Республика восторжествовала, и они приняли ее. Но потеря шести реалов в день означала для них катастрофу. Отменив жалованье священникам, республиканское правительство нажило в их лице опасного врага. Я и по сей день убежден: если бы у них не отняли этого мизерного источника существования, а несколько увеличили его, хотя бы в самой незначительной степени, большая часть рядовых служителей церкви осталась бы верна республике и даже защищала ее. [214]

Из республиканцев нас посетил только старый друг семьи - Гальегос, землевладелец и алькальд Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, городка, расположенного в шести километрах от Сидамона. Он пришел вместе с капитаном Торресом, начальником жандармерии Санто-Доминго, товарищем моего

брата.

Гальегос, умеренный республиканец, буквально выходил из себя, когда речь заходила о церкви. Он был ярым антиклерикалом и врагом попов. Капитан Торрес, то ли действительно в силу своих убеждений, то ли потому, что на него повлияло мое присутствие, тоже весьма определенно высказывал свою преданность республиканскому правительству.

Алькальд выразил удовлетворение тем, что я являюсь его политическим союзником. Но удивлялся, что выходец из такой семьи, как наша, стал республиканцем - ведь мои родственники всегда считались союзниками церкви, карлистами или альфонистами, одним словом, крайне правыми.

Алькальд пригласил меня к себе на обед в Санто-Доминго. Машинально я согласился, но обратил внимание, что он не пригласил брата.

В субботу на своей машине я направился в Санто-Доминго. На окраине городка меня встретили алькальд, секретарь муниципалитета и еще два человека. Все вместе мы отправились на центральную площадь, где, к своему изумлению, я увидел множество людей и длинные столы, накрытые для обеда. Как только мы появились, все встали и бурно зааплодировали. Без ложной скромности должен заметить, что поначалу не принял аплодисменты на свой счет, решив, что это торжество связано с каким-то событием, не имеющим ко мне отношения. Я ничего не понимал до тех пор, пока мне не сказали, что обед устроен в мою честь республиканцами Санто-Доминго.

Не помню, сколько людей собралось тогда на площади, во всяком случае, очень много. Там были в основном земледельцы, ремесленники, несколько учителей и врачей из ближайших сел. Как и следовало ожидать, «сеньоры» - местная знать - блистали своим отсутствием. Ни одного из друзей нашей семьи я не видел.

Во время обеда алькальд объявил, что в заключение выступит герой «Куатро виентос». Таким образом, семейный обед в доме Гальегоса, на который я ехал, превратился в политический банкет.

По мере приближения момента моего выступления росло и мое волнение по поводу того, о чем говорить. Наверное, мои соседи по столу решили, что я или витаю в облаках, или [215] самый скучный человек на свете. На все вопросы и просьбы рассказать что-нибудь я отвечал глупой улыбкой, ибо все мои мысли занимала предстоящая речь. Зная свою неспособность к выступлениям и импровизациям, я старался что-либо придумать, но все, что ни приходило на ум, казалось неудачным.

Первая половина речи Гальегоса была посвящена нападкам

на духовенство, вторая - рассказу о моих, целиком сочиненных им, революционных подвигах, от которых мороз подирал по коже. Нервный озноб, охвативший меня при мысли о необходимости первый раз в жизни выступать публично, и смущение от незаслуженного прославления вызвали единственное желание - бежать и не останавливаться до самого Сидамона.

Затем говорил батрак. Он резко обрушился на богатых бездельников, живущих в Мадриде, назвал доходы от их поместий, в которые они не вложили ни капельки труда, и решительно потребовал конфисковать эти земли и передать тем, кто их обрабатывает. Несомненно, моим родственникам, владевшим имениями в Ла-Риоха, такой поворот событий не пришелся бы по вкусу.

Наконец перед тем, как настала моя очередь, слово взял секретарь губернатора. Он весьма бойко сказал несколько фраз, показавшихся мне замечательными, так как сумел в них очень точно сформулировать некоторые мысли, которые я с таким трудом пытался выразить в своей еще не произнесенной речи.

Когда Гальегос предоставил мне слово, все встали и горячо зааплодировали. Раздались возгласы: «Да здравствует республика, да здравствуют военные, преданные народу!» Произошло то, чего и следовало ожидать: в результате неожиданного для меня поворота событий и сильного волнения из моей головы исчезли и те немногие мысли, которые я с таким трудом придумал. Я помнил только, что должен поблагодарить Гальегоса и всех присутствовавших за теплый прием. Высказав свою признательность, я не знал, о чем говорить дальше. Наконец, понимая, что тянуть больше нельзя, с трудом подбирая слова, сказал о своем глубоком волнении в связи с оказанной мне честью и обещал, как испанец и военный, всегда быть готовым отдать все силы на защиту республики.

Газеты Лограньо довольно много писали об этом обеде. Левая пресса расхваливала меня, повторяя небылицы Гальегоса обо мне как о революционере. Правые же злонамеренно [216] приписывали мне резкие нападки на церковь, собственность и семью. Последний факт меня особенно удивил, ведь не только я, но и другие ничего не говорили о семье.

Естественно, моему брату Маноло не понравилось, что на обеде, организованном в мою честь почти у ворот его имения, требовали конфискации помещичьей земли и нападали на церковь.

Накануне моего отъезда у нас произошел небольшой спор. Его всегда бесила занимаемая мною левая позиция. Во время бурного разговора Маноло разбирал вещи в шкафу и наткнулся

на карлистский берет от старой военной формы нашего отца. В шутку я попросил его надеть берет, сказав при этом, что в наше время его убеждения выглядят столько же устаревшими и нелепыми, как этот головной убор и иллюзии карлистов.

Ни один из нас не мог тогда представить себе, что спустя пять лет мой брат в этом берете вместе с тысячами рекете{104} в таких же беретах, примкнув к мятежникам, с криками «Бог, родина, король!» будут стрелять в нас и станут той силой, которая больше всего причинит зла республике.

* * *

По пути в Мадрид я заехал в Виторию забрать Хосе Арагона. В мое отсутствие там произошли некоторые политические изменения. Отца Хосе, дона Габриеля Мартикеса де Арагона, назначили губернатором Алавы. Это решение население Витории приняло с удовлетворением, зная доброту и честность дона Габриеля.

Мэром стал Томас Альфаро Фурниер, летчик-планерист, о котором я говорил в начале своих мемуаров. Он дружил со мной и с моим братом Эраклио. Арагон и Альфаро принадлежали к крупной буржуазии Витории. Семья Томаса являлась одной из самых богатых в городе, к тому же он был женат на мадридской аристократке, приятной даме и будущей графине (уже не помню, какого графства). Его назначение население встретило довольно холодно.

Наконец, брата Пако, которого я оставил успокоенным и почти примирившимся с республикой, я нашел возмущенным новым военным министром, назначившим в Виторию в комиссию по чистке в армии трех офицеров, верных республике, из [217] коих два не пользовались никаким авторитетом. Мой брат не мог допустить, чтобы такие люди судили о его поведении. Мне неизвестно, кто подсказал фамилии этих лиц, но столь неудачный выбор вызвал большое недовольство в местном гарнизоне.

Прежде чем вернуться в Алькала и приступить к своим обязанностям, я зашел в министерство и рассказал Рамону Франко о своих поездках в Виторию и Ла-Риоха. Он проявил значительный интерес к политическим вопросам. Некоторые лица из его окружения мне не понравились. Создавалось впечатление, что они хотели воспользоваться именем и положением Рамона в собственных политических целях. Когда я собирался уходить, он удивил меня неожиданным вопросом: не хочу ли я выставить свою кандидатуру на выборах в кортесы? Приняв его слова за

шутку, я попросил не впутывать меня в подобные дела.

В Алькала меня ожидал сюрприз: я застал там своего вечно отсутствовавшего начальника Легорбуру. Полный оптимизма, он с головой ушел в государственные дела и сказал мне, что я должен взять на себя руководство школой, так как Алькала Самора, в распоряжении которого он находится, не оставляет ему ни одной свободной минуты. Мне показалось, что, состоя при премьер-министре, мой начальник чувствовал себя в своей стихии.

Будучи по натуре человеком впечатлительным, я всегда высоко ценил доброе отношение к себе и был счастлив, когда убеждался в этом на деле. Меня необычайно трогала теплота, которой окружили меня семья и друзья сеньора Маноло. Они всегда хорошо относились ко мне, но теперь, после моего возвращения из Франции, их дружеские чувства стали еще сердечнее и крепче. С того дня, как я выступил на стороне республики, в наших взаимных симпатиях появилось нечто новое.

То же самое могу сказать о своих отношениях с солдатами и сержантским составом аэродрома. И до провозглашения республики мы хорошо ладили друг с другом, но теперь я заметил большие изменения в их поведении и отношении ко мне. Я чувствовал, они доверяют мне и нас связывает нечто общее. Все это, о чем я путано пытаюсь рассказать здесь, проявилось, когда в стране началась ожесточенная политическая борьба, предшествовавшая мятежу против республики. Тогда я не раз замечал их тактичную, внимательную заботу о моей безопасности. [218]

По приглашению кузена Пепе в Испанию на несколько дней приехала Елена, наша милая кассирша из парижского пансиона. По такому поводу его бывшие постояльцы устроили у меня дома в Алькала обед.

Сенья Алехандра, хозяйка таверны, находившейся на первом этаже моего дома, накормила нас замечательным обедом. А ее муж, сеньор Маноло, съездил к себе на родину, в Арганда, и привез для нас самые лучшие вина.

Не знаю, то ли из-за симпатий к Елене, то ли потому, что обед удался на славу, но Прието пребывал в прекрасном настроении и с большим юмором рассказал несколько забавных анекдотов из собственной жизни.

Кейпо де Льяно в генеральской форме, с огромными усами имел внушительный вид и, все еще не теряя надежды добиться благосклонности Елены, тоже захотел блеснуть. Его истории были довольно глупыми, и, как всегда, героем их оказывался он сам. Чтобы пресечь хвастовство Кейпо, Рамон Франко и мой кузен

Пепе, не считаясь с его генеральским званием, мастерски рассказали несколько случаев, представлявших Кейпо в весьма невыгодном для него свете. Все они относились ко времени службы генерала в Марокко.

Кейпо преследовала навязчивая идея - заставить подчиненных командиров носить усы и постоянно ходить в перчатках. Это вызвало недовольство офицеров. Пепе рассказал, как однажды он и еще четыре офицера приехали в Марокко и явились к Кейпо. Среди них находился молоденький врач-лейтенант без усов, только что окончивший университет и ничего не знавший об армейских порядках. Все пятеро вошли в кабинет Кейпо. Самый старший по званию согласно установленному порядку доложил: «Представляются пять офицеров, прибывших в ваше распоряжение» и т. д. и т. п. Кейпо, сделав вид, словно пересчитывает их, внимательно оглядел каждого и совершенно серьезно заявил: «Вы говорите, пять офицеров, но я, как ни стараюсь, вижу только четырех».

Офицеры удивленно переглянулись между собой. После некоторой паузы Кейпо обратился к старшему: «Я повторяю, что вижу только четырех офицеров, а это - это какое-то недоразумение, а не офицер! - и он указал на врача. - На худой конец, возможно, это семинарист или актеришка, у которого нет ничего общего с нами». Бедный врач пытался что-то объяснить, но Кейпо выгнал его из кабинета, не дав договорить. Молодой доктор был в ужасе от своей первой встречи с генералом. [219]

В свою очередь, Рамон Франко вспомнил случай, когда Кейпо посадил на гауптвахту офицера лишь за то, что тот закуривал сигарету, сняв перчатки. Возмущенные офицеры решили подшутить над генералом. Однажды утром в воскресенье на переполненном народом пляже появился Кейпо де Льяно. Тут же к берегу подошли несколько человек в купальных костюмах, дружно размахивая руками в натянутых на них перчатках. Больше всего нас потешило то, с каким тупым выражением слушал Кейпо рассказ Рамона Франко.

* * *

Мой кузен Пепе и Солеа жили в Мадриде. Когда приехала Елена, он не смог придумать ничего лучшего, как сказать Солеа, что отправляется с эскадрильей в Марокко. Но видимо, так уж было суждено, чтобы статьи и фотографии Санчеса Оканья в журнале «Эстампа», главным редактором которого он являлся, продолжали осложнять отношения между Пепе и Солеа.

Об обеде в Алькала в честь Елены Санчес Оканья тоже написал статью в «Эстампа», сопроводив ее фотоснимками. На одном из них Пепе и Елена были сняты под руку, как влюбленная парочка. Сама Солеа не видела этого номера журнала, однако нашлась добрая подруга, показавшая ей его. Удар оказался слишком сильным. Впервые Солеа реагировала хладнокровно или сделала вид, что ее это не волнует. Она не ломала вещи в квартире и не искала Елену, чтобы устроить скандал. Солеа позвонила мне по телефону и попросила встретиться с ней. Опасаясь, как бы она снова не натворила чего-нибудь, я немедленно отправился к ней на квартиру. Она уже все приготовила, чтобы в тот же вечер уехать в Севилью, и вручила мне для передачи кузену ключи от их недавнего жилища. В квартире царил полный порядок. Совершенно спокойно она сказала, что после долгих размышлений пришла к выводу о неисправимости Пепе и теперь намерена возвратиться в свою семью. Спокойствие Солеа произвело на меня огромное впечатление. Я понял: на этот раз ее решение покинуть Пепе окончательно.

Два года спустя Солеа вышла замуж за торговца скотом, своего первого жениха, о котором всегда тепло отзывалась.

Любопытное совпадение: через несколько недель после их бракосочетания в Мадриде состоялась другая свадьба - мой кузен Пепе женился на нашей родственнице, в которую всегда был немного влюблен. Ее крайне реакционно [220] настроенные родители всячески старались воспрепятствовать этому. Им не нравились республиканские убеждения Пепе, которого они считали изменником. Мне кажется, это противодействие только подогревало стремление молодых людей пожениться.

В последний раз я видел Солеа в 1935 году, встретив ее на улице Алькала. Она немного пополнела, но сохранила свою грациозность и привлекательность. По ее словам, муж очень внимателен к ней, живут они в достатке и в общем она вполне довольна жизнью. Ее последней фразой, сказанной с приятным севильским акцентом, было: «Инасио, душа моя, сейчас я живу честной жизнью и очень горжусь этим…»

Я всегда считал Солеа одним из самых честных людей, встретившихся мне когда-либо…

* * *

Провинциальный совет Бильбао пригласил группу летчиков, участвовавших в восстании на «Куатро виентос», и генерала

Кейпо де Льяно на празднование годовщины разгрома карлистов при осаде города.

Эти торжества, как мне казалось, носили прогрессивный характер, и я с удовольствием поехал туда. Кроме того, я намеревался встретиться с Хосе Арагоном, назначенным правительством или, вернее, Прието гражданским губернатором Бискайи, чтобы иметь там человека, на которого можно было бы положиться. Меня не покидало беспокойство за Хосе. Его новые обязанности оказались очень сложными, ибо в этой провинции постоянно возникали конфликты между рабочими и хозяевами предприятий. Рабочий класс Бильбао отличался боевым духом и нередко добивался своих требований путем забастовок. Как правило, против бастующих бросали крупные силы жандармерии и даже войска. Еще в Витории, в дни моей юности, я слышал о храбрости и стойкости рабочих Бильбао в борьбе за свои права.

После демонстрации нас пригласили на банкет. Выступали самые влиятельные лица города. Когда последний из них кончил говорить, поднялся Кейпо де Льяно, намереваясь тоже произнести речь, которую, очевидно, подготовил заранее. Его встретили аплодисментами, но, прежде чем он открыл рот, Прието решительно заявил, обращаясь к присутствующим: «Я присоединяюсь к аплодисментам, которыми вы приветствовали генерала Кейпо де Льяно, и вношу предложение закончить выступления». [221]

Заявление Прието пришлось не по вкусу Кейпо. Однако он сделал каменное лицо и сохранял это выражение до самого отъезда из Бильбао.

На следующий день Хосе Арагон пригласил меня на обед. Мне хотелось поговорить с ним наедине, поэтому я заехал за ним в муниципалитет пораньше. Хосе уже понял, какие трудности ожидают его. Он принял это назначение отчасти потому, что предложение застало его врасплох, но главным образом под нажимом Прието, который придавал этой должности большое значение.

На обеде у Арагона присутствовали также наш земляк и будущий депутат Рамон Вигури, Прието и известный писатель Мигель де Унамуно, декан университета в Саламанке. Арагон и Унамуно поддерживали дружеские отношения с тех пор, как оба подверглись гонениям со стороны диктатора Примо де Ривера. Я не знал Унамуно, но много о нем слышал и хотел познакомиться. Помню, во время обеда зашел разговор о недовольной мине Кейпо, состроенной им на банкете. Дон Мигель заметил, что заранее подготовленные, но не произнесенные речи всегда приводят в возбуждение, - оно-то, видимо, и явилось причиной

плохого настроения генерала. Говоря о языке басков, он сказал, что этот язык беден и должен исчезнуть, ведь даже сами баски не понимают друг друга.

Дон Мигель де Унамуно не произвел на меня большого впечатления, скорее разочаровал. Возможно, наслушавшись восторженных рассказов Хосе, я ждал от этого знакомства слишком многого.

Бильбао мне понравился. Грандиозная демонстрация показалась искренней, ибо, как бы ни была она хорошо подготовлена, тысячам и тысячам людей нельзя внушить подобного энтузиазма, особенно если они баски.

При оценке моих впечатлений об атмосфере, царившей в Бильбао, следует иметь в виду, что я вращался только в кругу лиц определенных политических взглядов - социалистов и республиканцев, друзей Прието. Рабочих среди них не было.

Я не обменивался мнениями по этому вопросу ни со своими родственниками, ни со своими друзьями. Не мог я ознакомиться и с взглядами и настроениями крупной буржуазии.

Через несколько месяцев Хосе Арагон оставил свой пост губернатора Бискайи. Случилось то, чего он опасался. Вспыхнула мощная забастовка. Правительство Мадрида приказало [222] немедленно подавить ее. Хосе считал требования трудящихся справедливыми и подал в отставку. Ее приняли, и он снова вернулся в авиацию.

* * *

Поскольку до 1 сентября авиашкола в Алькала наработала, я пользовался любой возможностью, чтобы полетать по стране. В частности, побывал на открытии аэродрома в Касересе, возглавив группу из двух эскадрилий самолетов «Бреге-19».

В Касересе жило немало наших родственников и среди них семья одного из братьев моей матери, Мануэля Лопес-Монтенегро (подарившего мне когда-то кусок эстрамадурского филе, съеденный кладовщиком колледжа в Витории). К тому времени дядя Мануэль уже умер. Его жена Мария, тоже урожденная Лопес-Монтенегро, ярая реакционерка и католичка, осталась с двумя дочерьми немного моложе меня. Я всегда питал к ним симпатию, они казались мне искренними и добрыми.

Небольшой городок Касерес очень живописен. Там сохранилось много домов родовитых семей с фамильными гербами и башнями. В одном из таких особняков и проводила большую часть года тетя Мария со своими дочерьми.

В честь нашего прибытия муниципалитет устроил обед. Социалист-алькальд оказывал нам постоянное внимание. Говорю о любезности мэра, чтобы подчеркнуть глупое поведение местных буржуа, демонстративно игнорировавших нас. Они не упускали случая выразить свое презрение к республиканскому правительству.

Прибыв в Касерес, я колебался, стоит ли навестить родственников. Однако после торжественного обеда и весьма революционной речи мэра решил не делать этого. Я представлял, как им было неприятно узнать (в Касересе любое происшествие немедленно становилось известно всем), что их двоюродный брат, один из Лопес-Монтенегро, помогал установлению республики в Испании и сидел рядом с мэром-социалистом, требовавшим проведения аграрной реформы, то есть конфискации владений и моих родственников. Думаю, я поступил правильно, не зайдя к ним. Но, остановившись в гостинице, поплатился за это.

Муниципалитет поселил нас в одном из лучших отелей города. День выдался тяжелый, мы порядком устали и, как только закончился ужин, отправились спать. Поднявшись в свою комнату, я лег и немедленно заснул, но не прошло и пяти [223] минут, проснулся от невыносимого зуда. Пришлось зажечь свет - простыни были усеяны клопами. Вести борьбу с ними было бесполезно. Раздосадованный, я спустился в патио гостиницы, где, как мне помнилось, стояли плетеные кресла.

Через несколько минут появился еще один летчик, тоже жертва проклятых насекомых. Затем, ругаясь, один за другим спустились вниз и остальные. До сих пор не могу понять: неужели постояльцы, жившие здесь до нас, не возмущались и не протестовали против такого безобразия?

На следующий день во время прощального визита городским властям состоялась беседа, которая сильно обеспокоила меня.

Впервые я получил возможность убедиться, как организованно реакция наступала на республику. Правые элементы, руководимые епископом, отказались участвовать в торжествах по случаю открытия аэродрома. Под угрозой увольнения они запретили присутствовать на них своей прислуге и служащим. Они не допускали мысли, что открытие может состояться без епископского благословения и без мессы, положенной по регламенту, - иначе говоря, без принятого при монархии церемониала. Не зная всего этого, мы действительно были удивлены малым количеством публики на празднике по поводу открытия аэродрома. Особенно бросалось в глаза отсутствие лиц, которых в провинции называют «господами», хотя

раньше они никогда не пренебрегали подобными торжествами.

Мне рассказали, что правые резко сократили закупки товаров в магазинах. Но самыми провокационными были их действия в собственных имениях. Так, они отказались от некоторых полевых работ или даже совсем не обрабатывали часть земли, чтобы лишить батраков куска хлеба и тем самым вызвать у них недовольство республиканским строем.

* * *

Вернувшись в Мадрид, я поделился с Прието своими впечатлениями. Желая придать им большую убедительность, я обратил его внимание на разницу в отношении к нам при открытии аэродромов во времена монархии и сейчас, при республике.

Последний раз до переворота я присутствовал на открытии аэродрома в Памплоне, совпавшем с праздником святого Фермина. Тогда «приличные семьи» города, как говорится, лезли из кожи вон, выражая свои симпатии летчикам. Поведение же «господ» из Касереса, напротив, было крайне враждебным. [224]

Теперь, хотя это может показаться неуместным, я хочу прервать рассказ о разговоре с Прието, чтобы несколько подробнее остановиться на одном из самых любопытных испанских обычаев, известном под названием «энсиерро», который я видел в Памплоне.

Одни утверждали, что «энсиерро» очень популярен, он единственный в своем роде и было бы преступлением упразднить его. Другие, напротив, считали этот обычай варварским, недостойным цивилизованной страны и требовали запретить зрелище, каждый год заканчивавшееся смертью кого-либо из его участников.

Прибыв в Памплону, наша эскадрилья истребителей, прежде чем произвести посадку, сделала несколько кругов над городом и продемонстрировала перед заполнившей улицы публикой свое искусство высшего пилотажа. Зрители с восторгом следили за акробатикой в воздухе. На аэродроме нас ожидали городские власти и огромная толпа зевак. Там были священники, монахини, почти вся памплонская буржуазия. Среди встречавших случайно оказался граф Родезно, женатый на сестре тетки Марии, той, что жила в Касересе. Томас Родезно, глава наваррских карлистов, то есть крайний реакционер, был весьма любезен со мной. Добрый родственник не мог предугадать тогда моих будущих похождений.

После ужина я пошел погулять с Маноло Касконом, летчиком нашей эскадрильи, и несколькими молодыми людьми из Памплоны. Повсюду царило оживление. В переполненных кафе сидели по-праздничному разодетые буржуа со своими женами. Молодежь из народа собиралась в пивных или бродила группами по улицам. Эти «бронзовые парни» были неутомимы. Всю ночь накануне «энсиерро» они танцевали, пели, довольно много пили, в основном красное вино, придававшее бодрость и поддерживавшее их в напряженном состоянии. Обычно они носили черные блузы, платки на шее, берет и альпаргаты.

Интересно, что парни и девушки на людях не общались друг с другом. На улицах танцевали и развлекались только мужчины, и вообще мужчины и женщины всюду держались обособленно.

Однако такое разделение не означало, что юношам и девушкам не разрешалось быть вместе. Наоборот, в Памплоне для этого имелось больше свободы, чем где бы то ни было в Испании. Здесь, как и в больших баскских городах, несмотря на сильное влияние церкви, считалось в порядке вещей, если [225] влюбленные парочки отправлялись гулять за город и не возвращались до вечера - вещь совершенно немыслимая в остальных провинциях.

Мы пошли в казино, куда нас пригласили на большой бал. Там тоже веселились, но публика значительно отличалась от той, что мы видели на улицах. В казино собрались памплонские и заезжие богатые бездельники. Нас встретили радушно и беспрестанно приглашали выпить. Трудно сказать, в каком состоянии оказались бы мы к концу вечера, если бы откликались на все просьбы. Несколько молодых людей предложили нам принять на следующее утро участие в «энсиерро». Манолильо Каскон тотчас же согласился, а за ним и я, полагая, что приглашение, как и наше согласие, - ничего не значащий разговор довольно много выпивших людей. Итак, я отправился спать, не думая о том, что будет завтра.

Я не учел характера Каскона, не способного отступиться от данного обещания. В половине пятого утра он вошел ко мне в комнату и сказал, что пора одеваться. Все мои попытки отговорить его от этой сумасшедшей затеи были тщетны. В самом отвратительном настроении я стал собираться.

Предназначенных для «энсиерро» быков с вечера держат недалеко от города в загоне. Поэтому их путь к месту схватки лежит через весь город. Переулки, выходящие на улицы, по которым движется стадо, наглухо перекрывают деревянными щитами, чтобы животные не могли уклониться в сторону.

В шесть часов утра пускают первую ракету, возвещающую о

предстоящем состязании. Через несколько минут в небо взлетает вторая ракета - сигнал поставить деревянные щиты. И наконец, после третьей ракеты из загона выпускают быков-вожаков, ведущих за собой все стадо. Подгоняемые пастухами, животные стремительно несутся вперед. Участники «энсиерро» должны бежать перед быками. Наиболее искусными и смелыми считаются те, кто на всем пути держится как можно ближе к ним. Самые отважные удостаиваются высшей похвалы от жителей города, и особенно от представительниц женского пола.

Маноло Каскон, я и сопровождавший нас памплонец направились к загонам. Несмотря на ранний час, в окнах, на балконах и крышах домов было множество народу. Увидев среди людей, двигавшихся в ту же сторону, что и мы, немало пожилых и даже несколько человек довольно полных, которые вряд ли способны быстро бегать, я почти перестал [226] волноваться. Ведь прежде, чем быки настигнут меня, они должны будут догнать многих других…

Когда пустили первую ракету, толпа на улице заметно поредела. Осталась сравнительно небольшая группа. Ни полных, ни пожилых людей не было. Такое «предательство» мне не понравилось, но я продолжал полагаться на быстроту своих ног. После второй ракеты поставили деревянные щиты в переулках, и мы оказались запертыми. Наконец, взвилась третья ракета, открыли ворота, и все бросились бежать.

Я тоже побежал, но через несколько шагов почувствовал что-то неладное. В этот день мне пришла в голову неудачная идея надеть ботинки на резиновой подошве, а так как на улице было мокро, они скользили и почти не позволяли двигаться вперед. Я быстро перебирал ногами, но толку было мало. Это начинало походить на кошмарный сон, когда видишь, что тебя преследуют, а ты не можешь сдвинуться с места. Тем временем многие перегнали меня. Заливистый и устрашающий звон колокольчика на шее вожака слышался все ближе и ближе. Надо было немедленно что-то предпринять, иначе это «развлечение» могло кончиться для меня весьма печально. Я решил вскарабкаться на оконную решетку какого-нибудь дома. Добравшись до тротуара, я неожиданно почувствовал, что туфли уже не скользят. По-видимому, тротуар высох. Обнаружив, что прочно стою на ногах, я помчался во всю прыть и опередил всех, кто обогнал меня. Звон колокольчика постепенно отдалялся, но я все еще находился под тяжелым впечатлением только что пережитого и хотел, воспользовавшись благоприятным моментом, увеличить расстояние между собой и быками на тот случай, если мои туфли опять начнут скользить. Конечно, я вбежал на арену в числе

первых. В этот день мне не удалось заслужить одобрения женщин Памплоны.

Люди сплошной стеной окружили барьер арены. Вынужденный остаться в этом кругу, я наблюдал почти рядом с собой нечто поистине трагическое и действительно варварское.

Бегущие перед быками выстраиваются по обеим сторонам ворот. В тот день один из быков отделился от стада, вошедшего в загон, и остался на арене. Прежде чем вернулись пастухи с быком-вожаком, чтобы забрать его, какой-то парень лет двадцати спрыгнул на арену и, держа в каждой руке по длинной венской булке, направился к нему. На некотором расстоянии от быка он остановился и принял изящную позу, словно приготовился вонзить в его загривок пару бандерилий. [227]

Разъяренное животное стремительно бросилось на смельчака. С отчаянной храбростью или, вернее сказать, с безрассудством тот ждал его приближения, чтобы двумя булочками воспроизвести жест, как при ударе бандерильей. Он не успел или не смог уклониться, и бык поднял его на рога, перевернув несколько раз. Когда все уже решили, что парень мертв, он вскочил на ноги и побежал. Но, увы, бык быстро оглянулся и бросился за ним, догнав у самого барьера. В нескольких метрах от меня он пронзил его рогами, пригвоздив к доскам. В этот момент подоспели пастухи с быком-вожаком и увели убийцу в загон. Несколько человек поспешно унесли безжизненное тело с арены.

* * *

Прието я видел довольно часто. Наша дружба, начавшаяся в Париже, не только не ослабла, но стала еще крепче. По-прежнему я восхищался им и был к нему искренне привязан. В свободные дни я обычно заходил за ним в министерство общественных работ. Он любил ходить пешком, но охрана, постоянно следовавшая за ним по пятам, снижала удовольствие от этих прогулок. Часто он приглашал меня ужинать к себе домой. Я подружился с его детьми: сыном Луисом, 30 лет, и двумя дочерьми - Бланкой, девушкой очень слабого здоровья, и очаровательной, умной и доброй Кончитой. Она окончила фармацевтический факультет, но по специальности не работала, обожала своего отца и с большим умением вела домашние дела. Кстати, она стала причиной моей первой размолвки с доном Инда. С самыми хорошими намерениями я спросил Прието, почему он сделал Луиса, а не Кончу своим личным секретарем. По моему мнению, Конча обладала большими способностями для

столь деликатной работы. Мой вопрос пришелся Прието не по душе. Невольно я расстроил его, ибо Луис был одной из самых больших его слабостей - он слепо любил сына. Эта любовь причиняла большой вред и отцу, и сыну. Отношение к Луису - единственное, что мне не нравилось в доне Инда.

Я с удовольствием бывал в доме Прието, встречая там, как мне казалось, интересных людей. У него я познакомился с доном Хуаном Негрином{105}, занимавшим важный пост в Университетском городке, тогда еще только строившемся. [228]

С первого же взгляда Негрин понравился мне и произвел впечатление незаурядного человека.

Прието, по своему обыкновению, почти всегда молчал, давая возможность говорить другим. При этом он казался рассеянным или полудремлющим, но по собственному опыту я знал, что он слышит каждое слово.

Прието жили просто и скромно. Они держали горничную, смотревшую за домом, и кухарку, которая замечательно готовила. Обе женщины были из Бильбао, и у них с дочерьми Прието установились хорошие отношения.

В конце недели дон Инда обычно отправлялся в горы, останавливаясь в одном из лесных домиков министерства. Однажды в субботу он взял меня с собой. Зная мою слабость к прогулкам в открытой машине, Прието решил сделать мне приятное и подкатил к моему дому в открытом автомобиле «Испано», принадлежащем министерству. С нами должен был ехать друг Прието, депутат-республиканец, со своей супругой, уже пожилой, но очень следившей за своей внешностью женщиной. Эту даму, на голове которой красовалась какая-то необыкновенная прическа, только что сделанная в Мадриде, Прието посадил рядом со мной на заднем сиденье, упустив из виду, что при большой скорости здесь нет никакой защиты от ветра. Шоферу захотелось блеснуть новой машиной, и, как только мы выехали на шоссе, он дал полный газ. В зеркальце я видел, как разрушались бесчисленные локоны на голове нашей дамы, вначале по одному, а затем сразу по нескольку штук. Ее усилия предотвратить катастрофу были тщетны. Ветер беспощадно расправился с артистическими волнами, недавно украшавшими ее. Когда мы прибыли в лесной домик, от прически ничего не осталось. Прието, подойдя к нам, чтобы помочь даме выйти из машины, не мог скрыть своего удивления: так изменился внешний облик почтенной сеньоры.

После обеда приехали Негрин и дон Фернандо де лос Риос. Последний был министром-социалистом в республиканском правительстве. Дон Фернандо с его холеной бородкой показался

мне человеком изысканных манер, элегантным, похожим на профессора. На нем был строгий, хорошего покроя костюм. Риос отличался прекрасной речью и вообще производил впечатление человека культурного и приятного. Прието не давал ему покоя своими грубоватыми шутками, употребляя не совсем салонные выражения, шокировавшие интеллигентного социалиста. Однако дон Фернандо старался философски реагировать на это. [229]

Меня крайне удивило, с каким искусством респектабельный министр пел фламенко и играл на гитаре.

Надо сказать, что, как и прежде, большую часть времени я проводил в воздухе и… развлекался. Разумеется, такой образ жизни не давал мне возможности быть в курсе политических событий в стране. Поэтому я старался не упустить ни одного слова из беседы этих важных персон.

Дон Фернандо спросил меня о Рамоне Франко. Я ответил, что уже несколько дней не видел его, но в последний раз он показался мне весьма углубленным в политику. «Слишком углубленным», - довольно сухо заметил дон Инда. Они стали резко осуждать Рамона, утверждая, что он попал под влияние группы бессовестных интриганов; совершенно недопустимо, чтобы человек, занимающий такой пост, критиковал действия правительства.

Их слова сильно обеспокоили меня. Я впервые слышал об этом. Меня особенно встревожила и удивила резкость, с какой Прието говорил о Рамоне Франко (раньше он всегда симпатизировал ему). Я сохранял к Рамону и привязанность и уважение, но стал реже встречаться с ним потому, что мне не нравились его новые друзья.

Заинтересовал меня также разговор Негрина и дона Фернандо, который они вели, невзирая на мое присутствие. Оба критиковали поведение членов социалистической партии - друзей Ларго Кабальеро{106}, нападавших на Прието. Несколько дней назад во время митинга в Эсихе те резко выступили против дона Инда, сорвав его выступление. Во время разговора об этом Прието не проронил ни слова. Он предоставил другим высказываться о Ларго Кабальеро и осуждать его.

Услышанное было для меня неприятным сюрпризом. Я полагал, что социалистическая партия, единая и дисциплинированная, - самая надежная опора республики. И вдруг неожиданно узнаю: дисциплина в партии оставляет желать много лучшего, а между ее лидерами царит разногласие. Ни на минуту не сомневаясь в правоте Прието, я высказал свое возмущение Ларго Кабальеро…

* * *

В Мадриде я занимал небольшую квартиру на улице Маркес-де-Кубас. Вместе со мной жил Себастьян Рубио Сакристан, капитан авиации, мой хороший друг, родившийся [230] в провинции Самора в буржуазной, но традиционно республиканской семье.

У Себастьяна был брат, профессор, человек довольно передовых взглядов, вращавшийся в кругу прогрессивной интеллигенции. Вскоре я подружился с ним, несмотря на различные условия, в которых мы прежде жили. Меня восхищало, что такой молодой человек уже заведует кафедрой. Я удивлялся его культуре, а политические взгляды Рубио казались мне очень революционными.

Я подробно говорю о Рубио потому, что он был типичным представителем довольно многочисленной прогрессивно настроенной интеллигенции, сыгравшей положительную роль в первые годы существования республики. Однако впоследствии, когда она больше всего нуждалась в поддержке, многие из этих людей отступились от нее.

Однажды Рубио пригласил меня на собрание интеллигенции, проходившее на первом этаже кафе «Лион дор», на улице Алькала, напротив Главного почтамта. Мне впервые довелось присутствовать на подобном форуме, и я чувствовал себя немного стесненно.

Первый, кого я встретил там, был известный Санчес Мехиас; я неоднократно видел бой быков с его участием. Несмотря на множество ранений и уже немолодой возраст, Санчес Мехиас оставался тогда лучшим тореадором Испании.

Когда мы пришли, собравшиеся обсуждали пьесу Санчеса «Син расон» («Без разума»). Премьера ее должна была состояться, если мне не изменяет память, в театре «Эспаньол» в день столетия Гете.

Из присутствовавших я еще помню только Манолито Алтолагирре, молодого поэта, который произвел на меня хорошее впечатление, и чилийского писателя с женой, но не Пабло Неруду - с ним я познакомился позже. Мне кажется, это был дипломат. Через некоторое время пришел Федерико Гарсиа Лорка. Он только что вернулся из поездки в Нью-Йорк и на Кубу. Лорка рассказывал о своих впечатлениях с безапелляционностью, поразившей меня. От первого контакта с интеллигенцией я не был в большом восторге. Меня крайне удивили их отрицательные суждения обо всех, о ком бы ни заходила речь. Как беспощадно

обрушивались они на некоторых писателей!

С Федерико Гарсиа Лорка я ближе познакомился в Сории, куда ездил вместе с Кони де ла Мора, Альфредом Банер и [231] его женой Гизелой на театральное представление труппы «Ла баррака».

Создание «Ла баррака» было одним из самых замечательных событий в культурной жизни республики. Студенты ФУЭ{107}при поддержке правительства организовали театральную труппу, которая разъезжала на грузовиках по деревням и городкам, где до этого не велось никакой просветительной работы, и показывала классические произведения испанской драматургии.

В типичной провинциальной, обычно малолюдной гостинице «Комерсио» в Сории в те дни царило необычайное оживление. Здесь собрались артисты и зрители из Мадрида. Мы встретили там министра дона Фернандо де лос Риос и известного врача Теофило Эрнандо, а также Федерико Гарсиа Лорку. Он был одним из создателей и руководителей этой славной театральной труппы. В день приезда до наступления темноты мы решили пройтись по городу, к нам присоединились Федерико и дон Фернандо.

Сория - маленький, но весьма интересный городок. Там сохранились замечательные памятники эпохи римского господства, представляющие большую ценность. Гарсиа Лорка восхищался характерной красноватой окраской города, подчеркнутой отсветом заката. Помню, меня потрясли искренняя любовь и теплота, с какими он отзывался об АнтониоМачадо{108}.

После ужина мы направились к подмосткам сцены, сооруженной на площади. Среди публики было много крестьян, большинство из них впервые присутствовало на театральном спектакле. С огромным интересом и вниманием следили они за представлением «Ауто сакраменталь»{109} Лопе де Вега. Их худощавые, опаленные ветром и солнцем лица были взволнованны.

Помню, несколько дней спустя из-за постоянной рассеянности Федерико у меня произошла большая неприятность. Брат Маноло прислал мне столитровую бочку знаменитого кларета из Кордобин-де-ла-Риохи. Чтобы отметить это событие, я купил окорок и пригласил на свою мадридскую квартиру группу друзей, в том числе и Гарсиа Лорку. После того как все изрядно выпили и уже собрались уходить, Федерико захотелось выпить еще рюмку, и он вернулся в комнату. В два [232] часа ночи, когда мы с Себастьяном возвратились домой и ночной сторож открыл нам дверь, нас удивил запах вина, распространившийся по всему дому, но мы не придали этому никакого значения. Поднявшись на

свой этаж и открыв дверь лифта, мы почувствовали, что запах усилился. Оказывается, Федерико плохо закрыл деревянный кран бочки, и все оставшееся в ней вино вытекло из-под нашей двери на лестницу. Квартиру мы нашли в ужасном состоянии. Винный запах держался еще долго, и каждый раз, когда мы возвращались домой, нам казалось, что мы входим в таверну.

* * *

В те времена я еще довольно часто ходил обедать к сестре Росарио. Однажды вечером после приятного отдыха на лыжной базе в Гредос я решил пойти поужинать к родственникам. Как только я вошел, сестра, едва поздоровавшись, забросала меня непонятными упреками: «Теперь вы, вероятно, довольны, для этого вам и нужна республика!» Затем последовал ряд оскорблений, удививших меня. Не понимая причины ее столь странного поведения, я не знал, что ответить. Сестра тоже не могла предположить, что я еще не читал газет, не слушал радио и ничего не знаю о последних событиях в Мадриде. Ее нападки возмутили меня. Не захотев просить объяснений и не дождавшись ужина, я ушел и направился в аэроклуб в надежде разузнать новости.

Там все было спокойно. Мне рассказали о случившемся. Речь шла о поджоге монастырей. Некоторые из присутствовавших в клубе видели пожары. Мнения были различными. Одни прямо осуждали эти действия, наиболее разумные опасались, как бы пожары не привели к осложнениям. Самые легкомысленные говорили о поджогах в шутливом тоне, не придавая им большого значения. Но все сходились на том, что воспрепятствовать им было нельзя. Кстати, во время пожаров не было ни одной жертвы, не погибло ни одно произведение искусства.

Выслушав все, что мне рассказали, и поговорив с очевидцами, я пришел к выводу, что поджоги спровоцированы группой монархистов. В первое время после провозглашения республики они вели себя сдержанно, но, видя, что правительство не трогает их, решили перейти к активным действиям. В тот роковой день со спесивой надменностью, столь свойственной людям, привыкшим считать себя хозяевами, они завели в своем клубе на улице Алькала пластинку с королевским [233] маршем. Окна специально оставили открытыми, чтобы прохожие могли слышать его. Первыми слушателями оказались шоферы такси, которые ответили возгласами: «Да здравствует республика!» Группа монархистов, вооруженных палками, выбежала на улицу и тяжело

ранила одного шофера. По Мадриду мгновенно распространился слух об убийстве. Стихийно начались демонстрации. Вскоре загорелось первое здание - резиденция иезуитов на улице Ла Флор. Всего, как мне помнится, было подожжено семь или восемь церквей и монастырей.

Не трогали ни банков, ни казино, ни дворцов, ни магазинов, которые продолжали торговать.

* * *

Дважды - в Бильбао и Малаге - я был свидетелем этой, по-видимому, непреодолимой склонности испанского народа уничтожать церкви и монастыри.

Примерно в 1920 году в Бильбао состоялась мощная рабочая демонстрация. Близ Арсенальского моста демонстранты столкнулись с религиозной процессией, двигавшейся им навстречу. Последующие действия были настолько молниеносны, что мне не сразу удалось разобраться, в чем дело. Я увидел, как встретившиеся схватились врукопашную. В реку полетели образа и хоругви. Когда прибыла конная жандармерия, иконы уже плыли по реке Нервион к морю.

События, свидетелем которых я стал в Малаге, были для меня еще более странными и неожиданными. В городе состоялись многочисленные демонстрации против отправки солдат в Мелилью после разгрома испанских войск под Аннуалем. Эти выступления вылились в настоящий бунт, в котором участвовали тысячи жителей Малаги - мужчин, женщин и детей. Группа демонстрантов, направлявшихся в порт, остановилась возле одной из церквей. Несколько человек вошли туда и стали вытаскивать на улицу образа, скамейки, стулья и, свалив все в большую кучу, подожгли. Я не мог понять: что общего между церковными образами и протестом против войны в Марокко?

Во всяком случае, известно: в Испании с давних пор при каждом удобном случае, то есть во время мятежа или восстания, народ всегда сначала поджигал церкви и монастыри. Но он никогда не нападал ни на банки, ни на магазины, ни на какие-либо другие заведения, где можно было бы чем-то воспользоваться. [234]

Кто- то мне рассказывал, что после установления республиканского строя министерство внутренних дел получило от алькальда одной кастильской деревни телеграмму, в которой говорилось: «Провозглашена республика. Что делать со священником?»

Неприязнь испанского народа к церкви всегда была такой явной, что считалась чем-то само собой разумеющимся. Вряд ли мне исполнилось более десяти лет, когда мы уже пели на мотив гимна Риего знаменитые тогда куплеты против церковников:

Если бы священники и монахи знали,
Как им здорово влетит,
То поднялись бы они на хоры и запели:
«Свобода, свобода, свобода!»

Такие песенки в устах подростков, воспитанных в буржуазных

семьях, в атмосфере католической религии, показывают, насколько распространены среди испанцев антиклерикальные настроения.

* * *

Правы были те члены аэроклуба, которые опасались, что пожары причинят республике немало неприятностей. Церковь воспользовалась случаем, чтобы уже без маскировки, открыто усилить наступление на существующий режим. Я говорю усилить, потому что она вела его и до поджогов монастырей, с самого момента установления республиканского строя в Испании.

* * *

Резкой перемены в моих отношениях со старыми друзьями и в привычках не было. Я по-прежнему встречался со своими давнишними знакомыми и родными, но непроизвольно, как-то само собой, новая обстановка отдаляла меня от них, и постепенно, почти незаметно круг моих знакомых менялся.

Я продолжал ходить в аэроклуб. Иногда посещал кружки, объединявшие людей левых взглядов. В одну из таких групп, собиравшуюся в пивной на площади Санта-Анна, входили Негрин, Альварес дель Вайо{110}, Аракистан, доктор Паскуа и другие социалисты-интеллигенты. С первой же встречи дель Вайо понравился мне, а Аракистан вызвал антипатию. [235]

Бывал я также в кружке республиканцев, местом сбора которого являлось кафе «Аквариум». Из его членов мне запомнился дон Августин Винуалес, умный, симпатичный и веселый человек. Видимо, он был большим специалистом в финансовых вопросах, если Прието, всегда косо смотревший на людей с университетскими титулами, отзывался о нем с большой похвалой.

Другой постоянный посетитель этих сборищ - экономист Рамос. Республиканцы очень ценили его. Сам он любил козырять своими революционными взглядами и политическими убеждениями. Позже Винуалес и Рамос стали республиканскими министрами, однако в трудный для республики час оба переметнулись на сторону врагов.

С большим удовольствием посещал я еще одно место, где собирались республиканцы, - дом Марии Терезы Леон и Рафаэля Альберти{111}. Они жили в верхнем этаже дома на Пасо-до-

Росалес, откуда открывался чудесный вид на Сьерру. Там я познакомился с очень интересной группой интеллигентов и артистов. Почти все они были молоды и прогрессивно настроены. Эта компания произвела на меня самое лучшее впечатление. О Рафаэле и Марии Терезе скажу только, что я всегда питал к ним чувства любви и дружбы, и, хотя с тех пор минуло немало лет, произошло много разных событий, пережитых вместе, эти чувства лишь окрепли. В этом же доме я впервые встретился с Пабло Нерудой. Там же я подружился еще с несколькими молодыми интеллигентами, которые показались мне настоящими республиканцами. И действительно, они остались верны республике до конца.

Естественно, в доме Альберти говорили о литературе, искусстве, но много внимания уделяли и политическим вопросам, и прежде всего внутренним. Вообще, политические проблемы, как мне казалось, обсуждались здесь с разумных и в то же время революционных позиций. У этих людей я не заметил ни малейшего следа преклонения перед буржуазией и аристократами. Я чувствовал, что они более близки к народу, чем иные известные мне «рабочие лидеры».

Любопытно, что их суждения казались мне более правильными и я понимал их лучше, чем своих друзей - профессиональных политиков из правительства. [236]

Я попытался дать представление о республиканских кругах, в которых вращался и которые содействовали постепенному изменению моих взглядов на жизнь. Разговоры друзей социалистов порой удивляли меня. Чем больше я общался с ними, тем больше понимал, насколько в действительности они отличались от того, какими я себе их представлял. В Париже, в эмиграции, поведение Прието соответствовало обстановке. Но здесь - и я начинал понимать это - обстоятельства изменились. Мы находились в Испании, где среди социалистов было немало по-боевому настроенных рабочих и крестьян. Социалистический лидер - это прежде всего рабочий вожак. И я полагал, такие руководители, собираясь, должны обсуждать вопросы о забастовках, заработной плате, продолжительности рабочего дня, то есть о самых насущных нуждах трудящихся. Меня поражало, что мои друзья никогда об этом не говорили. Обычно они обсуждали проблемы, далекие от реальной жизни народа.

На собраниях республиканцев главной темой разговоров были парламентские дебаты. Страстно комментировались все речи, высказывались мнения об ораторах, особенно восхищались Асанья. У меня создалось впечатление, что основное внимание уделялось спорам в парламенте и сценке красноречия депутатов,

а не тому, чего ждал народ от правительства.

Церковь для республиканцев являлась предметом особых забот. Религиозная проблема казалась им главной, все остальные - второстепенными. Однако я видел, что ярый антиклерикализм без особой нужды задевал религиозные чувства многих. Навязываемый силой атеизм наносил только вред республике.

В то же время я замечал, насколько республиканские и социалистические руководители были чувствительны к любому мнению, высказанному о них людьми правых взглядов. Это крайне удивляло меня; мне казалось, что такая чувствительность - серьезный недостаток для столь крупных политических деятелей.

Я тоже не чувствовал себя способным быть на высоте тех задач, которые мы пытались решить. Но причины этого были совсем другого порядка, чем те, какие я угадывал у них. При общении с народом - рабочими и крестьянами - я остро ощущал свою «неполноценность». Люди, которых аристократы презрительно называли «низшими», смущали меня, я испытывал желание как-то оправдаться перед ними за то, что живу [237] лучше их. Я часто спрашивал себя: «Что они обо мне думают?» Приведу один пример. В Сидамоне, возвращаясь вечером с друзьями после какой-либо веселой прогулки, мы нередко проходили мимо гумна, где с пяти часов утра трудились работники нашего имения. Эти мужчины и женщины разгибали спины и смотрели на нас. Наши взгляды встречались, и я испытывал неловкость, желание извиниться перед ними, словно сделал что-то плохое.

Особенно часто такие чувства возникали у меня в Андалузии. Ни в каком другом месте привилегии сеньоров не выставлялись так возмутительно напоказ. Меня всегда удивляло преклонение моих друзей интеллигентов перед представителями привилегированных классов.

Социалистические и республиканские руководители были настолько щепетильны, что оставили своим противникам полную свободу действий. Я не обладал особой проницательностью в политических делах, но понимал: такая позиция, на первый взгляд казавшаяся правильной, явно служила на пользу правым. Они сохранили за собой почти все привилегии, составлявшие их силу, большую часть наиболее важных постов в государственном аппарате, в вооруженных силах и в жандармерии и, следовательно, могли безнаказанно вредить республике.

* * *

На выборах в кортесы коалиция республиканцев и социалистов получила подавляющее большинство голосов. Это успокоило меня, так как я опасался интриг со стороны крупных землевладельцев, все еще сохранявших власть.

Характерной особенностью новых кортесов было большое количество депутатов-интеллигентов: педагогов, профессоров университетов, писателей и т. д., избранных народом вместо аристократов и помещиков, из которых в основном состояли кортесы при монархии.

Был избран в кортесы и Рамон Франко. Вместе с Седилесом, Бальботином, Пересом Мадригалом он присоединился к немногочисленной группе депутатов, гордившихся своим прозвищем «кабаны» и старавшихся оправдать его. В дальнейшем их деятельность была далеко не блестящей. Демагогические выступления членов этой группы не помогали республике, но зато использовались реакцией для нападок против существовавшего режима. Правая пресса представляла их читателям как руководителей коммунистической партии, хотя ни один [238] из них не являлся ее членом. В то время коммунисты еще не имели ни одного депутата в кортесах.

Рамон Франко оставил пост командующего авиацией и полностью отдался политике. Виделись мы редко, ибо с каждым разом мне все меньше нравились окружавшие его люди.

Я пытался рассказать о недостатках и ошибках, подмеченных мною у друзей республиканцев. Неожиданно для самого себя я испытывал недоумение по поводу этих промахов, ибо к тому времени уже был прочно связан с республикой.

Хочу рассказать о той атмосфере, которая царила в Витории и в Ла-Риохе в среде моих родственников и друзей в последнее лето, проведенное мною в тех краях.

Мне кажется, что знакомство с этой атмосферой поможет понять, как в Испании постепенно создавались условия для уже надвигавшихся трагических событий.

* * *

Я отправился в Ла-Риоху, собираясь провести там часть отпуска. В Сидамоне мне показалось, что Маноло и его друзья значительно изменились со времени нашего последнего свидания: стали более непримиримы к республике.

Конституция еще не получила одобрения кортесов, а реакция уже начала против нее бешеную кампанию. Для этого она

использовала по-прежнему контролировавшиеся ею правые газеты, среди которых особой злобой и непримиримостью отличались монархическая «АБЦ» и иезуитский орган «Эль дебате». Последняя имела много читателей, особенно в деревне. Ее получали все священники Испании. Она была единственной газетой, доходившей до маленьких деревень, и с ее помощью духовенство, без особого труда выполняя приказы епископов, отравляло ложью и лицемерием сознание крестьян.

Самые незначительные церковные реформы правая пресса представляла как зверские гонения на верующих. Отделение церкви от государства, предусмотренное в проекте конституции и осуществленное в большинстве цивилизованных стран, окончательно вывело из себя церковных мужей, мобилизовавших против республиканского строя все имеющиеся в их распоряжении средства.

Наступление правых сказалось и на поведении моих родственников и друзей. Изменения, происшедшие в них, могли бы показаться маловажными, но то, что они были характерны для всех лиц, с которыми я общался, не могло быть случайным. [239] Чувствовался какой-то продуманный план действий. Внешне отношение ко мне родственников и друзей в Ла-Риоха, казалось, не изменилось. Они давали мне понять, что я для них свой человек, и только иногда подшучивали на счет моих друзей «большевиков» или же намекали на мои левые убеждения. Создавалось впечатление, что они не очень-то принимали их всерьез.

В то лето я встречался со своими старыми знакомыми и вел обычный образ жизни. Но отдельные стороны этой жизни, на которые раньше я не обращал внимания, начинали возмущать меня. В этой связи вспоминается один разговор в кругу родных.

Маноло пригласил на обед несколько человек, в том числе нашего родственника маркиза де Легарда, владельца большого имения близ Аро. После обеда зашел разговор о требованиях крестьян и батраков, и гости стали сетовать на то, что все труднее становится вести хозяйство из-за их слишком больших претензий.

Я не принимал участия в беседе, но прислушивался к ней. За столом царило полное единодушие, пока мое неожиданное вмешательство не нарушило его.

Один из гостей с апломбом заявил: «Если бы мои слуги и работники не были неблагодарными людьми, они бы всегда помнили, что я их кормлю и лишь благодаря мне их дети не умирают с голоду…»

Это рассуждение о том, что богатые кормят тех, кто на них работает, я уже слышал не раз, но раньше мне никогда не

приходило в голову, что оно несправедливо.

На сей раз я возмутился и довольно резко возразил, впрочем, и не стараясь сдерживаться. Я сказал им, что именно владельцы имений кормятся за счет простых людей. Попробовали бы они сами молотить зерно и убирать виноград, тогда бы узнали, насколько тяжел крестьянский труд! Я говорил еще что-то в том же духе, приведя всех в совершенное изумление.

После моей речи воцарилось неловкое молчание. Всех шокировало мое поведение и слова, ибо я впервые так прямо высказывал свои политические убеждения перед своими родственниками.

* * *

Через несколько дней я отправился в Канильяс навестить сестру. У них гостила одна из наших кузин, Конча Мансо де Суньига, дочь графа де Эрвиас. Она жила со своим отцом [240] в прекрасном имении между Аро и Логроньо, известном под названием «Торре-Монтальво». Мне нравилась их семья, и я с удовольствием вспоминаю время, проведенное там. Все сестры Кончи, как и она сама, были красивыми, очаровательными, очень милыми и простыми девушками.

Моя сестра казалась более спокойной, чем в Мадриде. Ее муж, несмотря на прежние связи с королем, продолжал служить в армии, его никто не трогал. Он работал над проектом туннеля под Гибралтаром, и правительство республики предоставляло ему для этого все возможности. Я обратил внимание, что в то лето к сестре приходило значительно больше священников пить традиционный шоколад по вечерам, чем во времена, когда была жива моя мать. Бросалось также в глаза, что капеллан ежедневно служил обедни в часовне и все присутствовали на них.

На следующий день после приезда я встретился со своим другом, черепичным мастером, деревенским «большевиком». Он по-прежнему ненавидел священников, плохо отзывался о соседях, называя их, как и раньше, баранами. С возмущением он рассказывал, что с провозглашением республики в Канильясе ничего не изменилось. От него я узнал, что моя сестра вместе со священником и управляющим под угрозой отнять арендуемую землю заставила всех крестьян голосовать за кандидатов правых партий, как это делалось и во времена монархии.

* * *

Мы с Маноло условились пойти на футбольный матч между командами городков Аро и Логроньо. Они постоянно враждовали друг с другом, поэтому встреча должна была быть особенно интересной. В тот же день Конча собиралась ехать домой и попросила после матча отвезти ее в Торре-Монтальво. Матч сразу же превратился в кулачный бой, и встречу пришлось приостановить. Игроки команды Логроньо остались в живых только благодаря вмешательству большого наряда жандармов, предусмотрительно стянутых к стадиону. Страсти подогревались еще до начала игры. На трибунах вывесили плакат: «Любители футбола в Аро приветствуют всех гостей, кроме прибывших из Логроньо!»

В тот день жители Аро забыли свои политические разногласия: республиканцы, карлисты, монархисты договорились ни при каких обстоятельствах не допустить победы команды Логроньо. [241]

В конце концов нас выгнали со стадиона. Мы сели в машину и, заехав за Кончей, отправились в Монтальво.

Торре- Монтальво было замечательным имением. Его земли пересекали железная дорога, шоссе, ведущее в Логроньо, реки Эбро и Нахерилья. Поместье принадлежало дону Тринидаду Мансо де Суньига графу де Эрвиас и его сестре Пилар, старой деве. Тридцать лет она была в ссоре с братом, но никогда не соглашалась на раздел имения. Они жили в огромном доме, нечто вроде замка с башней. Однако внутри он был совсем ветхим. Во время дождя слуги приносили зонтики, чтобы защитить сидящих за столом от воды, лившейся на них через худую крышу и дырявый потолок. Парадную лестницу, обрушившуюся много лет назад, заменили «временной», но другой, сколько я помню, так и не построили. Эта деревянная лестница без перил была опасна для людей, не знавших ее особенностей. В таком же состоянии находился весь дом.

Граф де Эрвиас имел двух сыновей одного возраста с Маноло (их связывала с моим братом большая дружба) и трех дочерей: Кончу, Соледад и Марию Терезу. Как я уже говорил, все три - красавицы, причем каждая была по-своему хороша. Я познакомился с дядей Тринидадом, когда мне было лет одиннадцать, при довольно необычных обстоятельствах. Брат Маноло, взявший управление имением Сидамон в свои руки, разрешал мне охотиться в дубовом лесу, вернее, в принадлежащей ему части большого леса. Двумя другими владели два дяди, с которыми у нашей семьи всегда возникали недоразумения и споры из-за охоты и использования некоторых

дорог. Обеим сторонам судебные тяжбы стоили больших денег. Однако стремление разорить родственника побеждало беспокойство о собственном разорении. Я вырос в атмосфере этих тяжб, поэтому старался не пользоваться дорогами, из-за которых они возникали, и охотился в пределах установленных границ.

Но однажды куропатка, раненная мною в нашем лесу, упала за его пределами. Я пошел за ней и по дороге встретил довольно пожилого человека, одетого, словно нищий. Он держал в руке мою куропатку. Его сопровождал сельский сторож. Незнакомец отнял у меня ружье и грубо спросил, кто я такой и почему охочусь в его владениях. Так я познакомился с графом де Эрвиас, хозяином леса, в который залетела подстреленная птица. Немудрено, что я принял его за нищего; на нем был костюм из старого вельвета, а на ногах - большие, стоптанные ботинки. [242]

Граф отпустил сторожа, и мы направились к его карете, вполне соответствовавшей внешности ее хозяина: полуразвалившейся двуколке, со сплошь покрытым болячками мулом в старой упряжи.

Пообещав подвезти меня к Сидамону, он снял с костра горшок, в котором разогревал красную фасоль, вытащил из двуколки салфетку с хлебом, бурдючок с вином и пригласил меня разделить с ним трапезу. Не знаю, то ли от того, что мы проголодались, то ли еда была вкусной, но мы быстро расправились и с фасолью, и с хлебом, и с вином. Потом сели в двуколку, и недалеко от Сидамона дядя высадил меня.

Иногда дядя Тринидад наблюдал, как работают люди, выжигавшие уголь в его лесу. Поскольку он никогда не бывал у нас, а мне нравилось его общество, я специально искал встреч с ним, но делал вид, что это происходит случайно. Его считали нелюдимым, однако со мной он был ласков и разговорчив. Дядя обожал давать мне советы: одни были полезны, другие нелепы, но оригинальны. Например, он говорил: если к столу подают курицу или цыпленка, надо стараться положить себе левую ногу. Эти птицы обычно спят на правой ноге, на ней развиваются мускулы, и поэтому она более жесткая, нежели левая. Во время путешествия, если придется остановиться в доме дорожного сторожа, никогда не следует просить цыплят, ибо они постоянно носятся по шоссе, спасаясь от мчащихся автомашин, и от этой беготни и вечного страха их мясо также становится жестким. Покупать ботинки, по его мнению, надо на один-два номера больше. При этом он утверждал, что большинство испанцев настолько глупы, что, стремясь показать, какие у них маленькие ноги, всю жизнь пребывают в плохом настроении, страдая от

тесной обуви.

Граф де Эрвиас пользовался большой популярностью в Ла-Риохе. Он действительно имел немало странностей, но люди любили и уважали его. При всех своих чудачествах, он был хорошим человеком. Я привязался к нему и досадовал, когда над ним подтрунивали.

Об одной из его выходок говорили по всей округе. Однажды дядя Тринидад поспорил, что хромота большинства нищих Ла-Риохи не что иное, как притворство для того, чтобы получить побольше милостыню. Его собеседник заявил, что дядя - злой человек, насмехающийся над чужим несчастьем. Через несколько дней граф пригласил к себе в имение на обед хромых попрошаек со всей округи. «На десерт», когда довольные гости ничего не подозревали, он выпустил племенного [243] быка. С удивительной легкостью «калеки» бросились прочь. Тогда граф, указывая на них, сказал своему оппоненту: «Видишь, я был прав!»

Но вернемся к нашей поездке. В Торре-Монтальво мы прибыли поздно и решили там заночевать. Во время ужина в столовой с протекавшим потолком я понял, что обитатели этого дома относятся к происходящим политическим событиям довольно безразлично. Они ничего не имели против республики, нападки на церковь считали отчасти справедливыми, а намечавшаяся аграрная реформа, вызывавшая особую злобу у реакции, казалось, не тревожила их. Меня приятно удивило отсутствие у них настороженности и враждебности к республике, столь обычных в семьях этого класса.

Я уже говорил, что для меня имение Торре-Монтальво было полно привлекательности. Мне нравился образ жизни его обитателей и забавляли причуды этих людей. Возможно, в иных условиях их поведение действительно могло показаться необычным, но в атмосфере Торре-Монтальво оно выглядело вполне естественным.

Они часто совершали длительные прогулки. Нередко их путь лежал через длинный железнодорожный мост. Он был настолько узок, что проходившие по нему поезда почти касались перил. Если гуляющие находились в это время на мосту, то все: и мужчины и женщины, - как ни в чем не бывало, становились по ту сторону перил и, держась за них, ждали, пока пройдет состав. При этом ногами они упирались в бортик, а руками держались за перила, как бы вися в воздухе. Все относились к таким вещам спокойно и не видели в этом ничего необычного. Хуже бывало, когда они решали посмотреть, «какую мину состроит» какой-нибудь гость из Мадрида или Сан-Себастьяна. Страх, испытанный жертвой при виде приближающегося поезда, забывался ею не

скоро.

Была у них еще одна любимая шутка. Избранной жертве предлагали прокатиться в старой двуколке, которая очень легко переворачивалась. Обитатели имения прекрасно знали свои дороги, и те места, где корни деревьев выступали на поверхность, они проезжали рысью. Двуколка, как дрессированная, переворачивалась. Члены семьи де Эрвиас привыкли к подобным фокусам, поэтому всегда вовремя выпрыгивали из коляски и с ними никогда ничего не случалось. Обычно и другие оставались невредимыми. Я помню только одного пострадавшего - дона Рамона, нашего капеллана из Каниньяса, потерявшего несколько зубов. Он имел неосторожность [244] напроситься на прогулку в двуколке как раз в тот день, когда решили подшутить над нашим двоюродным братом, приехавшим из Мадрида. Шутка дорого обошлась моей матери, вынужденной за свой счет отправить капеллана в Логроньо вставлять искусственные зубы.

* * *

Из Сидамона я отправился в Виторию, собираясь провести там август. Большинство моих знакомых были со мной приветливы, и все же я заметил в них какую-то настороженность и чрезмерное религиозное рвение.

Некоторые мои друзья, раньше почти никогда не ходившие к обедне, теперь кичились тем, что исправно посещают церковь. Многие из них стали носить на шее крестики, чего прежде тоже не делали. Типичным примером того, как активизация деятельности церкви способствовала постепенному росту ее сторонников, является поведение нашей дальней родственницы и подруги моей сестры Пилар Монталбан, часто приезжавшей в Каниньяс.

За два года до провозглашения республики в одно из посещений Каниньяса я случайно оказался рядом с ней во время обедни в нашей часовне. Меня удивило, с какой глубокой набожностью читала она свой молитвенник. Я знал Пилар с раннего детства. До этого она никогда не отличалась особой набожностью, вернее, даже несколько легкомысленно относилась к выполнению своих обязанностей верующей. Вдруг во время святого причастия, опускаясь на колени, она выронила молитвенник. Подняв его, чтобы передать ей, я увидел, что это роман, к тому же довольно фривольный, вложенный в обложку молитвенника. Теперь же, летом 1932 года, эта Пилар выставляла напоказ свою религиозность и старалась при каждом удобном

случае заводить со мной беседы о боге. Но больше всего меня удивили не попытки Пилар вести пропаганду во имя господа, а то, что делала она это довольно искренне.

Кстати говоря, в то лето нас обоих вовлекли в запутанную историю, которая могла окончиться весьма печально.

Мои родственники и друзья, убежденные в непрочности моих политических убеждений, рассчитывали сравнительно легко заполучить меня обратно, то есть вернуть в ту среду, из которой, по их мнению, я дезертировал.

Через несколько дней после приезда в Виторию я стал замечать, что против меня организовано нечто вроде заговора [245] с целью женить. Не знаю, кому пришла в голову эта мысль, но в нем оказались замешаны все мои знакомые, родственники и Друзья.

Другой жертвой заговорщики избрали очаровательную Пилар Монталбан. Я всегда испытывал к ней слабость, ибо она была очень милой девушкой и пребывание в ее обществе доставляло мне удовольствие. Но мое отношение к ней было отношением друга или родственника, и я никогда не помышлял о женитьбе на ней. Любопытно, какое рвение проявили все эти люди, стараясь поженить нас. Их не интересовали наши чувства, они не подумали о том, что запланировать любовь нельзя.

Я обратил внимание, что многие знакомые стали приглашать меня в гости чаще, чем в прошлые годы. При этом я всегда заставал там Пилар. Если мы ездили на экскурсии, ходили в театр или в кино, она оказывалась рядом со мной. Весьма респектабельные дамы как бы невзначай начинали расписывать мне достоинства девушки. Дело принимало серьезный оборот. В Витории уже говорили о нашей свадьбе, как о решенном деле. Но больше всего меня встревожил разговор с сестрой. Росарио приехала в Виторию на праздники и сразу же радостно поздравила меня с предстоящей женитьбой.

Обеспокоенный, я позвонил по телефону Пилар и сказал, что мне необходимо переговорить с ней. Мы условились, что на следующий день я заеду за ней на машине.

Надо было как-то выпутываться из этой неприятной истории. Мне не хотелось ставить Пилар в неудобное положение, и я решил все объяснить ей, откровенно высказав свое мнение по этому поводу.

Я собирался рассказать ей, что уже несколько дней назад обратил внимание на затеянную против нас интригу, но принимал все за шутку. Предстояло признаться, что я никогда не думал жениться на ней. Об этом сказать было труднее всего, так как, даже если ей и не приходила в голову мысль о нашей

свадьбе, какой женщине приятно выслушивать прямо, без обиняков подобные вещи.

Я долго обдумывал предстоящий разговор и наконец поехал за Пилар. Мы отправились за город, где можно было поговорить спокойно.

Пилар, сама с нетерпением ожидавшая момента, чтобы высказаться, опередила меня. Даже не дав мне раскрыть рта, она объяснила, что «заговорщики», зная о нашей дружбе, попросили ее помочь им заставить меня отказаться от «своих [246] нелепых политических убеждений» и вернуться к ним. Она согласилась, полагая, что делает доброе дело. Кроме того, ей понравилась эта миссия, и она с интересом взялась за нее. Вначале она не придавала значения тому, что, куда бы ее ни приглашали, мы всегда оказывались вместе, так как думала, что это входит в план вернуть меня в прежний стан, но вскоре поняла, что за всем этим кроется нечто большее. Ей тоже настойчиво твердили обо мне, и некоторые, менее церемонные, прямо говорили, что одобряют наш брак. Тогда она испугалась, но, не решаясь рассказать мне о сговоре, предоставила все времени, так и не приняв никакого определенного решения.

После первых объяснений настала самая трудная часть разговора, больше всего интересовавшая Пилар. Она тоже опасалась моего намерения жениться на ней и хотела внести ясность в наши взаимоотношения, чтобы избежать недоразумений. Немного волнуясь, она заявила, что искренне привязана ко мне, я ей нравлюсь во всех отношениях, но только не как муж. Она полагает, что я прощу ей эту откровенность, ибо, по ее мнению, я могу быть хорошим другом, но хорошим мужем - никогда! Таким образом, наши мнения о свадьбе совпали. Однако моя реакция была типично испанской или, вернее сказать, реакцией человека чрезмерно самоуверенного. Логически рассуждая, я должен был бы испытывать полное удовлетворение от объяснения с Пилар, ибо в итоге выглядел перед ней в хорошем свете, но в глубине души я чувствовал себя если не обиженным, то уязвленным ее откровенным признанием, что как муж я ей не нравлюсь. Иначе говоря, хотя я и не собирался жениться на Пилар, меня задело и показалось очень обидным ее нежелание выйти за меня замуж.

Приятные переживания этого лета неожиданно оборвались. Я получил срочный приказ вернуться в Мадрид. Реакция совершила серьезную попытку поднять военный мятеж против республики.

Путч 10 августа. Моя свадьба. Новые друзья

В ночь на 10 августа 1932 года генерал Санхурхо при

поддержке монархических и фашистских элементов с частью присоединившегося к нему гарнизона поднял в Севилье восстание против республики. Правительство отдало приказ остальным гарнизонам Андалузии подавить мятеж. Убедившись, что [247] большинство воинских частей не поддерживают его, Санхурхо бежал из Севильи и попытался пробраться в Португалию, но был задержан в Уэльве верными республике войсками.

В ту же ночь кавалерийские части под командованием генералов Кавальканти и Фернандеса Переса вместе с группой монархистов и фашистов пытались захватить здание военного министерства в Мадриде. После сильной перестрелки, приведшей к потерям с обеих сторон, под натиском частей «Гвардиа де асальто» {112} восставшим пришлось отступить. Главари, в том числе оба генерала, были арестованы.

Восстание явилось для меня полной неожиданностью. Я не мог предположить, что реакции удастся организовать такое сильное выступление. Заговор оказался весьма широким. Многие замешанные в нем лица не приняли непосредственного участия в мятеже только из-за плохой его организации.

Но больше всего меня удивило, что во главе восстания стоял генерал Санхурхо. Мне трудно было понять причины, заставившие его примкнуть к людям, которых, как мне казалось, он всегда презирал. Как мог Санхурхо, которого я всегда считал простым, скромным, не имевшим сеньорских замашек, совершить подлость, восстать против режима, оказавшего ему доверие, ценившего его и поставившего на один из самых ответственных постов в армии!

Однако факты - упрямая вещь. Санхурхо возглавил группу аристократов и фашистских молодчиков, пытавшихся восстановить дискредитировавшую себя монархию и добиться сохранения и увеличения привилегий, которыми высшие классы общества всегда пользовались за счет остальных испанцев.

Я прибыл на аэродром Алькала, начальником которого был назначен вместо Легорбуру, уже выполнявшего обязанности адъютанта премьер-министра республики. Так как занятия в школе еще не начались, я застал только лейтенанта Пуньороса, командира отряда охраны на аэродроме. Этот офицер, республиканец, заслуживавший полного доверия, озабоченно рассказал о положении в Алькала. Оба кавалерийских полка городского гарнизона отправились по шоссе в Мадрид, чтобы примкнуть к восставшим. Но, узнав на полдороге, что мятеж подавлен, вернулись в свои казармы.

В то же утро по телефону меня вызвали к военному министру дону Мануэлю Асанья. [248]

Мои встречи с Асаньей были кратковременными. Меня познакомил с ним Прието после нашего возвращения из Парижа. Он показался мне человеком очень сдержанным или, вернее сказать, малоприветливым. Его считали одним из наиболее влиятельных республиканских деятелей в Испании. Несмотря на свое предубежденное отношение к «университетским интеллигентам», Прието довольно высоко ценил его.

Дон Инда, видимо, говорил с ним обо мне, ибо Асанья сказал несколько любезных фраз, что делал весьма редко. При первой нашей встрече ничто не располагало меня к искреннему разговору. Асанья не задал мне ни одного вопроса ни об армии, ни об авиации. Это удивило меня: все-таки он был военным министром. А узнать мнение, даже значительно низших по чину, всегда не лишне.

Однако это впечатление не поколебало моего уважения к одному из наиболее известных политических руководителей республики.

Второй раз я встретился с Асаньей официально, когда приглашал его на авиационный праздник. В действительности же мне хотелось воспользоваться случаем, чтобы поговорить с ним о некоторых, на мой взгляд, довольно важных вопросах.

Один из них касался разговора, состоявшегося у меня незадолго до этого с подполковником Муньосом Грандесом. Он жаловался на новые распоряжения военного министра, аннулировавшие приговоры армейских судов чести. Муньос Грандес очень возмущался, что в соответствии с этим приказом вынужден принять в свой батальон двух офицеров, изгнанных из армии: один - за противоестественные наклонности, другой - за мошенничество. В разговоре с ним я не хотел пускаться в критику республиканского министра, но в глубине души тоже не был согласен с этим постановлением.

Большей частью суды чести разбирали дела о моральных извращениях и растратах. К гомосексуалистам суды были непримиримы. Их единодушно выгоняли из армии.

К денежным делам суды подходили более снисходительно. Они всегда старались спасти офицера, впервые по неопытности проигравшего или израсходовавшего казенные деньги, но решительно изгоняли из своей среды рецидивистов или людей бесчестных. Я не помню, чтобы эти суды карали за политические или религиозные убеждения или же чтобы приговор являлся результатом мести и репрессий.

Я не хочу этим сказать, что был против упразднения офицерских судов. Поскольку имелись военные трибуналы, не [249] было необходимости для существования в армии других

судебных институтов. В распоряжении об их ликвидации я считал неправильным лишь то, что, не учитывая последствий, аннулировались все вынесенные ими ранее приговоры, независимо от характера проступка.

Среди прочих мероприятий военного министра Муньос Грандес осуждал представленный проект постановления об отмене повышений в чинах за военные заслуги. Его предполагалось утвердить как закон, имеющий обратную силу.

Подполковник прокомментировал еще ряд ошибок, совершенных, по его мнению, республиканским правительством. Зная, какой популярностью пользуется Муньос Грандес в армии, я подумал, что его мнение должно представить для министра интерес, и решил воспользоваться приглашением Асаньи на праздник, чтобы рассказать ему об этом.

Асанья принял меня довольно любезно. Стоя, он поблагодарил за приглашение и пообещал приехать. Я не знал, как начать разговор, ибо чувствовал себя неудобно: министр продолжал стоять, словно напоминая, что не может терять время на пустяки. Наконец несколько неестественным голосом я сказал, что некоторые армейские командиры не согласны с отдельными распоряжениями его министерства. В ответ он заявил, что это его не удивляет, так как всегда имеются недовольные, но не следует придавать этому слишком большого значения. Министр говорил как человек, убежденный в правильности своих действий и планов, изменять которые он не намерен, сколь многочисленны ни были бы замечания в их адрес.

Свидание окончилось, а я так и не смог сказать ему всего, что хотел. Его сдержанность затрудняла возможность искреннего объяснения.

Таковы были мои впечатления от деловых встрече Асаньей до того утра, когда мне сообщили по телефону, что я должен явиться к нему. Министр вызвал на совещание нескольких авиационных командиров: Хосе Арагона, Рамона Франко (несмотря на его плохие взаимоотношения с правительством), Маноло Каскона, Артуро Гонсалеса Хила, Анхела Пастора, Рикардо Бургете, Альвареса Буилья, Эрнандеса Франка и Артуро Менендеса. Кого-то, возможно, я забыл.

Артуро Менендес, капитан авиации, большой друг Асаньи, был назначен генеральным директором Управления безопасности. Под его командованием воинские части, подчиненные этой организации, подавили попытку монархического путча в Мадриде. [250]

Свою речь Асанья начал с того, что, хотя по всей Испании восстановлено нормальное положение, необходимо принять

дополнительные меры, чтобы обеспечить прочную безопасность и защиту республики. Затем объявил, что Менендес, как директор Управления безопасности, подведет итоги происшедших событий и сообщит последние сведения об обстановке в стране. Менендес отметил широкий размах монархического движения и рассказал ряд интересных подробностей. По его мнению, возможна новая попытка мятежа, если мы не примем самых энергичных мер против наступления реакции. Они должны касаться главным образом армии и авиации - последняя в силу своих специфических особенностей представляет наибольшую опасность.

После Менендеса снова выступил Асанья. Он сказал о возрастающей угрозе существованию республики и нашей обязанности всеми силами защищать ее. Асанья сообщил, что правительство передает авиацию в руки республиканских летчиков, предоставляя им полную свободу действий. В заключение он потребовал от нас подготовить в кратчайший срок проект реорганизации воздушных сил, чтобы они стали подлинно республиканскими и правительство могло всецело положиться на них.

Спустя три дня мы вручили министру требуемый проект, составленный с самыми лучшими намерениями. Выполняя поручение правительства, мы старались, чтобы намечаемые мероприятия не вызвали недовольства друзей республики.

Среди прочего мы предлагали перевести из авиации в наземные войска немногочисленную группу летчиков и командиров - открытых врагов республики, а также снять со всех ответственных постов лиц, явно не симпатизирующих республиканскому строю. Отстранить от командных должностей противников республики во всей армии следовало сразу же после прихода к власти республиканского правительства. Поскольку эти элементарные меры не были осуществлены, важнейшие должности продолжали занимать ярые реакционеры.

Министр одобрил проект и обещал немедленно провести его в жизнь. Но дни шли за днями, а министерство ничего не предпринимало. Командиры и начальники, которых мы предлагали сместить, оставались на своих местах.

Вскоре мы совершенно неожиданно узнали, что наш проект открыто обсуждается и комментируется личным составом авиации. Кто-то из секретариата министра или лиц, пользовавшихся [251] его доверием, совершил предательство, разгласив проект раньше, чем были осуществлены предусмотренные в нем меры. Нет необходимости говорить, как отнеслись к этому те, кого мы предлагали убрать из авиации. Их

злобе не было границ.

Мысль о том, что в военном министерстве можно безнаказанно творить подобные дела, вызвала во мне невыразимую горечь и явилась причиной того, что я еще больше отдалился от окружавшей министра группы военных, к которым никогда не питал симпатий.

Раздраженный случившимся, но с чистой совестью человека, выполнившего свой долг, я вернулся к себе в Алькала. Было неприятно, что до летчиков уже дошли слухи о распрях и политической борьбе среди военачальников, хотя в то время я еще не замечал ее влияния на них.

Выполняя приказ авиационного штаба, в Алькала впервые в Испании приступили к освоению курса слепого полета и наиболее сложной части высшего пилотажа. Не имея специалистов в этих областях и не желая приглашать их из-за границы, мы начали занятия, вооружившись английскими и французскими инструкциями. Все преподаватели нашей школы на это время превратились в учеников.

Наши материальные возможности были очень скромными, поэтому приходилось импровизировать: имевшиеся на аэродроме три небольших самолета мы использовали для обучения высшему пилотажу, два других старых самолета приспособили для слепых полетов. Их учебные кабины с парусиновым верхом изолировали ученика от внешнего мира, таким образом, он мог летать только по приборам.

Первыми освоили этот курс капитаны Ибарра, Мартинес де Писон, Маноло Каскон, Гарсиа Морато, Карлос Айе и я. Почти все они сыграли важную роль в развитии испанской авиации, а некоторые из них, как, например, Гарсиа Морато и Айе, стали лучшими франкистскими летчиками.

Хосе Арагон, назначенный начальником мастерских на аэродроме «Куатро виентос», вновь решил летать. По вечерам он приезжал на аэродром в Алькала, и я тренировал его на одном из учебных самолетов. Через несколько дней после почти двенадцатилетнего перерыва он вновь начал самостоятельно летать. Хосе просил не говорить об этом его жене Тересите, собираясь сначала подготовить ее. Тереситу не покидало предчувствие, что он погибнет в авиационной катастрофе. [252]

Я был доволен своей работой, и, насколько помню, за время, пока исполнял обязанности начальника школы, никаких неприятностей там не случалось. В то время всех нас связывала большая дружба. Поэтому может показаться странным, что, когда началась гражданская война, мы, разойдясь по разным путям, с ожесточением и вполне сознательно убивали друг друга. Но тогда

волны политических распрей, возможно, еще не докатились до школы или они были слабее нашей дружбы, и мы старались не придавать им значения.

* * *

В бурной истории Второй республики мятеж 10 августа наметил период дальнейшего обострения политического положения в стране. Санхурхо, приговоренный к смертной казни, был помилован. За отмену прежнего решения голосовали все министры республиканского правительства, включая социалистов. Проявленное великодушие реакция истолковала как трусость. Враги режима говорили: «Побоялись расстрелять Санхурхо!» Эта мысль о безнаказанности, ловко и нагло использованная пропагандой правых, пускала корни и привлекала людей в их ряды. Правительство же продолжало принимать решения, на бумаге казавшиеся правильными и революционными, но на практике не приносившие республике никакой пользы. Номер, выкинутый Асаньей с реорганизацией авиации, о котором я рассказал выше, - типичный тому пример. Создать верную республике авиацию - намерение замечательное и необходимое. На практике же это хорошее дело обернулось скандалом, увеличившим число военных, недовольных режимом.

Помиловав Санхурхо, правительство решило, что он должен отбывать наказание, как любой другой осужденный, и заключило его в тюрьму Дуэсо. Это дало повод реакционным кругам начать злобную кампанию в прессе. Статьи, интервью, данные самим Санхурхо в тюремной камере, его фотографии в арестантском костюме постоянно появлялись в правых газетах, распространяемых по всей Испании и раздаваемых в церквах после богослужений. Лживая пропаганда, вовсю раздуваемая реакцией, пыталась, лицемерно играя на чувствительных струнах испанцев, представить предателя своего народа, справедливо осужденного на смерть и великодушно помилованного, как жертву, мученика, почти героя. [253]

К моменту провозглашения республики в армии имелись лишь небольшие группы убежденных республиканцев и ярых реакционеров. Подавляющее же большинство военных были политически нейтральны или индифферентны, не испытывали к новому строю ни любви, ни ненависти, но приняли его и подчинились ему.

Я считал, что на это подавляющее большинство и следует обратить особое внимание. Прежде всего необходимо было

направить усилия для привлечения этой части офицеров на нашу сторону или по меньшей мере умело противодействовать вражеской пропаганде среди них. В силу существовавших в армии порядков, накладывавших соответствующий отпечаток на образ мыслей, это большинство было предрасположено скорее воспринимать пропаганду, враждебную республике.

Я попытался коснуться некоторых причин, оказавших влияние на изменение позиции армии в отношении республики. Это изменение являлось реальным фактом, и игнорировать его было нельзя. Достаточно сопоставить нейтральное или благожелательное поведение военных в период установления республики и их поведение во время путча Санхурхо.

Эти причины, если каждую из них рассматривать в отдельности, могут показаться незначительными. Однако враги сумели ловко использовать их в своей подрывной деятельности, найдя для этого благоприятную почву, ибо воспитание и атмосфера, царившая в армии, способствовали формированию таких взглядов, которые легче поддаются отклонению вправо, чем влево.

* * *

Хотя это и не в натуре испанцев, но я с ранней молодости с симпатией относился к влюбленным и всегда, если представлялся случай, содействовал им. Я говорю об этом потому, что испанцы обычно осуждают и порицают своего ближнего за то, что сами совершили бы, если бы представилась возможность. Многим моим соотечественникам не по нутру любовные похождения других, хотя сами они проводят жизнь в поисках подобных приключений и возмущаются, когда кто-либо препятствует ухищрениям, к которым они прибегают, чтобы добиться успеха у слабого пола. К этому стремилось в мое время большинство испанцев. Путешествуя, мужчины специально искали какой-нибудь повод для такого развлечения. Они [254] осматривали вагоны поезда в надежде обнаружить одинокую женщину, чтобы попытаться одержать победу над ней. Часто случалось, что такой господин, потерпевший крах в своих попытках, стремился всеми силами помешать своему более удачливому сопернику.

Однажды ко мне пришел мой хороший друг капитан Перес Пардо и таинственным голосом попросил меня оказать ему важную услугу. Ему нравилась одна мадридская девушка, Пити де ла Мора и Маура. Он обещал ей устроить «воздушное крещение». Но на аэродроме в Хетафе сделать это было нельзя, поэтому он

обратился ко мне с просьбой разрешить привезти эту девушку в Алькала, где по субботам инструкторам разрешалось брать в полет гражданских лиц.

С капитаном Пересом Пардо, бывшим в Мелилье моим летчиком-наблюдателем, меня связывала старая дружба, оборвавшаяся после трагических событий, о которых я расскажу позже.

Пикос{113}, как его называли в авиации, имел, на мой взгляд, несколько слабостей, не влиявших, однако, на мою привязанность к нему. Одна из них - восхищение всем, что имело хотя бы малейшее отношение к аристократии. Он страшно огорчался, что у него «простая» фамилия Перес, а поэтому подписывался Перес Пардо. Другой причиной его переживаний был нос, очень маленький и немного искривленный. К этому следует добавить его страсть изысканно одеваться и влюбчивость.

В тот вечер мне не очень хотелось быть в обществе Пикоса и его симпатии, так как, по всей вероятности, речь шла о какой-нибудь скучной девице из «высшего общества» (именно такие обычно нравились капитану), но я все же пошел ему навстречу. План приняли такой: я заеду за ними на своей машине, мы пообедаем у меня в Алькала, затем совершим полет, и я отвезу их обратно в Мадрид. На этом моя миссия заканчивалась.

В субботу, явившись за ними в кафе парка Ретиро, я нашел Пикоса в обществе двух девушек, очень похожих друг на друга. Они сразу произвели на меня прекрасное впечатление, хотя в то утро я был не в лучшем расположении духа. Немного стесняясь, Пикос представил меня Пити и ее сестре Констанции, вынужденной сопровождать их, так как мать не разрешала Пити ехать одной. [255]

Не буду подробно останавливаться на том, как постепенно, по мере знакомства с Констанцией де ла Мора, исчезало мое плохое настроение. Обед, которым угостила нас Сенья Алехандра, понравился моим гостям. Поскольку Пикос был всецело занят флиртом, Констанция и я могли спокойно разговаривать и изучать друг друга. Судя по тому, как быстро прошло для нас время, результат этого взаимного изучения, видимо, был благоприятным. После обеда мы поехали на аэродром. Я летал с обеими сестрами, и лишь поздно ночью мы вернулись в Мадрид. Все, мне кажется, остались довольны. Во всяком случае, у меня встреча оставила настолько приятное впечатление, что при прощании я предложил Констанции увидеться на следующий день.

* * *

История Констанции де ла Мора, или Кони, как ее все называли, - редкая для ее среды. Ее отец - землевладелец, директор компании «Электра» в Мадриде, мать - дочь Антонио Маура, главы консервативной партии. Оба типичные представители крупной испанской буржуазии.

Когда я познакомился с Кони, ей было 25 лет. В 20 лет она вышла замуж, но вскоре рассталась с мужем, о чем откровенно написала в своей книге «Вместо роскоши». Кони жила в Мадриде с четырехлетней дочерью Лули.

Эта сторона жизни Кони не представляла собой ничего особенного. Удивляло другое: она, дочь весьма обеспеченных родителей, зарабатывала себе на жизнь, служа в магазине. Кони предпочитала жить скромно, но независимо. В роскошном доме родителей ей не пришлось бы заботиться о материальной стороне своего существования, но она должна была бы приспосабливаться к среде, внутренне чуждой ей, и мириться с идеями, которые далеко не всегда разделяла. Однако больше всего удивляли родных и друзей ее твердые политические убеждения. Они не могли понять, как женщина их класса может быть искренней и горячей сторонницей республики.

* * *

В какой- то степени Мадрид похож на деревню. Наши отношения с Кони вскоре стали общим достоянием и даже предметом обсуждения. Легкомысленные и счастливые, как все влюбленные, мы ничего не предпринимали, чтобы воспрепятствовать сплетням. Обычные пересуды длились до тех пор, [256] пока не стало известно, что Кони и я решили пожениться. Мы ждали только момента, когда кортесы примут закон о разводе.

Друзья и родные Кони, до этого делавшие вид, что не знают о наших отношениях, услышав, что речь идет о браке, приложили все силы, чтобы помешать ему. Они всячески пытались убедить Кони в том, что развод с первым мужем невозможен. Но все уговоры оказались тщетными. Наконец отец после продолжительной беседы с ней предложил предпринять необходимые шаги перед Ватиканом, чтобы получить разрешение папы римского на развод. Но Кони отвергла и это предложение. Она не желала участвовать в отвратительном фарсе, который нужно было разыграть, чтобы добиться в Риме аннулирования

брака, и не хотела, чтобы отец заплатил Ватикану несколько тысяч дуро.

Среди моих родственников известие о женитьбе на разведенной произвело эффект разорвавшейся бомбы. Хотя различие в политических взглядах внесло некоторую холодность в наши отношения, до этого момента они оставались почти нормальными. Узнав о предстоящей свадьбе, сестра Росарио пришла в негодование. Спросив меня, правда ли, что я женюсь, и получив утвердительный ответ, она без обиняков заявила, что, если этот брак не получит освящения церкви, она будет рассматривать Кони как одну из моих подружек, а не законную жену и уж конечно никогда не примет в своем доме. Это была наша последняя встреча. Больше я никогда не видел свою сестру.

* * *

Наша жизнь совершенно изменилась. Мы с Кони имели много друзей, человечных и понимающих нас, с которыми к тому же нас объединяла общность взглядов.

Кони работала в магазине, торговавшем кустарными изделиями и расположенном напротив здания конгресса. Магазин принадлежал Сенобии Кампруби. Судьба Сенобии тоже была необычной. Она вышла замуж за Хуана Рамона Хименеса, ставшего впоследствии одним из лучших поэтов мира (в 1956 году он получил Нобелевскую премию). Я восхищался Сенобией и питал к ней искреннюю симпатию. Раньше мне никогда не приходилось встречать таких женщин. Решительная, образованная, настоящая светская дама, она не чуралась никакой работы, в отличие от многих недалеких девушек из ее круга, и, за что бы она ни бралась, все делала с большой охотой. [257]

Сенобия была искренней и горячей республиканкой и верила, что республике предстоит свершить в Испании много славных дел.

Она сама управляла собственной небольшой машиной и возила на ней своего знаменитого супруга. Прекрасно владея французским и английским языками, она поддерживала знакомство с иностранцами, главным образом американцами, проживавшими или приезжавшими в Мадрид. Меблированные комнаты, которые она сдавала им, являлись главным источником доходов этой четы и давали возможность Хуану Рамону полностью посвятить себя поэзии, не заботясь о материальной стороне жизни.

Сенобия и Кони были близкими подругами. Сенобия

относилась к Кони с любовью и всегда поддерживала ее в трудные минуты. Я сразу же подружился с этой женщиной. И не удивительно: она оказалась очаровательным человеком. С ее мужем у меня тоже установились очень сердечные отношения, хотя мы были совершенно разными людьми.

Хуан Рамон имел довольно трудный характер. Обычно он сидел в своей рабочей комнате, куда не проникал ни единый звук. Вытащить его оттуда нельзя было никакими силами, хотя врачи советовали ему больше дышать свежим воздухом. Он тоже являлся горячим и искренним республиканцем.

Такого человека, как Хуан Рамон, я встретил впервые. Его отношение к окружающему, его мысли и поведение, - одним словом, все в нем казалось мне странным.

Очень черная аккуратно подстриженная борода, подчеркивающая белизну его зубов, черные глаза и белые холеные руки придавали ему вид сказочного арабского принца, одетого по-европейски. Он производил впечатление человека с очень слабым здоровьем. Его вечно отсутствующий взгляд говорил, что он думает только о возвышенных материях.

Наверное, его тоже удивляли и мой характер и манера вести себя, и он смотрел на меня как на диковинку.

Они часто приглашали нас к себе на обед.

Помню, как обрадовалась Сенобия, когда однажды, услыхав мой рассказ об охоте на дроф, поэт выразил желание посмотреть на нее.

Когда мы приехали в Алькала, я поднялся на самолете в воздух, и через несколько минут мне удалось отделить от стаи одну дрофу. Заставив ее несколько раз пролететь над аэродромом, обессиленную, я вынудил ее наконец сесть на поле, где птица и была поймана. [258]

Я радовался, что смог показать этот номер Хуану Рамону. Но к своему большому удивлению, увидел, что ему совсем не понравилось это зрелище, хотя он и ничего не сказал мне. По дороге в Мадрид мы увидели удивительно красивый закат. Вид его привел Рамона в восхищение и, казалось, отчасти компенсировал неприятное впечатление, произведенное охотой.

Вообще, видимо, поездки в Алькала не доставляли удовольствия этому человеку. Во второй раз он приехал на аэродром посмотреть упражнения по высшему пилотажу. Я пригласил его лишь потому, что мне показалось, он заинтересовался тем, как летают вверх колесами.

Посмотрев первые фигуры, он совершенно откровенно заявил, что уезжает, ему очень не по себе, так как его все время преследует мысль, что мы разобьемся.

Я знал о многих странностях Хуана Рамона. Сенобия рассказывала о них Кони, а та, естественно, сообщала мне. Через нее я узнал, что на Хуана Рамона произвели впечатление непринужденность, с какой я говорил о страхе, испытанном мною во время боевых полетов в Марокко, и мой рассказ об участии в восстании на аэродроме «Куатро виентос». Его это приятно удивило, ибо он, как и большинство интеллигентов, представлял себе военных хвастунами, грубиянами и т. д. или же такими, как их обычно изображали в комических пьесах: вечно бывающими не в духе и готовыми в любую минуту и в кого угодно выпустить обойму своего пистолета.

Не обнаружив во мне этих отрицательных черт, не найдя и многих хороших, у него сложилось в общем благоприятное впечатление обо мне. Это явилось одной из причин того, что сложный и трудный по характеру Хуан Рамон снизошел до таких сердечных и дружеских отношений со мной, что спустя несколько месяцев мы перешли с ним на «ты». А с человеком его склада это случается крайне редко.

* * *

После восстания 10 августа процесс разделения испанцев на два лагеря резко усилился. Определяли свое место нейтральные и безразличные: одни присоединялись к правому лагерю, другие - к левому. Все наши родственники, как и большинство старых знакомых и друзей, находились в лагере правых. Другого нельзя было и ожидать. Число лиц, объективно оценивавших события, все уменьшалось. После известия о нашей свадьбе поведение родственников и многих [259] знакомых стало настолько вызывающим, что мы вынуждены были вообще прекратить связи с ними. Это не очень огорчало нас. Они не заслуживали нашей привязанности, ибо их позиция по отношению к нам была несправедливой и аморальной. Я говорю аморальной, так как они предпочли бы, чтобы Кони была моей любовницей, лишь чуть соблюдая внешние приличия, но только не законной женой по правилам гражданского брака.

Относился я к этим людям совершенно определенно: если кто-нибудь намекал на мое поведение или мои убеждения, я просто посылал их к черту!

Дело не в том, что я был абсолютно нетерпим к мнению других. Но презрение ко всему республиканскому, постоянно сквозившее в их словах, настолько оскорбляло меня, что молча выслушивать подобные высказывания я не намеревался. Правда,

оно не было чем-то новым. Эти люди презирали простой народ давно и откровенно, но они не проявляли открыто свои чувства, пока народ не попытался поднять голову. А произошло это с установлением республики.

Они считали совершенно естественным, что народ трудится на них и служит им, и ссылались на очень удобное для них утверждение церкви о вечном существовании бедных и богатых. При этом они видели справедливость в том, чтобы сажать простых людей в тюрьму при их малейшей попытке улучшить свою жизнь.

Рожденные и взращенные в «высшей» среде, они не могли не питать ненависти и презрения к беднякам.

Я мог бы привести бесчисленное количество фактов в подтверждение этого, но, чтобы не быть многословным, приведу лишь один, необычайно возмутивший меня.

Мой кузен Пепе, будучи порядочным человеком, не рассказывал о своих любовных похождениях, но однажды по причинам, которые незачем приводить здесь, все же вынужден был посвятить меня в свои отношения с одной известной мне дамой. Эта замужняя женщина, имевшая двух сыновей, красивая и приятная, иногда приезжала в Мадрид провести день с Пепе, а вечером с последним поездом возвращалась домой.

Как- то мы встретились на мадридском вокзале, и я оказался с ней в одном купе. Страшно возмущенная, она заявила, что не понимает, как Пепе и я могли стать республиканцами и «смешаться» с «чернью», которая отрицает мораль и религию, хочет разрушить семью и т. д. и т. п. С изумлением я слушал эту даму. И как было не удивляться! Замужняя [260] женщина, имеющая детей и специально приезжающая к любовнику, еще осмеливается с серьезным видом говорить об отсутствии морали и религии у «республиканской черни» и читать мне наставления!

Кони владела настоящая страсть к древним памятникам нашей страны. Обычно о них мало кто знал. В конце недели мы организовывали туристские экскурсии, постепенно открывавшие перед нами необычайные красоты нашей родины.

Сначала мы посетили окрестности Мадрида: замки, монастыри, деревни, города, - одним словом, все достопримечательности Кастилии, почти неизвестные мне.

Готовясь к очередной экскурсии, я читал путеводители. Когда я встречал описание тех мест, через которые некогда проезжал, не обращая внимания на них, мне казалось, что речь идет о каких-то чудесных, недоступных мне красотах за границей.

Порой мы с Кони забирались далеко в глубь страны. После таких путешествий Испания с ее природой, богатствами и,

конечно, людьми становилась нам еще дороже.

Однажды мы собрались посетить в провинции Гвадалахара, в Пастране, могилу принцессы Эболи, фаворитки Филиппа II. К нам присоединились двое знакомых американцев, муж и жена. Муж, Боб Стунтс, известный журналист, работал в американском телеграфном агентстве. Его жену, очаровательную женщину, тоже звали Кони. Они несколько лет жили на Кубе, и оба хорошо говорили по-испански.

Мы свернули с шоссе, чтобы пообедать, но наша машина застряла на лугу. Не будучи в силах вытащить ее самостоятельно, мы отправились в ближайшую деревню и попросили помощи у первого встретившегося нам крестьянина. Он взвалил себе на плечи две большие доски, пошел к машине и вскоре почти без нашей помощи вытащил ее.

Боб Стунтс попытался помочь крестьянину отнести одну из досок, но тот без тени прислужничества отказался от его помощи, как хозяин, не желающий причинить беспокойство своим гостям.

На прощание Боб хотел дать ему банкноту в пять дуро. Но крестьянин не взял денег и распрощался, пожелав доброго пути. Его поведение глубоко поразило американцев.

Сколько чувства собственного достоинства было в словах и действиях этого простого крестьянина, который, вероятно, не умел ни читать, ни писать и для которого 25 песет были большой суммой! [261]

Боб и его жена не забыли этого случая. Много лет спустя я слышал, как Боб в разговоре с группой американцев, обсуждавших характерные особенности разных народов, сказал, что самыми благородными людьми, когда-либо встретившимися ему в жизни, были крестьяне Кастилии.

Я всегда восхищался крестьянами Гвадалахары. Мне довелось довольно продолжительное время общаться с ними. Большинство солдат аэродрома Алькала родились в этой провинции. Пепе Легорбуру в бытность начальником школы, разъезжая по провинции, всегда брал с собой кого-либо из солдат и разрешал им проводить конец недели со своими родными. Эти короткие отпуска и жест начальника, бравшего в свою машину солдат, доставляли им и их родителям большую радость. Сменив его на этом посту, я с удовольствием продолжал введенную им традицию.

Такие поездки давали мне возможность знакомиться с жизнью семей моих солдат. Это были в основном крестьяне, которые имели собственные клочки земли, но настолько крошечные, что не могли прокормить своих владельцев, вынуждая их часть года работать батраками на полях крупных

землевладельцев.

Мне горько описывать внешний вид этих крестьян: худые, небольшого роста, с бронзовой кожей, обычно не бривщиеся по нескольку дней, с черной густой бородой, в страшно потрепанных от долгого ношения вельветовых брюках, фахе{114}, жилетке и берете. Они были почти сплошь неграмотны; жилища их малы и бедны. Когда я слышу разговоры о строгости и воздержанности кастильского крестьянина, то невольно думаю, что иным он и не мог быть. Отсутствие элементарных удобств, тяжелый климат, постоянное недоедание - в таких условиях разболтанный и неумеренный не смог бы выжить.

Но этот крестьянин одарен природным умом, которому мне не раз приходилось удивляться. Он рассуждает с изумительной логикой, как прирожденный философ, и с уверенностью человека, хорошо знающего жизнь, хотя обычно никогда не выезжает за пределы своей деревни. Достоинство и гордость - основные черты его характера. Без преувеличения должен сказать, что все люди из простого народа, с которыми я познакомился в провинции Гвадалахара и в Алькала, были честными и порядочными. [262]

Когда наконец был принят закон о разводе, Кони подала прошение. Дело рассматривалось в суде, который признал Кони правой и поручил ей опекунство над дочерью до ее совершеннолетия.

Мы решили, не откладывая, зарегистрировать свой брак, но не в Мадриде, а в Алькала-де-Энарес, предполагая, что там осуществить наше намерение проще. Как и следовало ожидать, родные игнорировали это событие. Ни один родственник Кони не приехал на свадьбу, с моей стороны присутствовал только кузен Пепе.

Это был первый после принятия в Испании закона о разводе случай гражданского брака в нашей среде, поэтому он вызвал много толков. В отличие от родственников, многие передовые люди считали наше решение великолепным. В день свадьбы они приехали в Алькала, чтобы поздравить нас.

Нашими свидетелями выступали Прието, Марселино Доминго, Хуан Рамон Хименес и Хосе Арагон. Присутствие двух министров не прошло незамеченным в Алькала. Многочисленные друзья и симпатизирующие нам люди добровольно присоединились к гостям. Таким образом, неожиданно перед зданием суда, где проходила регистрация брака, собралась огромная толпа людей, и наша скромная свадьба превратилась в акт проявления симпатий к республике.

Не остались в стороне и правые. Некоторые реакционно настроенные судейские чиновники попытались воспрепятствовать

нашему бракосочетанию, ссылаясь на отсутствие некоторых подробностей в документах. Судья прервал церемонию и, не желая ничего объяснять, ушел.

Подобную провокацию и оскорбление министров оставлять было нельзя. Прието, как и я, был страшно возмущен. Мне редко приходилось видеть его в таком бешенстве. Узнав о происходящем, собравшиеся стали решительно проявлять свое недовольство. Дело принимало настолько серьезный оборот, что Прието и Доминго пришлось успокаивать собравшихся. В конце концов заместитель судьи, опасаясь последствий, решил заменить сбежавшего и оформить наш брак.

Когда мы выходили на улицу, уже как муж и жена, толпа собравшихся, до этого чуть не штурмовавшая здание суда, устроила нам восторженную встречу, которая с лихвой компенсировала неприятности, доставленные проклятым судьей и его грубостью.

Все кончилось хорошо, если не считать незначительного инцидента, вызванного щепетильностью Хуана Рамона. Нам [263] сказали, что для регистрации брака жених и невеста должны иметь по два свидетеля, по закону же, как оказалось, требовалось только по одному. После того как на брачном свидетельстве поставили свои подписи Прието и Доминго и наступила очередь Хуана Рамона и Хосе Арагона, им заявили, что их подписи не нужны, Арагон не придал этому никакого значения, а Хуан Рамон счел себя оскорбленным, решив, что из-за министров им пренебрегли. Сенобия рассказывала, что он долго был на нас в обиде. Итак, Хуан Рамон в третий раз приехал в Алькала и снова пережил неприятность. Судьба решила сделать климат Алькала неблагоприятным для нашего великого поэта.

* * *

Прието постоянно снимал дом в приморском городе Аликанте, климат которого был ему очень полезен. Он использовал малейшую возможность съездить туда. Почти сразу же после нашей свадьбы Прието пригласил Кони и меня провести в Аликанте несколько дней с его дочерью Кончей.

Предложение было соблазнительным, тем более что от свадебного путешествия из-за неблестящего состояния наших финансов, расстроенных в связи с расходами по разводу, устройством квартиры и т. д., мы решили отказаться. Не заставляя себя упрашивать, мы приняли приглашение Прието. Несколько дней, проведенные в Аликанте в компании Кончи,

которую Кони и я очень любили, превратились в замечательный свадебный подарок.

Вскоре к нам присоединился дон Инда, приехавший в Аликанте на служебном автомобиле. На следующий день он предложил нам пообедать в скромной харчевне, стоявшей на шоссе у Торревиэха по пути в Картахену. Прието заверил нас, что там подают самые лучшие в мире креветки, каких мы никогда не ели, к тому же очень вкусно приготовленные.

Недалеко от этого места находился аэродром Лос-Алькасерес. Его начальником был майор Рикардо Бургете, один из наиболее благожелательно относившихся к республике летчиков. Мне пришла идея отвезти туда Прието и познакомить с ним. Кроме того, там дон Инда смог бы увидеть настоящий республиканский военный центр.

Я всегда восхищался Лос-Алькасересом и любил часами плавать на спортивной яхте по заливу Мар-Менор, наслаждаясь бризом и солнцем. Иногда я с удовольствием летал на гидросамолете, вспоминая время, проведенное на Мар-Чика. [264]

С назначением Рикардо Бургете командиром этой базы, ее достоинства значительно возросли. Во-первых, Рикардо и его жена Маруха были очень приятными людьми, и между нами установились дружеские отношения. С другой стороны, Бургете удалось создать в Лос-Алькасересе атмосферу, все больше проникавшуюся республиканским духом. Личный состав любил и уважал своего командира. Немногочисленные офицеры, не симпатизировавшие республике, без всякого давления, сами постепенно уходили с базы.

Все свое время Бургете посвящал аэродрому. Здесь были прекрасно организованы учебные занятия. Большое внимание уделялось быту солдат. Для улучшения их питания при базе создали огород, сад, животноводческую ферму, ловили рыбу. Все это и совершаемые через каждые 15 дней полеты в Гибралтар за продуктами, которые продавались там по очень низким ценам, давало возможность отлично кормить солдат.

Но самая большая заслуга Бургете - ему удалось превратить аэродром Лос-Алькасерес в оплот республики. Когда началась гражданская война, личный состав базы мужественно встал на защиту республиканских завоеваний.

Приехав в Лос-Алькасерес, мы отправились к Рикардо на квартиру. Его беспокоила старая рана, и он лежал в постели. Рикардо очень обрадовался визиту Прието, и, как мы ни убеждали его не вставать, решил сам показать нам базу.

В связи с этим мне хочется рассказать об одном

незначительном, но довольно любопытном эпизоде, который произошел при осмотре кухни. Этот случай пополнил запас забавных историй Прието.

Сержант, заведующий кухней, предложил Прието снять пробу с ужина, приготовленного для солдат. На подносе стояли аппетитно поджаренная рыба, мясное блюдо с гарниром, фрукты, четверть литра вина и кофе. Увидев столь обильную, красиво поданную еду, дон Инда подумал, что его хотят ввести в заблуждение, и, обратясь к сержанту, с некоторой иронией спросил, сколько денег ассигнуется на питание одного солдата. Когда ему назвали сумму - не помню какую, но очень незначительную, - министр счел это за шутку. Не желая давать повод для того, чтобы его считали глупцом, он полусерьезно-полушутя сказал: «А я думал, с тех пор как Христос приумножал количество хлебов и рыбы и превращал воду в вино, время чудес прошло. Я вижу, здесь с ним соревнуются весьма успешно. Приготовить солдату такой ужин за столь ничтожную сумму - это поистине чудо!» [265]

Позже Бургете рассказал, что сержант всегда старался хорошо накормить солдат. Сейчас же, видя, что министр считает себя обманутым, он впал в отчаяние и стал горячо объяснять, какими средствами творилось это чудо: рыба ничего не стоила, ее ловили матросы с катеров базы, обслуживавших гидросамолеты, овощи, фрукты, яйца доставлялись с огорода и фермы, а кофе, сахар и другие продукты покупались за четверть цены и переправлялись контрабандным путем из Гибралтара…

Услышав это, дон Инда притворно прикрыл себе уши и сказал ему: «Ради бога, не говорите мне о подобных вещах. Не забывайте, что, как министр финансов, я имею в своем распоряжении все средства бороться с контрабандой».

* * *

Как и до свадьбы, рано утром я отправлялся в Алькала и возвращался домой вечером. Кони работала вместе с Сенобией. Интересно было наблюдать, как политические изменения отражались и на составе покупателей магазина. Клиенты-аристократы исчезли. Постепенно их заменили представители средней буржуазии и люди либеральных взглядов.

Кони очень любила музыку. Обычно по воскресеньям мы с Хуаном Рамоном и Сенобией ходили на утренние концерты симфонического оркестра. Но основными нашими развлечениями были экскурсии в горы и туристские прогулки.

Через несколько недель после свадьбы мои взаимоотношения с Лули, дочерью Кони, стали нормальными и даже хорошими, то есть такими, как между отцом и дочерью. У нас никогда не возникало ни малейшего намека на неприязнь к друг другу. Я полюбил Лули, и она отвечала мне тем же, признавая за отца, чем явно была довольна.

Родители Кони настойчиво просили отпускать к ним Лули в конце недели. Кони согласилась. Это был единственный сохранившийся контакт с ее семьей. Отец Кони продолжал ежемесячно пересылать ассигнованную ей еще до нашей свадьбы сумму, но мы решили откладывать эти деньги в банк на имя Лули до ее совершеннолетия, когда она сама смогла бы распоряжаться полученными накоплениями.

В тот период я впервые увидел советские фильмы. Первый из них, мне кажется, был «Путевка в жизнь», история группы беспризорных детей 12-17 лет, появившихся в России после гражданской войны. Мы вышли из кинотеатра, потрясенные этой ужасной трагедией. Второй, «Броненосец «Потемкин», [266] взволновал нас еще больше. Не забуду, с каким вниманием публика следила за ходом действия картины. Мне кажется, у всех зрителей нервы были напряжены до предела. Помню разговоры и споры, возникшие среди наших знакомых по поводу этих фильмов. Впервые эти споры заставили меня серьезно задуматься над тем, что есть страна, где народная революция в корне изменила существовавший порядок вещей.

Трудно поверить, но такое важное событие, как русская революция, очень мало обсуждалось в нашей среде. Источниками моей информации о том, что происходило в России, являлись три или четыре книги, написанные антисоветскими пропагандистами. В них рассказывалось об ужасных страданиях, которые пришлось пережить авторам, спасаясь от большевиков. Героями этих «произведений» обычно были бедные аристократы или несчастные девушки. Кроме этого, я знал о событиях в России из реакционных газет, только и читаемых мною до установления республики. Правая пресса мало писала о Советском Союзе, а если писала, то лишь для того, чтобы сообщить о необычайных злодеяниях и страшных подробностях гибели миллионов русских людей и других историях такого же рода. Эти сообщения всегда казались мне настолько преувеличенными, что вскоре я перестал обращать на них внимание.

Я имел самые смутные представления о взглядах и делах незнакомых мне русских коммунистов, однако некоторые считали меня большевиком. Друзья моей сестры спрашивали ее: «Что делает твой брат большевик?» Знакомые Кони тоже не раз

интересовались, правда ли, что мы большевики. Мне было совершенно безразлично, каково их мнение о нас, но казалось несколько забавным, что у меня может быть что-то общее с этими далекими революционерами.

Однажды Пепе Легорбуру сообщил мне, что военное министерство решило направить в наиболее крупные государства авиационных атташе, и посоветовал попросить о назначении на один из этих постов. Он заметил, что подобное назначение дало бы мне возможность ознакомиться с зарубежными странами и одновременно расширить свои знания в области современной авиации. Позже я узнал, что этот совет в какой-то степени был инспирирован моими братьями, считавшими полезным для меня на некоторое время покинуть Испанию.

Пепе хотелось поехать авиационным атташе в Москву, и он очень сожалел, что в этой столице не было нашего посольства. Тогда я впервые узнал, что Испанская республика не имела [267] дипломатических отношений с Советским Союзом. Такая позиция республиканского правительства меня несколько удивила, но, откровенно говоря, я не стал особенно задумываться над этим.

После долгих размышлений я решил попросить о назначении в Мексику - интересную страну, с которой мне хотелось познакомиться поближе.

Я подал рапорт и спустя два месяца с удивлением и разочарованием узнал, что меня направляют авиационным атташе при посольстве Испании в Риме и одновременно в Берлине. Руководствуясь причинами экономического порядка, правительство упразднило должности авиационных атташе в южноамериканских странах.

По сугубо личным соображениям я принял новое назначение, хотя меня не привлекала жизнь ни в нацистской Германии, ни в фашистской Италии.

Знакомые поздравляли меня, как будто мне выпал выигрыш в лотерее. Я же чувствовал себя несколько неловко, словно республика платила мне столь блестящим назначением по предъявленному мной счету.

Колебания и угрызения совести, овладевавшие мною при мысли покинуть Испанию в такое неспокойное время, оставили меня, как только мы с Кони прибыли в Италию и поняли, что жизнь улыбается нам. Лули мы оставили у дедушки и бабушки до нашего окончательного устройства в Риме.

Часто мы, испанцы, бываем смелыми в силу своего легкомыслия и невежества, но не желаем признаваться в этом. Говорю так, вспоминая, с какой беззаботностью, с каким спокойствием сели мы в Барселоне в самолет итальянской

авиалинии, совершенно не думая о трудностях, с которыми нам обязательно придется столкнуться.

Я ничего не знал ни об Италии, ни о фашизме. Предстояло действовать в сложной и неизвестной мне политической обстановке. Кроме того, я не имел ни малейшего понятия и о том, что представляло собой посольство. Но самое поразительное, чему я удивляюсь до сих пор, - отправляясь в Рим, я не знал конкретно, каковы мои обязанности. Никто не дал мне никаких инструкций относительно этой «небольшой детали».

Ни в военном министерстве, ни в авиационном штабе я не получил никаких указаний. Прощаясь с министром, начальником главного штаба и другими военачальниками авиации, мы разговаривали о многих вещах. Асанья прочел мне настоящую [268] лекцию о римских развалинах. Офицеры отпускали шуточки насчет «капризных римлянок», но никто не говорил о моей предстоящей работе, а мне не пришло в голову спросить об этом.

Это ли не доказательство, что мы жили в Испании, в «самом лучшем из миров»! Военные атташе других стран очень серьезно занимались информационной работой, похожей на шпионаж. Нас это не интересовало, мы полагали, что шпионы существуют только в детективных романах.

Гидросамолет итальянской пассажирской линии делал посадку в Марселе. Нам захотелось осмотреть этот город и съездить на Голубой берег. Не раздумывая, мы уладили дело с билетами и провели несколько приятных дней в Ницце и Монте-Карло. Затем прибыли в Остию - римский порт.

Так началась довольно беспокойная пора в моей жизни.

Дипломатический период

Мое знакомство с дипломатическим миром началось на следующий день утром. К нам в гостиницу приехал первый секретарь посольства Хуанито Ранеро. Он имел внешность настоящего дипломата, каким я его себе и представлял: безупречно одетый, изящный и довольно франтоватый.

Я не знал, каковы его политические взгляды, друг он мне или недруг, но его любезность казалась естественной и произвела на меня хорошее впечатление.

Должен сказать, что всегда предпочитал людей излишне любезных слишком грубым, изрекавшим неприятные вещи, пусть даже они были правдой. Грубость, характерная для многих арагонцев и в меньшей степени для моих земляков - риохцев, всегда задевала меня. Я считаю бестактным, встретив мнительного друга, сокрушенно заметить ему: «Я думаю, ты

долго не протянешь!» - или, увидев полную даму, соблюдающую строгую диету и всеми способами стремящуюся похудеть, сказать ей: «Что ты делаешь, чтобы полнеть день ото дня?».

Неужели такие люди не понимают, насколько неприятна их правдивость.

Хуанито Ранеро поэтому и произвел на меня хорошее впечатление. Я был признателен ему за то, что он явился приветствовать нас. Затем Ранеро отвез меня на своей машине [269] представить в посольство и в первое время помогал в работе. Когда я говорю о плохом впечатлении, произведенном на меня дипломатами, то должен сделать исключение для Хуанито Ранеро. Хотя Ранеро являлся стопроцентным дипломатом, он был умен и умел непринужденно держать себя.

Испанское посольство в Риме находилось недалеко от Киринала{115} (позже речь пойдет о посольстве при Ватикане) и занимало старинное импозантное здание палаццо Барберини. Нашим послом был Габриель Аломар, известный профессор, друг Асаньи, прекрасный человек и убежденный республиканец. Однако целый ряд недостатков сводил на нет все его достоинства. Он меньше всего подходил для представителя молодой Испанской республики в фашистской Италии.

Министр- советник{116} и секретари посольства чувствовали себя оскорбленными, представляя строй, осмелившийся изгнать из Испании королей и «бедных наследничков» и выдвинувший на ответственные должности каких-то плебеев. Эти люди вели себя как лакеи из знатных домов, вынужденные прислуживать семье простого буржуа. Они чувствовали себя униженными, хотя новые хозяева относились к ним с большим уважением и учтивостью, нежели прежние.

В разговорах с дипломатами других стран и со знакомыми из римского общества мои товарищи по посольству считали необходимым извиняться за действия своего правительства.

Естественно, при таком отношении к республике они не помогали бедному послу, а лишь старательно подчеркивали его многочисленные ошибки, которые он допускал из-за незнания дипломатических обычаев и жизни светского общества. Правда, делали они это тактично, боясь потерять свои должности, поистине теплые местечки. В те времена жизнь дипломатов в Риме была настоящим раем.

Обычно в посольство они приезжали на своих автомобилях в половине одиннадцатого и не спеша принимались обсуждать обед или бал, прошедшие накануне. Их гораздо больше занимали различные нарушения дипломатического этикета, нежели международная обстановка. Тот факт, что секретаря посадили на

не положенное ему место, служил поводом для длительных и горячих споров. Не забывали и о дамских туалетах, проявляя при их оценке удивительные познания. Мужчины тоже попадали под огонь их суровой критики. Меня [270] возмущало презрение, с каким эти люди говорили о каком-нибудь бедном дипломате, не умевшем изящно носить фрак. Помню, как однажды они все утро горячо спорили на тему, носить ли с визиткой и брюками в полоску обычный галстук или пластрон. Разговоры были столь бессодержательны, что порой я начинал сомневаться, всерьез ли они ведутся.

Закончив дискуссию, все садились за рабочие столы, на которых уже лежали разложенные канцлером газеты. Великие дипломаты, вооружившись большими ножницами, вырезали из них статьи, которые считали интересными, и наклеивали на чистые листы бумаги. На основе этого «материала» они составляли доклады, посылаемые диппочтой в министерство. В час дня, оставив ножницы, все отправлялись обедать или выпить аперитив со своими друзьями в каком-нибудь ресторане на Виа-Венета{117} и возвращались в посольство только в том случае, если устраивался обед или прием.

Контраст между роскошным дворцом, в котором располагался посол, и помещением, где работали остальные сотрудники, был разительный. Канцелярия - так называлось здание, где находились наши кабинеты, - состояла из трех довольно неприглядных комнат: одна - для военного, морского и авиационного атташе, другая - для секретарей и канцлера, третья - для министра-советника. Канцлеры, несмотря на помпезное название, выполняли обязанности консьержей - привратников. Нашего канцлера, довольно проворного человека, звали Финокини. Он заботился обо всем, начиная с рассылки бесчисленного количества визитных карточек и букетов цветов, требуемых протоколом, и кончая опечатыванием отправляемой в Испанию дипломатической почты, в которой сообщалась «важная, секретная информация». Само собой разумеется, что Финокини информировал итальянскую разведку и о том, что делалось в посольстве, и о содержании диппочты. К счастью, наша работа была настолько безобидной, что не имела секретов, которые следовало бы охранять.

* * *

Без показной наивности должен признаться, что сначала не совсем понимал, почему в Мадриде поздравляли меня с

назначением в Рим, будто я получил самый крупный выигрыш по лотерее. Но вскоре понял: назначение было не из обычных - независимая должность, несложная работа, а материальное [271] положение - лучше и желать нельзя. Точно не помню, какое жалованье я получал, но мы с Кони могли жить, как говорится, на широкую ногу. Кроме того, мне выплачивали наградные в золотых песетах и выдавали значительную сумму на представительские расходы. Я имел и ряд других источников доходов, увеличивавших мои финансовые возможности. Например, одной из основных моих обязанностей являлось посещение самолетостроительных, моторостроительных заводов и других авиационных учреждений, расположенных в различных районах Италии. На эти поездки выдавали командировочные и сверх того платили за каждый километр пути.

Маршруты я выбирал сам, поэтому, не переступая границ законности, комбинировал деловые поездки с туристскими. Например, осмотр моторостроительного завода в Неаполе давал возможность побывать в Помпее или провести конец недели на Капри.

Как дипломату, мне предоставлялись определенные льготы. Так, при покупке иностранных товаров мы освобождались от пошлин и пользовались некоторыми другими скидками. Таким образом, за самую дорогую модель автомобиля «рено», стоившую в Париже 26000 франков (1933 год), я заплатил 15000 франков, то есть почти половину ее настоящей цены. Даже одежда, заказанная в Лондоне, стоила нам вдвое дешевле, чем остальным.

Одной из главных статей расходов был бензин. Мы проводили жизнь в путешествиях, и машина пожирала много горючего. Но и здесь не возникало проблемы: бензин обходился дипломатам наполовину дешевле, чем другим смертным. Кроме того, мы имели специальные бензоколонки, чтобы не стоять в очередях.

Во многих первоклассных гостиницах мы платили за номер на 20 процентов меньше, чем остальные. Очевидно, владельцы отелей были заинтересованы в том, чтобы у них останавливались дипломаты, и у подъезда стояли автомобили со знаком «ДК» {118}. В нашем распоряжении имелись специальные магазины с лучшими винами, ликерами, табаками и высококачественными продуктами, которые продавались по необычайно низким ценам. И такие преимущества нам предоставлялись во всем.

Первым важным лицом, с которым я познакомился в фашистской Италии, был генерал Итало Бальбо, министр авиации. [272]

Меня представил ему полковник Лонго, начальник

иностранного отдела министерства, опекавший авиационных атташе в Риме. Лонго я знал еще в бытность его инструктором в школе морских летчиков в Барселоне. Это знакомство облегчило мои официальные отношения с министерством авиации.

Мебель в кабинете министра была настолько роскошной и современной, что казалось, она предназначена специально для того, чтобы произвести впечатление на посетителей. Генерал Бальбо, молодой, высокий, с черной бородой, в яркой форме итальянской авиации, выглядел весьма колоритно и хорошо вписывался в обстановку своего кабинета. Во время первой встречи я не успел составить себе определенного мнения о нем: из пяти минут моей аудиенции три он разговаривал по телефону. Министр не задал мне ни одного вопроса об Испании.

* * *

Вскоре я убедился, что не силен в истории Италии. Решив восполнить этот пробел, я вместе с Кони записался на организованные для иностранцев курсы по истории и археологии этой страны. Занятия оказались интересными, и не только потому, что их вели высококвалифицированные педагоги - известные историки и археологи. Огромное удовольствие доставляли осмотры выдающихся памятников и исторических мест. Между прочим, во время одной из экскурсий мне стало не по себе, когда я услышал о варварстве наших предков в период их господства в Италии.

Кто- то из слушателей спросил преподавателя, почему в Помпее довольно хорошо сохранились многие дома, тогда как в Эркулануме, расположенном рядом с ней и находившемся в таких же условиях, здания сильно пострадали. Обращаясь к Кони и ко мне, руководитель группы попросил не обижаться на его ответ: в этом виновны испанцы. Обнаружив место расположения Эркуланума, они начали бурение и раскопки без предварительно разработанного плана, не заботясь о непоправимых разрушениях, причиняемых таким методом, ибо преследовали только одну цель: отыскать и захватить богатства, находящиеся там.

На курсах мы познакомились с молодой приятной немкой, дочерью богатого промышленника из Мюнхена. Ее звали Лизелотта. Незадолго до этого она развелась с мужем, австрийским графом, чем вызвала неудовольствие родителей, гордившихся тем, что их дочь - графиня. [273]

Мы стали друзьями. Лизелотта была настроена либерально. Она испытывала антипатию к нацистам и с отвращением

говорила об атмосфере насилия, царившей в ее стране. По окончании курсов она вернулась в Германию. Через некоторое время мы получили письмо от ее отца, который благодарил нас за внимание, оказанное его дочери, и приглашал провести несколько дней в их родовом имении под Мюнхеном. Лизелотта настойчиво просила нас принять приглашение. Она очень скучала, и наш визит помог бы разрядить окружающую ее обстановку. Мы решили ехать. Я никогда не бывал в Германии. По неизвестным мне причинам правительство откладывало мое официальное представление в Берлине, где я считался аккредитованным в качестве авиационного атташе. Мне же хотелось поехать в Германию: любопытно было посмотреть, что все-таки представляют собой нацисты.

Мы отправились в путь на автомобиле. Пересекли Швейцарию, на пароме переправились через озеро Констанца и сошли на берег в Фридрихсгафене. Германия встретила нас черным траурным крепом и приспущенными флагами: за несколько часов до нашего приезда скончался президент Гинденбург. Поскольку наступил вечер, мы решили отложить дальнейшее путешествие до следующего дня и остановиться в гостинице. Ресторан, находившийся на первом этаже, служил одновременно и пивной. Когда мы ужинали, в зал вошли десять или двенадцать нацистов в коричневой форме, высоких сапогах, с красными повязками со свастикой на рукавах. Это были первые гитлеровцы, встретившиеся нам.

Они выглядели по-военному подтянутыми, их резкие движения и чванливый вид бросались в глаза. Нацисты приказали сдвинуть несколько столов. Им немедленно принесли большие кружки с пивом. Произнося тосты, они поднимали их и громко щелкали каблуками. Через некоторое время один из нацистов заметил нас и что-то сказал остальным. Все тотчас со свирепым видом повернулись в нашу сторону. Их взгляды выражали такое презрение, что, возмутившись, я громко сказал Кони: «Жалею, что не говорю по-немецки и не могу спросить у этих типов, что они имеют против нас». Мое поведение и иностранная речь заставили председательствовавшего нациста встать. Я решил, что он направляется к нам. Однако нацист обошел нас и приблизился к конторке администратора гостиницы. Коротко переговорив с ним, этот тип с недовольным видом вернулся к столу и что-то сказал своим приспешникам. После этого они перестали обращать на нас внимание. [274]

Эту сцену, проходившую весьма напряженно, трудно передать словами, и, возможно, недоставало какого-либо пустяка, чтобы она приняла плохой оборот. В ту пору в Германии усилились

подлые нападки на евреев. Внешность Кони и форма моего носа послужили причиной того, что нас приняли за евреев. Нам могло не поздоровиться, если бы главарю не пришло в голову справиться о нас у администратора.

Родители Лизелотты отвели нам замечательные комнаты со всеми удобствами в одной из башен своей резиденции. Жизнь и обычаи в этом доме в корне отличались от наших. Меня особенно поразило полное незнание его обитателями Испании и фантастическое представление о ее жителях, словно наша страна находилась на другом конце света. Нас считали экзотическими существами и удивлялись, что мы такие же, как все.

Лизелотта пересказала несколько любопытных суждений членов ее семьи об испанцах. Гостившие у них тетя и две кузины, узнав о нашем приезде, отложили свое возвращение домой. Они решили воспользоваться пребыванием в доме настоящих испанцев, чтобы научиться танцевать аргентинское танго, - по их мнению, самый типичный для Испании танец. Закупив все пластинки с танго, имевшиеся в Мюнхене, они подготовили для уроков один из салонов, Лизелотта рассказала, с каким нетерпением они ждали нас, мечтая потанцевать с настоящим испанцем.

Смерть Гинденбурга сорвала их планы, так как в течение восьми дней танцы и музыка, кроме похоронной, запрещались. Отец Лизелотты непреклонно следовал распоряжениям правительства, объявленным по случаю национального траура. В доме и в саду висели приспущенные флаги. Два раза в день он собирал в одном из залов всех членов семьи и слуг, заставляя их слушать траурные речи по поводу кончины Гинденбурга, передаваемые по радио. Он не разрешал ничего, что могло быть воспринято как развлечение, и даже отменил намеченную для нас экскурсию по Дунаю.

Такое малопривлекательное времяпрепровождение вынуждало нас с Лизелоттой часто ездить в Мюнхен. Там мы познакомились с испанским консулом, приятным арагонцем Даниелем Лопесом. Хорошо осведомленный о положении в Баварии, он рассказал о зверствах нацистов. Преследования евреев сопровождались дикой расправой. Лопесу удалось спасти несколько человек, вручив им испанские паспорта. [275]

Вид и поведение людей выдавали царящую в стране обстановку террора, которую никто не осмеливался осуждать, но все помнили о ней ежеминутно.

Довольно скоро мы заметили разницу между немецким нацизмом и итальянским фашизмом. Хотя любое проявление фашизма ненавистно и отвратительно, в Италии мы не

чувствовали такой атмосферы всеобщего насилия, как в Германии.

* * *

На третий день нашего пребывания в доме Лизелотты ее тетя и кузины, видимо уже не в силах сдерживать желания потанцевать с испанцем, решили прийти к нам в комнаты, когда все уснут. Разучивать танцы они собирались под патефон. В двенадцать часов ночи, когда мы, уставшие и находившиеся под гнетущим впечатлением услышанного в тот день от консула, собрались спать, пришла Лизелотта и сообщила, что, несмотря на все старания, ей не удалось отговорить родственниц отказаться от их намерения.

Через две минуты в нашей комнате появились три дамы в довольно странном виде: в элегантных платьях, скрытых под широкими домашними халатами, застегнутыми до подбородка, босые, с туфлями в руках. Они плотно закрыли двери и окна, разговаривая шепотом, словно заговорщики.

Нелегко представить себе эту сцену. Лизелотта и Кони в домашних капотах поверх ночных рубашек спокойно сидели и иронически смотрели на меня, как бы спрашивая: «Посмотрим, как Игнасио сумеет выпутаться из этой истории». Я был в пижаме и ночных туфлях и не знал, что делать.

Решив отнестись к этому философски, я оделся в ванной комнате и протанцевал с каждой из дам по два или три танца, а затем под каким-то предлогом приостановил праздничек.

Отцу Лизелотты кто-то сказал, что моя семья владеет винными погребами в Ла-Риохе, а сам я прекрасный дегустатор. Этот господин тоже владел виноградниками и гордился своими винами. Каждый вечер после ужина он спускался в погреб и приносил бутылку вина, желая узнать мое мнение о его достоинствах. Эта процедура возмущала Кони. Появляясь с бутылкой, хозяин дома приглашал меня за отдельный столик; при этом ему никогда не приходило в голову предложить рюмку вина Кони или кому-либо из присутствовавших дам.

Подобное времяпрепровождение не устраивало нас. Мы решили отправиться на несколько дней в Австрию, где [276] проходил знаменитый музыкальный фестиваль. Лизелотта поехала с нами. Путешествие оказалось довольно приятным. В Австрии мы провели четыре или пять дней, слушали оперу Бетховена «Фиделио», которая, честно говоря, не очень понравилась нам. Запомнилось еще, как смешно было смотреть в

театре на нарядно одетых женщин, обжиравшихся в антрактах сосисками и упивавшихся пивом.

Австрия произвела на нас хорошее впечатление. И австрийцы, с которыми мы общались, показались симпатичными.

Затем направились в Венецию, где я оставил Кони и Лизелотту, так как должен был присутствовать на военных маневрах в районе Болоньи. Когда учения закончились, я вернулся в Венецию. Втроем мы сели на пароход, решив полюбоваться берегами Далмации. Эта страна вызвала у нас восхищение. Мы провели несколько приятнейших дней в Рагузе, где на якоре стояли два русских парохода. Чудесные красоты Далмации напомнили нам Испанию.

* * *

Однажды в нашем доме в Риме появился известный испанский писатель дон Рамон дель Валье-Инклан. Мы знали о его назначении на пост директора испанской Академии изящных искусств в Риме, но время его приезда нам не сообщили.

Поскольку ни Кони, ни я не были знакомы с доном Рамоном, его неожиданный визит, естественно, удивил нас. Оказалось, он привез письмо от Прието, в котором дон Инда просил позаботиться о писателе, пока тот не освоится в Риме.

Видимо, мы произвели на дона Рамона неплохое впечатление, ибо он провел у нас целый вечер. Нам он тоже понравился.

Несомненно, дон Рамон, про которого столько говорили и писали, обладал довольно оригинальным характером. Я не претендую на исчерпывающую характеристику Валье-Инклана, но постараюсь вспомнить некоторые события, связанные с его полуторагодичным пребыванием в Риме, и поделиться своими впечатлениями о нем.

Мне кажется, впервые за свои 64 года дон Рамон смог вести в Риме образ жизни, о котором всегда мечтал.

В замечательном здании академии дон Рамон чувствовал себя как сеньор в собственном дворце. Его фигура прекрасно гармонировала с окружающим великолепием. Он был полной противоположностью нашего посла. Добрый Аломар чувствовал [277] себя настолько не на месте в необъятных залах палаццо Барберини, что казалось, будто он боится, как бы его не приняли за постороннего и не выгнали оттуда.

Дон Рамон одевался по всем правилам высшего света. Обычно он носил черный пиджак и брюки в полоску, а на приемы надевал

фрак, прекрасно сидевший на нем.

Из всех испанцев, проживавших в Риме, он выглядел самым элегантным. Борода, пустой рукав, очки наподобие тех, что носил великий сатирик Кеведо, и вообще вся его фигура привлекали внимание.

Из вторых рук он купил автомобиль, очень подходивший для его должности. У него был шофер-итальянец, одновременно выполнявший обязанности лакея. За столом он обслуживал его в перчатках и коротком белом пиджаке.

В первые дни в обществе дона Рамона я чувствовал себя стесненно, не зная, о чем говорить с ним. То, что приходило в голову, казалось банальным для беседы со столь важной персоной. Однако эта натянутость длилась недолго, дон Рамон держался непринужденно и, видимо, был доволен нашим обществом. Он сумел внушить доверие к себе, и между нами установилось полное взаимопонимание.

Говоря о наших отношениях с доном Рамоном, я не хочу сказать, что после приезда в Рим у него изменился характер. Валье-Инклан по-прежнему поражал своей оригинальностью и манерой поведения.

Жена писателя, оставшаяся в Мадриде, почему-то посылала ему письма в адрес нашего посольства. На конвертах она писала: «Господину дону Рамону дель Валье-Инклану, маркизу де Брадомин, автору «Божественных слов» и других, «не столь божественных». Посольство Испании. Рим». Столь необычный стиль всегда обсуждался нашими дипломатами, но делалось это сдержанно, ибо дона Рамона боялись.

Его первая дерзкая выходка в моем присутствии произошла у нас в доме. Сестра первого секретаря посольства Хуанито Ранеро, весьма манерная дама, желая показать свою интеллигентность и обратить на себя внимание, постаралась сесть рядом с доном Рамоном. Стремясь завязать беседу, она (уподобляясь тому господину, который страшно хотел рассказать в кампании об одном случае на охоте, но, не находя для этого удобного повода, громко воскликнул: «Пум» - и тут же добавил: «Кстати, говоря о выстрелах. Как-то на охоте»… и т. д.) произнесла «пум» и довольно жеманно [278] сообщила, что кончает читать книгу Ортега{119}, которая заинтересовала ее, но она хотела бы узнать мнение дона Рамона. Поглаживая бороду, Валье-Инклан уставился на свою соседку и вдруг спросил:

- Как, вы сказали, имя этого автора?

- Хосе Ортега, - повторила дама.

Тогда дон Рамон, устремив взгляд в потолок, как бы вспоминая что-то, ответил:

- Я не помню, чтобы когда-нибудь слышал об этом господине!

* * *

Отношение испанской церкви к республике мы чувствовали и в Италии. Организуемые ею паломничества в Рим превратились в настоящие антиреспубликанские демонстрации. В дни паломничеств на улицах Рима можно было видеть испанских женщин в традиционных, бросающихся в глаза мантильях. Они демонстративно несли монархические флаги и значки. Подобные выступления выглядели глупо и безвкусно, но некоторым людям трудно помешать быть смешными. Шествия в мантильях с высокими гребнями, что было бы кстати на севильской ярмарке, казались дурацким маскарадом на Виа-Венето и других римских улицах.

Однако на митинги против республики, беспрерывно организуемые паломниками по совету руководивших ими священников, при содействии местного духовенства и с одобрения фашистских властей, нельзя было не обращать внимания.

Но посол, хотя это входило в его обязанности, из боязни или робости не заявлял протест фашистским властям, допускавшим подобные акты, направленные против дружественной страны.

Чувствуя полную безнаказанность, паломники все больше наглели. Однажды в Рим прибыла группа паломников во главе с двумя священниками, намеревавшаяся посетить известный храм Браманте. Это замечательное здание находится на территории испанской Академии изящных искусств, и в нем всегда было много туристов. Вероятно, в тот день отмечался какой-то праздник, ибо на здании академии подняли республиканский флаг. Увидев его, один из священников потерял всякое самообладание [279] и стал выкрикивать оскорбления в адрес республики и ее правительства.

Разгневанный дон Рамон, находившийся в это время в академии, направился к нему и, потрясая палкой, назвал никуда не годным священником и предложил немедленно покинуть помещение. Видимо, Валье-Инклан выглядел весьма воинственно, ибо оба священника, не сказав ни слова, в сопровождении своей паствы покинули академию.

В связи с вопросом о паломниках не могу устоять перед желанием раскрыть маленький дипломатический секрет. Одного из секретарей испанского посольства при Ватикане{120}, моего хорошего друга, посол уполномочил принимать от фанатически верующих четки, образки и бутылочки с водой и освящать их благословением папы римского в Ватикане, а затем возвращать все эти вещи нетерпеливо ожидавшим владельцам.

Секретарь не верил в чудеса и складывал четки и прочие вещи к себе в ящик. Там же хранилась бутылка виски, которым он всегда угощал меня. Через два дня, даже и не подумав отнести врученные ему предметы в Ватикан, он торжественно возвращал их паломникам.

* * *

Мне бы не хотелось, чтобы нарисованный мною портрет дона Рамона послужил подтверждением искаженного образа этого человека, созданного некоторыми писателями, изображавшими его как экстравагантного эгоиста, безразличного ко всему окружающему.

В Риме мы виделись почти ежедневно на протяжении полутора лет, и мне представилась возможность ближе познакомиться с Валье-Инкланом, тем более что с первого дня он был откровенен со мной и не скрывал своих мыслей.

Я увидел в нем искреннего республиканца, человека передовых убеждений, целиком отдававшего себя служению республике, которая, как он считал, полностью преобразит

Испанию и удовлетворит стремление большинства испанцев к прогрессу и справедливости. Часами я слушал рассуждения дона Рамона о событиях, происходящих в мире. Он внимательно следил за политической обстановкой в Испании и смело [280] комментировал деятельность республиканского правительства. Признавая авторитет Валье-Инклана и восхищаясь им, я полностью разделял его взгляды.

С другой стороны, дон Рамон удивлял всех своей оригинальностью. В наших разговорах он всегда являлся ведущей стороной и часто фантазировал. О событиях времен королевы Изабеллы II он серьезно и невозмутимо говорил так, словно был их участником. Например: «Когда королева увидела, что я не согласен…» Фантазии дона Рамона благодаря его удивительному умению преподносить их очень забавляли нас.

* * *

Испанское посольство при Ватикане, занимавшее старый дворец на площади Испании, иногда устраивало обеды или приемы, на которых нам полагалось присутствовать. На них всегда было страшно скучно. Здание посольства выглядело угрюмым, его атмосфера напоминала затхлость религиозных учреждений, знакомых мне с детства.

Посол Комин казался неплохим человеком. Его жена - австрийка, - к несчастью, потеряла зрение, но с упрямой настойчивостью пыталась выполнять обязанности супруги посла. Видя, как она ест, гости испытывали настоящую муку. И хотя около нее находился слуга, смотревший за всем, что она делает, часто ее действия вызывали неловкость у окружающих.

Во время одного из приемов Кони подошла к ней попрощаться. Священник, сидевший около нее в кресле, уступил Кони место. Жена посла, не заметив этого, продолжала прежний разговор. К своему великому удивлению, Кони услышала простодушное монархическое признание, не предназначенное для ее ушей: «Мне кажется, нужно навестить бедных принцесс (она имела в виду дочерей короля Альфонса XIII, живших в ту пору в Риме). К сожалению, я не могу сама посетить и приветствовать их…» Не желая того, бедная дама проговорилась, кому симпатизировало большинство дипломатических представителей республики за границей.

* * *

Первым иностранным дипломатом, с которым мне пришлось иметь дело в Риме, был немецкий авиационный атташе фон Валдау (позднее один из командиров германской авиации в период Сталинградской битвы). Хотя я еще не представился официально в Берлине, майор Валдау смотрел на меня как на авиационного атташе в его стране и считал себя [281] обязанным проявлять ко мне внимание. Возможно, отношение Валдау объяснялось и той изоляцией, в которой его держали итальянцы.

В те времена антинемецкие демонстрации в Италии были нередки. Хотя они организовывались фашистским правительством, народ, как только представлялась возможность, всячески выражал свою неприязнь ко всему немецкому.

Однажды, когда мы, возвращаясь в Рим из какой-то поездки, проезжали через небольшую деревню, нашу машину забросали камнями. К счастью, пострадал только кузов автомобиля.

Я сообщил карабинерам о налете и выразил удивление по поводу случившегося. Их начальник спокойно ответил: «Вас, вероятно, приняли за немецких туристов, всегда путешествующих в открытых автомобилях». Позже я узнал, что машину Валдау дважды забрасывали камнями. Нападения на немецкие машины учащались с каждым днем, и это вызывало серьезную озабоченность посольства Германии.

Привожу эти факты, чтобы дать читателю некоторое представление о настроениях, характерных для Италии 1933 года. Обе разновидности фашизма, тесно связавшие свою судьбу позднее, еще не доверяли друг другу.

Когда в Вене нацисты выступили против канцлера Дольфуса, обстановка в Италии накалилась, началась мобилизация армии. Мне представился случай наблюдать итальянские дивизии, в боевой готовности направлявшиеся к границе Австрии, чтобы воспрепятствовать немецкому вторжению в эту страну.

* * *

Обычно военные, авиационные и морские атташе в той стране, в которой они аккредитованы, объединяют свои усилия, образуя нечто вроде сообщества взаимной помощи для получения нужной информации.

Хотя никто не давал мне никаких особых поручений, я тоже вошел в эту игру, выглядевшую довольно наивно. Большинство атташе составляли свою информацию по материалам, предоставляемым самим итальянским министерством авиации, -

брошюрам промышленных предприятий и некоторым данным прессы. Иначе говоря, наши «важные» сведения, отсылаемые секретной дипломатической почтой, в основном являлись не чем иным, как пропагандой в пользу итальянских авиационных конструкторов и правительства Муссолини. [282]

В дни отправки диппочты любопытно было наблюдать, как авиационные атташе посещали друг друга, пытаясь узнать, нет ли у коллеги свежих материалов, которыми можно дополнить свою информацию. Обычно во время этих визитов и бесед, ничего не значивших и весьма дипломатичных, говорили полунамеками, будто речь шла о весьма важных тайнах.

Так примерно выглядела тогда работа большинства атташе, хотя трое или четверо из них относились к своим обязанностям более серьезно.

* * *

Не требовалось большой наблюдательности, чтобы заметить одну из самых отличительных черт итальянского фашизма - фанфаронство. Все организуемые правительством мероприятия носили театрализованный характер. Фашистские руководители Италии обладали удивительной склонностью к созданию рекламных сценариев, к организации пышных парадов, пропагандистских кампаний, к фантастическим обещаниям. Непрерывно сообщалось о победах и достижениях, существовавших только в воображении фашистских пропагандистов.

Особый упор делался на демонстрации вооруженных сил. При этом прибегали к всевозможным трюкам, чтобы создать впечатление огромной военной мощи, навести страх на другие страны, надеясь добиться таким образом политического эффекта.

Мне представился случай ознакомиться с одним из таких трюков. Авиационное министерство Италии подсунуло некоторым атташе (по всей видимости, через агентов-двойников) сенсационную информацию с грифом «Совершенно секретно», проставленным на каждой странице. В ней давалось описание самолета «Савойя» с такими сверхъестественными характеристиками, которые означали настоящую революцию в авиационной технике тех времен. Тут же прилагались снимки самолета на земле и в воздухе.

Через несколько дней иностранная печать опубликовала под большими заголовками подробное описание самолета и его фотографии, с тревогой подчеркивая, что итальянцы приступили

к серийному производству этих машин. Известие вызвало необычайное волнение, способствующее созданию атмосферы паники в ряде стран, что благоприятствовало фашистским планам. [283]

Спустя месяц мне случайно довелось узнать правду о знаменитом самолете. Поскольку Испания покупала самолеты «Савойя», их конструктор относился ко мне с вниманием, принятым в обращении с хорошим клиентом. Однажды при посещении завода (пользуясь предоставленной мне свободой осмотра) мы прошли в цех, где велись работы над нашумевшим самолетом. Я обстоятельно осмотрел единственный стоявший там экземпляр. Его «удивительные» характеристики существовали только на бумаге, а опубликованные снимки являлись фотомонтажом, ловко сфабрикованным с помощью макета.

* * *

Итальянские власти и большинство военных атташе держали в изоляции советского военного представителя. Хотя Испанская республика не имела дипломатических отношений с СССР и, следовательно, нам запрещалось поддерживать контакт с его посольством, я, возмущенный этой нелепой ситуацией, проявлял подчеркнутое внимание к советскому коллеге, часто приглашал его к себе домой и демонстративно посещал советское посольство. Это был первый советский человек, с которым мне довелось познакомиться. Держался он непринужденно и показался мне компетентным специалистом. Мы стали хорошими друзьями.

Советский, немецкий и японский атташе - единственные, кто придавал своей работе большее значение, чем дипломатическим балам и обедам.

Атташе Англии на каждом шагу демонстрировал свое презрение ко всему неанглийскому.

Североамериканский военный представитель испытывал благоговение перед аристократами и бывал счастлив, проигрывая им свои доллары. Он с удовольствием рассказывал мне, как накануне вечером играл в покер с какой-нибудь принцессой или маркизой. При этом он не говорил, конечно, во сколько обошлась ему столь высокопоставленная компания. Меня крайне удивляло восхищение американцев аристократами. Я думал, что «демократической» Америке это преклонение чуждо, но, видимо, ошибался. Дипломатов США приводила в восторг возможность пообедать с герцогом, даже если он был жуликом, дураком или

самым скучным человеком на свете.

В Риме американцы легко могли удовлетворить эту невинную, но обходившуюся им довольно дорого страсть. В том обществе, в котором они вращались, почти все имели титулы. [284]

Обилие герцогов и принцев объяснялось тем, что в Италии все дети наследовали титул родителей, и таким образом количество титулованных особ увеличивалось, как хлеб и рыба в известной легенде. Помню, я удивился, когда однажды на приеме меня представили принцу (забыл его имя), худощавому и смуглому, а спустя два часа в кабаре познакомился с другим принцем, полным и белокурым, носящим то же имя. Оказалось, они сыновья двух братьев.

Как- то атташе Аргентины купил у английского дипломата, возвращавшегося на родину, внешне хорошо выглядевший открытый автомобиль марки «Роллс-Ройс». С тех пор жизнь нового владельца значительно усложнилась. Автомобиль, уже отмеривший на своем веку немало километров, постоянно ломался, а в Риме для машины такого старого выпуска нельзя было достать запасных частей. Когда аргентинцу удавалось завести машину -а такие случаи можно пересчитать по пальцам, - его видели медленно проезжавшим на своем «Роллсе» по Виа-Векето. Он сидел за рулем в ослепительно белой форме аргентинской армии, раня своим видом сердца итальянских красавиц.

В некоторых кругах римского общества дипломат, особенно если он являлся владельцем автомобиля «Роллс», без труда покорял женские сердца, хотя для него эти приключения заканчивались иногда отнюдь не романтично.

В мое время в Риме был известен так называемый «обман дипломата». Героиней авантюры обычно выступала интересная замужняя женщина, ловко позволявшая какому-нибудь дипломату «завоевать» себя. Почти всегда роман развивался по следующей схеме: сугубо «конфиденциально» дама сообщала своему поклоннику, что хотя она и замужем, но с супругом не живет. По истечении соответствующего срока дама более или менее театрально признавалась, что ждет ребенка. Следующий акт: отчаяние, слезы и заявление о намерении покончить жизнь самоубийством. После такой сцены дипломат уходил озабоченным. Спустя несколько дней дама с победным видом сообщала ему, что ей удалось установить контакт с одним из лучших гинекологов Рима, который готов выручить ее из беды, гарантируя благополучный исход при условии выплаты ему определенной суммы. Сумма называлась в зависимости от

характера и финансовых возможностей мнимого виновника происшествия. После получения денег дама исчезала на несколько дней, а затем появлялась около другого неосторожного дипломата. [285]

Первый раз я увидел Муссолини в довольно впечатляющей обстановке: во время большого парада на новой грандиозной площади Виа дел Империо в Риме.

Места для дипломатического корпуса находились напротив статуи Юлия Цезаря, перед которой на трибуне, более высокой, чем пьедестал Цезаря, стоял дуче и принимал парад.

Впечатление от первой встречи с Муссолини было таким, словно я побывал в театре и видел немолодого, довольно упитанного комика, игравшего роль героя-любовника, одетого в необычайно крикливую форму и слишком затянутого в корсет, чтобы казаться стройным.

Бросались в глаза его постоянные усилия казаться энергичным. Стоя на пьедестале, он часто подбоченивался, выпячивал грудь, поднимал подбородок, приветствуя проходящие колонны резким жестом театрального фашистского приветствия. Но дуче сразу тускнел, когда снимал головной убор, обнажая огромный, круглый и лысый череп. Кстати, я очень удивился, увидев марширующих священников и монахинь, одетых в рясы, с какими-то сложными сооружениями на голове. Они проходили ровными рядами, чеканя шаг и приветствуя Муссолини поднятием руки на фашистский лад. Я жалею, что не сохранил сделанные тогда с трибуны фотографии.

Позднее в течение шести дней на маневрах 1934 года в Апеннинах мне представилась возможность ближе наблюдать Муссолини.

Я впервые присутствовал на учениях такого масштаба. Итальянцы сумели выгодно показать свою армию, снабженную современным оружием, и добились главной цели: создали впечатление у многочисленных военных делегаций, что Италия обладает огромной военной мощью, чего в действительности не было.

Любопытная деталь: нас устроили в Болонье, в большой гостинице, реквизированной правительством для военных атташе. Кроме нас в этом прекрасном отеле проживали лишь две дамы. Они считались обычными постояльцами. Однако на самом деле им было поручено выяснить мнение иностранцев о маневрах. Поскольку обе женщины имели привлекательную внешность, они без особого труда выполнили возложенную на них миссию. Помню, первым клюнул на эту удочку турецкий атташе.

Перед началом маневров нас представили Муссолини. Потом

он часто приезжал на наш наблюдательный пункт. Я никогда не видел человека, у которого слова, жесты, каждая [286] поза выглядели так театрально, как у дуче. Создавалось впечатление, будто он постоянно чувствовал себя на сцене. Он выделывал поистине удивительные вещи, отнюдь не боясь показаться смешным.

Приведу пример. Наш наблюдательный пункт находился на небольшом холме. Когда дуче приезжал к нам, он останавливал свою машину у его подножия, быстро выпрыгивал из нее и, прижимая локти к телу, гимнастическим шагом поднимался по склону, как берсальер{121}. Сопровождавшие его лица бежали за ним, стараясь не отставать. Естественно, дуче приходил первым. Чувствовал он себя усталым, но гордым. Его взгляд как бы говорил: «Здесь все молоды и энергичны, начиная с шефа!»

При виде столь очевидно наигранного, смешного и в то же время неприятного зрелища все атташе застывали в изумлении. В многочисленной свите Муссолини были и пожилые, полные люди, которые, с трудом взбегая на вершину холма, добирались туда в полумертвом состоянии, имея далеко не воинственный вид. Готовность этих господ ставить себя в смешное положение вызывала презрение к ним.

Появление вместе короля и Муссолини тоже оставляло неприятное и жалкое впечатление. С горечью смотрел я на маленького и невзрачного Виктора Эммануила Савойского, казалось нарочно одетого недругами в нарядную военную форму, чтобы подчеркнуть нелепость его фигуры рядом с Муссолини.

Всегда высокомерный и спесивый, Муссолини обращался с королем с невероятным презрением, беспрестанно и демонстративно подчеркивая, что настоящим хозяином Италии является он. Неприятно было наблюдать, какие унижения терпел этот господин, желая сохранить за собой трон.

В день вручения новым испанским послом Осерином верительных грамот королю Италии мы отправились в его дворец Квиринал, точно соблюдая положенный по этому случаю этикет; в роскошных дворцовых каретах, в сопровождении королевского эскорта, в парадной форме. После вручения своих полномочий посол представил королю личный состав посольства. Помню, король подошел к нам, трем военным атташе, и примерно с полчаса беседовал с нами. Темой разговора были красные брюки испанской пехоты и его коллекция ложек, видимо лучшая в мире. Он не задал нам ни одного вопроса об Испании, хотя в тот период в нашей стране происходили важные события. [287]

Муссолини кичился знанием нескольких иностранных языков и, общаясь с нами, делал вид, будто с каждым атташе говорит на

его родном языке. Не знаю, как обстояло дело в других случаях, но его беседы со мной выглядели довольно смешно. Дуче не знал испанского, но смело включал в итальянскую речь большое количество испанских звуков «с» и некоторые испанские слова, почерпнутые из аргентинских танго. При этом он серьезно спрашивал, хорош ли его кастильский язык и понимаю ли я его. И был очень доволен, когда я отвечал, что прекрасно понимаю. Разумеется, я не говорил ему, что знаю итальянский язык. Каждый раз при виде меня он громко заговаривал со мной, демонстрируя свои лингвистические познания.

Черное двухлетие. Октябрь 1934 года. Легкомысленная поездка. Напряженное положение в Испании

Доходившие до Рима известия о политическом положении в Испании были неблагоприятными. Наступление на республику усиливалось с каждым днем. Реакция сплачивала свои силы и действовала все более нагло, а правительство, по-видимому, ничего не предпринимало для отражения надвигавшейся опасности.

Эти впечатления подтвердило письмо, полученное мной от Прието. Хотя я привык к пессимизму дона Инда, содержание письма превосходило все, что можно было себе представить. Прежде чем рассказать о политической ситуации, он подробно описал смерть майора Рикардо Бургете, скончавшегося в страшных мучениях в госпитале Красного Креста в Мадриде. Смерть явилась результатом ранений, полученных им несколько лет назад в Африке. Известие произвело на меня тягостное впечатление, ибо я любил Рикардо, как брата. Затем дон Инда нарисовал катастрофическую картину положения в Испании. Он не вдавался в подробности, однако прозрачно намекал на разногласия в республиканском лагере. На ближайших выборах в кортесы Прието предсказывал республиканцам поражение.

Полученные известия взволновали меня. Я решил вернуться на родину. В тот же день я позвонил по телефону Прието и просил его переговорить с военным министром о моем назначении на любой пост в Испании, где я мог быть полезен [288] республике. Дон Инда обещал выполнить мою просьбу при условии, что без его ведома я не предприму никаких шагов в этом направлении. Спустя несколько дней он сообщил, что Асанья благодарит меня за предложение, будет иметь его в виду и вызовет, когда потребуется.

В те дни Кони получила тревожную телеграмму от отца. Он сообщал, что ее мать лежит в одной из клиник во Франкфурте в тяжелом состоянии и хочет видеть дочь. Кони немедленно купила

билет на самолет и в тот же вечер была во Франкфурте. Это произвело самое благоприятное впечатление на ее родителей. Они предупредили и других детей, но Кони оказалась единственной, кто отозвался на их призыв.

Во Франкфурте Кони провела несколько дней, пока опасность для матери не миновала. Она подолгу разговаривала с отцом о нашем браке, рассказала ему, как мы счастливы и как крепко Лули подружилась со мной. Это, видимо, успокоило и обрадовало его.

Касались они и политических вопросов. Кони вернулась озабоченной: ее отец с радостью и уверенностью говорил о растущих силах правых организаций, выступающих против республики.

Мы со все возрастающим беспокойством следили за политическими событиями в нашей стране.

Родители Кони были так довольны ее визитом, что отец решил приехать в Рим и провести с нами несколько дней. Несмотря на столь короткий срок, мы смогли неплохо узнать друг друга, и между нами установились теплые отношения.

* * *

К несчастью, предсказания Прието подтвердились. Прошли выборы в кортесы{122}. Монархисты и фашисты, выступившие единым фронтом, не пожалели усилий и средств на подкуп избирателей. Церковь заставила пойти к урнам монахинь-затворниц, отрешившихся от всего мирского, даже от родных. Больных и старых монашек, никогда не выходивших из монастырей, доставляли на избирательные участки в колясках или на носилках. Правые добились тревожно большого числа депутатских мест. В то же время левые пришли к выборам, раздираемые противоречиями, без ясной и конкретной программы, способной удовлетворить большую часть испанцев. Народ был явно недоволен медлительностью, с какой правительство [289] проводило демократические реформы, и в особенности жестокими репрессиями, учиненными министерством внутренних дел против рабочих и крестьян, требовавших улучшения своего положения. Если к этому добавить большое число голосов, потерянных республиканцами из-за анархистских руководителей Национальной конфедерации труда (НКТ), отдавших своим членам приказ воздержаться от голосования, итогам выборов не приходится удивляться.

Но, несмотря на увеличение числа депутатов от реакционных

партий, республиканцы по-прежнему имели большинство в кортесах. Поистине, Лерусу нужно было предать республику и продать себя реакции, чтобы последняя пришла к власти.

С формированием Лерусом правительства{123} начинается период так называемого черного двухлетия. Реакционные силы во главе с Хилем Роблесом{124}, опираясь на радикальную партию Леруса, монархистов и фашистов, переходят в наступление на все мало-мальски прогрессивные преобразования, осуществленные предшествующим, республиканским правительством. Таким образом, используя республиканские институты, реакция обрела силу. Ее программа предусматривала аннулирование всех завоеванных народом социальных реформ, пересмотр конституции и упразднение республики.

Я не понимал позиции левых партий, рабочих профсоюзов, позволивших, как мне казалось, без малейшего сопротивления отнять у народа то, что ему удалось добиться за последние три года. Я глубоко верил в народ, но был дезориентирован его кажущейся пассивностью.

5 октября 1934 года в Рим стали поступать первые сведения о том, что испанский народ без борьбы не позволит отнять у него республику. Хотя римские фашистские газеты, естественно, весьма тенденциозно освещали события в нашей стране, не было никаких сомнений: в Испании шла борьба. В Мадриде рабочие объявили всеобщую забастовку. В Барселоне республиканские партии выступили против правительства Леруса. В Астурии шахтеры поднялись на вооруженное восстание.

Эти известия произвели на меня огромное впечатление. Я всецело одобрял энергичный ответ народа на происки реакции. Чувствуя себя связанным с теми, кто боролся в Испании, [290] я, не колеблясь ни минуты, не сказав ни слова в посольстве, сел на первый гидросамолет линии Рим - Барселона и отправился помогать защитникам республики.

В Барселоне я узнал из прессы, что в этом городе, как и в Мадриде, правительству удалось овладеть положением и арестовать большинство республиканских и социалистических руководителей. Сообщалось также, что полиция разыскивает Прието, как главного руководителя движения.

До Мадрида я добрался без затруднений. Столица, казалось, жила обычной жизнью. Обращали на себя внимание лишь усиленные наряды жандармерии у общественных зданий. Беспокоясь о Прието, я отправился к нему на квартиру. Мне думалось, что за его домом должна быть установлена слежка, однако ничего подозрительного я не заметил. Полиция произвела в квартире обыск, а затем перестала ею интересоваться.

Мое появление вызвало удивление и радость. Конча рассказала мне о последних событиях в стране. Правительство, арестовало большинство республиканских руководителей. Среди арестованных находились Ларго Кабальеро, Мануэль Асанья, Гонсалес Пенья и другие. В Астурии военный министр, или, точнее, его доверенное лицо - генерал Франсиско Франко, сконцентрировал целую армию, ударной силой которой являлись части Иностранного легиона, срочно вызванные из Марокко. Они учинили зверскую расправу над шахтерами Астурийского бассейна, которые оказали им героическое сопротивление.

Накануне моего приезда в Мадрид прибыли Валентин Сусо и Маноло Аросена, два близких друга Прието, и остановились у него на квартире. Я довольно хорошо знал обоих, а с Сусо меня связывала большая дружба. Оба служили в Ирунской таможне и были хорошими людьми, стопроцентными республиканцами, любимыми в своей округе. С ними и Кончей я подробно обсудил, что можно сделать для дона Инда. Царившая в стране реакционная истерия и поднявшаяся волна зверских репрессий вызывали у нас опасения за жизнь Прието. Требовалось найти способ как можно быстрее вывезти его из Испании.

Прието скрывался на квартире Эрнестины Мартинес де Арагон, сестры Хосе Арагона. Самая младшая в семье, она была ярой католичкой и вела монашески суровый образ жизни. Если до сих пор она не вступила ни в какой монашеский орден, то только из-за нежелания оставить в одиночестве [291] отца. Поскольку Эрнестина обожала всех членов своей семьи, а Прието являлся их большим другом, она немедленно выразила готовность укрыть его в своем доме.

Более надежного места, чем квартира Эрнестины, трудно было придумать. Никому не могла прийти в голову мысль, что столь набожная и далекая от житейских дел женщина укрывает «ужасного» революционера, которому реакция приписывает руководство движением.

Обсудив несколько вариантов побега, мы остановились на следующем: у Аросена имелся автомобиль «Рено» модели 1933 года с багажником, открывавшемся изнутри машины, для чего требовалось лишь откинуть спинку заднего сиденья. Багажник был достаточно большим - Прието вполне мог уместиться там. Мы попробовали запихнуть туда Сусо, тоже весьма упитанного мужчину, и убедились, что наша затея осуществима. Путешествие предстояло не из удобных, но другого выхода не было. В пути Сусо и Аросена должны были сидеть сзади, а я, одетый в военную форму, на месте водителя в надежде, что жандармы, увидев старшего офицера, не будут слишком тщательно осматривать

машину. Если нам удастся доехать до Ируна, можно считать, что дело сделано. Переезд через границу на автомобиле не представлял трудностей: все знали, что Аросена живет в Андайе, и привыкли видеть, как он беспрестанно ездит туда и обратно.

Меня уполномочили пойти к Прието и сообщить ему о нашем плане. До сих пор я свободно разгуливал по Мадриду и не предпринимал никаких мер предосторожности, но теперь следовало проявить бдительность, чтобы не подвергнуть дона Инда опасности.

Выйдя из дому, я осмотрелся по сторонам: нет ли за мной слежки. Не заметив ничего подозрительного, зашагал по улице и остановил первое встречное такси. На некотором расстоянии от дома Эрнестины я вылез из машины. Не знаю почему, но, увидев в витрине магазина горшок с цветами, я решил, что проявлю необычайную хитрость, если для маскировки куплю его. Я выбрал самый большой горшок, который оказался необыкновенно тяжелым, к тому же его было очень неудобно нести. К дому Эрнестины я подошел страшно уставший. Думаю, что моя мысль была не такой уж плохой; наверное, не часто революционеры нагружаются столь неудобными и тяжелыми предметами, чтобы сбить с толку полицию.

Хотя дон Инда не любил проявлять свои чувства, он взволнованно обнял меня, затем молча выслушал наш план и задал [292] несколько вопросов. Мы договорились осуществить задуманное на следующий день.

Мне показалось, что Прието обрадовался возможности выехать из Испании.

Мы подготовили машину, положили в багажник подушки, набрали полный бак бензина и незадолго до рассвета подъехали к дому Эрнестины. Чтобы отвлечь внимание ночного сторожа, решили прибегнуть к следующему трюку: Сусо стал в конце улицы и несколько раз хлопнул в ладоши, подзывая сторожа к себе. В этот момент мы и запихнули дона Инда в багажник, что оказалось значительно труднее, нежели мы предполагали. Теперь предстояла самая сложная часть путешествия - выехать из Мадрида, избежав осмотра машины полицией и жандармерией.

Накануне Сусо и я побывали на нескольких контрольных пунктах при выезде из города и наблюдали, как производился осмотр. Проверка показалась нам довольно строгой, хотя пассажиров не заставляли выходить из машин и не заглядывали в багажники. Мы вернулись озабоченные и решили, что лучше миновать контроль на рассвете, когда жандармы уже устанут и будет еще достаточно темно. Я, в офицерской форме, сел на место водителя, Сусо и Аросена устроились на заднем сиденье.

На контрольном пункте в Лас Вентас нас остановили. К машине подошли два жандарма. Один из них держал в руке электрический фонарик. Опередив их вопрос, я строго произнес:

- Начальник аэродрома Алькала-де-Энарес!

Жандарм направил на меня луч света и, увидев форму старшего офицера авиации, корректно поприветствовал. Таким образом, нам удалось беспрепятственно выехать из Мадрида.

Изучив весьма подробно маршрут следования, мы решили ехать не через Бургос - самой короткой дорогой, поскольку там особенно строго проверяли проезжающих, а избрали более длинный путь - по менее оживленному шоссе через Серию, Наварру и Гипоскуа.

По дороге нас довольно часто останавливали жандармы, но моя форма ни разу не подвела. Жандармы с почтением приветствовали меня, а я повторял все ту же фразу: «Начальник аэродрома»… Гвадалахары или Сории, то есть ближайшего по пути следования города. После чего нам разрешали ехать дальше, даже не проверив документов. Несколько раз жандармы [293] заглядывали внутрь машины, но, не заметив ничего подозрительного, без лишних формальностей пропускали.

В окрестностях Памплоны мы с тревогой увидели, что шоссе охраняют военные. Оказалось, что в тот день в Памплону должен был приехать министр, поэтому были приняты особые меры предосторожности. Однако на контроле, видимо, решили, что мы авангард министерской процессии. Нам отдали честь, и машина благополучно миновала опасное место.

Но вскоре возникло новое затруднение. После двенадцати часов пребывания в багажнике дон Инда почувствовал себя плохо, и мы вынуждены были остановиться и извлечь его из заточения, чтобы дать возможность подышать свежим воздухом. В Гипоскуа въехали, когда уже стемнело. Мы опасались, что здесь нами заинтересуются микелеты{125} и, приняв за контрабандистов, начнут осматривать машину. Микелеты не были военными и не проявляли того уважения к форме, какое питали к ней жандармы.

Наконец после трех или четырех нежелательных, но совершенно необходимых для дона Инда остановок мы прибыли в Сан-Себастьян. Отсюда до границы моя военная форма не могла уже ничем помочь. Даже наоборот, в тех местах старший офицер авиации мог привлечь внимание, ибо в Сан-Себастьяне не было аэродрома и авиационных частей. Мы решили, что я останусь в городе, машину до границы поведет Сусо, а затем вернется в Сан-Себастьян и сообщит мне результаты.

Договорились встретиться в известном ресторане Ла Николаса. Автомобиль с Прието в багажнике отправился дальше,

к границе, а я остался, сгорая от волнения за исход нашей авантюры.

Шел дождь - явление обычное для провинции Гипоскуа. Так как у меня не было плаща, пришлось зайти в кафе. Чтобы понять мое тогдашнее положение, необходимо иметь в виду, во-первых, что Сан-Себастьян зимой похож на деревню, где все знают друг друга; во-вторых, поблизости не было авиационного гарнизона, а поэтому появление летчика в форме - это уже событие. Следует добавить, что я был небрит, не спал всю ночь и более чем двенадцать часов провел за рулем, находясь все это время в сильном напряжении.

Мне показалось, что мое появление в кафе привлекло всеобщее внимание. Возможно, я чувствовал себя человеком, [294] совершившим незаконный поступок, и поэтому был излишне подозрителен. Боясь, что кто-либо признает во мне друга Прието и, встретив поблизости от границы, сделает соответствующие выводы, которые помешают выполнению нашего плана, я быстро выпил пиво и вышел на улицу. Но начался сильнейший ливень. Пришлось направиться в находившийся неподалеку ресторан Ла Николаса, хотя до встречи с Сусо оставалось еще много времени.

Ресторан оказался закрыт. Я позвонил и спросил у девушки, открывшей дверь, могу ли я поужинать. Она сделала удивленное лицо и сказала, что сейчас лишь половина седьмого, а ресторан открывается в восемь, и весьма любезно захлопнула перед моим носом дверь.

К счастью, дождь стал меньше и я смог немного пройтись, не удаляясь особенно от ресторана, чтобы не пропустить возвращения Сусо. Время шло, и мое беспокойство все возрастало.

Мне надоело прогуливаться, и я вновь попытался проникнуть в ресторан. На мой звонок дверь открыла та же девушка и повторила, что до восьми часов посетителей не впускают, но тут появилась дама, исполнявшая, видимо, обязанности метрдотеля. Хотя еще не время, сказала она, однако если я спешу, то могу зайти и меня обслужат. Я рассказываю о столь незначительных подробностях только для того, чтобы читатель представил себе, какие глупые и неприятные минуты пережил я в ожидании Сусо.

Девушка, видимо, не удержалась и сообщила своим подружкам о прибытии голодного летчика.

Когда я сел за стол и попросил меню, восемь или девять официанток собрались у стойки и не сводили с меня глаз, переговариваясь между собой.

Я заказал два блюда, забыть которые просто невозможно, -

«пульпа а су тинта» и свиную отбивную с перцем. По всей вероятности, из-за усталости и волнений, а также из-за множества выкуренных за последние двадцать четыре часа сигарет, когда мне подали кальмара, я не мог проглотить ни одного куска, словно у меня в горле образовался узел.

Увидев, что я не ем, ко мне подошла дама-метрдотель и спросила, не хочу ли я чего-либо другого. Не помню, что уж я придумал в свое оправдание, но кальмара забрали и принесли отбивную с перцем. Однако повторилась та же история: я не мог проглотить ни кусочка. А любопытные официантки не спускали с меня глаз. [295]

Когда мое отчаяние достигло предела, открылась дверь и появился Сусо с таким сияющим от радости лицом, что я без слов понял: все обошлось благополучно.

Как только я узнал, что дон Инда уже во Франции, усталость и нервозность исчезли. Я даже смог немного поесть, составив Сусо компанию за ужином.

Затем я сел в первый поезд, идущий в Мадрид, и уже на следующий день без приключений добрался до Барселоны, чтобы оттуда на гидросамолете улететь в Рим.

* * *

В порту Остия меня встречали Кони, дон Рамон дель Валье-Инклан, Рафаэль и Мария Тереза Альберти, приехавшие из Москвы со съезда писателей. Они задержались в Риме, так как я телеграфировал им, что возвращение в Испанию в данный момент может быть для них опасно, и предложил пожить у нас, пока не прояснится обстановка.

Я им рассказал о своих приключениях. Обсуждая создавшееся положение, мы просидели до глубокой ночи. Помню, с какой яростью дон Рамон высказывался против Леруса. Он говорил, что Лерус всегда был мошенником и члены Революционного комитета 1930 года, готовившие восстание против монархии, не доверяли ему и не посвящали в наиболее важные дела, опасаясь, что об этом станет известно полиции. Дон Рамон рассказал нам, что Лерус всегда ненавидел Прието и, если бы ему удалось арестовать дона Инда, тому пришлось бы плохо.

На следующий день я появился в посольстве и поздоровался со всеми так, словно мы расстались накануне. Никто не спросил меня, почему я отсутствовал: болел или был чем-то занят.

За последние годы медленно, но прочно менялся мой образ мыслей, хотя, возможно, я не всегда отдавал себе ясного отчета в

этом. Решающую роль в перемене моих взглядов сыграли, видимо, события, происходившие в то время в Испании.

Я окончательно и безоговорочно стал на сторону бастующих шахтеров и вообще тех, кто боролся вместе с народом за элементарные жизненные права и справедливость. Я не испытывал ни малейшего колебания, когда сел за свой рабочий стол и написал военному министру телеграмму с просьбой об отставке. Судя по выражению лица посла, которому я передал телеграмму для официальной отправки, она была составлена в достаточно энергичных выражениях; в ней говорилось [296] примерно следующее: «Занимаемый мною в посольстве пост требует доверия правительства. Поскольку я не согласен с политикой нового правительства, прошу об отставке и предоставлении мне должности в Испании».

Посол, которому я передал это послание для отправки по официальным каналам, заявил, что не может отправить такую оскорбительную для министра телеграмму. Но когда я пригрозил переслать телеграмму частным образом, указав, что посол отказался принять ее, господин Осерин сдался.

В те дни у меня произошло еще одно серьезное столкновение в посольстве, правда оставшееся без последствий. Все сотрудники посольства, кроме меня и Кони, изъявили желание сделать пожертвования в пользу вдов и сирот жандармов, погибших во время событий в Астурии. Когда мне сообщили об их решении, я взял бланк посольства и вывел на нем: «Список пожертвований в пользу вдов и сирот шахтеров, убитых в результате репрессий, учиненных правительственными войсками в Астурии». И сам возглавил его, подписавшись на месячный оклад.

После таких инцидентов мои взаимоотношения с послом и сотрудниками стали весьма натянутыми. Я появлялся на службе и уезжал, когда хотел, и никто не требовал от меня объяснений.

Я был настолько убежден, что министр, увидев мою телеграмму, немедленно прикажет мне вернуться в Испанию, что мы с Кони собрали все наши вещи и через транспортное агентство отправили в Испанию. Кони вместе с Лули уехала в Мадрид устраиваться на новом месте. Я же переселился в гостиницу, ожидая замены.

В Мадриде Кони нашла довольно приличную квартиру и, наведя там порядок, вернулась в Рим.

* * *

Мы несколько раз приглашали Рамона и Сенобию приехать к

нам в Италию. Сенобия нуждалась в отдыхе и мечтала о таком путешествии. Но Хуан Рамон, будучи не в состоянии нарушить привычный уклад жизни и покинуть свою рабочую комнату, все откладывал поездку, приводя жену в отчаяние. В конце концов Сенобия, видя, что мы скоро возвратимся в Испанию, проявила наконец твердость и, оставив мужа в Мадриде, приехала к нам на пятнадцать дней. Решиться на этот шаг, учитывая эгоизм Хуана Рамона, привыкшего к заботам и самопожертвованию Сенобии, было делом нелегким. [297]

Во время наших поездок по Италии Сенобия чувствовала себя счастливой. Я не встречал никого, кто бы так радовался всему увиденному, как она. Мы осмотрели наиболее интересные памятники Италии и закончили это приятное путешествие на французском Лазурном береге, где находился Прието со своими дочерьми. Они жили на вилле, предоставленной им женой известного писателя Мартинеса Сиерра.

В Каннах мы провели несколько замечательных дней. Съездили в Монте-Карло и познакомились с его достопримечательностями.

Дон Инда и Сенобия быстро подружились и часами спорили, что было вполне естественно, учитывая оптимизм и мечтательность одной и постоянный пессимизм другого.

Нелепый случай положил конец нашему пребыванию в Каннах. Однажды мы были страшно удивлены, прочтя в самой крупной газете Ниццы напечатанный во всю первую страницу заголовок: «Что делают в Каннах господин Прието, бывший министр финансов Испанской республики, и инфант дон Хаиме, сын Альфонса XIII» (в тексте: Альфонса XII). Далее публиковалась информация с фотографиями виллы, где жил Прието, и моей машины с дипломатическим номером. На самом видном месте был помещен большой снимок, на котором Прието и я прогуливались по пляжу. Под фото стояла подпись: «Инфант дон Хаиме де Бурбон и министр господин Прието во время одной из своих бесед».

Как мы узнали позже, объяснялось столь странное сообщение довольно просто. Однажды мы проходили мимо кафе. Кто-то узнал Прието, а меня принял за инфанта дона Хаиме. Журналист, услышавший этот разговор, решил, что неплохо было бы сделать сенсационный репортаж, и в течение двух дней следил за нами, фотографировал, а затем написал статью.

Эта история не имела бы ни малейшего значения, если бы власти Ниццы не воспользовались ею для того, чтобы избавиться от такого нежелательного гостя, как Прието.

Префект, пытаясь оправдать свое решение, сам сообщил дону

Инда, что озабочен его пребыванием в Ницце и не знает, сможет ли обеспечить ему безопасность, ибо имеются сведения о подготовке анархистами покушения на него. А так как любой скандал нанес бы ущерб этим местам, существующим на доходы от туризма, он просит его как можно скорее переехать в любой другой город Франции. [298]

Прието с дочерьми перебрался в Париж. Сенобия села в мадридский поезд, а мы вернулись в Италию.

В Риме я отправился в посольство, надеясь, что сообщение о моей отставке уже пришло. Но в Мадриде, по-видимому, не спешили увидеться со мной. Я послал вторую телеграмму, а также письменный рапорт. А пока, решив воспользоваться своим привилегированным и независимым положением, отправился в Париж, чтобы встретить Новый год с Прието и его детьми.

В течение месяца, перед поездкой в Париж, мои отношения с членами посольства внешне оставались почти нормальными. Я приходил утром, брал корреспонденцию, проводил некоторое время в обществе других атташе, посещал обеды и приемы.

Как- то во время такого обеда, на котором присутствовал дон Рамон дель Валье-Инклан, я стал свидетелем еще одной его странности. Когда гости перешли пить кофе в один из великолепных салонов палаццо Барберини, я подошел к дону Рамону и, к своему великому удивлению, услышал, что он серьезно рассказывает о том, как вывез Прието из Испании в багажнике автомобиля. Сильно приукрашивая, он подробно повторил мой рассказ. Но больше всего меня удивила естественность, с какой он обращался ко мне, описывая эту историю. Вначале я остолбенел, но постепенно его рассказ даже увлек меня. Должен признать: повествование дона Рамона выглядело гораздо эффектнее и интереснее моего. В его изложении та часть моей книги, в которой рассказывается о вывозе Прието из Испании, значительно бы выиграла.

Через некоторое время Валье-Инклан уехал в Испанию. Мы проводили его на вокзал. Он казался бодрым и хорошо чувствовал себя. Никто из нас не думал тогда, что видит его в последний раз.

* * *

Год спустя, в январе 1936 года, за несколько недель до его смерти, мы получили от него длинное и очень теплое письмо, в котором он давал оценку политической обстановке в Испании. Увы, после войны это письмо осталось вместе с остальными

моими вещами на мадридской квартире. У меня нет надежды, что новый хозяин квартиры сохранил его. [299]

Работая над своей книгой, я не раз вспоминал советы, которые дал мне однажды Валье-Иклан. Как-то у меня не получался доклад, который я готовил министру. Уж не знаю, сколько листов бумаги было испорчено, а написанное читалось с большим трудом. Я был в отчаянии, ибо дипломатическая почта уходила на следующий день. Помню, показывая испещренные поправками листы и переполненную изорванной бумагой корзину, я с горечью говорил дону Рамону о своих переживаниях и о том, как завидую писателям, которые так легко пишут свои книги. Дон Рамон ответил, что я глубоко заблуждаюсь. Писатели по многу раз правят и рвут написанное. Он пожалел, что не имеет под рукой ни одной рукописи, чтобы показать, какое количество исправлений вносит он сам и сколько вычеркивает, и при этом всегда чувствует неудовлетворенность. Дон Рамон советовал законченную работу просмотреть несколько раз и после внесения исправлений больше уже не читать ее, ибо каждый раз будут обнаруживаться все новые и новые недостатки и это может длиться бесконечно.

О смерти Валье-Инклана мне сообщил по телефону Прието. Известие потрясло и глубоко опечалило меня. Я любил его и понимал цену потери.

* * *

Кони и я поехали в Париж. Дон Инда жил с дочерьми в меблированной квартире на Ваграм-авеню. Там я познакомился со многими эмигрантами, покинувшими Испанию после октябрьских событий 1934 года. Ими были в основном астурийские горняки, шахтеры-социалисты, которые пересекли французскую границу тем же способом, что и Прието.

Как и в 1930 году, дон Инда был настоящим главой эмиграции.

В сопровождении Прието мы с Кончен решили съездить в Дьепп, чтобы встретиться с астурийскими шахтерами, поселившимися там со своими семьями. От них мы узнали страшную правду о репрессиях в Астурии.

В те дни по приглашению Советского правительства в СССР отправлялась группа молодых астурийских социалистов. Накануне отъезда я пригласил их и Прието к нам на обед. Мне запомнился контраст между оптимизмом астурийцев и пессимистическим отношением дона Инда к этой поездке. Мне же

она казалась замечательной.

В Париже я еще раз убедился в соперничестве между Прието и Ларго Кабальеро, Дон Инда не скрывал, что всегда [300] был против восстания, хотя, подчиняясь решению партии, активно участвовал в нем, руководя социалистическим движением в Астурии. Он считал, что Ларго Кабальеро - руководитель намечавшегося восстания в Мадриде - несет главную ответственность за его провал. Ларго же обвинял во всех неудачах дона Инда, в частности в том, что он обещал и не обеспечил, когда наступило время действовать, поддержку нескольких воинских частей и авиации. Только несколько летчиков отказались выполнить приказ о бомбардировке шахтеров. Их арестовали и заключили в военную тюрьму в Мадриде.

Чтобы как-то урегулировать отношения между Прието и Ларго Кабальеро и уговорить дона Инда покончить с разногласиями, в Париж приехал Хулио Альварес дель Вайо, друг Ларго Кабальеро. Я присутствовал при встрече Прието и дель Вайо. Доводы Альвареса дель Вайо показались мне разумными. Он говорил, что для победы над реакцией необходим союз всех левых сил и социалисты должны первыми подать пример к объединению. Он также настаивал на необходимости установить связь с другими социалистическими партиями, и прежде всего с французской социалистической партией, так как поддержка из-за границы оказала бы большую помощь в свержении реакционного правительства. Дель Вайо произвел на меня хорошее впечатление. Когда мы остались одни, я сказал об этом Прието, но дон Инда многозначительно промолчал.

* * *

Будучи в Париже, я получил официальный приказ отправиться в Берлин и представиться германскому правительству.

Такое распоряжение необычайно удивило меня. Я не понимал, почему правительство продолжало пользоваться моими услугами, тогда как оно сняло с ответственных должностей многих офицеров, заменив их такими врагами республики, как генерал Годет, назначенный директором Управления по Аэронавтике, генерал Франсиско Франко, ставший начальником генерального штаба, и полковник Хоакин Гальарса, принявший командование воздушными силами.

В полном недоумении, но весьма заинтересованные, мы с Кони сели в самолет и отправились в Германию. Единственно, что

я все же сделал перед этой поездкой, - написал письмо своему другу, капитану Себастьяну Рубио, который работал в военном министерстве, и попросил, насколько возможно, ориентировать меня в отношении того, что происходит. [301]

Мы прилетели на аэродром Темпельгоф, находившийся в центре германской столицы. Нас встретил ни больше ни меньше, как директор «Люфтганзы» {126} в сопровождении двух офицеров министерства авиации, один из которых приветствовал нас от имени генерала Мильха, командующего военно-воздушными силами Германии. Второй, хорошо владевший испанским языком, был прикомандирован к нам на время пребывания в стране.

Директор «Люфтганзы» отвез нас в отель на своей машине и простился в самых высокопарных выражениях. Переводчик проводил нас в комфортабельный номер и на прощание сказал, что со следующего дня в наше распоряжение поступит автомобиль министерства авиации и самолет «Юнкерс-52» для дальних вояжей по стране.

Такой прием, не соответствовавший моему рангу, удивил нас с Кони. Это выходило за рамки обычных отношений к военным атташе.

На следующий день за нами заехал адъютант генерале Мильха. Мы сели в предоставленную в мое распоряжение великолепную машину, управлял которой одетый в элегантную форму сержант авиации, и направились в министерство воздушных сил.

Генерал Мильх принял меня очень тепло и представил остальным присутствовавшим: двум генералам авиации и господину в штатском, говорившему по-испански и занимавшемуся вопросами взаимоотношений с Испанией.

Когда мне сообщили о приеме у генерала Мильха, я решил, что это - традиционное официальное представление, которое всегда проходит одинаково: несколько любезных фраз и через две минуты вас выпроваживают с теплыми словами прощания. Поэтому меня удивило предложение сесть. Значит, господа готовились к длительной беседе.

Несмотря на время, прошедшее с тех пор, я довольно ясно помню впечатление, оставшееся у меня от этой встречи, истинный смысл которой стал мне понятен позднее.

Немцам нужны были транзитные аэродромы в Марокко и в Испанской Сахаре для перелетов в Южную Америку. Кроме того, они хотели получить разрешение на постройку в Испании и на Канарских островах причальных мачт для своих дирижаблей, а также сети своих радиостанций. Взамен этих концессий, а также поставок некоторых видов промышленного [302] сырья и

продуктов питания, таких, как апельсины, растительное масло и т. п., Германия обязывалась предоставить Испании самолеты, вооружение и все необходимое для организации военной авиации. Было заметно, что Германию весьма беспокоила позиция Франции, которая имела с Испанией договор на предоставление французской авиационной компании «Латекоер» транзитных аэродромов для ее самолетов, летавших в Латинскую Америку. Немцы опасались, что французское правительство будет возражать против их проекта, ссылаясь на соглашение с Испанией и некоторые пункты Версальского договора, ограничивавшие строительство баз германской авиации на чужих территориях.

Было совершенно очевидно, что они решили воспользоваться моим пребыванием в Берлине для активизации переговоров по данным вопросам и для того, чтобы заручиться моей поддержкой перед испанским правительством.

Таковы в общих чертах некоторые выводы, сделанные мной из этой встречи, причем, как уже говорилось, в то время я еще не понимал истинной сущности немецких предложений. Эти господа были уверены, что я отлично знаю, о чем идет речь; в действительности же я не имел об этом ни малейшего представления и был вынужден всячески изворачиваться, дабы не дать им почувствовать мою неосведомленность. Я прибегнул к удобной в таких случаях тактике: меньше говорить и больше слушать.

В конце приема генерал Мильх предложил мне для уточнения некоторых деталей встретиться со специалистом по Испании, присутствовавшим при разговоре. Я жалею, что не запомнил его фамилии.

Затем генерал любезно простился со мной, пригласив на следующий день меня и Кони к себе на ужин.

Ужин явился для нас новым сюрпризом. На нем присутствовало несколько высших авиационных начальников с женами. Хотя мы привыкли к большим дипломатическим обедам, нас поразила роскошь этого банкета. После ужина все поехали в театр, где были забронированы лучшие места, а по окончании спектакля отправились в живописное предместье старого Берлина отведать традиционный «суп раннего утра».

Следующий день начался с посещения берлинских заводов. На одном из них мне таинственно показали сложный электронный аппарат для определения дефектов внутри металлов, сообщив, что это - последнее достижение немецкой науки, еще неизвестное в других странах, и что в мире существует только [303] два таких прибора. Из данных мне объяснений я, хотя и не был сведущ в этой области, все же понял принцип его

устройства и действия.

Через несколько дней, во время посещения важнейшего испытательного центра, мы подошли к цеху, где находился второй экземпляр сложного аппарата. Сопровождавший нас инженер с такой гордостью показывал его, словно это было нечто редкостное и никем не виданное. Можете представить его удивление, когда я как ни в чем не бывало заговорил об этом приборе. Инженер принял меня за гения, и до самого окончания визита я чувствовал его необычайное внимание ко мне и искреннее восхищение.

По- прежнему официальные лица были необыкновенно любезны с нами. Председатель аэроклуба устроил в нашу честь большой прием, в заключение которого подарил Кони и мне по золотому значку клуба.

Мой первый разговор со специалистом по Испании был весьма интересным и кое-что прояснил. Во-первых, подтвердились мои подозрения, что в Берлине понятия не имели о моей политической физиономии и принимали за посланца генерала Франко, Хиля Роблеса, то есть той политической группировки, с которой нацисты имели дело.

Кроме того, я сделал вывод, что некоторые крайне правые испанские политические деятели и фашисты уже давно плетут заговор против республики, рассчитывая на помощь нацистов. Их переговоры о способах получения такой помощи, как я понял, уже значительно продвинулись. Наконец, самым важным для меня было удостовериться, что Годет, Франко и другие заговорщики намерены создать в Испании авиацию с преданным им личным составом, в чьи руки можно было бы передать немецкие самолеты и вооружение, чтобы в нужный момент использовать в своих целях.

Наконец пришел ответ от Рубио. Как я понял из его письма, Хоакин Гальарса, новый командующий военно-воздушными силами, получив мою просьбу об отставке, оказался в довольно трудном положении. С одной стороны, он не мог, как бы сильно ни желал, выгнать меня из авиации, ибо у него не было для этого никаких оснований; с другой стороны, поскольку я имел уже солидный стаж службы в авиации, он вынужден был бы назначить меня на какой-либо ответственный командный пост в Испании. Но, принимая во внимание мои политические убеждения, он считал это опасным и решил, что лучше оставить меня пока в Италии. А тем временем дела [304] в авиационном штабе продолжали идти своим чередом, и моя поездка в Берлин, которой никому в голову не приходило придавать какое-то особое значение, была автоматически одобрена.

Таковы вкратце причины, по которым я оказался в Германии и неожиданно попал в столь сложную для меня обстановку.

Согласно разработанной немецким авиационным министерством программе, я начал посещение военных центров и заводов, расположенных вне Берлина, путешествуя в великолепном «Юнкерсе-52», предоставленном в мое распоряжение. Поскольку по специальности я летчик-инструктор, меня особенно заинтересовало посещение крупной школы военных летчиков, которая размещалась на побережье Балтики, в небольшой деревушке в Восточной Пруссии. Так как Версальский договор запрещал немцам иметь военные училища, официально считалось, что в этой школе тренируются летчики гражданских авиалиний. Ее преподаватели и слушатели носили штатскую одежду. Директор школы устроил в мою честь обед. Подняв тост за дружбу испанских и немецких летчиков, он закончил его словами: «Надеюсь, когда вы приедете в следующий раз, личный состав школы сможет принять вас в славной форме немецкой военной авиации!»

Интересным было и посещение самолетостроительного завода фирмы «Фокке-Вульф» в Бремене. Официально завод производил учебные машины; однако мне показали цехи, где выпускались военные самолеты. Пока я осматривал завод, Кони в сопровождении жены директора знакомилась с достопримечательностями этого старинного города. В конце дня мы присутствовали на большом обеде, устроенном известным фабрикантом «кофе без кофеина» Хагом.

Мне уже не терпелось покинуть Германию и сообщить обо всем, что я так неожиданно узнал. Однако каких-либо серьезных причин прервать свой визит у меня не было, к тому же я мог еще увидеть и узнать много интересного, поэтому решил остаться, несмотря на свое двусмысленное положение.

Мы вернулись в Берлин. В ту же ночь меня разбудил телефонный звонок. Из Парижа звонил Прието, чтобы сообщить ужасную новость: во время нелепой авиационной катастрофы погиб Хосе Мартинес де Арагон, мой самый близкий друг. Трудно высказать горе, охватившее меня при этом известии. Мои чувства можно было бы сравнить с переживаниями, испытанными [305] в связи с кончиной матери. Испания лишилась честнейшего, благороднейшего человека. Любовь к нему я пронес через всю свою жизнь.

На следующий день мы отправились в Мюнхен. Там меня принял начальник воздушных сил Баварии. Он был внимателен ко мне и предложил посетить несколько заводов.

Меня интересовали крупный самолетостроительный завод

«Дорнье» и мастерские, где строился дирижабль «Граф Цеппелин». Оба предприятия находились во Фридрихсгафене.

На заводе «Дорнье» мне показали новые военные самолеты. Они произвели на меня большое впечатление. Это были самые современные военные машины с характеристиками гораздо более высокими, чем все известные мне до тех пор (кто мог подумать, что через несколько лет эти самолеты будут разрушать испанские города и тысячами убивать их жителей?!).

Посмотрел я и строившийся дирижабль «Граф Цеппелин» - последний из сделанных Германией. Он просуществовал недолго: во время полетов по городам Соединенных Штатов Америки дирижабль потерпел аварию и сгорел.

Мы вернулись в Мюнхен. На следующий день, в девять часов утра, я поспешил на свидание с начальником воздушных сил Баварии для совместного посещения какого-то учреждения. Войдя к нему в кабинет, я почувствовал: что-то произошло. Он сухо сообщил мне, что посещение отменяется, и, не давая никаких объяснений, резко и грубо выпроводил.

Я сразу же понял: немцам стало известно мое политическое кредо. Самое лучшее, что я мог предпринять в тех обстоятельствах, - воспользовавшись замешательством властей, поскорее покинуть Германию.

Не теряя ни минуты, я направился в наше консульство и заказал два билета на самолет, отправляющийся в Рим. Через час за нами заехал консул и отвез на аэродром. Без всяких затруднений мы покинули Германию.

* * *

Самолет делал посадку в Венеции. Хотя у нас были билеты до Рима, мы решили на некоторое время остановиться здесь. В номере отеля на острове Лидо мы получили возможность спокойно проанализировать наше положение.

Больше всего нас поражало, что правительство Гитлера г, его знаменитое гестапо потратили больше месяца, чтобы установить нашу политическую ориентацию. Мы радовались, [306] представляя себе испуганные лица некоторых чиновников, когда они поняли свою ошибку. Дать возможность врагу посетить учреждения, где нарушался Версальский договор, показать секретно производимое вооружение и поставить его в известность о подробностях заговора против республики в Испании, - было отчего забеспокоиться организаторам этих преступных дел.

Я хорошо понимал, насколько важны для Испании

имеющиеся у меня сведения. Мне хотелось побыстрее довести их до сведения нашего правительства. Но кому из испанских руководителей доложить обо всем?

Сообщать Гальарсу, начальнику военно-воздушных сил, или генералу Годету, директору Управления по аэронавтике, или Франсиско Франко, начальнику генерального штаба, или Хилю Роблесу, военному министру, было бесполезно и даже опасно.

Я решил поехать в Париж и посоветоваться с Прието. Подробно рассказав ему обо всем, я приготовился выслушать его мнение. К моему удивлению, дон Инда довольно спокойно отнесся к известию о заговоре. Прието считал, что я поддался собственному воображению и разыгравшимся нервам. Он не отрицал, что некоторые испанские политические деятели и военачальники связаны с нацистами, но главную цель немцев видел в желании воспользоваться влиянием правых в Испании для получения выгодных концессий. Разговоры о заговоре, по его мнению, были лишь уловкой, к которой прибегали гитлеровцы, чтобы облегчить осуществление своих планов.

Несмотря на то что я был высокого мнения о политическом опыте дона Инда, его доводы не убедили меня. Я считал свою информацию ценной и важной и был уверен в необходимости как можно скорее передать ее.

После долгих раздумий я решил ехать в Испанию, рассчитывая, что на месте будет легче установить контакт с лицами, на которых можно положиться.

В Барселоне мне сообщили, что Асанья все еще находится под арестом на эсминце, стоящем на якоре в порту. Подумав, что он как раз тот человек, которого заинтересуют мои сведения, я, не колеблясь, надел форму и направился навестить его.

Командир корабля принял меня любезно. Узнав о цели визита, он удивился, недоумевая, по-видимому, как старший офицер авиации имел наглость посетить столь опасного врага [307] правительства. Однако проводил меня до каюты, где содержался Асанья, и оставил с ним наедине. Сожалею, что не запомнил имени капитана, чтобы выразить благодарность за внимание.

Разговор с Асаньей разочаровал меня.

Дон Мануэль Асанья, республиканский лидер, пользовавшийся наибольшим авторитетом в Испании, был весьма озабочен собственным положением и ни о чем другом не желал знать. Мое посещение расстроило его, и он не хотел или не смог скрыть этого.

В тот же день, довольно пасмурный, я выехал в Рим, испытывая чувства возмущения, бессилия и разочарования.

Впервые я понял, что оказался в политической изоляции, почти лишившей меня возможности помогать республике.

В Италии Муссолини открыто готовился к вторжению в Абиссинию. Путешествуя по Сицилии, мы с Кони видели там значительные скопления войск и отрядов чернорубашечников. Их тренировочные лагеря специально расположили в местности, напоминавшей ландшафт Эфиопии. Фашисты даже не пытались замаскировать свои приготовления. У меня создалось впечатление, что войска хорошо вооружены. Помню, удивило лишь то, что офицеры ездили верхом на мулах.

Жизнь в Риме текла по-прежнему. Однажды в нашей гостинице появился добряк Пепе Кастехон. Оказывается, он уже несколько дней находился в Риме.

Характер Пепе не изменился и после свадьбы. Он продолжал предаваться любовным авантюрам с удивительной беспечностью.

На этот раз героиней его романа была немка. Однако скоро выяснилось, что она фанатичная нацистка, не скрывающая своего восхищения Гитлером и гордости по поводу того, что принадлежит к высшей расе. Она испытывала дикую ненависть и презрение к евреям.

Пепе был настолько возмущен этим чудовищем, что решил проучить ее. В тот вечер, войдя в их гостиничный номер и делая вид, будто чем-то озабочен, он весьма серьезно и торжественно сказал:

- Я должен признаться тебе: я - еврей.

Эффект, видимо, превзошел все ожидания. Пепе рассказал, как мгновенно изменилось выражение лица этой женщины. Она готова была броситься на него и выцарапать ему глаза. Однако немка ограничилась тем, что, забрав свои вещи, выбежала из комнаты. [308]

Наконец наступил день, когда меня пригласил к себе посол. На его лице было такое выражение, с каким обычно сообщают неприятные вести. Посол заявил, что в Мадриде принята моя отставка. Этому бедному господину было трудно понять, что покинуть его посольство для нас было истинным удовольствием.

Мы вернулись в Испанию на автомобиле. По пути сделали несколько остановок на Лазурном береге. Границу мы пересекли в Портбу и некоторое время жили в отеле «Кампродон», совершая вдвоем экскурсии по живописным окрестным горам. Кампродон - один из самых замечательных уголков Испании.

* * *

В первых числах сентября 1935 года мы прибыли в Мадрид и поселились в своей новой квартире.

На следующий день я направился в министерство для официального представления, с любопытством ожидая встречи с новым начальником. Я не сомневался, что встреча будет неприятной или, по меньшей мере, натянутой, но чувствовал себя очень уверенно и был преисполнен решимости постоять за себя.

Полковник авиации Хоакин Гонсалес Гальарса, командующий воздушными силами, не был дипломатом. Он гордился своей грубоватой прямотой, столь свойственной арагонцам и риохцам.

Раньше мы были добрыми друзьями и даже два года прожили вместе в Мелилье, но после провозглашения республики я перестал поддерживать с ним отношения, зная его фанатичную преданность монархии.

Гальарса говорил без уверток. Как только я вошел в кабинет, он сразу сказал, что не знает, как поступить со мной. Не доверяя мне - не может поручить ответственный пост. Лучший выход из создавшегося положения - если я сам попрошу об отставке.

Свою речь он закончил очень возбужденно. Я понимал, что ему неудобно делать мне подобное предложение. Как можно спокойнее я ответил, что звание старшего офицера авиации позволяет мне пользоваться определенными правами наравне с другими и что, не совершив ничего позорного, не собираюсь добровольно покидать авиацию. Если же мое присутствие кому-то не по душе, пусть возьмут на себя [309] ответственность выгнать меня, но тогда я буду защищаться всеми доступными мне средствами.

Мы расстались довольно холодно. Однако, выйдя из министерства, я не сомневался, что Гальарса не осмелится выгнать меня из авиации.

Действительно, через три дня меня назначили начальником картографического отдела главного авиационного штаба при военном министерстве.

Назначение показалось мне забавным. Оно менее всего подходило мне. Но Гальарса и его друзья, видимо, полагали, что гораздо безопаснее, если я буду находиться поблизости, окруженный картами и планами.

* * *

В первые дни пребывания в Мадриде мы с Кони оказались в некоторой изоляции, несколько озадачившей нас. Мы вернулись в Испанию преисполненные энтузиазма. Наша жизнь была навсегда

связана с республикой, и мы готовь! были отдать все силы на борьбу за нее. Поэтому пустота вокруг нас казалась странной.

Постепенно нам удалось разыскать немногочисленных, оставшихся в Мадриде друзей-республиканцев. Большинство же наших старых друзей находилось в изгнании или в тюрьме. Я скучал по Прието, оставшемся в Париже, и еще по трем-четырем летчикам-республиканцам, сидевшим в военной тюрьме за участие в астурийских событиях 1934 года. Их отсутствие особенно ощущалось еще и потому, что через них я был связан с республиканским движением.

Я попал в довольно странное положение. Решив целиком посвятить себя делу защиты республики, я готов был все отдать за нее. Но я не принадлежал ни к одной политической партии или организации, поэтому до сих пор всегда поступал интуитивно, как сапер. Моей единственной связью с политическим миром был Индалесио Прието, но для дона Инда я оставался лишь хорошим другом, верным человеком, на которого можно рассчитывать, но не больше. Весьма авторитетный социалистический лидер Прието никогда не стремился заинтересовать меня политикой, никогда не говорил со мной о своей партии и не пытался привлечь к ней. Я почти ничего не знал о намечавшихся планах, то есть никогда не был для него своим. Если к этому добавить, что Прието по натура был человеком замкнутым, а я малолюбопытным, то станут понятны мои последующие действия. [310]

Возвращаясь к повествованию, еще раз предупреждаю, что не претендую на исчерпывающие оценки приводимых фактов. Привожу их такими, какими видел в момент свершения.

Атмосфера в авиации была уже не та. Исчезло чувство товарищества, которое связывало летчиков и всегда являлось нашей отличительной чертой. Обострение политической борьбы привело к расколу в наших рядах. Большинство летчиков определило свои симпатии и присоединилось к одному из двух враждующих лагерей.

Полковник Гальарса поступил несколько опрометчиво, назначив меня начальником картографического отдела. Мой кабинет оказался удобным местом для связи между республиканскими товарищами. В штабе авиации обычно бывал почти весь личный состав военно-воздушных сил. Зайти в мой кабинет, чтобы проконсультироваться, посмотреть или взять карту, считалось делом настолько естественным, что не могло вызвать никаких подозрений.

Через некоторое время мой кабинет превратился в центр информации и место сбора республиканцев, где они могли совершенно спокойно обмениваться впечатлениями и

согласовывать свои действия.

Начавшаяся борьба проявлялась в то время только в небольших стычках. Никто из нас не скрывал своих убеждений, напротив, все открыто демонстрировали их.

Помню, как группа летчиков демонстративно отправилась в воскресенье к обедне в церковь Калатравас, как бы говоря: «Мы пришли на обедню, потому что мы враги республики…» Такая демонстрация неприятно удивила меня и лишний раз убедила в том, что реакция активизировала свою деятельность. До установления республики вопросам религии в авиации не придавали значения. Могу уверенно сказать, что из 1000 или 1200 офицеров вряд ли более дюжины посещали обедню. Не помню, чтобы кто-либо из многочисленных раненых во время войны в Африке исповедовался у священников. Зато какие проклятья посылали летчики в адрес всех святых, когда получали ранения!

Поводом для стычек служили и газеты. Выходя из автобусов, привозивших летчиков на аэродромы, первое, что все делали, - демонстративно углублялись в свои газеты. Достаточно было подсчитать тех, кто держал в руках «АБЦ», «Эль дебатэ», «Эль сосиалиста» или «Эль эральдо», чтобы узнать число сторонников каждого лагеря, ибо правый ни за что на свете не стал бы читать «Эль эральдо», а левый - «АБЦ». [311]

То же самое происходило и в отделах министерства. На каждом столе можно было увидеть газету, положенную специально для того, чтобы все знали, каковы взгляды ее владельца. Признаюсь, я тоже прибегал к этой тактике. Ежедневно я покупал два номера «Эль сосиалиста» и, проходя по коридору, оставлял, если никого не было поблизости, один экземпляр на радиаторе, рядом с тем местом, где обычно сидели денщики, и редко, проходя позже, не находил кого-либо из них, погруженного в чтение газеты. Другой экземпляр я всегда носил в кармане и демонстративно вынимал его в наиболее людных местах или там, где это могло быть особенно неприятно правым.

* * *

Уже больше месяца мы жили в Мадриде, но я еще не видел Рамона Франко. Рассказывали, что он подружился с Лерусом, не хочет иметь ничего общего с левыми и вообще его поведение оставляет желать много лучшего. Как-то раз, когда я был один в своем кабинете, открылась дверь и появился Рамон Франко. По выражению его лица я понял, что мою дверь он открыл по

ошибке. Мгновение Рамон колебался, но затем вошел и протянул мне руку. Я сказал, что рад его видеть, ибо до меня дошли слухи, которым не хотелось бы верить. Вначале он говорил несколько уклончиво, но затем подтвердил, что они соответствуют действительности. Я поразился его цинизму. Казалось, со мной разговаривает настоящий фашист. Никогда не забуду его последней фразы: «Знаешь, Игнасио, если выбирать между тем, чтобы мне давали касторку или я ее давал, предпочитаю последнее» {127}.

Эти слова переполнили чашу моего терпения. Очень резко я ответил, что с этого дня между нами все кончено, и попросил покинуть кабинет.

Это была наша последняя встреча.

* * *

Время шло, и политическая обстановка в стране для меня все более прояснялась. Я с радостью убеждался, что республиканцы после разгрома в октябре 1934 года вновь набирают силы и готовы помешать реакции укрепиться у власти. [312]

Мои друзья были полны решимости бороться за республику. Наглая деятельность правительства, направленная на установление диктаторского режима, недопустимые методы, к которым оно прибегало, добиваясь своей цели, вызывали искреннее возмущение у большинства испанцев.

Жестокие репрессии в Астурии, осуществленные с помощью Иностранного легиона, 30 тысяч брошенных в тюрьмы - все эти действия реакции не запугали республиканцев. Напротив, вызвали протест и готовность противостоять ей.

Коррупция в правительственных кругах была еще одной причиной массового недовольства. В те дни всеобщее внимание привлек скандал в Сан-Себастьяне{128}, известный под названием «эстраперло» {129}.

Чтобы получить разрешение на открытие игорного дома, какие-то иностранцы дали друзьям Леруса и некоторым членам правительства большие деньги и подарки. Открытый подкуп, замести следы которого было невозможно, вызвал скандал, ставший причиной министерского кризиса.

Решимость республиканцев бороться и симптомы разложения среди правых радовали нас. В то же время крайняя реакция с целью компенсировать слабость правительства приступила к усиленной организации отрядов наемных убийц, вскоре давших о себе знать.

Покушение пистолерос{130} на депутата-социалиста Хименса де Асуа, вице-президента кортесов, во время которого погиб один из сопровождавших его людей, вызвало по всей Испании волну возмущения. Оно убедительно показало, что крайне правые и фашисты решили прибегнуть к террору как к одному из способов достижения своих целей.

Мы жили в Мадриде уже два месяца. Неожиданно я получил извещение из управления авиации о назначении в Севилью на должность заместителя начальника аэродрома Таблада. Мне предлагалось в течение сорока восьми часов приступить к своим обязанностям. Я понял: руководству стало известно, что мой кабинет является местом сбора республиканцев, и оно поспешило удалить меня из Мадрида. [313]

Назначение в Таблада. Победа Народного фронта. Слепота правительства и приготовления фашистов

После провозглашения республики на аэродроме Таблада в силу многих причин, которые я не буду перечислять здесь, собрались наиболее реакционно настроенные офицеры.

Его начальник, подполковник Руеда, африканист{131}, сделавший карьеру в Иностранном легионе, не пользовался авторитетом в авиации из-за своего лицемерия и расчетливости.

Начиная с событий в Астурии он нагло демонстрировал свою приверженность католической религии и ненависть к республике. Иначе говоря, подполковник Руеда был идеальным начальником для этого сборища монархистов и фашистов, с которым мне предстояло столкнуться лицом к лицу в ближайшие сорок восемь часов.

На следующий день я выехал в Севилью. Кони и Лули временно остались в Мадриде.

Стоял один из тех великолепных дней кастильской осени, когда особенно хотелось жить. Возможно, он повлиял на состояние моего духа, ибо я был настроен оптимистически, хотя хорошо знал, что меня ожидало в Севилье. Я чувствовал в себе силу и энергию большие, чем у самого Сида.

Прибыв на аэродром Таблада, с которым у меня было связано столько хороших воспоминаний, я представился своему новому начальнику.

С первой же минуты Руеда повел себя вполне откровенно, приняв позу начальника, вынужденного брать на службу нежелательного подчиненного. Он сообщил о большой дружбе, связывающей личный состав аэродрома со своим командиром, подчеркнул отсутствие среди офицеров политических расхождений, а также их недовольство моим назначением. Назвав

меня опасным большевиком, Руеда добавил, что всем летчикам доставила бы большое удовлетворение моя просьба о переводе на другой аэродром, ибо здесь никто не желает терпеть моего присутствия.

Спокойно и сдержанно я ответил, что сожалею о причиняемых неприятностях, однако пока не собираюсь просить о переводе и постараюсь должным образом выполнять свои обязанности заместителя начальника аэродрома. Позабочусь, [314] чтобы и мои подчиненные выполняли свои обязанности, на большее не надеюсь и ничего другого не желаю.

В тот же день Руеда официально ввел меня в должность. За долгие годы службы в авиации я первый раз присутствовал на такой протокольно сухой церемонии. Представление личному составу проходило сугубо по уставу, без каких-либо проявлений человеческих чувств. По окончании церемонии ни один из офицеров не подошел ко мне.

Я остался на летном поле, совершил два-три круга над аэродромом, пробуя свой новый самолет, после чего отправился в бар офицерского павильона выпить кофе. То, что там произошло, весьма показательно для атмосферы, которой меня окружили. Когда я вошел, в зале находилось семь или восемь офицеров. Они встали, отдали по уставу честь и опять сели. Через минуту двое из них поднялись, отдали честь и ушли, немного спустя то же сделали и остальные. Я оказался в одиночестве…

Трудно передать, насколько неприятной была эта сцена. Помню, когда зал опустел, ко мне подошел солдат, заведующий баром, и весьма многозначительно спросил, желая выразить свою симпатию, не нужно ли мне чего-нибудь.

Настал час обеда. Поскольку Руеда питался дома, председательствовал за столом я. Во время обеда никто не произнес ни единого слова. Тяжкое молчание длилось до тех пор, пока я не вышел из столовой. После моего ухода все громко заговорили.

Естественно, это делалось преднамеренно. Они решили выжить меня, не нарушая устава. Я ведь не мог приказать им разговаривать со мной в столовой или в баре. Каждый раз, как только я появлялся, они корректно приветствовали меня и уходили.

Их возмутительное поведение было мне неприятно, но я не собирался уступать и ждал случая, чтобы ответить им так, как они того заслуживали.

И этот случай не заставил себя ждать. Как заместитель начальника базы, я ведал обучением личного состава эскадрильи. Проверив листы полетов, я обнаружил, что заполнены они

неряшливо и, кроме того, учебных полетов на аэродроме проводилось крайне мало. Дабы положить конец легкой жизни, которую вели офицеры, я составил жесткий план учебных занятий.

Каждый день в пять часов утра я становился во главе эскадрильи и заставлял своих подчиненных в течение нескольких [315] часов летать в сомкнутом строю. Для меня полет был относительно легким, так как я не заботился о месте в строю, но для остальных он был утомительным. Если же учесть, что офицеры не имели должной тренировки, станет понятным, как они возмущались. Я видел это по выражению их лиц после приземления.

Говоря о личном составе аэродрома, подполковник Руеда имел в виду исключительно офицеров. По «рассеянности» он забыл о солдатах, капралах, сержантах и поручиках. Эти люди, к которым с таким презрением относился их начальник, в большинстве своем были преданными республиканцами. Они решили напомнить шефу о своем существовании.

Однажды утром на стенах здания аэродрома появились написанные от руки лозунги: «Да здравствует республика!», «Да здравствует Алькала Самора!», «Смерть фашистам!» и т. п.

Помню, в какое бешенство пришел Руеда, увидев их. Вызвав меня, он заявил, что я заражаю своими большевистскими идеями солдат и моя политическая деятельность на аэродроме может плохо кончиться для меня…

Вскоре я стал замечать, что у моего самолета постоянно дежурит кто-нибудь из механиков. Вначале я не придавал этому значения, но затем заинтересовался и решил понаблюдать. Несколько раз я входил в ангар в необычное время, и всегда около моего самолета был механик или его помощник. Увидев меня, они старались незаметно скрыться.

Кроме того, каждый раз перед полетом механик тщательно осматривал самолет - совершенно необычная вещь в авиации. Не оставалось сомнений: зная о ненависти ко мне остальных офицеров, механики наблюдали за моей машиной, подозревая возможность провокации.

Однажды ночью мне показалось, что за мной кто-то идет. Желая удостовериться в этом, я обошел квартал. Действительно, за мной шли два каких-то господина.

Я решил подойти поближе, чтобы разглядеть их лица, но, видимо догадавшись о моем намерении, они поспешили скрыться. Я терялся в догадках: кто мог преследовать меня и зачем?

Это происходило в декабре 1935 года. Тогда, несмотря на

тревожную обстановку в стране, мысль о возможном покушении казалась мне нелепой и фантастичной. Только увидев трупы капитанов Фараудо, Кастильо и других офицеров, убитых лишь за то, что они были преданы республике, я убедился: [316] наши враги не остановятся ни перед какими преступлениями, добиваясь своих целей.

На следующий день на одной из авиэток вместе со своим механиком прилетел капитан Артуро Гонсалес Хил.

Гонсалес Хил не служил в военной авиации. Он строил самолеты на своем маленьком заводе в пригороде Мадрида, где, как говорили, «установил социалистические порядки». Я не знал и не интересовался тем, какие порядки ввел Гонсалес Хил на своем заводе. Но, побывав там, могу сказать, что четыре или пять работавших с ним механиков обожали его и были счастливы трудиться на этом предприятии.

Я допускал существование связи Гонсалеса Хила с левыми партиями, меня даже уверяли, что он коммунист, но мне он никогда не говорил об этом, несмотря на нашу большую дружбу.

Я рассказал ему о своей службе на аэродроме, об отношении ко мне офицеров и о слежке, которую обнаружил в Севилье. Первое его возмутило, а второе серьезно озаботило. Он посоветовал быть осторожным. Из верных источников ему известно, что правые решили расправиться с наиболее верными республике офицерами; вполне возможно, я - одна из намеченных жертв.

В тот же вечер Гонсалес Хил позвонил мне по телефону, сказав, что хотел бы переговорить со мной. Когда мы встретились, он улыбнулся и, как бы извиняясь, что не может быть со мной более откровенным, сообщил:

- Следившие за тобой в Севилье люди - твои друзья. Они ходят за тобой, чтобы в случае необходимости прийти на помощь.

Это оказались механики с аэродрома, до которых дошли слухи, что фашисты что-то замышляют. Переодевшись в штатское платье, они организовали службу наблюдения за мной. Я настаивал, чтобы Гонсалес подробнее посвятил меня в это дело, но он ответил, что большинство членов этой группы - коммунисты, а поэтому просит извинить его, ибо больше ничего сказать не может.

Так впервые в мою жизнь вошли коммунисты.

Правительственный блок, будучи не в состоянии сдерживать натиск левых сил, распался.

Под давлением народных масс президент республики дон Нисето Алькала Самора подписал декрет о роспуске кортесов. Выборы в новый парламент были назначены на февраль 1936

года. [317]

Понимая их важность, все демократические партии Испании объединились в так называемый Народный фронт{132}. Синдикалисты из НКТ отказались от анархистского принципа аполитичности и, наперекор руководителям ФАИ, решили голосовать за кандидатов левого блока.

Настал день выборов. Народный фронт одержал крупную победу, подавляющее большинство народа встретило ее с энтузиазмом.

Победа подняла дух людей и убедила, что объединенные силы демократии Испании значительно сильнее реакции.

Народный фронт завоевал 268 депутатских мандатов (158 - республиканцы, 88 - социалисты и 17 - коммунисты) против 205, полученных партиями центра и правыми.

Дон Мануэль Асанья образовал левое республиканское правительство, которое поддержали все партии, входившие в Народный фронт. Не знаю почему, но в правительстве не были представлены ни социалисты, ни коммунисты.

* * *

На севильском аэродроме Таблада победа левых сил произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Солдаты и младшие офицеры не скрывали своей радости. С волнением я наблюдал, как они старались пройти мимо меня, чтобы поприветствовать улыбкой и словно бы поделиться своей гордостью по поводу победы республиканцев. Старшие же офицеры не могли скрыть недовольства и замешательства. Должен признать: они сумели перенести удар с достоинством, стараясь не показывать своих переживаний. Их отношение ко мне не изменилось. Исключение составлял лишь подполковник Руеда.

Правительство назначило директором Управления по аэронавтике генерала Нуньеса де Прадо. Вступив в должность, он приказал мне срочно явиться в его распоряжение в Мадрид, направив об этом телеграфное уведомление начальнику аэродрома. Получив телеграмму, Руеда, вместо того чтобы вызвать меня к себе, как делал это раньше, сам пришел в мою комнату и с отвратительной услужливостью сообщил эту новость. Он поздравил меня и даже набрался наглости оправдывать свое подлое отношение ко мне. Но я не упустил случая высказать ему все, что заслуживал этот презренный человек.

В тот же день я покинул замечательный аэродром Таблада и на своей машине отправился в Мадрид. [318]

Несколько слов хочу сказать о генерале Нуньесе де Прадо, профессиональном военном, мало известном среди республиканцев, несмотря на то что отдал жизнь за республику.

Дон Мигель Нуньес де Прадо, новый генеральный директор Управления по аэронавтике, сделал блестящую военную карьеру и пользовался заслуженным авторитетом в армии. Он участвовал в войне в Марокко и был известен как храбрый и гуманный человек.

Я знал его давно. Он был товарищем и другом моего брата Мигеля. Но по-настоящему наша дружба началась на аэродроме в Хетафе, где Спенсер и я обучали летать на самолете восемь высших армейских начальников. Нуньес де Прадо не принадлежал ни к одной из политических партий, но был человеком прогрессивных взглядов, готовым всеми силами бороться за республику.

Первая встреча с ним произвела на меня очень хорошее впечатление. Нуньес де Прадо был убежден, что в подготовке восстания против республики принимают участие многие генералы и офицеры; положение серьезное; однако, если принять быстрые и энергичные меры, можно одним ударом пресечь вражеские козни.

По его мнению, требовалось в самом срочном порядке вырвать воздушные силы из рук реакции.

Вечером в день моего приезда генерал Нуньес де Прадо вызвал подполковника Луиса Рианьо и меня к себе домой.

Полные решимости, мы принялись за разработку необходимых мероприятий для превращения авиации в верное оружие республики. На следующий день Нуньес де Прадо смог уже представить военному министру первые предложения о самых необходимых изменениях в личном составе авиации. Несмотря на умеренность, они испугали министра. Он, по-видимому, недооценивал опасность того, что командование авиационными частями и аэродромами находилось в руках реакционеров, в то время как офицеры-республиканцы занимали второстепенные посты.

Нуньес де Прадо вынужден был пойти на уступки, чтобы добиться одобрения хотя бы части своих предложений. Однако он был необычайно возмущен непониманием правительством важности предложенных мер.

В нашей мадридской квартире стало довольно многолюдно. Не проходило дня, чтобы к нам не приходили знакомые [319] и не приводили своих знакомых. Все они - горячие сторонники республики - были обеспокоены подготовкой фашистов к восстанию.

Не помню, кто привел к нам в дом две супружеские пары, приехавшие из Франции. Они сразу же завоевали наши симпатии своей непринужденностью и преданностью Испанской республике. Первая чета - Мари Луиза Кашен и ее муж Марк Жакье. Оба были адвокатами и работали в Париже. В Испанию они приехали на велосипедах. Меня удивил их интерес к испанским делам. Они произвели на нас прекрасное впечатление. Я очень удивился, когда после их ухода кто-то сказал, что оба они коммунисты, а Мари Луиза - дочь Марселя Кашена, одного из руководителей Французской компартии. Повидимому, в те времена в моем представлении коммунисты не могли быть такими нормальными и симпатичными людьми, как Мари Луиза и Марк.

Спустя несколько дней мы познакомились с другой супружеской парой французов - Лулу и Эрнандо Виньес. Лулу с первой минуты очаровала нас своей простотой. Ее муж, Эрнандо, испанец по происхождению, был хорошим художником. Он с большим мастерством играл на гитаре всевозможные фламенко, ничуть не уступая в мастерстве андалузским токадорес{133}. Оба показались мне людьми большой культуры и были довольно хорошо осведомлены о политическом положении в Испании. Я в первый раз встречал иностранцев, которые бы так интересовались судьбой Испанской республики. Их стремление помочь ей необычайно тронуло нас. Искренне, от всего сердца предлагали они отдать все имеющиеся у них средства в распоряжение республиканцев. Позднее я узнал, что и эта симпатичная чета близка к коммунистам, а Лулу - дочь прославленного архитектора и известного коммуниста Франсиса Журдэна.

* * *

После возвращения в Мадрид наши отношения с семьей Кони значительно улучшились. Раз в неделю мы обедали у ее родителей. Однажды мать Кони весьма конфиденциально призналась ей, что они с отцом хотели бы, чтобы все мужья их дочерей «были такие, как Игнасио».

Однако, несмотря на нашу добрую волю, нам не удавалось добиться полной непринужденности во время этих [320] семейных встреч. И не мудрено, ибо постоянно приходилось опасаться, как бы не затронуть какую-нибудь из бесчисленного количества скользких тем.

До сих пор помню трогательное отношение к нам прислуги и шофера в доме отца Кони. Они настолько явно проявляли свое

расположение к нам, что родные Кони, я уверен, замечали это. Девушка, с приветливой улыбкой открывавшая нам дверь, слуги, подававшие на стол и уделявшие все внимание только Кони и мне, всем своим видом желали подчеркнуть свои симпатии к нам. Шофер, иногда отвозивший нас домой, также не скрывал своего дружеского расположения. Все они, видимо, были республиканцами, и им надоело постоянно выслушивать в этом доме одни и те же разговоры, направленные против республики. Шофер рассказал Кони, что во время последних выборов моя теща сделала слугам подарки и одновременно вручила избирательные бюллетени с именами правых кандидатов. Голосовать их отправили под присмотром управляющего, дабы никто не улизнул. Однако у каждого из них был припрятан бюллетень с именами кандидатов Народного фронта, за которых они и проголосовали.

Отношения с родными Кони развивались в общем нормально до того дня, пока моему тестю не пришла в голову мысль записать на наше имя некоторые свои имения. Таким образом он рассчитывал избежать действия закона об аграрной реформе. Вот как описывает Кони сцену разговора с отцом в своей книге «Вместо роскоши»:

«В тот день, когда произошел этот злосчастный инцидент с имениями, мы обедали в доме моего отца. После обеда он сказал, что хотел бы поговорить с нами. Мы прошли в его кабинет, большую, комфортабельно обставленную комнату, и сели вокруг стола, нам подали кофе. Отец с плохо скрываемым смущением предложил Игнасио коньяк и прекрасную сигару. Меня тоже охватило волнение. Несомненно, отец собирался сообщить нам нечто важное. Мы ждали. Наконец он заговорил:

- Я старею и должен подумать о моих детях…

Игнасио нахмурился. Ничто его так не задевало, как напоминание, что я - дочь состоятельного человека, крупного землевладельца и преуспевающего коммерсанта. Глядя на наш скромный образ жизни, ни у кого не могло возникнуть сомнений, что мы живем только на жалованье Игнасио. [321]

- Вы знаете, - поспешно продолжал отец, как человек, решивший высказать все, что накопилось у него в душе, - когда вступит в силу закон об аграрной реформе, я лишусь части моих имений. Но если разделить их между всеми детьми, то они не подпадут под действие закона. Я хотел бы знать, какое имение вам больше нравится, чтобы перевести его на ваше имя.

- Папа, - перебила я его, - ты зря советуешься с нами по этим вопросам. Ни Игнасио, ни я не хотим иметь земельной собственности, и, следовательно, нас не интересует твое

предложение.

Отец кашлянул. Он был в явном замешательстве.

- Ты не поняла меня. Вот твои сестры Марича и Рехина поняли сразу. Речь идет о простой формальности. Я по-прежнему буду заниматься всеми делами, но в будущем земля перешла бы к вам. В противном случае закон, ты понимаешь…

Да, мы прекрасно понимали. Он хотел обойти закон об аграрной реформе, но для этого ему нужна была наша помощь.

Видя, что со мной говорить бесполезно, отец обратился к Игнасио:

- Вопрос лишь в том, чтобы на несколько лет раньше произвести раздел поместий, который неизбежно произойдет после моей смерти. Ведь вы не откажетесь от своей доли наследства? Не так ли?

Игнасио встал.

- Я не имею к этому делу никакого отношения. Пусть Кони поступает так, как ей кажется лучше, - и направился к двери.

Я тоже встала.

- Я уже сказала свое мнение. Нет необходимости повторять все снова.

Холодно попрощавшись, мы ушли».

* * *

На историческом заседании кортесы сместили с поста президента республики дона Нисето Алькала Самора. Временно исполнять его обязанности назначили Мартинеса Баррио. Затем на совместном заседании депутатов и посредников президентом был избран Мигель Асанья, который поручил формирование нового правительства дону Сантьяго Касарес Кирога. И на этот раз ни социалисты, ни коммунисты не вошли [322] в правительство. Касарес кроме обязанностей премьер-министра взял себе портфель военного министра.

Я не был знаком с доном Сантьяго Касарес, поэтому крайне удивился, прочитав в «Диарио офисиаль» {134}, что назначен его адъютантом. Эту мысль подсказал Касаресу Прието, даже не поставив меня в известность.

* * *

Осуществление плана передачи основных авиационных баз в руки верных республике командиров Нуньес де Прадо решил начать с мадридских аэродромов - «Куатро виентос» и Хетафе. Я

был временно назначен начальником последнего. Став адъютантом председателя совета министров, я вынужден был совмещать обе эти должности, так как нам еще не удалось очистить Хетафе от всех подозрительных командиров.

Обязанности адъютанта главы правительства и военного министра неожиданно поставили меня очень близко к руководителям республики.

Дон Сантьяго обладал мягким характером, хотя и старался скрывать свою доброту и слабоволие. Он восхищался Прието и считался с его мнением. Видимо, дон Инда хвалил меня дону Сантьяго, ибо он относился ко мне с теплотой и доверием.

Я никогда не мог понять, почему многие в Испании считали дона Сантьяго волевым и решительным человеком. Вступление Касареса в должность военного министра имело в армии большой резонанс. Офицеры-республиканцы восприняли это решение с огромным удовлетворением. Нуньес де Прадо и я возлагали немалые надежды на нового министра, рассчитывая, что он предоставит нам больше возможностей для республиканизации авиации.

У реакционеров его назначение, естественно, вызвало замешательство. Они были уверены, что Касарес немедленно примет энергичные меры, чтобы сорвать заговор мятежников.

Вначале, когда новое правительство только пришло к власти, у него имелись все возможности нейтрализовать происки врагов республики и ликвидировать заговор и тем самым предотвратить будущее ужасное кровопролитие. В первое время реакция была так напугана, что не оказала бы серьезного сопротивления. Ее единственной опорой являлась армия. Но вскоре правые поняли, что представляет собой дон Сантьяго. [323] Они успокоились и о прежней энергией продолжили подготовку к восстанию.

Каждый свой шаг дон Сантьяго согласовывал с Асаньей. Подобные отношения между президентом республики и главой правительства вряд ли можно считать нормальными. Фактически Асанья продолжал оставаться и военным министром и премьер-министром. Мало кто в Испании знал, что «страшный» Касарес находился в полном подчинении у нового президента.

Приведу в подтверждение такой факт.

Генерал Годет - бывший начальник Управления по аэронавтике - и полковник Гальарса - командующий военно-воздушными силами - превратили летную школу в Алькала-де-Энарес в один из основных центров подготовки к восстанию.

Руководил школой майор Рафаэль Хордана, брат генерала, ставшего при Франко министром. В его подчинении находились такие, например, летчики - враги республики, как Гарсия Морато

и Карлос Айа.

Тогда мне еще не была известна деятельность этой группы, однако я не раз предупреждал Касареса об опасности, которую она представляла для республики. Нуньес де Прадо также неоднократно настаивал на ее роспуске, но всегда встречал непонятное сопротивление министра.

Однажды в моем доме появился лейтенант Пуньорос, командир отряда охраны аэродрома в Алькала. Меня с ним связывала старая дружба - еще с тех времен, когда я командовал школой. Беспокоясь о положении на этом аэродроме, я поручил ему понаблюдать за тем, что там происходит. Увидев Пуньороса, я понял: случилось что-то серьезное. Оказалось, майор Хордана и его офицеры привезли в школу пулеметы, патроны и бомбы, а также установили бомбосбрасыватели на имевшихся в их распоряжении трехмоторных самолетах. Создавалось впечатление, что у них уже все подготовлено к восстанию и они ждут только приказа своих главарей.

Известие было чрезвычайно важным, поэтому я немедленно отправился к Нуньесу де Прадо. Прадо решил не консультироваться с министром и под свою ответственность отдал мне письменный приказ вывезти из Алькала все самолеты и оружие. Не теряя ни минуты, я поспешил в Хетафе. Прихватив там пять или шесть надежных людей, среди которых помню капитана Каскона и лейтенанта Эрнандеса Франка, я отправился в Алькала. Хордана и его офицеры уехали в Мадрид. На аэродроме остался только дежурный офицер. [324]

Под его удивленные взгляды мы погрузили на трехмоторные самолеты все имевшееся в Алькала оружие и улетели. Позднее эти самолеты сослужили нам большую службу.

Нуньес де Прадо и я отправились к министру, чтобы проинформировать его о случившемся и попросить разрешения на роспуск антиреспубликанской группы в Алькала. Хотя мы оставили ее без оружия, она продолжала представлять опасность. Наш рассказ взволновал Касареса. Он поддержал наши предложения, но заявил, что должен посоветоваться с Асаньей. Мы договорились, что на следующий день я поеду вместе с Касаресом к Асанье в маленький дворец эль Пардо и лично объясню президенту сложившуюся обстановку.

Асанья обосновался не в большом дворце эль Пардо, а в так называемом «Касита дель принсипе» {135}, маленьком, но чудесном здании, окруженном лесом и обставленном с большим вкусом.

Президент пригласил нас позавтракать с ним. На трапезе присутствовали его жена, майор-карабинер Куэто (адъютант

Асаньи, убитый фашистами под Бильбао) и Боливар (комендант президентского дома).

В столовой Асанья обратился ко мне:

- Вы, кажется, хотите сообщить мне что-то важное?

Я удивился, почему он не пригласил меня для такого разговора к себе в кабинет, чтобы побеседовать без свидетелей. Однако, не желая упустить представившуюся возможность поговорить с президентом, я обрисовал ему серьезность создавшегося в армии положения и привел конкретные доказательства подготовки реакционно настроенными военными восстания против республики.

Вдруг Асанья довольно грубо перебил меня, заявив, что я «очень возбужден», мои утверждения опасны и я не должен забываться, разговаривая с президентом. Он встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен, и, сопровождаемый Касаресом, вышел с кислой миной из комнаты.

Я был поражен и возмущен слепотой Асаньи. Если бы он остался, я бы ответил на столь дерзкую выходку что-нибудь резкое о недопустимой для президента близорукости. Момент был слишком серьезен, решалась судьба моей родины.

Через некоторое время дон Сантьяго вернулся. Заметив мое состояние, он взял меня под руку и повел к машине. [325]

По пути в Мадрид Касарес старался успокоить меня, говоря, что не стоит придавать большого значения этому инциденту. Асанья иногда бывает груб, но в глубине души он хороший человек.

- Вы понимаете теперь, - продолжал дон Сантьяго, - насколько мне трудно принимать какие-либо меры против подозрительных лиц.

Он сказал это с некоторым удовлетворением, словно политическая слепота Асаньи могла оправдать его. собственное поведение и пассивность как военного министра перед лицом надвигавшейся опасности.

Другой факт, свидетельствовавший о полном непонимании теми, в чьих руках находилась судьба республики, политической ситуации в стране, произошел за несколько дней до восстания. Из Марокко для представления министру прибыл полковник Ягуэ. Увидев, что Ягуэ находится в приемной, я через другую дверь вошел в кабинет Касареса, решив проинформировать его о человеке, которого тот собирался принять. Приводя многочисленные факты, я пытался доказать, что полковник Ягуэ является одним из главарей заговорщиков. В подчиненных ему войсках ведется открытая и наглая подготовка к восстанию против республики. Уже с 1934 года, со времени событий в

Астурии, он откровенно перешел на службу реакции. Этого не видели только те, кто намеренно закрывал глаза на истинное положение вещей. Я даже подсказал Касаресу удобный повод, чтобы задержать Ягуэ в Мадриде, а в Марокко послать верного республике офицера.

Ягуэ пробыл у Касареса более полутора часов. По окончании свидания Касарес сам проводил полковника до дверей приемной, что делал крайне редко. Они попрощались как самые лучшие друзья. Министр, видимо, остался доволен беседой.

Когда я вновь вошел к нему, Касарес поучительно сказал мне:

- Ягуэ - безупречный военный, я уверен: он никогда не предаст республику. Ягуэ дал мне честное слово военного верно служить ей, а такие люди, как Ягуэ, выполняют своя обещания. На его слово можно положиться.

В первый же день восстания Ягуэ, командовавший Иностранным легионом, захватил всю западную зону Марокко, что имело для мятежников решающее значение.

Я довольно подробно остановился на этих двух случаях, свидетелем которых был, чтобы дать представление о той [326] атмосфере, которая царила в стране за несколько недель до начала мятежа, и о том, как вело себя правительство в этих условиях.

* * *

События следовали одно за другим с удивительной быстротой. Фашисты перешли к открытому насилию, организуя покушения и уличные беспорядки. Явно чувствовалось намерение реакции спровоцировать народ, столкнув его лицом к лицу с жандармерией и армией.

Так называемые «силы порядка» продолжали щедро субсидировать группы наемных убийц. Фашисты совершали покушения не только на таких видных республиканских деятелей, как магистр Педрегал, преподаватель университета Хименес де Асуа или адвокаты Ортега и Гассет, но даже на продавцов левых газет. Причем правительство не принимало никаких мер, чтобы пресечь эти преступления и наказать подстрекателей и исполнителей, хотя их знала вся Испания.

Каждый раз после очередного, совершенного фалангистами убийства правые газеты с наглым цинизмом обвиняли во всем анархию, ответственность за которую якобы несет Народный фронт.

Однажды утром в военное министерство пришел генеральный

директор Управления безопасности. По его лицу было видно, что он принес плохие вести.

Через час меня пригласил к себе Касарес. Дон Сантьяго, стараясь скрыть волнение, протянул мне список с фамилиями четырнадцати военных-республиканцев. Из них я помню Фараудо, Кастильо, Морено, Гонсалеса Хила и свою, под четвертым номером.

Несколько дней назад этот список попал в руки полиции. Там не обратили на него особого внимания, ибо в Управлении безопасности имелось много подобных списков с именами республиканцев, которым правые угрожали расправой. Однако в данном случае дело оказалось значительно серьезнее. В то утро около своего дома выстрелом в спину был убит капитан Фараудо. С ним расправились только за то, что он был республиканцем. Его имя фигурировало первым в этом списке.

Правительство встревожилось и решило принять меры для защиты остальных. Назавтра у дверей моей квартиры я увидел полицейского, присланного генеральным директором Управления безопасности охранять меня. [327]

С того дня этот «ангел-хранитель» постоянно следовал за мной. Его миссия заключалась лишь в том, чтобы не отставать от своего опекаемого. Он действовал мне на нервы, я становился еще более раздражительным, чем обычно.

Напряжение в Мадриде достигло предела. Редкий день мы не получали сообщений, что восстание назначено на такой-то день. Левые партии и организации срочно мобилизовывали своих членов, устанавливали ночные дежурства.

С огромными усилиями, несмотря на сопротивление военного министра, нам все же удалось поставить на наиболее важные посты в авиации верных республике летчиков. К сожалению, офицеров-республиканцев, на которых можно было бы полностью положиться, не хватало. Среди офицеров было много колеблющихся. Я опасался, что большинство из них примкнет к восставшим.

Хотя с приходом Нуньеса де Прадо нам удалось в основном нейтрализовать деятельность реакционеров в авиации, мы испытывали беспокойство. Возможность попытки переворота на любом из аэродромов оставалась. Каждый раз, когда поступали сведения о дне начала восстания, а такие сообщения приходили ежедневно, мы организовывали на аэродромах по ночам службу специального наблюдения из верных офицеров и командиров. Все это страшно утомляло и выматывало нас.

Как кошмар вспоминаю дни своего дежурства в Хетафе: не ложились спать всю ночь, пистолеты держали наготове. Надо

было наблюдать не только за аэродромом, но и за близлежащей артиллерийской казармой. По имевшимся у нас сведениям, офицеры-артиллеристы находились в сговоре с реакционно настроенными летчиками.

В дни дежурства в министерстве Касарес обычно приглашал меня к себе домой на обед, после чего я сопровождал его в конгресс. С каждым днем дебаты в конгрессе становились все более ожесточенными. Касарес занимал место на синей скамье правительства, я ожидал его на дипломатической трибуне, откуда наблюдал за горячими спорами депутатов.

Однажды дон Сантьяго предупредил меня, что предстоит особенно бурное заседание. Действительно, в тот вечер я стал свидетелем, пожалуй, самых интересных дебатов в кортесах того созыва.

Я не помню всех подробностей этого заседания, но до сих пор в памяти сохранилось впечатление от выступлений некоторых ораторов. [328]

Первым говорил Хиль Роблес - один из главарей реакции, которого безоговорочно поддерживала церковь. Он защищал предложение, выдвинутое правыми. Я всегда испытывал к нему антипатию. Но в тот памятный день после его циничных и наглых обвинений в адрес Народного фронта я почувствовал ненависть и презрение к этому политикану, так бесстыдно искажавшему факты.

Затем выступил Кальво Сотело. Он яростно нападал на Народный фронт, приписывая ему преступления, совершенные реакцией. Меня особенно поразила та часть его выступления, где он хвалил НКТ - анархические профсоюзы.

В своей речи дон Сантьяго Касарес дал отпор Кальво Сотело, обвинив его в антиреспубликанской деятельности. И наконец, от коммунистов выступила Долорес Ибаррури.

Я впервые присутствовал на ее выступлении, и мне было интересно, что она скажет.

Внешность этой коммунистки произвела на меня сильное впечатление. Она была по-настоящему привлекательна. Ее простая, но сделанная со вкусом прическа подчеркивала тонкие и правильные черты лица. Долорес Ибаррури была женственна и в то же время производила впечатление энергичного человека.

Коммунисты вновь удивили меня. Долорес Ибаррури оказалась совершенно не такой, какой я представлял ее себе по описаниям в газетах.

У нее был исключительно приятный голос, и говорила она свободно и легко. Ее выступление, четкое и ясное, простой и понятный язык произвели в конгрессе большое впечатление.

В своей речи Долорес Ибаррури упрекала правительство в пассивности перед лицом открытого наступления реакции. Приведя множество доказательств и неоспоримых фактов, свидетельствовавших о неминуемости восстания, она прямо обвиняла его в попустительстве заговорщикам.

Я почувствовал прилив сил и энергии. Слова Долорес Ибаррури совпали с моими мыслями о положении в стране.

Выступление Долорес Ибаррури было самым сильным. После окончания заседания в баре конгресса к нам присоединился Прието. Он очень хвалил Ибаррури, но все же не удержался, чтобы не высказать свою антипатию к коммунистам. Очень жаль, сказал Прието, что такая талантливая и выдающаяся женщина находится в рядах коммунистической партии. [329]

Через несколько дней мне позвонил Гонсалес Хил и сообщил, что фалангисты убили лейтенанта Кастильо, чья фамилия стояла второй в том списке, о котором я говорил. Лейтенант Кастильо, беззаветно преданный республике офицер, командовал особой группой «Гвардиа де асальто». Казарма, где она располагалась, находилась недалеко от моего дома, поэтому я часто видел его.

Сообщение об убийстве лейтенанта Кастильо вызвало во мне гнев и стыд. Я почувствовал неодолимое желание действовать. Позволять этим сволочам безнаказанно убивать казалось мне трусостью. Я жаждал немедленно принять меры, пусть даже самые жестокие, чтобы раз и навсегда покончить с подрывной деятельностью правых.

Я знал, что некоторые офицеры-летчики поддерживают тесный контакт с механиками и сержантами. Среди них были два моих хороших друга: лейтенант Эрнандес Франк и капитан Гонсалес Хил. Но они никогда не говорили мне о своих политических взглядах. Я всегда считал их хорошими республиканцами, и только. Их сдержанность, как мне стало известно позже, объяснялась тем, что оба они были коммунистами, а коммунистическая партия подвергалась преследованиям и при первом и при втором республиканских правительствах, находясь фактически в подполье. Зная о моей большой дружбе с Прието, Марселино Доминго и другими республиканскими деятелями, входившими в состав этих правительств, они, естественно, предполагали, что я их единомышленник.

Решив действовать, я подумал, что Гонсалес Хил - тот человек, который поможет мне. Я отправился к нему домой, застав там сержанта и двух механиков с аэродрома «Куатро виентос». Увидев меня, они стали прощаться, но я попросил их остаться. Мне хотелось узнать мнение этих людей о злодейских

убийствах и возможности восстания.

Вначале чувствовалась некоторая стесненность, но когда я откровенно рассказал о своей реакции на убийство Кастильо и желании немедленно действовать, даже в обход министра, и к тому же они увидели, что Гонсалес Хил доверяет мне, лед растаял. Состоялся интересный и искренний разговор. Гонсалес Хил вполне откровенно дал мне понять, что у него имеются связи с коммунистами и социалистической молодежью. Но он ни слова не сказал о своей принадлежности к коммунистической партии. [330]

Собравшиеся откровенно рассказали о созданной в военно-воздушных силах организации для наблюдения за фашистами, которая готова в любой момент сорвать попытку мятежа. В эту организацию, действовавшую в авиации с 1934 года, входили капитан Гонсалес Хил, лейтенанты Эрнандес Франк и Луис Бургете и еще три или четыре офицера, а также механики, сержанты и солдаты. Почти все они были членами коммунистической партии и Союза объединенной социалистической молодежи. Поскольку Гонсалес Хил и его друзья преследовали те же цели, что и мы, находившиеся на руководящих постах, нам было нетрудно договориться о совместных действиях.

Не теряя времени, Гонсалес Хил и я отправились в «Куатро виентос» к полковнику Рианьо, командиру базы, преданному республиканцу. Уже в течение четырех дней встревоженный Рианьо не покидал базы, опасаясь мятежа реакционно настроенных офицеров, которых довольно много еще оставалось на этом аэродроме.

Вместе с Рианьо, Гонсалесом Хилом и его механиками мы создали в ротах небольшие группы из надежных офицеров и сержантов, которые в случае необходимости могли бы помочь Рианьо подавить любую попытку восстания на базе.

Иначе говоря, мы приняли самые элементарные меры безопасности, но предотвратить мятежа они, разумеется, не могли. Тем не менее мы стремились привлечь к защите республики младших командиров и солдат.

Затем мы направились в Хетафе. Там дежурили капитан Каскон и лейтенант Эрнандес Франк. Оба были весьма обеспокоены. Они получили сведения о том, что в соседнем артиллерийском полку происходит совещание офицеров и отмечено весьма подозрительное движение.

Каскон, Эрнандес Франк, Гонсалес Хил, два вызванных им механика и я собрались в ангаре, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Проинформировав о принятых нами мерах на «Куатро

виентос», договорились немедленно приступить к созданию такой же системы наблюдения и в Хетафе.

Выполнение этой задачи внутри базы оказалось относительно легким. Трудность заключалась в организации эффективного наблюдения за артиллерийским полком. Для этого требовалось много людей, а мы не решались выводить с аэродрома свои группы, чтобы не ослаблять местные силы. [331]

Разрешить эту сложную проблему помог Гонсалес Хил. Вместе с Эрнандесом Франком он отправился в деревню Хетафе. Вскоре они вернулись в сопровождении двух ее жителей. Эти люди оказались членами Союза объединенной социалистической молодежи и коммунистической партии. Они рассказали, что в их деревне создан отряд примерно в 40 человек, состоящий в основном из рабочих, которые уже в течение нескольких недель ведут наблюдение за артиллеристами. Им удалось установить контакт с сержантами и солдатами этого полка, от которых они и узнали о подозрительном сборище офицеров.

Договорились, что Каскон и я проведем ночь на аэродроме. Эрнандес Франк с небольшой группой вооруженных механиков и солдат присоединятся к тем, кто наблюдает за казармой, а Гонсалес Хил отправится в гражданский аэропорт Барахас, где у него было несколько друзей, чтобы предупредить их.

Я еще раз убедился, каких возможностей лишался, не состоя членом ни одной политической партии или организации.

Возвращаясь на следующий день домой, я испытывал чувство удовлетворения и, кажется, впервые за много недель спокойно заснул. В Мадриде аэродромы были в наших руках.

* * *

Известие об убийстве лейтенанта Кастильо взволновало страну. Все ждали наказания убийц и организаторов этого преступления. Несколько солдат из «Гвардиа де асальто», подчиненных Кастильо и обожавших его, видя, что правительство бездействует, возмущенные его пассивностью, решили сами свершить правосудие и отомстить за своего любимого командира. Выехав из казармы на броневике, они захватили Кальво Сотело - одного из главарей заговорщиков, которого считали ответственным за смерть лейтенанта и за сотни других преступлений, совершенных пистолерос. На следующий день труп Сотело нашли на одном из мадридских кладбищ.

Смерть Кальво Сотело еще больше накалила обстановку в стране. Правые организовали мощную демонстрацию, превратив

его похороны в смотр своих сил.

Мятежники вышли на улицы. [332]

Восстание 18 июля. Республиканская авиация с народом. Первые герои

Во второй половине дня 18 июля 1936 года мне позвонил капитан Варела, секретарь министра, и попросил срочно явиться в министерство - в Мелилье началось восстание.

Когда я вошел в приемную, министр шутил с адъютантами по поводу событий в Марокко.

Дон Сантьяго Касарес, глава правительства и военный министр, не придал столь тревожному известию должного значения.

Он настолько недооценивал это сообщение, что, получив телеграмму о начавшемся восстании в десять часов утра, вспомнил о ней лишь в конце трехчасового очередного заседания кабинета. Тогда он вскользь передал ее содержание министрам.

Я отправился к генералу Нуньесу де Прадо, который еще ничего не знал. Он тотчас понял, что восстание в Мелилье - сигнал к началу всеобщего широко подготовленного мятежа, и, не теряя ни минуты, начал принимать меры, чтобы избежать неприятных сюрпризов с воздуха.

Он позвонил на все аэродромы, дал каждому начальнику четкие инструкции, что делать и как поступать. Не удалось связаться только с аэродромом в Мелилье. Мятежники уже захватили эту базу в свои руки, убив ее начальника капитана Бермудеса Рейна, не пожелавшего присоединиться к ним. Остальные начальники аэродромов сообщили, что пока у них все спокойно. Даже командир базы в Леоне майор Хулиан Рубио, уже перешедший на сторону восставших, ответил, что у него полный порядок.

Нуньес де Прадо отправился инспектировать мадридские аэродромы: «Куатро виентос», Хетафе и Барахас. Я сопровождал его. На всех трех аэродромах были приняты меры для предотвращения любой попытки мятежа. В восемь часов вечера мы вернулись в министерство. Нам не терпелось узнать последние новости.

Сомнений не оставалось - восстание в Мелилье явилось условным сигналом к нападению на республику. Сведения, поступавшие с разных концов страны, были тревожными. В Барселоне борьба шла на улицах. Большинство ее гарнизона восстало. Руководил им генерал Годед, командующий [333] военным округом на Балеарских островах, прилетевший в столицу Каталонии, чтобы возглавить восстание.

Сообщения о положении в провинциях были противоречивы. Мелилья находилась в руках мятежников, но о Сеуте и Тетуане ничего конкретного мы не знали.

Военный министр совершенно переменился. С его лица исчезло ироническое выражение, появлявшееся обычно всякий раз, когда ему говорили об угрозе восстания. Чувствовалось, что он понял свою ошибку и готов исправить ее, но не знает, как это сделать.

Видя, что Касарес Кирога пал духом, Нуньес де Прадо взял командование в свои руки. С согласия кабинета министров он начал действовать смело и решительно.

Я всегда был высокого мнения о Нуньесе де Прадо, но только ночью того страшного дня - 18 июля - в полной мере оценил его способности. В то трудное время этот человек оказался просто незаменимым.

Его энергия и хладнокровие подняли настроение у присутствовавших, павших было духом, глядя на растерявшегося дона Сантьяго. Увидев в Нуньесе де Прадо человека, способного трезво оценить обстановку и возглавить борьбу против врагов республики, все охотно подчинились ему.

Я уже говорил, что Нуньес де Прадо провел несколько лет в Тетуане, командуя туземными войсками. Положение в том районе больше всего беспокоило генерала, кроме того, он думал, что его присутствие в этом городе поможет республиканцам, поэтому он решил немедленно отправиться в Тетуан на самолете. Касарес и все мы одобрили решение Прадо. Несомненно, его приезд в Тетуан мог оказать решающее влияние на поведение гарнизона. Он позвонил в «Куатро виентос» и отдал распоряжение подготовить свой шестиместный двухмоторный самолет «Драгон». Своему адъютанту майору кавалерии Леону и офицеру - личному секретарю (его фамилии я, к сожалению, не помню) Нуньес де Прадо приказал быть готовыми сопровождать его.

Тем временем я пытался связаться с верховным комиссариатом в Тетуане, полагая, что Нуньесу де Прадо не следует вылетать туда, пока мы не удостоверимся, что аэродром в Тетуане находится в руках верных нам людей.

Пост верховного комиссара Испании в Марокко занимал Артуро Альварес Буилья, верный республиканец, неплохой летчик, смелый и решительный человек. Я хорошо знал его. Нас связывала дружба, в свое время я обучал его летать. [334]

Наконец мне удалось связаться с Альваресом Буилья. Никогда не забуду этого разговора. Когда я спросил, как идут дела, он ответил:

«Пока никаких перемен, но положение очень тревожное. Я

звонил командирам корпусов, однако ни один из них не подошел к телефону, ссылаясь через своих адъютантов на большую занятость. Единственно, с кем мне удалось переговорить, это с майором Пуэнте Баамонде, командующим авиацией в Тетуане. Он сообщил, что поблизости от аэродрома заметно подозрительное движение воинских частей; он принимает меры к защите в случае нападения. У меня имеются сведения, - продолжал Альварес Буилья, - что они концентрируют войска в казармах, но пока не выступают…»

В этот момент он сказал: «Подожди немного, я слышу странный шум…» А затем: «Мне кажется, они уже здесь…»

Это были его последние слова. До меня донеслись неясные голоса, затем какой-то стук, словно упал телефонный аппарат, и связь прервалась.

Позже мы узнали, что там произошло. Во время нашего разговора в кабинет Буильи ворвались офицеры Иностранного легиона и убили его.

Одновременно части Иностранного легиона совместно с отрядами марокканских войск при поддержке артиллерии напали на аэродром в Тетуане и расстреляли нескольких республиканских летчиков. Приказ об их расстреле, как и о расстреле их командира майора Пуэнте Баамонде, отдал его двоюродный брат генерал Франсиско Франко, прилетевший на английском самолете с Канарских островов, чтобы возглавить мятеж.

Естественно, Нуньесу де Прадо пришлось отменить свой полет. Марокко оказалось в руках восставших.

* * *

Продолжавшие поступать к нам сведения о положении на полуострове были по-прежнему неясными и противоречивыми.

Нуньес де Прадо позвонил командующему военным округом Сарагосы генералу Кабанельясу. Прадо считал его преданным республике человеком и всегда говорил, что их связывает крепкая дружба. После разговора с генералом Прадо сказал министру, что Кабанельяс как будто бы колеблется, поэтому он воспользуется самолетом, приготовленным для [335] полета в Тетуан, и отправиться в Сарагосу, рассчитывая повлиять на генерала.

Нуньес де Прадо вылетел в Сарагосу в сопровождении своего адъютанта майора Леона и секретаря.

Прибыв туда, он немедленно отправился к Кабанельясу. Через некоторое время в кабинет этого предателя вошло

несколько военных в сопровождении фалангистов. С согласия Кабанельяса они арестовали Нуньеса де Прадо, посадили в машину и вывезли за город. Там фашисты убили его, бросив труп на дорогу, где он пролежал более недели.

Такая же участь постигла адъютанта и секретаря Нуньеса де Прадо и всех членов экипажа его самолета. Их тоже убили, а трупы бросили на шоссе.

* * *

В этот же вечер я разговаривал по телефону с генералом Кампинсом, военным губернатором Гренады. Мы немного дружили, он тоже был моим учеником на летных курсах в Хетафе.

Этот довольно консервативных взглядов генерал пользовался большим авторитетом в армии. В течение нескольких лет он командовал Иностранным легионом, снискав уважение за свою прямоту.

Имелись опасения, что и он присоединится к мятежникам. Разговаривая с ним, я не решался прямо спросить о том, как он относится к происходящим событиям, но он прервал меня: «Оставьте дипломатию, Сиснерос. Вы хотите знать, примкнул я к мятежникам или остался верен республике? Знайте и передайте министру, что я своей честью поклялся верно служить республике и выполню данное обещание».

Генерал Кампинс не изменил своему слову. На следующий день мятежники схватили и подло убили его.

Когда я писал эти строки, у меня не было специального намерения рассказывать об ужасах гражданской войны. Я убежден: ни к чему испанцам бередить старые раны.

Но как бы ни было велико мое желание не чинить препятствий восстановлению согласия в нашей стране, я не могу изменить событий. Последствия тех методов, к которым прибегали так называемые «силы порядка», поднявшие мятеж, столь трагичны, что о тех годах нельзя говорить без ужаса и стыда за то, что эти чудовищные злодеяния совершали испанцы.

Гражданские войны всегда ужасны. Но преднамеренные жестокости мятежников, хладнокровное убийство тех, кто не присоединился к ним, - явление, не имеющее в своей [336] основе ничего испанского. Трудно было представить, что подобные преступления могут совершиться в нашей стране.

Действия Франко и его сторонников можно сравнить только с чудовищными злодеяниями Гитлера и его приспешников.

* * *

На рассвете 20 июля в министерство стали поступать первые сообщения о начале мятежа в войсках мадридского гарнизона.

В три часа утра с аэродрома в Хетафе мне позвонил капитан Каскон. Он сообщил, что командование соседнего артиллерийского полка мобилизовало своих людей и не отвечает на телефонные вызовы. Я немедленно отправился в Хетафе, опасаясь, что мятежники установят пушки и попытаются разрушить аэродром, на котором мы сконцентрировали большую часть наших самолетов.

Я прибыл, когда Каскон уже вооружал своих солдат. Он объяснил им ситуацию, и они с энтузиазмом ответили: «Да здравствует республика!»

Мы создали три небольшие колонны, во главе которых стали лейтенанты Эрнандес Франк, Хосе Мария Валье и унтер-офицер механик Соль Апарисио (вскоре во время штурма он был тяжело ранен в шею). К нам присоединились 40 человек - членов Союза социалистической молодежи и коммунистической партии. Они тоже получили винтовки. Общее командование взял на себя капитан Каскон. Одновременно было подготовлено несколько самолетов для поддержки наземных групп.

Незадолго до рассвета, когда артиллеристы стали вывозить пушки на позиции против аэродрома, мы начали штурм их казармы. Вначале они оказывали некоторое сопротивление, но появление самолетов решило исход боя. Казарма была взята, все офицеры арестованы, в том числе полковник, командир полка, и отправлены в мадридскую военную тюрьму.

В тот день впервые в гражданской войне армия и героический народ Мадрида, самоотверженно защищавший республику, выступили вместе.

Действовавшая с нами группа мадридских рабочих замечательно проявила себя, продемонстрировав огромное чувство ответственности. Они полностью доверились офицерам авиации и добровольно повиновались им. Узнав, что арестованные [337] офицеры будут отправлены в Мадрид, чтобы их участь решил суд, они не выразили ни малейшего протеста.

После взятия казарм артиллерийскому полку был отдан приказ выступить вместе со своими пушками в Мадрид. Арестованных командиров заменили офицерами авиации, во главе полка стал майор артиллерии, приехавший защищать Мадрид.

В это же утро артиллерийский полк в полном боевом порядке

продефилировал по улицам Мадрида под приветственные крики народа, несколько удивленного тем, что во главе артиллеристов ехали верхом офицеры-летчики в синей форме и длинных брюках.

Группа, захватившая казарму в Хетафе, продолжала действовать. Она оказала эффективную поддержку с воздуха республиканским отрядам при штурме лагеря Карабанчель.

Без преувеличения могу сказать, что летчики, с первых же дней принимая участие в борьбе против мятежников и в воздухе и на суше, содействовали укреплению морального духа республиканцев и неожиданно доставили большие неприятности врагу. В те дни авиация по-прежнему оставалась организованной и дисциплинированной силой. Она была единственной из всех родов войск, которая без колебаний стала на сторону народа. В этом была огромная заслуга генерала Нуньеса де Прадо.

* * *

Последним редутом мятежников в Мадриде стала казарма Монтанья. Укрепившиеся там - восставший полк и значительная группа фалангистов оказали довольно упорное сопротивление.

Республиканские силы, атаковавшие казарму, состояли в основном из народных дружин. Они были очень плохо вооружены; часть из них включилась в борьбу стихийно, другие откликнулись на призыв своих партий и профсоюзов. В осаде казармы участвовала также небольшая группа жандармов из «Гвардиа де асальто» и военных, присоединившихся к народу.

Поскольку не было общего руководства операцией, наступление велось беспорядочно, и мятежники нанесли республиканцам значительный урон. Наконец удалось договориться о совместных действиях всех групп. Атака должна была начаться бомбардировкой с воздуха. Первая же бомба попала во двор казармы, и это решило исход боя. Тотчас же в окнах появились белые флаги. Республиканцы ворвались в здание. [338]

Восстание в столице было подавлено. Народ Мадрида выиграл первую битву с фашистами.

Засев в казармах, мятежники совершили ошибку. Они побоялись вывести войска на улицу и вступить с народом в открытый бой.

В то раннее утро со мной произошел довольно неприятный случай, едва не окончившийся трагично. Отдав приказ начальнику аэродрома в Хетафе подготовить самолеты для участия в боевых действиях против мятежников, укрепившихся в

Монтанья, я вышел в четыре часа утра из министерства и, сев в машину, один отправился к казарме, чтобы сообщить осаждавшим о времени начала бомбардировки ее с воздуха. На Гран Виа мою машину остановил патруль из четырех человек с черно-красными анархическими повязками на шеях. Они открыли дверцу и в упор нацелились в меня из ручного пулемета. Один из них, видимо очень довольный добычей, не отводя пистолета от моей груди, игривым тоном предложил мне выйти из машины. Я мгновенно осознал серьезность положения: эти люди были убеждены, что к ним в руки попал один из офицеров-фашистов. При малейшей оплошности с моей стороны они, не колеблясь, расстреляют меня. В безупречной офицерской форме, хотя в то время все военные-республиканцы уже носили комбинезоны, с подстриженными барскими усиками, я имел вид типичного офицера-фашиста. Стараясь казаться совершенно спокойным, я поздравил их с хорошей организацией службы охраны. Это польстило им, однако они продолжали держать свои пистолеты у моей груди. Затем сказал, что являюсь начальником аэродрома в Хетафе, сейчас направляюсь к казарме Монтанья для руководства бомбардировкой, поэтому не могу терять времени. Если они хотят удостовериться - могут поехать со мной. Видимо, мое предложение их не особенно привлекло, но тем не менее целиться в меня они перестали. По выражению их лиц было видно, что им не хочется отпускать меня. Но они уже начали колебаться. Воспользовавшись их замешательством, я сел в машину и как можно более непринужденно сказал, что больше ждать не имею возможности. Пока они спорили между собой, я включил мотор, дав себе клятву никогда не ездить одному по ночам, ибо со мной это был уже второй случай.

Накануне ночью, когда я тоже ехал куда-то, меня остановил патруль, потребовав пароль. Надо было ответить: «Мы победим фашизм», но, необычайно уставший после нескольких [339] бессонных ночей, я по рассеянности произнес: «Победит фашизм!» На мое счастье, патрульные поняли, что я оговорился, и, рассмеявшись, отпустили, пожелав отоспаться. Нарвись я на какого-нибудь тупицу, он пристрелил бы меня и остался доволен, думая, что прикончил фашиста.

В первые дни после начала мятежа в Мадриде фактически не было никакой власти. Поэтому не следует удивляться подобным происшествиям, которые, кстати, не всегда оканчивались благополучно. Реакция, воспользовавшись растерянностью руководителей республики, всячески старалась опорочить действия республиканцев и оправдать то, что не подлежит оправданию, а именно хладнокровно совершаемые фашистами

убийства. Убийства с ведома и одобрения их главарей и открыто присоединившихся к ним епископов.

* * *

Пассивное, неспособное противостоять натиску реакции, правительство Касареса окончательно потеряло авторитет и было вынуждено подать в отставку. Новый кабинет возглавил Мартинес Баррио. Откровенно правого направления, правительство уже в своем первом заявлении не скрывало намерения пойти на компромисс с мятежниками.

Среди летчиков стремление Баррио договориться с врагами республики вызвало всеобщее негодование. Мы отлично понимали: это значило отдать Испанию без малейшего сопротивления фашистам. Возмущенные офицеры-республиканцы спрашивали меня, что нужно делать, чтобы не допустить такого позора. Люди, так решительно ставшие на сторону республики, сражавшиеся за нее и готовые, не жалея жизни, продолжать борьбу, не могли понять происходящего. Они готовы были решительно воспрепятствовать торгу с мятежными генералами. Я полностью поддерживал своих товарищей. Но, не желая подливать масла в огонь - все мы и без того находились в страшном возбуждении, - старался успокоить самых горячих и выиграть время, чтобы выяснить обстановку.

По телефону мне удалось связаться с Прието. Я разыскал его в редакции газеты «Эль сосиалиста». Там только что получили известие об отставке правительства. Всеобщее недовольство и протест, сказал дон Прието, вынудили Мартинеса Баррио подать в отставку. [340]

Тотчас же было сформировано новое правительство под председательством дона Хосе Хираля - лидера левой республиканской партии. В состав его кабинета вошли представители всех республиканских партий.

Перед зданием военного министерства и помещениями, занимаемыми партиями и профсоюзами, выстроились огромные очереди людей с профсоюзными билетами в руках. Они требовали оружия для защиты республики. Под давлением масс правительство Хираля приняло решение вооружить народ Мадрида.

Благодаря мероприятиям, проведенным генералом Нуньесом де Прадо, 80 процентов самолетов осталось в наших руках. Это дало республиканцам возможность быть полными хозяевами в воздухе, пока над Испанией не появились военные самолеты,

присланные Гитлером и Муссолини. Вначале эти самолеты использовались для прикрытия перевозок по морю и переброски на полуостров из Испанского Марокко отрядов мятежников.

Созданная Франко на базе Иностранного легиона и регулярных марокканских войск армия насчитывала более 20 тысяч человек. Вместе с несколькими немецкими и итальянскими самолетами она в первое время составляла основную силу фашистов. Однако позже Гитлер и Муссолини прислали в помощь Франко и свои воинские части.

Прибывать в Испанию немецкие и итальянские самолеты стали с первого же дня мятежа. Немцы летели без посадки, а итальянцы делали две остановки - в Алжире и французской зоне Марокко.

Так, 18 июля в Алжире для пополнения запаса горючего были вынуждены приземлиться два прекрасно вооруженных итальянских военных самолета, направлявшихся в Испанское Марокко. Об этом писали почти все французские газеты.

Через несколько дней немецкий транспортный самолет «Юнкерс-52», везший оружие мятежникам, по ошибке совершил посадку на мадридском аэродроме Барахас. Экипаж обнаружил свою оплошность, когда самолет уже приземлился. Летчик быстро развернул машину и поднял ее в воздух, взяв направление на Португалию. Однако вскоре у немцев кончилось горючее, и пилоту пришлось вновь посадить самолет на нашей территории, где он вместе с экипажем попал в руки республиканцев. Уже на следующий день мы подготовили «Юнкерс-52» для бомбардировки фашистов, но германское посольство, поддержанное представителем Франции, [341] заявило протест, и правительство запретило нам использовать самолет. Он стоял на аэродроме до тех пор, пока не был уничтожен во время бомбардировки эскадрильей «Юнкерсов-52». Экипаж захваченного самолета был освобожден по приказу правительства.

А вот что сообщает об этих же фактах посол Соединенных Штатов Клод Бауэрс в своей книге «Миссия в Испанию».

Бауэрс пишет: «…неприятный инцидент не оставлял сомнений в скором прибытии в Испанию итальянских фашистов. Самолеты, посланные Муссолини мятежникам во исполнение предварительных договоров, были вынуждены приземлиться в Северной Африке на французской территории. Расследовать это происшествие правительство Франции послало генерального инспектора французской авиации генерала Денена. По его сообщению, самолеты вылетели из Сардинии, имея пунктами назначения Мелилью и Сеуту, уже находившиеся в руках мятежников…»

Об истории с «Юнкерсом-52» посол Бауэрс пишет следующее: «…немецкий военный трехмоторный «Юнкерс-52», израсходовав бензин, приземлился на территории Испанской республики и был конфискован ее правительством. Германский поверенный в делах Ганс Фелькерс, явившийся по приказу Гитлера к Августо Барсия, министру иностранных дел, потребовал немедленного освобождения самолета. Через час после того, как Фелькерс вышел из кабинета испанского министра, Барсия посетил французский поверенный в делах, имея инструкцию министра иностранных дел Франции Дельбоса просить испанское правительство немедленно удовлетворить требование Гитлера».

Я привел слова американского посла для того, чтобы дать представление о том, с каким цинизмом с первого же дня мятежа действовали нацистские дипломаты в Испании, и об атмосфере, созданной правительствами так называемых демократических стран вокруг Испанской республики. Через своих дипломатических представителей они в столь трудное для республики время оказывали нажим на законное правительство Испании, заставляя его подчиняться наглым требованиям Гитлера и Муссолини.

Как я уже говорил, в наших руках осталось 80 процентов самолетов. Однако верность республике сохранили лишь 35 процентов командиров и офицеров. Зато на ее защиту встал почти весь (90 процентов) младший персонал аэродромов - сержанты, механики, солдаты. [342]

Аэродром в Леоне оказался единственным, перешедшим на сторону мятежников. Его командир, майор Хулиан Рубио, обманул нас. Ему доверили этот пост именно потому, что считали преданным республике.

Аэродромом в Севилье фашисты-офицеры овладели с помощью артиллерийских батарей под командованием Кейпо де Льяно. Фашисты арестовали командира аэродрома майора Эстеве и убили капитана-республиканца Луиса Бургете.

Военно- воздушная база в Лос-Алькасересе (Мурсия) и после смерти своего командира майора Рикардо Бургете продолжала оставаться верным оплотом республики. В первые же дни мятежа ее личный состав принял активное участие в подавлении выступления франкистов в разных районах зоны.

Быстрые и энергичные действия летчиков Лос-Алькасереса, штурмом захвативших морскую военно-воздушную базу в Сан-Хавиере, бывшую крупным центром мятежа, сыграли решающую роль в судьбе Картахены и флота. Взятые в плен офицеры были переданы морским властям, верным республике.

В Барселоне авиация с первого же дня перешла на сторону

правительства, эффективно помогая подавлению мятежа в городе.

* * *

После смерти Нуньеса де Прадо республиканская авиация осталась без командующего. Мы стремились максимально содействовать подавлению мятежа, но нам не хватало общего плана действий.

Несколько самолетов, находившихся в распоряжении майора Сандино, командующего воздушными силами Барселонского округа, обслуживали Арагонский фронт.

Майор Ортис, командир базы в Лос-Алькасересе, поддерживал со своими летчиками Андалузский фронт. Я действовал как командующий воздушным округом в Мадриде, хотя никто не поручал мне этого.

Предательство большинства офицеров, перешедших на сторону врага или укрывшихся в иностранных посольствах, явилось причиной того, что сержанты, механики и солдаты с недоверием относились и ко многим из тех офицеров, которые остались на республиканской территории. Это было одной из причин, почему даже без официального назначения летный персонал с первого же дня считал меня своим начальником. [343]

Действия авиации в течение первых недель определялись ошибочным представлением о характере и масштабах начавшейся в стране гражданской войны.

Мы были убеждены, что, прилагая максимальные усилия, сможем подавить восстание в течение нескольких дней или, самое большее, недель. Поэтому действовали так, как если бы каждый день борьбы был последним. В результате - огромные потери в людях и технике. И, как начальник, я нес ответственность за это. Мы потеряли лучших летчиков, а те, кто остался жив, были истощены борьбой в столь невыносимо трудных условиях.

Эта ошибочная оценка положения в стране отчасти имеет оправдание. Я знал о прибытии самолетов из Италии и Германии, но не допускал мысли, что эти страны непосредственно вмешаются в нашу войну. Они посылали на помощь мятежникам целые эскадрильи истребителей и бомбардировщиков. Таким образом уже вскоре силы восставших в количественном отношении значительно превышали наши{136}.

Я не мог также предполагать, что так называемые демократические государства будут препятствовать законному правительству дружественной страны приобретать необходимые

для ее обороны средства; что такая страна, как Франция, во главе правительства которой стоял лидер социалистической партии Леон Блюм, откажется продать нам оружие, нарушив не только законы международного права, но и договор с Испанской республикой, одна из статей которого предусматривала покупку у французов вооружения и военных материалов; что «демократические» страны позволят многочисленным эскадрам Германии и Италии, их подводным лодкам с первых же дней войны так нагло действовать в поддержку мятежников, нападая на суда, направляющиеся в республиканскую зону, и обстреливая различные пункты на побережье; а диктатор Салазар предоставит в распоряжение Франко все имеющиеся у него средства.

Иначе говоря, строя расчеты на быстрое подавление мятежа, я никогда не думал, что республика, законно установленная в Испании, вынуждена будет вести борьбу не только против мятежных генералов, но и против таких мощных [344] государств, как Германия и Италия. Я надеялся, что, приложив максимальные усилия, мы в короткий срок сможем подавить мятеж. И это несомненно случилось бы, если бы нас, республиканцев, оставили один на один с мятежниками.

* * *

Президент Асанья и другие руководители республики, убедившись в том, что Франция, Англия, США и другие «демократические» страны не окажут помощи республике, и чувствуя себя не в силах возглавить освободительную борьбу народа, приняли решение об отставке правительства Хираля. Был сформирован новый кабинет во главе с лидером социалистов Ларго Кабальеро. В него вошли представители социалистов, коммунистов, республиканцев, каталонских и баскских националистов, то есть всех партий Народного фронта.

Впервые в Испании было создано министерство авиации во главе с Прието. На второй день своего существования правительство опубликовало постановление о назначении меня командующим воздушными силами республики. Хотя с самого начала мятежа я фактически выполнял эти обязанности, известие привело меня в сильное замешательство. Чем больше я думал о трудном и сложном деле, порученном мне, тем больше чувствовал, что оно мне не по силам. Я не имел достаточной подготовки и квалификации для столь ответственного поста. Даже в мирное время, при наличии хорошо налаженного управленческого аппарата, он ответствен и трудоемок. В тех же

условиях, то есть в разгар гражданской войны, при отсутствии генерального штаба и вспомогательного персонала, мое новое назначение было настолько ответственным, что я не мог его принять. Кроме того, я считал, что у нас слишком мало командиров-республиканцев, чтобы заставлять их заниматься канцелярскими делами. Я решил отправиться к министру и изложить ему свои возражения. Прието был человеком хитрым, дальновидным и к тому же хорошо знавшим меня. Он предвидел подобную реакцию и заранее продумал ответ. Совершенно спокойно Прието возразил, что моя новая должность - это не теплое местечко. Он прекрасно представляет все трудности и огромную ответственность, возложенную на меня. Однако правительство, назначая меня на этот пост, было уверено, что я не отступлю перед трудностями. Короче, он сказал именно то, что могло убедить меня.

Тот период вспоминается мне как кошмарный сон. Я по-прежнему большую часть времени проводил в воздухе, но [345] теперь после боевых полетов, вместо того чтобы немного отдохнуть и поспать, должен был идти к министру и обсуждать с ним текущие дела, а также решать тысячи необычайно сложных в тех обстоятельствах проблем.

Конечно, я мог меньше или совсем перестать летать и заниматься только своими непосредственными обязанностями командующего. Но, стремясь всей душой разгромить фашистов, а также хорошо зная авиаторов, я понимал, что должен показывать пример. Без этого я не имел бы морального права требовать от летчиков выполнения опаснейших заданий. Они должны видеть, что их командующий во время боевых операций не болтается где-то на безопасной высоте, беседуя с богом, а летит ниже других. Когда же было нужно выполнить особенно сложное задание, например совершить дальние ночные бомбардировки или лететь в Сан-Себастьян, чтобы отпугнуть крейсер «Сервера», обстреливавший побережье, я садился в «Дуглас» и сам руководил полетом.

Тысячи обстоятельств сделали для меня тот период особенно тяжелым и неприятным. Я не был похож на генерала, испытывающего наслаждение во время сражения. Бои никогда не доставляли мне удовольствия. Мне всегда требовалось приложить немало усилий, чтобы заставить себя достойно выполнять свои обязанности. Мне было известно и другое: попади я в руки фашистов, они жестоко расправятся со мной.

Я не могу понять, как нормальным людям, если они не умалишенные и не садисты, может нравиться война. Для меня она - самое большое бедствие, какое только может испытывать

человек.

Самолеты «Дуглас», принадлежавшие Испанским воздушным почтовым линиям (ЛАПЭ), не имели военного оборудования. Чтобы использовать их для борьбы против наших врагов, мы придумали простое приспособление: сняв входную дверь, ставили вместо нее наклонные навощенные доски, вроде тех, что употребляют при стирке белья, и клали на них стокилограммовые бомбы. Глядя в бомбовый прицел, сидевший в кабине пилота летчик-наблюдатель в нужный момент поднимал руку. По этому знаку бомбу толкали ногой, и она скатывалась по наклонной плоскости за борт. Пулеметы установили в двух иллюминаторах, из которых вынули стекла.

Хотя это приспособление, как позже заявили инженеры фирмы «Дуглас», противоречило законам аэродинамики и могло привести к тому, что самолет развалился бы в воздухе, мы без всяких осложнений совершили на этих машинах сотни [346] вылетов. Единственно, что нам приходилось делать, - крепко привязывать себя, так как сильный сквозняк буквально выдувал людей из машины. Во время войны «Дугласы» оказали нам неоценимую услугу. Просто удивительно, как они выдержали почти три года непрерывных полетов без аварий и ремонта.

Однажды, возвращаясь после бомбардировки аэродрома в Леоне, на который мы сбросили три стокилограммовые бомбы, радист передал мне только что принятое им сообщение: «Большое спасибо за завтрак. Рубио». Рубио, как я уже говорил, являлся начальником аэродрома.

В другой раз мы вылетели из Мадрида, чтобы сбросить бомбы на фашистский корабль, обстреливавший Сан-Себастьян. Кажется, это был крейсер «Сервера». Две сброшенные нами все с той же доски бомбы вопреки всем правилам баллистики и аэродинамики упали так близко от него, что, видимо, нанесли большой ущерб, ибо, прекратив стрельбу, он на всех парах ушел в море.

Хочу воспользоваться случаем, чтобы отдать должное личному составу ЛАПЭ, который замечательно проявил себя в течение всей войны. Служащие этой компании, несмотря на постоянный риск, отлично выполняли задания по воздушным перевозкам. С истинной самоотверженностью они летали и на бомбардировки.

Приходилось им совершать полеты и за границу. Враг не раз пытался привлечь их на свою сторону или подкупить, но ему не удалось поколебать ни их преданности республике, ни честности. Последнее полученное ими задание было особенно ответственным: надлежало эвакуировать из центральной зоны республиканское правительство и ряд политических деятелей.

Франко не пожалел бы золота, если бы они согласились передать ему этих важных лиц.

* * *

Я уже говорил, что вспоминаю о войне, и особенно о ее первом этапе, как о кошмаре. Самыми тяжелыми были дни, когда мы теряли боевых товарищей. Жертвами обычно становились лучшие. Уже в начале войны мы понесли несколько невосполнимых утрат. Гибель капитана Гонсалеса Хила, одного из наиболее способных и квалифицированных летчиков, тяжкой болью отозвалась в наших сердцах.

Когда первые фашистские отряды подошли к Сьерра-Гвадарраме, капитан Гонсалес Хил сформировал небольшой [347] отряд из молодых людей - членов Союза объединенной социалистической молодежи, чтобы преградить путь мятежникам.

Однажды, вернувшись с бомбардировки, я увидел на аэродроме двух юношей из его отряда. Они рассказали, что участвовали в нескольких боях, в которых их командир проявил необычайную храбрость и хладнокровие. В одном из сражений, идя в атаку во главе своих бойцов, он был ранен в голову и почти тотчас умер. Полученное известие было для меня жестоким ударом. И не только потому, что я питал к нему искреннюю любовь. Я понимал все значение этой потери для нашего общего дела. Видимо, юноши очень любили Гонсалеса Хила, ибо, рассказывая о его смерти, не могли сдержать слез. Каждый раз, упоминая его имя, они говорили: «…наш товарищ Гонсалес Хил…» Тогда слово «товарищ» казалось мне, по меньшей мере, странным и даже немного «подрывным». Но эти ребята произвели на меня отличное впечатление. Я задал им множество вопросов о положении дел на Сьерре. Они отвечали обстоятельно и откровенно. От них я узнал, что Гонсалес Хил уже в течение двух лет являлся членом коммунистической партии, а еще раньше был военным инструктором в Союзе объединенной социалистической молодежи.

* * *

До появления на Мадридском фронте итальянских истребителей «Фиат» господство в воздухе принадлежало республиканской авиации. Оно было настолько очевидным, что один наш истребитель, посылаемый для охраны Сьерры, мог

предотвратить налеты фашистов, которые они пытались время от времени предпринимать на самолетах «Бреге-19» или двухмоторном «Драгоне», уступленном Португалией Франко.

Однажды, патрулируя над Сьеррой на истребителе «Ньюпор», я увидел три самолета, летевших с вражеской стороны. Полагая, что это фашистские «Бреге», намеревающиеся бомбардировать наши позиции, я набрал высоту, чтобы атаковать противника, но, приблизившись, узнал итальянские истребители «Фиат». Я хорошо знал эти самолеты и даже летал на них, когда служил в нашем посольстве в Риме. Естественно, я повернул обратно и вернулся в Хетафе. Появление «Фиатов» потребовало изменить тактику боевых полетов, ибо итальянские истребители по своим характеристикам значительно превосходили наши «Ньюпоры». [348]

До сих пор республиканские бомбардировщики летали на задания без прикрытия, или почти без прикрытия. Теперь пришлось серьезно задуматься об их защите. С этого дня в воздухе началась ожесточенная борьба, в которой мы оказались в худшем положении, ибо имели значительно меньше боевых машин и более низкого качества.

Новые условия борьбы со всей очевидностью выявили необходимость увеличить самолетный парк республики и усилить личный состав, который тревожно быстро таял. Основными причинами наших потерь были артиллерийский огонь и аварии, естественные в тех условиях. Для замены материальной части было сделано все возможное, об этом я расскажу дальше. Чтобы пополнить личный состав, мы послали во Францию группу молодых людей в частные летные школы, кроме того, организовали обучение пилотов в Лос-Алькасересе и отдали приказ о мобилизации всех ранее служивших в воздушных силах. Некоторые из этих людей переменили профессию и работали в других министерствах.

В связи с этим вспоминаю такой случай. В секретариате директора Управления безопасности служил летчик-наблюдатель капитан Арто. Очевидно, он не хотел возвращаться в авиацию, ибо совершенно не реагировал на неоднократные приказы явиться в распоряжение авиационного штаба.

Я садился в «Бреге», чтобы лететь на выполнение боевого задания, когда ко мне подошел командир эскадрильи и сообщил, что Арто так и не явился на аэродром. Возможно, в тот день я был особенно возбужден или находился в плохом настроении. Возмущенный, я немедленно отправился в Мадрид, намереваясь во что бы то ни стало вытащить его из канцелярии. Прибыв в Управление безопасности, я прошел в секретариат, где капитан

Арто в штатской одежде совершенно спокойно сидел за столом перед ворохом бумаг. Я приказал ему все бросить и отправиться со мной. Он пытался что-то сказать о важности своей работы, но, увидев, сколь решительно я настроен, понял, что спорить бесполезно, и, не говоря ни слова, последовал за мной.

Мы приехали в Хетафе. Готовый к полету «Бреге» стоял на взлетной полосе с подвешенными бомбами и заряженными пулеметами. Я приказал принести для Арто комбинезон, очки и предложил ему занять место летчика-наблюдателя. Мы летели к Сьерра-Гвадарраме, где фашисты предприняли небольшое наступление. Около вражеских позиций в нас стали стрелять из пулемета, и мой наблюдатель был ранен в ногу. [349]

Увидев, что Арто безуспешно пытается руками остановить кровотечение, я передал ему жгут (мы брали их на всякий случай), которым он перетянул себе ногу.

Возвратившись на аэродром, я подрулил к санитарной машине и крикнул, что у меня есть раненый. Тут же подбежали четыре санитара и, несмотря на мои протесты, без лишних разговоров вытащили меня из самолета, пытаясь отнести в свой фургон. На мои объяснения, что раненый остался в самолете, а я цел и невредим, они не обращали ни малейшего внимания. В конце концов, поняв, в чем дело, они отпустили меня и вернулись к самолету за бедным Арто, который находился в обморочном состоянии. Ошибка, допущенная санитарами, легко объяснима. Тем, кто знаком с самолетом «Бреге», известно, что во время полета между сиденьями пилота и наблюдателя, которые расположены друг за другом, возникает сильный воздушный поток, который относит к месту пилота все, что не закреплено и находится сзади него. Когда в Арто попала пуля, его кровь покрыла меня с головы до ног, и, естественно, санитары подумали, что ранен я. Самое любопытное в этой истории - быстрота смены событий. Менее чем за два часа Арто, насильно оторванный от своего стола в Управлении безопасности, очутился в госпитале Карабанчеля, превратившись в героического защитника республики.

В первые недели войны наша авиация нанесла врагу довольно значительный урон, позже это признавали и сами франкисты.

Расскажу лишь о некоторых боевых операциях военно-воздушных сил, чтобы дать представление о нашей борьбе.

Небольшому республиканскому отряду, расположенному в деревне Навальморал, было поручено остановить продвижение противника, наступавшего на Мадрид. Его командир прислал в Хетафе телеграмму, в которой сообщал, что в их направлении движется большая моторизованная колонна противника. В это

время на аэродроме находилась готовая к вылету эскадрилья «Бреге-19». Вместе с нею я немедленно отправился к Навальморал. В трех километрах от деревни мы обнаружили колонну врага, состоявшую примерно из 50 грузовиков. Фашистские войска развернулись, чтобы начать атаку. Поскольку их не прикрывала ни авиация, ни артиллерия, мы спокойно приступили к бомбардировке. Фашисты, нарушив строй, попытались укрыться за многочисленными в этом районе скалами. При втором нашем заходе часть грузовиков повернула назад, в сторону Авилы. Когда самолеты сбросили [350] бомбы в третий раз, на земле царила паника: грузовики мчались к Авила, даже не подумав забрать своих. Многие солдаты, пытаясь вскарабкаться на ходу в машины, бросали оружие. Я сбросил для командира наших войск в Навальморал вымпел, в котором сообщал о беспорядочном отходе врага и советовал выступить со своими людьми, ибо имелась возможность захватить большое количество пленных и оружия.

Преследуя фашистов, мы обстреливали их из пулеметов и вывели из строя несколько грузовиков. Мне кажется, нам удалось нанести противнику большой урон. Когда мы вернулись в Навальморал, фашистов там уже не было. Я разглядел около деревни небольшую группу наших бойцов, подбиравших брошенные фашистами винтовки. Через несколько дней командир из Навальморал вновь попросил нас срочно прислать помощь. Но в тот день на аэродроме не было готовой к вылету эскадрильи, и потребовалось время на подготовку самолетов, в течение которого я получил еще две настойчивые телеграммы с просьбой срочно прислать авиацию.

Я вылетел с первой эскадрильей, которой командовал капитан Мартин Луна. Вторую эскадрилью вел капитан Турне. Около Навальморала мы заметили развернутую в стрелковые цепи фашистскую колонну - значительно большую, чем в прошлый раз. Вражеской авиации по-прежнему не было, поэтому мы беспрепятственно сбросили на противника свой бомбовый груз. И снова войска Мола (колонной командовал этот генерал) обратились в бегство.

Я сбросил вымпел командиру гарнизона в Навальморал с сообщением об этом, но он не мог или не захотел выступить.

Когда первая эскадрилья закончила «обработку» противника, появилась вторая, продолжившая бомбардировку вражеской колонны. На всем пути до предместий Авилы я видел мчавшиеся к городу пустые грузовики и группы бежавших по шоссе без винтовок солдат.

Ночью мы перехватили на аэродроме радиограмму, в которой

генерал Мола сообщал Франко: «Дважды на протяжении трех дней красная авиация безнаказанно громила мою колонну. Не желая понапрасну жертвовать своими войсками, откладываю операцию до получения подкрепления с воздуха».

Жаль, что мы упустили удобный момент и не захватили Авилу. Хотя, конечно, я понимал: армия не создается в течение четырех недель и от наших отрядов в Навальморал, сформированных из добровольцев-милиционеров, храбых, самоотверженных, [351] но не имевших никакой военной подготовки, нельзя было требовать чудес.

Что касается фашистов, то, оправившись от испуга, они сообщили о «чуде», приписав спасение города его покровительнице Святой Терезе де Хесус. С тех пор день так называемой «чудесной и героической защиты Авилы святой Терезой» отмечается с большой помпой. Об этом чуде фашисты необычайно красочно рассказывают в своих речах и проповедях. Очень серьезно, или, вернее, со свойственным им цинизмом, они утверждают, что Святая Тереза не могла допустить осквернения Авилы красными ордами. Поэтому, когда многочисленные большевистские войска приблизились к воротам города, она сотворила чудо, и красные увидели на городских стенах большую и мощно вооруженную армию. Этого видения оказалось достаточно, чтобы охваченные ужасом красные обратились в бегство.

Мадрид в опасности. Мое вступление в коммунистическую партию. «Невмешательство» и искренняя помощь. Оборона Мадрида

Ценой больших усилий нам удалось сохранить в авиации воинский порядок и дисциплину, создав на аэродромах атмосферу подлинного энтузиазма. Это было нелегким делом. Неразбериха первых месяцев войны явилась приманкой для любителей ловить рыбу в мутной воде, для тех, кто всеми силами разжигал анархию, очень опасную для республики, но выгодную для ее врагов.

Национальная конфедерация труда, контролируемая ФАИ, воспользовавшись этими трудностями, пыталась всеми способами проникнуть в авиацию. Она предпринимала многочисленные попытки дезорганизовать воздушные силы и деморализовать их личный состав, критиковала преданных республике командиров и офицеров, честно выполнявших свой долг, - одним словом, делала все, чтобы подорвать воинскую дисциплину, которую мы так старались укрепить.

Критикуя предательское поведение главарей ФАИ, я ни на

минуту не забываю, что десятки тысяч честных тружеников - членов этого профсоюза храбро и самоотверженно боролись против фашизма. [352]

Существование в наших рядах своего рода «пятой колонны» приводило меня в отчаяние. Часто по ночам после напряженного дня, начатого с рассвета, мне приходилось принимать участие в борьбе против попыток анархистов установить «бесконтрольность». Они развернули свою деятельность не только на мадридских, но и на других аэродромах, на что постоянно жаловались командующие воздушными силами. К счастью, ФАИ удалось привлечь на свою сторону лишь немногочисленную группу личного состава авиации.

Во время войны ФАИ причинила нам много вреда, особенно в Каталонии. Ларго Кабальеро, председатель совета министров и военный министр, не хотел выступать против анархистов, а Прието, министр авиации и морского флота, не желал ссориться с Ларго Кабальеро, в результате ни первый, ни второй ничего не предпринимали и не давали что-либо предпринять другим, чтобы пресечь вредную деятельность анархистов.

Анархисты попытались подчинить себе и летчиков, с большим трудом посланных нами в северную зону, в Сантандер. Им пришлось дать настоящий бой комитету ФАИ, который установил там режим так называемого «либертарного (свободного) коммунизма» - аннулировал деньги и ввел всеобщую уравниловку. Анархисты хотели, чтобы смертельно уставшие после боевых вылетов летчики наравне со всеми стояли в очередях у общественных столовых.

Уважение к рабочим профсоюзам удерживало меня от принятия более быстрых и энергичных мер к тем, кто осложнял нашу борьбу. Я не допускал тогда мысли, что среди членов НКТ есть предатели, которые проникли в ряды этой организации для маскировки своей подрывной деятельности, и пытался оправдать их.

Отдельные действия анархистов я приписывал их недопониманию ситуации, другие - недоверию, которое они питали к профессиональным военным. Трудно было представить, что все делалось сознательно.

О попытках ФАИ установить свои порядки в авиации я несколько раз говорил со своими друзьями - республиканцами и социалистами и, естественно, обращался к ним за советом и помощью. Но к моему удивлению, известные мне политические деятели всегда вежливо старались избегать обсуждения этой проблемы: республиканцы - под предлогом отсутствия у них сил противодействовать ФАИ, социалисты - из-за излишней

осторожности или боязни столкновения с анархистами. [353]

А Прието, министр авиации, ответственный за все, что происходило в воздушных силах, когда заходила речь об этом щепетильном деле, ссылался на нежелание вступать в конфликт с Ларго Кабальеро.

Их поведение меня дезориентировало. Я не понимал, почему республиканская и социалистическая партии, где у меня имелось много друзей, знавших мою искреннюю преданность республике, никогда не помогали в решении этой серьезной политической проблемы. Зато Объединенный союз социалистической молодежи и коммунистическая партия, с которыми я не был непосредственно связан, всегда, без моей просьбы, оказывали мне действенную помощь, не колеблясь, выступали против тех, кто пытался подорвать дисциплину и осложнить обстановку на аэродромах.

Все это убеждало меня в том, что политическая изоляция ограничивала мои возможности действовать. Передо мной со всей серьезностью стал вопрос о вступлении в какую-либо политическую организацию. Я был убежден, что тогда и как командующий авиацией смогу принести больше пользы.

Республика переживала тяжелые времена. Фашистская армия, состоявшая в основном из марокканских частей (беспрерывно пополняемых новыми призывами, проводившимися на севере Африки не без помощи французских властей) и Иностранного легиона, набранного из всякого рода подонков, находившихся в конфликте с правосудием своих стран, снабженная оружием, присланным из Италии и Германии, и поддерживаемая мощной германо-итальянской авиацией, нагло именовалась франкистами «национальной». Эта «национальная» армия быстро продвигалась к столице Испании, не встречая серьезного сопротивления со стороны плохо вооруженных, необученных, беспрестанно подвергавшихся бомбардировкам и обстрелам фашистской авиации отрядов народных ополченцев.

Положение нашей авиации с каждым днем становилось все более трагическим. Постоянно участвуя в боях против численно превосходящего нас противника, мы несли большие потери в людях и технике. Оставшиеся в живых летчики были сильно переутомлены. Настал день, когда я отдал приказ: «Поднять в воздух истребитель» - мы располагали лишь одним самолетом! С фронта беспрерывно поступали требования выслать помощь (при этом употреблялись вполне объяснимые в той ситуации далеко не светские выражения). [354]

Нас спрашивали: почему, в то время как противник безнаказанно бомбит республиканские войска, мы не вылетаем на

вызовы? Но я же не мог сказать им правду!

В то трагическое для республики время, когда у нас уже не осталось самолетов и фашисты стояли у ворот Мадрида, я решил вступить в политическую партию. Очевидно, в обычных условиях, поскольку у меня не было ясных представлений ни об одной из них, я пошел бы поделиться своими намерениями и попросить совета у дона Прието. Но тогда у меня была только одна забота - помочь выиграть войну. Все остальное не имело значения.

О людях я судил по их поведению в эти тяжелые для республики дни. Так же я судил и о политических партиях. Их уставы и программы были для меня чем-то второстепенным. Единственное, что интересовало меня, - их вклад в борьбу с фашистами.

В результате размышлений я пришел к выводу, что наибольший вклад в борьбу вносят две партии - Объединенный союз социалистической молодежи и коммунистическая партия. Однако для Союза молодежи я не подходил, поскольку был уже не так молод. Следовательно, я должен вступить в коммунистическую партию.

Но я очень мало знал об этой партии. Мои представления о ней, сложившиеся под влиянием Прието и моих друзей - социалистов и республиканцев, были нелепы и далеки от действительности.

Я вновь все серьезно обдумал. Однако известные мне факты говорили в пользу коммунистов. Я вспомнил их отношение ко мне на аэродроме в Севилье, где против меня устроили заговор фашист-командир и его офицеры, затем вспомнил замечательное поведение коммунистов в первые дни войны и их самоотверженный героизм при обороне Мадрида. Никогда не забуду, какой поддержкой явилась для меня тактичная помощь группы механиков и солдат на аэродроме в Хетафе.

Все эти люди, как я позже узнал, были коммунистами. В любых самых трудных ситуациях они умели принять наиболее правильное и эффективное решение. Позднее, когда враг приблизился к Мадриду, а наша авиация была почти полностью уничтожена, некоторые республиканцы стали падать духом. Тогда коммунисты провели работу среди личного состава и подняли настроение у людей. Кроме того, часть коммунистов отправилась на передовую, проходившую совсем [355] близко от города, чтобы объяснить товарищам, командовавшим частями, почему авиация не может оказать помощи, защитив таким образом престиж наших воздушных сил.

На протяжении всех этих трудных месяцев я наблюдал на аэродромах и на фронте, как мужественно вели себя коммунисты.

Я убедился, что они действительно хотят выиграть войну, защитить республику и народ и делают все возможное, чтобы добиться этого. Их организованность и дисциплина могли служить примером для других партий и организаций. Они смело выступали против хаоса и беспорядка, наносивших вред нашему делу. Одним словом, это были истинные патриоты. А так как себя я тоже считал патриотом и тоже хотел выиграть войну, решив все отдать для победы над врагом, к крицу 1936 года, после откровенной исповеди перед своей совестью, я обратился с просьбой о принятии меня в Коммунистическую партию Испании.

Теперь хочу рассказать, как проходило мое вступление в партию, хотя мой рассказ, видимо, разочарует кое-кого из тех, кто находится под влиянием некоторой пропаганды.

Коммунистов обвиняли в прозелитизме, то есть в том, что они старались привлечь в свои ряды людей, занимавших важные государственные посты. Что касается меня, должен сказать, что ни один из них даже не намекал мне о вступлении в их партию.

Поэтому, когда я решил стать коммунистом, я не знал, как это сделать и к кому обратиться. Единственными коммунистами, с которыми я дружил и мог бы посоветоваться, были капитан Гонсалес Хил, Луис Бургете и Эрнандес Франк, но первые два погибли в начале войны, а Франк находился в Северной зоне.

Конечно, я мог бы обратиться в Дом коммунистической партии в Альбасете, но считал неудобным появиться с подобным вопросом в центральном здании КПИ, где я никого не знал.

Наконец я вспомнил о механике Соль Апарисио, раненном при штурме артиллерийской казармы в Хетафе. Он служил в Альбасете, и мне были известны его связи с коммунистами. Вызвав его к себе в кабинет, я без предисловий спросил, состоит ли он в коммунистической партии. По лицу Апарисио было видно, что мой вопрос удивил его. Чтобы успокоить Апарисио, я сказал, что хочу вступить в коммунистическую партию, но не знаю, как это сделать.

Мое заявление удивило его еще больше. Слишком уж необычной была ситуация: командующий авиацией обращался [356] с подобным вопросом к механику. Однако, придя в себя, Апарисио объяснил, что для этого требуется. В тот же вечер он принес мне анкету, а спустя два дня сообщил, что я принят в Коммунистическую партию Испании.

Должен признаться, что ни восторга, ни энтузиазма, которые, как говорят, вызывает этот момент, я не испытывал. Вступая в коммунистическую партию, я был убежден в правильности своего решения и считал этот шаг положительным вкладом в борьбу, победа в которой являлась в то время моим единственным

стремлением. Я отдавал себе отчет в том, что беру на себя известные обязательства, но не представлял, в чем они заключаются. Тогда я не думал ни о социализме, ни тем более о конечной цели, к которой стремилась партия, то есть о коммунизме. В то время понятия «социализм» и «коммунизм» были для меня столь неопределенными, что я совершенно не задумывался над ними.

Одним словом, я стал коммунистом, убедившись, что они вносят наибольший вклад в борьбу против врагов и в этом отношении заслуживают полного доверия. Я решил честно сотрудничать с партией и выполнять новые обязанности.

Мне было ясно: чтобы стать полноценным членом коммунистической партии, я должен резко изменить свой курс, но, что для этого надо сделать, я не знал. Однако данный вопрос меня весьма беспокоил, и, прежде чем отпустить Соль Апарисио, я откровенно спросил его об этом. Не очень уверенно он сказал, что этой ночью состоится собрание ячейки и если я сочту удобным, то могу присутствовать на нем. Я согласился, и мы условились, что он зайдет за мной.

В девять часов вечера мы вошли в маленькую комнату в Доме партии в Альбасете, где нас ожидали шесть членов ячейки. Это были: мой шофер и его помощник, ординарец штаба, писарь-машинист и два механика. Оказывается, я был окружен коммунистами, совершенно не догадываясь об этом. Смешно, сколько усилий я затратил, чтобы найти хотя бы одного из них, когда для этого стоило лишь протянуть руку.

Все чувствовали себя несколько стесненно: не знали, как обращаться ко мне и что говорить. Мне тоже стоило немало усилий казаться естественным, поскольку я ни разу не присутствовал на партийном собрании и не знал, как вести себя. Наконец довольно смущенный секретарь ячейки поздравил меня и сказал, что все они очень рады моему вступлению в партию. На этом собрание закончилось. Мой рассказ может показаться странным, однако это собрание вошло в мою [357] жизнь таким человечным и искренним, что я никогда не забуду его.

На следующий день через Альбасете проезжал один из членов ЦК КПИ - Антонио Михе. Узнав о моем вступлении в партию, он зашел ко мне. Михе рассказал, что все руководители партии находятся на передовой и не имеют ни минуты свободного времени. После короткого разговора о положении дел мы сердечно расстались.

* * *

Нашей авиации срочно требовались самолеты. Мы разослали во многие страны людей с приказом купить, не считаясь с ценой, любые типы самолетов. Но все наши усилия оказались напрасны. Правительства «демократических» стран отказались продавать нам оружие, с удовлетворением наблюдая, как фашисты уничтожают свободу в Испании.

Они пустили в ход так называемую политику «невмешательства», запрещавшую продавать оружие обеим воюющим сторонам - и законному правительству суверенного государства, и группе генералов, поднявших мятеж против этого правительства.

Кроме того, что соглашение о «невмешательстве» являлось чудовищным нарушением международного права, оно было бесстыдным фарсом. В то время как фашистские государства (Германия, Италия и Португалия) с первых же дней мятежа, пренебрегая соглашением, непрерывным потоком отправляли Франко оружие и войска, Англия и Франция, ссылаясь на политику «невмешательства», фактически предали республику, создав вокруг нее непроходимое кольцо блокады.

Проводимая США политика «нейтрализма» тоже содействовала удушению Испанской республики, развязав руки Гитлеру и Муссолини.

Строго соблюдая эмбарго в отношении республиканцев, американское правительство в неограниченном количестве снабжало Франко нефтепродуктами, столь необходимыми для ведения войны.

Вот другой факт, свидетельствующий об истинной позиции США.

С огромным трудом нам удалось купить в Соединенных Штатах на золото 20 или 25 гражданских самолетов. Часть из них удалось отгрузить и отправить морем в Испанию. Когда правительство янки узнало об этом, оно немедленно отдало [358] приказ своим военным судам задержать пароход и вернуть в порт отправления.

Остальные машины по воздуху прибыли в Мексику. Оттуда мы предполагали отправить их в Европу. Однако друзья Франко в Мексике сообщили о них американскому правительству, и оно потребовало от мексиканских властей не выпускать их из страны. Так мы потеряли столь необходимые и дорого обошедшиеся нам самолеты.

Тогдашний посол США в Испании господин Бауэрс, характеризуя политику невмешательства и «нейтралитета», писал: «Комитет по невмешательству и наше эмбарго внесли

огромный вклад в победу стран оси над испанской демократией».

За первые четыре месяца войны нам удалось приобрести только 12 истребителей «Девуатин» и 6 бомбардировщиков «Потез». Это были очень старые модели, присланные из Франции.

Но мы были рады даже им. Однако, как только об этом узнал глава французского правительства, наш «друг» Леон Блюм, он тут же поднял крик, и французским властям на границе был отдан строжайший приказ не пропускать вооружение к этим самолетам, отправленное в Испанию наземным путем. Несмотря на все усилия, нам так и не удалось получить столь жизненно важные для нас в тот момент боевые средства. Господин Блюм остался непреклонным.

Вместе с самолетами прибыли 12 или 14 французских летчиков во главе с писателем Андре Мальро.

Я не могу сказать, что Мальро в то время не был прогрессивным человеком. Он приехал в Испанию с искренним желанием помочь республиканцам, и как писатель он мог бы принести нам пользу. Но Мальро претендовал на роль командира эскадрильи, хотя раньше никогда не видел вблизи самолета. Не играй Мальро в летчика и тем более в войну, возможно, группа французских пилотов произвела бы у нас лучшее впечатление.

Знакомство с французскими летчиками вызвало у меня глубокое разочарование. Они не были теми романтическими героями и приверженцами свободы, которых видели в них французы и чья деятельность в пользу испанских республиканцев могла бы отчасти компенсировать гнусности, совершаемые в отношении нашей страны французскими государственными деятелями.

Исключение составляли три или четыре истинных антифашиста, приехавшие в Испанию из идейных побуждений и [359] геройски проявившие себя. Остальные летчики Мальро были авантюристами, не заинтересованными в нашей борьбе, настоящими наемниками, привлеченными фантастическим вознаграждением (50 тысяч франков в месяц по тогдашнему денежному курсу). За время пребывания в нашей стране они не только не помогли нам, а, наоборот, доставили много неприятностей.

Поскольку Мальро ничего не понимал в авиации, он находился в их руках. Нетрудно представить, какие подлости могли творить эти проходимцы, не имея командира, способного сдерживать их. Несколько раз я пытался отправить их домой, но правительство возражало, ссылаясь на плохое впечатление, которое это произведет во Франции, когда там узнают, что мы выгнали превозносимых пропагандой «героических защитников

свободы» за мошенничество.

Мы не считали Мальро и его летчиков посланцами французского народа.

Его истинными представителями были французы из интернациональных бригад, добровольно и бескорыстно прибывшие в Испанию защищать республику и свободу.

Эти люди своим героическим поведением поддержали честь своей родины и всегда высоко держали гордо развевавшееся над их позициями трехцветное французское знамя.

* * *

Не будучи опытным литератором, но много работая над книгой и стремясь как можно лучше описать различные события, я глубоко переживал, чувствуя, что в моем изложении они многое теряют.

И сейчас, когда я хочу рассказать об испанских летчиках, к которым испытываю огромное уважение и которыми восхищаюсь, боюсь, что не сумею дать хотя бы частичного представления о том, с какой удивительной храбростью сражались они с численно превосходящим и значительно лучше вооруженным врагом. За их самоотверженное мужество народ стал называть нашу авиацию «Ла глориоса» («Славная»).

Поскольку невозможно поведать о всех бесчисленных подвигах республиканских летчиков, ограничусь рассказом о необычайном боевом пути только одного - сержанта Уртуби. Родился Уртуби в 1906 году в Витории, городе, который когда-нибудь воздаст должное его заслугам.

Когда начался мятеж, Уртуби служил в Марокко. Франкисты не доверяли летчикам не офицерам, однако вынуждены [360] были использовать их. На боевые задания Уртуби всегда сопровождал капитан-фалангист, который наблюдал за его действиями, сидя с пистолетом в руке на заднем сиденье «Бреге-19».

Наконец Уртуби удалось раздобыть оружие. На следующий день он, как обычно, вместе со своим охранником поднялся в воздух для выполнения задания. Пролетая над Гибралтарским проливом, сержант, воспользовавшись рассеянностью капитана, оставил управление и, повернувшись назад, выпустил в своего опекающего всю обойму пистолета. Он едва успел взять управление в руки - самолет почти касался воды. Затем Уртуби лег курсом на Мадрид и благополучно прибыл к нам с трупом капитана на борту. Я предложил ему небольшой отпуск, но он

отказался и на следующий же день приступил к боевым полетам на старом истребителе «Ньюпор».

Невозможно перечислить все совершенные Уртуби героические подвиги. Многие из них остались неизвестны потому, что он никогда не рассказывал о себе, ибо был человеком необычайной скромности.

Однажды звено Уртуби встретилось над территорией противника с эскадрильей фашистских самолетов. Начался бой, во время которого его самолет подбили, и он загорелся.

Мы все скорбели о гибели Уртуби, но спустя неделю мне позвонил командир одного из участков на линии фронта и сообщил, что со стороны противника к ним пришел крестьянин с ослом, который выдает себя за республиканского летчика. Он показался им подозрительным, и они обратились к нам, чтобы установить его личность.

Это был Уртуби. Он выбросился с парашютом из горящего самолета и приземлился в безлюдной местности. Уже темнело. Ему удалось добраться незамеченным до ближайших гор и укрыться там. Днем он прятался, а ночью шел. В одной деревне раздобыл брюки и еще какую-то одежду, вывешенную для просушки. В этом костюме, ведя за собой нагруженного соломой найденного им осла, Уртуби прошагал через вражескую территорию и вышел к нашим линиям, где его едва не расстреляли как шпиона.

И на этот раз он отказался от отдыха, сразу же приступив к своим обязанностям. Вскоре Уртуби был снова сбит, к счастью над нашей территорией. Он выбросился с парашютом и благополучно приземлился. [361]

В тревожные дни наступления фашистов на Мадрид Уртуби, совершая разведывательный полет на «Ньюпоре», был атакован эскадрильей «Фиатов». Они набросились на одинокий «Ньюпор», как хищные птицы. В этом бою Уртуби сбил один фашистский самолет, был ранен, но продолжал сражаться. Когда иссякли патроны, он догнал ближайший «Фиат» и бросил на него свой самолет. При столкновении самолет Уртуби тоже получил повреждение и упал. На этот раз Уртуби уже не вернулся.

Об этом бое рассказал нам спасшийся на парашюте итальянский летчик со сбитого Уртуби самолета.

Он не находил слов, чтобы выразить свое восхищение храбростью, с какой сражался в неравном бою сбивший его летчик.

Так погиб Уртуби - первый в мире летчик, осуществивший в бою таран{137}. Спустя несколько лет советские летчики с необычайным героизмом использовали этот же прием.

* * *

В связи с угрозой наступления фашистов на Мадрид и трудностями его снабжения правительство решило эвакуировать детей в район Леванта. С первых же дней войны Кони, Конча Прието и жены Гонсалеса Хила, Луиса Бургете, Эрнандеса Франка и некоторые другие взяли на себя обязанность опекать детей-сирот, брошенных монашками. Они отправили их в Аликанте, где ценой огромных усилий оборудовали довольно комфортабельный детский дом.

Я долго не видел Кони, так как не мог выбрать ни одной свободной минуты, чтобы слетать туда. Наконец, воспользовавшись поездкой в Лос-Алькасерес, я на обратном пути несколько уклонился от маршрута и совершил посадку в Аликанте.

Мы были рады увидеться после столь продолжительной разлуки. Нам о многом хотелось поговорить, но мы не знали, с чего начать. Несмотря на трудности, Кони, с присущей ей энергией, развернула в Аликанте бурную деятельность. Естественно, она забросала меня вопросами о том, как идут дела на фронте. Я старался успокоить ее. [362]

За несколько дней до нашей встречи у меня состоялся разговор с министром о необходимости организовать дом отдыха для выходящих из госпиталя летчиков, где они могли бы немного окрепнуть перед возвращением в эскадрильи. Увидев, что в районе Аликанте довольно спокойно, я подумал, что Сан-Хуан - идеальное место для реализации нашего замысла, и предложил Кони оставить детей на попечение других женщин, а самой взяться за устройство дома отдыха для раненых. Кони тотчас согласилась и с такой энергией взялась за работу, что спустя три недели мы имели в Сан-Хуане-де-Аликанте великолепный санаторий со всем необходимым персоналом, включая врача и медицинских сестер.

Хочу рассказать еще о двух моментах, связанных с этой поездкой и оставивших у меня сильное впечатление. Первый - огромное скопление народа в порту Аликанте (думаю, там собралось все население города), бурно, с неописуемым энтузиазмом приветствовавшего экипаж советского парохода «Нева», доставившего продовольствие для Испанской республики. Эта радость объяснялась не только тем, что мы получили продовольствие, в котором так нуждались. Приход этого судна показал: мы не одни, с нами великий советский народ, который

хоть и находится далеко, но помнит и поддерживает нас.

Жители Аликанте принесли цветы, и каждый старался лично передать их матросам и капитану. Именно тогда я впервые услыхал приветствия в честь России и увидел на стенах домов Аликанте написанные мелом лозунги: «Да здравствует Советский Союз!», «Да здравствуют русские!»

Другое событие, уже личного характера, удивило и обрадовало меня. Поездка в Аликанте принесла мне столько волнений и впечатлений, что я забыл рассказать Кони о вступлении в коммунистическую партию. Когда я уже собрался на аэродром, она сказала, что хочет кое-что сообщить, но не знает, как я отнесусь к этому. Затем Кони начала серьезно убеждать меня в том, что коммунисты вносят огромный вклад в общую борьбу, они ее лучшие помощники, и, приведя еще массу доводов, приготовилась сообщить о своем вступлении в коммунистическую партию.

Словом, она высказала те мысли, к которым пришел и я.

Остановив поток «агитации и пропаганды», я сказал, что тоже стал коммунистом. На ее лице отразилась смесь удивления [363] и радости. Мы обнялись, взволнованные этим замечательным совпадением.

На обратном пути в Алькала, думая о разговоре с Кони, я пришел к выводу, что наше вступление в коммунистическую партию, решение о котором каждый из нас принял самостоятельно, не являлось случайным, как это может показаться на первый взгляд. Это непременно должно было случиться с людьми, которые хотели выиграть войну и видели, как боролись за победу коммунисты.

* * *

Хочу сказать (без какого-либо намерения заниматься пропагандой) несколько слов о позиции Советского Союза в отношении законного правительства Испании в то время, когда другие страны, даже так называемые демократические, предали республику.

Монархическая Испания никогда не признавала Советский Союз. После провозглашения республики ее руководители продолжали политику игнорирования СССР. Поэтому, когда начался мятеж, Испанская республика не имела с ним дипломатических отношений. Однако, как только республиканское правительство поставило этот вопрос, Советский Союз тотчас пошел ему навстречу. С этого момента он защищал

республиканскую Испанию на всех международных конференциях, требуя от представителей капиталистических стран соблюдения принятых по отношению к ней обязательств.

Советский Союз сорвал маску лицемерия с тех, кто проводил политику «невмешательства». Когда стало очевидно, что она играет на руку франкизму, СССР решительно заявил, что выходит из Комитета по невмешательству{138} и будет оказывать республике всестороннюю помощь. Она не заставила себя ждать. Испанский народ чувствовал ее и в тылу, и на фронте. [364]

В самые напряженные дни конца октября 1936 года в порт Картахену прибыли первые советские летчики и самолеты.

Трудно передать волнение и радость, которые мы испытали: технические достоинства самолетов, присланных русскими, во многом превосходили самые оптимистические расчеты.

Разгрузка производилась чрезвычайно секретно. Советские товарищи позаботились о том, чтобы она прошла как можно быстрее на случай, если корабль подвергнется в порту бомбардировке. Например, танки, прибывшие на этом же пароходе, переносились на берег с находившимися внутри них экипажами и работающими двигателями. Таким образом, едва коснувшись земли, они шли дальше собственным ходом.

Испанские рабочие, помогавшие разгружать столь необходимое нам вооружение, работали без отдыха, с полной отдачей сил.

Сборка самолетов производилась в Лос-Алькасересе. Наши механики и рабочие с помощью нескольких советских товарищей буквально творили чудеса. Тридцать первых самолетов были собраны в рекордный срок.

Советское правительство предоставило республике не только самолеты высшего класса, но и все, что нам было необходимо: летчиков, наземный технический персонал, вооружение, патроны, бомбы и т. д.

Моя первая встреча с советскими товарищами состоялась в день их приезда. Мой хороший друг, авиационный атташе полковник Борис{139}, с которым мы отлично сотрудничали, представил меня как командующего республиканской авиацией, подчеркнув, что с этого момента советский авиационный персонал, направленный в Испанию, поступает в мое подчинение. На протяжении всей войны со стороны советских летчиков не было ни малейшего нарушения дисциплины, ни выражения какого-либо неудовольствия.

* * *

Главной целью Франко с самого начала войны и до Гвадалахарского сражения в марте 1937 года был захват

Мадрида.

Гитлер и Муссолини поощряли это стремление Франко, все увеличивая посылку различных видов оружия и войск и обещая признать его правительство, как только он войдет в Мадрид. [365]

Многочисленная франкистская армия, снабженная самым современным оружием, быстро продвигалась к столице и вскоре подошла к ее окраинам. В эти критические дни авиация противника как на фронте, так и над Мадридом «действовала в свое удовольствие», ибо республиканская была практически уничтожена. Фашистские самолеты полностью господствовали в воздухе и безнаказанно производили бомбардировки и обстрелы.

Взять столицу было поручено четырем хорошо вооруженным вражеским колоннам, поддерживаемым мощной артиллерией и многочисленной авиацией. Именно тогда генерал Мола сделал одному из иностранных корреспондентов известное заявление о том, что Мадрид будет завоеван «пятой колонной» «национальной» армии, которая атакует красных в их наиболее уязвимое место. С тех пор термин «пятая колонна» во всем мире употребляется для обозначения внутреннего врага.

Мировая реакция уже не сомневалась, что Мадрид потерян для республиканцев. Фашисты были уверены, что он падет в указанный Франко день{140}.

В этот день несколько корреспондентов газет из Сарагосы, нисколько не сомневаясь, что войска Франко уже дефилируют по улицам столицы, подъехали на автомобиле к нашим линиям. Когда журналистов взяли в плен, они подумали, что фашистские солдаты ради шутки решили попугать их, переодевшись в форму красных ополченцев.

Вот другой факт, свидетельствовавший о том, что путь к площади Пуэрта дель Соль{141} представлялся фашистам военной прогулкой. Мне рассказал о нем попавший к нам в плен летчик-франкист, присутствовавший при подготовке Франко к въезду в столицу.

Из Севильи франкисты привезли знаменитую статую девы Марии, намереваясь нести ее впереди марокканских частей и Иностранного легиона, которые должны были первыми войти в город. Статую сопровождали представители высшей церковной иерархии, священники и благочестивые граждане и гражданки в парадных одеяниях.

С юмором, но не без некоторой горечи летчик рассказал, что, по мере того как вступление в столицу откладывалось, [366] блеск роскошной процессии понемногу тускнел, а физиономии сопровождавших деву Марию и терпеливо ожидавших начала

триумфального марша все больше вытягивались и мрачнели.

Через некоторое время началось отступление, вначале стыдливое и скрытое, а затем и явное, которое закончилось тем, что деву Марию бросили ночью в обыкновенный грузовик и отправили туда, откуда она была взята. За ней последовали и гражданские власти, которым поручалось заняться административными делами в Мадриде.

Расчеты Франко и его сподвижников провалились. Газеты западных стран стали писать о «мадридском чуде».

Под Мадридом франкистская армия впервые встретила столь упорное сопротивление. По всей линии фронта на подступах к городу шли ожесточеннейшие бои. Фашисты предпринимали безнадежные усилия выбить республиканцев с их позиций. Они бросили в бой огромное количество артиллерии, танков, однако республиканцы не только не отступали, но сами переходили в атаку. Противник нес тяжелые потери.

Что же произошло в лагере республиканцев, в чем причина «чуда»?

Попытаюсь ответить на этот вопрос, рассказав о некоторых впечатлениях тех дней, не претендуя, однако, на всеобъемлющее описание исторической обороны Мадрида.

* * *

Прежде всего, хочу отметить, что сражение за Мадрид явилось боевым крещением республиканской армии.

Самое большое впечатление произвели на меня коммунисты, которые с самого начала мятежа проявляли исключительную самоотверженность. Они упорно убеждали правительство и остальные политические партии в необходимости создания регулярной армии. Я необычайно удивлялся и возмущался тому, что о таком совершенно очевидном деле приходилось спорить. Для меня было абсолютно ясно, что если мы не создадим армию, то проиграем войну.

Я не мог понять, почему правительство и руководители других партий Народного фронта не поддерживали это предложение. Не было никаких сомнений, что отряды народной милиции, преисполненные мужества и энтузиазма, но неорганизованные и необученные, не смогут сдержать натиска дисциплинированной и хорошо вооруженной армии интервентов и мятежников. [367]

Отсюда мое огромное восхищение коммунистами, которые не только доказывали необходимость создания новой армии, но на

практике приступили к ее формированию, организовав так называемый Пятый полк{142}. Он явился первой воинской единицей, продемонстрировавшей возможность создания дисциплинированной Народной армии, ибо только такая армия могла эффективно защищать республику.

Хотя Пятый полк был сформирован по инициативе коммунистов, в него входили и представители других партий. Он быстро приобрел известность своей организованностью, дисциплинированностью, но особенно действиями на фронтах и поведением в тылу. Пятый полк стал основой Народной армии. Когда в октябре 1936 года правительство объявило о ее создании, шесть первых бригад были организованы из подразделений, входивших в Пятый полк, а его командир Энрике Листер стал командовать первой бригадой. Принципы военной организации Пятого полка, перенесенные в Народную армию, превратили ополченцев в дисциплинированных храбрых бойцов, показавших в битве за Мадрид пример мужества и стойкости.

* * *

Хочу остановиться, отступая от хода повествования, на одной из основных ошибок, допускаемых обычно при анализе нашей войны. Я прочел множество книг о событиях в Испании в 1936-1939 годах, написанных нашими друзьями или людьми, считающими себя нашими друзьями. Все они, за редким исключением, пытаясь дать оценку действиям республиканской Испании, и особенно обороне Мадрида, забывали о народе и о том, что такое Мадрид. Именно народ на протяжении трех лет с беспримерным героизмом противостоял грубой фашистской агрессии. Именно народ, который часто игнорируют, и его Народная армия явились силой, остановившей марш фашистов на Мадрид и защищавшей столицу Испании до тех пор, пока предатели не сдали ее Франко.

В дни обороны Мадрида, которую я наблюдал в городе и на фронте, на земле и с воздуха, меня больше всего поражало героическое поведение народа, того самого народа, о котором так мало говорят хроникеры. [368]

Однажды в середине октября 1936 года Прието вызвал меня в министерство. Это было почти сразу после полудня. По дороге я сказал сопровождавшему меня капитану Эрнандесу Франку, что нас, видимо, ждут плохие вести, ибо почти всегда Прието вызывал меня для того, чтобы сообщить о каких-либо неприятностях. Действительно, он сказал, что положение

Мадрида критическое и необходимо эвакуировать учреждения и их персонал. Для оправдания столь крайней меры он сослался на решение о срочном переезде президента республики и правительства в Валенсию.

Хотя пессимизм Прието был мне известен, эта новость и похоронный тон, каким он сказал о ней, потрясли меня. У нас не хватало самолетов, и я ждал, что министр сообщит мне что-либо ободряющее. Но он занудно твердил: советское вооружение, формируемые интернациональные бригады из иностранцев-добровольцев прибудут поздно и ничем уже не смогут помочь. И все в таком духе. Я вышел из кабинета Прието совершенно подавленный и решил не возвращаться ни в штаб, ни на аэродром, чтобы не видеть своих летчиков. Они знали, что меня вызвал министр, и забросали бы вопросами, на которые я не смог бы ответить. Кроме того, я боялся, что по выражению моего лица они узнают о плохом положении дел, и не хотел огорчать их.

Эрнандес Франк ожидал меня в приемной. Мы вышли на улицу.

Не знаю, было ли виной тому состояние моего духа, но Мадрид показался мне печальным, а люди озабоченными и хмурыми.

На Пасео дель Прадо, вблизи руин разрушенного бомбардировкой отеля «Савой», мы увидели столпившихся около грузовиков людей. Это родители провожали последнюю партию детей, эвакуируемых из Мадрида.

Мое настроение еще больше упало. Родители не скрывали слез. Дети, глядя на них, плакали навзрыд, а некоторые отчаянно кричали и не хотели садиться в машины. Наконец колонна тронулась в путь. Часть родителей ушла, но большинство осталось, делясь друг с другом естественными в таких случаях переживаниями. Вдруг мы увидели, как трое молодых парней подошли к скамейке на бульваре, один из них вскочил на эту импровизированную трибуну и попросил выслушать его. С уверенностью, приведшей меня в изумление, он стал убеждать, что не стоит расстраиваться, ибо для детей в Леванте созданы хорошие условия и там они будут в большей [369] безопасности, чем в Мадриде, который окружен врагами. Единственный способ спасти столицу - всем, и мужчинам и женщинам, стать на ее защиту. Уже начато строительство окопов, но не хватает людей. Теперь, когда дети уехали и они стали свободнее, он призывает их немедленно отправиться возводить укрепления.

Таков приблизительно был смысл его речи, которую большая часть публики выслушала с вниманием.

Эрнандес Франк, знавший одного из парней, познакомил

меня с ними. Они оказались членами Союза объединенной социалистической молодежи. Эта организация мобилизовала большое количество своих членов для проведения подобных летучих митингов, названных ими «митинг-молния». Результаты не замедлили сказаться. Число добровольцев, желавших оказать посильную помощь в обороне столицы, увеличивалось с каждым днем.

Вскоре парни распрощались с нами, так как должны идти на следующий митинг. Меня необычайно обрадовал их энтузиазм и вера в возможность защитить Мадрид.

Так началось строительство баррикад, которое способствовало не только усилению нашей обороны с военной точки зрения, но и укреплению веры и поднятию боевого духа населения города.

Митинги, подобные этому, постоянно проходили во всех кварталах столицы. В кино, на фабриках и во дворах домов сотни и сотни агитаторов неутомимо призывали бороться против пораженцев, убеждали, что Мадрид выстоит, ибо нас не оставят одних, и скоро все в этом смогут убедиться. Последнее обстоятельство мобилизовывало людей и укрепляло их решимость бороться до победы.

Так народ поднимался на защиту столицы.

Поскольку до сих пор у меня почти не было связи с партией, я, естественно, не мог считать себя настоящим коммунистом. Однако всей душой был с компартией. Именно в драматические дни обороны Мадрида, в которой коммунисты сыграли решающую роль, я впервые почувствовал настоящее удовлетворение от того, что являюсь членом коммунистической партии.

* * *

6 ноября 1936 года правительство переехало в Валенсию. В Мадриде была образована Хунта обороны во главе с генералом Миаха, в которой два наиболее ответственных поста - [370] военного советника и советника общественного порядка - заняли коммунисты: член Политбюро Антонио Михе и генеральный секретарь Союза объединенной социалистической молодежи Сантьяго Карильо.

Хотя ожесточенные бои за Мадрид продолжались в течение всего ноября, а на отдельных участках они длились еще дольше, судьбу Мадрида решили первые десять дней. До конца войны Мадрид оставался в руках республиканцев.

Наша авиация сыграла весьма важную роль в тех исторических боях.

5 ноября, если не ошибаюсь, первые эскадрильи истребителей, присланные нам СССР, совершили перелет из Альбасете в Алькала-де-Энарес. Они прибыли вечером и тотчас начали подготовку к боевым вылетам на следующий день.

6 ноября утром появились немецкие бомбардировщики «Юнкерс» в сопровождении итальянских истребителей «Фиат». Они, как обычно, рассредоточились, приготовившись безнаказанно бомбить и обстреливать боевые позиции и город. В тот момент, когда сирены еще продолжали оповещать население о воздушной тревоге, самолеты с красными эмблемами республиканской авиации появились в небе Мадрида и бросились в атаку на фашистских воздушных разбойников.

Должен признаться, мне до сих пор трудно передать впечатление о том незабываемом моменте. От сильного волнения мое сердце готово было разорваться.

Зрелище, увиденное в то утро мадридцами, было грандиозным и незабываемым. В небе слышался беспрерывный рев моторов. Летчики почти в вертикальном пике бросались на «Юнкерсы» и не давали им сбросить смертоносный груз. Мадридцы поняли: произошло что-то новое и необычное.

Люди бросились из бомбоубежищ на улицы, не думая об опасности. Народ, в течение многих дней страдавший от страшных бомбардировок противника, от которых у него не было возможности защититься, с невыразимым волнением наблюдал за первым воздушным боем над осажденным городом.

Мадридцы видели, как республиканские летчики сбили один за другим девять самолетов противника, остальные обратились в паническое бегство, преследуемые нашими истребителями.

Обезумевшие от радости мадридцы, со слезами на глазах, приветствовали республиканскую авиацию и Советский Союз, хотя прибытие советских самолетов держалось в глубочайшей тайне. [371]

С этого дня соотношение сил в воздухе на какое-то время изменилось. Фашисты уже не могли безнаказанно совершать свои разбойничьи налеты. В дальнейшем они летали под сильным прикрытием истребителей и приняли ряд других мер предосторожности.

Народ Мадрида стал называть советские истребители («И-15») «чато» - «курносые».

Через несколько дней произошло событие, о котором мало кто знает (в то время мы не могли говорить открыто об участии советских летчиков в нашей борьбе против фашистов). Мне, как

испанцу, стыдно о нем рассказывать, но я считаю себя обязанным сделать это, чтобы еще раз напомнить о том, что такое фашизм.

Как- то вечером фашистский самолет сбросил над Мадридом на парашюте ящик, в котором оказался труп советского летчика, разрубленный на части. Летчик по ошибке произвел посадку на территории противника, вблизи города Сеговия. В ящике лежала записка следующего содержания: «Это подарок командующему воздушными силами красных, пусть знает, что ждет его самого и его большевиков!»

Позже я узнал, что фашисты таскали советского летчика по улицам Сеговии, а затем убили его.

Мне стыдно, что в Испании могли родиться чудовища, способные на подобные поступки.

* * *

Вернемся к «чуду Мадрида». Хочу еще раз подчеркнуть, что совершил это «чудо» народ - мужчины и женщины Мадрида и 30 тысяч бойцов Пятого полка, сражавшихся на наиболее опасных участках, а также тысячи добровольцев со всей Испании. Народ знал, что, защищая Мадрид, он защищает Испанию. Проявив необычайный героизм, он не только остановил фашистов у ворот Мадрида, но и нанес им первое серьезное поражение с начала войны.

В исторической битве за Мадрид значительную помощь народу оказала первая интернациональная бригада, организованная в Альбасете из 1500 или 2000 человек. Дисциплинированность и организованность интернационалистов служили великолепным примером для отрядов народной милиции. Их присутствие являлось и большой моральной поддержкой, ибо мы чувствовали, что не одиноки. Но этих 2000 человек, сражавшихся [372] с беззаветным мужеством и храбростью, было далеко не достаточно, чтобы спасти Мадрид.

Героическая интернациональная бригада, вооружение и авиация, предоставленные нам СССР, советские люди, прибывшие принять участие в борьбе против агрессоров, - все это было великолепной и своевременной помощью. Их моральная и материальная поддержка подняла дух народа, позволила задержать и разбить врага.

Чтобы закончить с мадридской эпопеей, хочу сослаться на мнение одного свидетеля, наблюдавшего сражение за Мадрид с франкистской стороны. Я имею в виду известного американского журналиста Джона Т. Уэйтекера, находившегося в качестве

военного корреспондента на стороне мятежников.

В своих воспоминаниях, опубликованных в американском журнале «Форин афферс» в октябре 1942 года, он писал следующее:

«Когда государственный переворот потерпел поражение, франкистов могла спасти только помощь германских и итальянских самолетов, а также марокканские войска. Однако вскоре они вновь оказались на грани проигрыша войны из-за своей напрасной и дорогостоящей атаки на Мадрид. На этот раз их спасли немцы.

В пригородах Мадрида я встречался с марокканцами и видел, как Франко чуть не загубил самого себя и свое дело глупой фронтальной атакой столицы. Упираясь спинами в дома Мадрида, республиканцы не нуждались ни в офицерах, ни в тактических знаниях. Когда Франко первый раз атаковал столицу, он мог бы ее взять, но по совету своих немецких и итальянских советников отложил операцию. Послушав генерала фон Фаупеля, Франко два дня ждал прибытия танков и пушек. В это время в Мадрид прибыли 1900 добровольцев интернациональных бригад, а спустя несколько дней - еще 1550. Все они защищали Мадрид. Как они это делали, я видел собственными глазами.

Я спустился к Французскому мосту с надеждой быть первым корреспондентом, который пересечет реку Мансанарес и войдет в город. Сильнейший огонь вызвал у меня беспокойство; через реку я наблюдал, как марокканцы очищали от противника шестиэтажный дом. Часть марокканцев окружила здание и быстро проникла в него. Вытеснив защитников с первого этажа, они с помощью пулеметов и ручных гранат стали очищать и второй… [373]

Один за другим этажи были освобождены, но когда операция была закончена, в живых не осталось ни одного марокканца.

Эта упорная борьба республиканцев окончательно сломила дух франкистов. Впервые за все время их длинного победного марша от Бадахоса через Талаверу-де-ла-Рейна до Мадрида противник оказал успешное сопротивление.

Только однажды республиканцы получили пушки и выпустили в воздух 127 самолетов. Марокканцы Франко отступили. Полковник Кастехон с простреленным бедром сказал мне, что, по сведениям главного штаба Франко, по меньшей мере 40000 марокканцев из имевшихся 60000 выбыли из строя; «восстав, мы теперь разбиты…»

Фалангисты оказались неспособными для службы в армии, а карлисты были разбиты. Генерал Варела и полковник Ягуэ сказали мне: «Мы подавлены и не сможем удержаться ни в одной

части страны, если красные атакуют нас». Испанцы в тылу у Франко знали об этом, и в Касаресе и в Андалузии произошли восстания. В тот момент, когда республиканцы пытались объединить свои силы и подготовить возможное наступление, Муссолини отправил Франко армию в 100000 человек».

Германские и итальянские деньги позволили навербовать 60 тысяч африканцев, из них 40 тысяч в Марокко. Второй раз иностранцы помогли кучке мятежников подчинить испанскую нацию. Для защиты своего дела Франко никогда не смог бы набрать армию из испанцев.

Новые бои. «Ла глориоса». Братство в борьбе

Одной из наших основных забот являлась организация производства и ремонта самолетов. Благодаря помощи СССР нам удалось наладить выпуск ежедневно одного самолета типа «чато» («И-15») и каждые два дня - самолета типа «Моска» {143} («И-16») {144}. Хотя это и немного, однако давало нам возможность восполнять часть потерь.

Рабочие авиационных заводов и мастерских трудились с подлинным энтузиазмом. Продукция созданной нами авиационной [374] промышленности по качеству была значительно выше самолетов, выпускавшихся в Испании до 1936 года. Удалось нам организовать и ремонт моторов.

Однако в связи с неизбежными человеческими жертвами перед нами встала еще одна проблема - пополнение кадров для авиации. Быстро и эффективно решить этот вопрос нам также помог Советский Союз.

Мы направили в СССР несколько групп молодых людей для обучения искусству пилотажа. Курсантов отбирали из лучших наших бойцов. Обучение было рассчитано на шесть месяцев. По его окончании наши товарищи возвращались в Испанию отлично подготовленными, с дипломами летчиков, наблюдателей, бомбардиров, воздушных стрелков и т. д. - в зависимости от способностей и склонностей каждого - и с первого же дня могли начать службу на аэродромах.

Я уже говорил, что в начале войны мы отправили несколько молодых испанцев во Францию в гражданские авиационные школы. Этот опыт стоил нам больших денег, но он совершенно не оправдал себя, поэтому мы вскоре отказались от него.

Для подготовки летчиков мы организовали также училища в Лос-Алькасересе, Мурсии и Аликанте. Однако кадры для авиации в основном готовились в Советском Союзе. Созданные там курсы работали беспрерывно в течение всей войны. Советские люди, не преследовавшие в Испании никаких корыстных интересов, не

стремились подчинить себе нашу авиацию. Если испанский пилот или бомбардир оказывался в состоянии сам выполнить боевое задание, они никогда не занимали его место. С самого начала они старались как можно быстрее подготовить наших парней к самостоятельным полетам. Две первые советские эскадрильи, прибывшие в Испанию, на 90 процентов состояли из советских товарищей. Шло время, и постепенно этот процент становился все меньше. В конце войны испанских летчиков в них было уже значительно больше, чем советских.

На протяжении всей войны я постоянно общался с советскими людьми и наблюдал их героические действия не только в воздухе, но и на земле. Со всей ответственностью могу утверждать, что оказанная нам Советским Союзом помощь была совершенно бескорыстной и стоила ему многих жертв, в числе которых немало летчиков, погибших, защищая свободу испанского народа. Их могилы навсегда остались в нашей стране. [375]

В ту пору мы узнали о предложении Советского правительства оказать на время войны гостеприимство испанским детям, родители которых пожелают этого. Посоветовавшись, мы с Кони решили отправить Лули в Советский Союз. Нас несколько смущало расстояние, но мы были уверены, что там она будет окружена заботой и сможет нормально продолжать учебу.

Вскоре Лули и Чарита, девочка ее возраста, дочь лейтенанта Бруно - летчика, убитого фашистами в первые дни войны, сели в порту Аликанте на советский пароход, державший курс на Одессу. В первом же письме, похожем на дневник, Лули подробно рассказала нам о своей поездке. С удивлением сообщала она, например, как хорошо их кормили: «На завтрак нам дают три яйца, а не одно и не два, как мы ели дома до войны…» Далее она рассказывала, что моряки всячески развлекали их, стараясь сделать путешествие приятным. Письмо она закончила такими словами: «Мы очень довольны, так как все нас очень любят!»

Лули и Чарита были первыми испанскими детьми, прибывшими в Советский Союз.

* * *

Министерство авиации вместе с Прието переехало в Валенсию. Однако главный штаб авиации официально продолжал оставаться в Альбасете, хотя фактически октябрь и ноябрь 1936 года мы почти полностью провели в Алькала-де-Энарес.

Когда я ездил в Валенсию на доклад к министру, он обычно

приглашал меня к себе на обед. Как-то на одном из них присутствовали Сугасагойтия, Белармино Томас и Крус Салидо - три видных деятеля социалистической партии. Совершенно непреднамеренно я дал повод для сцены, которая отчетливо показала неприязнь или, вернее, ненависть некоторых социалистических руководителей к коммунистам.

Я по- прежнему глубоко доверял Прието. Некоторые его поступки не нравились мне, но я приписывал их ошибкам, от которых никто не гарантирован, и считал, что патриотизм и страстное желание выиграть войну пересилят в нем политические предубеждения. Поэтому я страшно удивился, увидев, какое впечатление произвело на него и его друзей мое сообщение о вступлении в коммунистическую партию. [376]

Лицо министра так изменилось, словно с минуты на минуту его должен хватить удар. Мне кажется, если бы в столовой взорвалась бомба, это не вызвало бы такой реакции, как мое заявление. Я не мог понять, как можно так ненавидеть партию, с которой сотрудничаешь в правительстве и борешься против общего врага. Мне казалось, что между истинным социалистом и коммунистом нет большой разницы, и поэтому мое решение в крайнем случае обидит Прието, так как ему, конечно, приятнее видеть меня в рядах своей партии. Дон Инда молча встал из-за стола и прошел в свой кабинет. Остальные тоже молчали, давая понять, что они полностью солидарны с Прието.

С того дня его отношение ко мне резко изменилось, и он не скрывал этого. Казалось, Прието испытывал наслаждение, когда в моем присутствии критиковали или отвергали предложения коммунистов. Мириться с этим я не намеревался.

Прието был абсолютно несправедлив ко мне, ибо я ни в чем не изменился, и никто не пытался заставить меня измениться лишь потому, что я стал коммунистом. Он был умным человеком и достаточно хорошо знал меня, чтобы думать, будто, принимая решение о вступлении в коммунистическую партию, я руководствовался соображениями личной выгоды. Поведение Прието показало мне, что под влиянием личной неприязни он может забыть о своих обязанностях и причинить своими действиями ущерб нашему общему делу. Поэтому между нами вскоре начались столкновения. Первый крупный и неприятный разговор произошел в связи с выдвижением в офицеры командиров отрядов народной милиции, то есть непрофессиональных военных. Прието всегда относился к ним с некоторым презрением, и мы не раз дискутировали по этому вопросу. В тот день обсуждалась кандидатура одного офицера милисианос, которому предполагалось присвоить чин майора.

Прието совершенно распоясался. Он говорил такие чудовищные вещи и был так несправедлив, что любой беспристрастный человек не мог не заметить этого. Командиры милисианос возглавляли самые опасные участки на всех фронтах, но, так как большая часть из них была коммунистами, министр относился к ним враждебно.

Довольно сильное сопротивление оказал Прието и введению политкомиссаров в армии. Принимая во внимание характер нашей войны, институт политических комиссаров был совершенно необходим. И первые же опыты подтвердили это. [377]

В качестве представителей правительства Народного фронта комиссары, честно выполнявшие свой долг, содействовали укреплению авторитета командиров и брали на себя выполнение самых трудных задач. Они разъясняли цели нашей борьбы, укрепляли моральный дух бойцов и готовность к самопожертвованию, выступали против огульного недоверия солдат к профессиональным военным и делали многое другое, что командиры не всегда были в состоянии выполнить.

Однако Прието, возможно, потому, что предложение о комиссарах исходило от коммунистов, категорически возражал против них. После официального распоряжения о введении комиссаров в армии он вынужден был подчиниться решению правительства, но назначил комиссарами в авиацию антикоммунистически настроенных социалистов. Эти люди под руководством Белармино Томаса, которого Прието сделал главным комиссаром авиации, фактически действовали во вред нашему делу. Но они упустили из виду, что 70 процентов летчиков - коммунисты и личный состав наших эскадрилий, отдававший все силы антифашистской войне, не допустит выпадов против коммунистической партии и Советского Союза, представители которых так самоотверженно защищали свободу испанского народа.

* * *

Судьба войны прежде всего решалась на окраинах Мадрида. И фашисты, и республиканцы направили туда свои основные силы. На остальных фронтах наступило относительное затишье. Все ждали, чем закончится битва за столицу.

Враг, понесший большие потери, убедился в тщетности своих усилий с ходу захватить Мадрид. Он решил перегруппировать войска, укрепить их и предпринять наступление с целью отрезать

город от остальных республиканских районов. Таким образом, фашисты рассчитывали рано или поздно принудить осажденный город сдаться.

Во второй половине декабря 1936 года франкисты атаковали нас с запада, со стороны Эль Пардо. Бои достигли невиданного ожесточения. Мы переживали тяжелые дни.

Ежедневно вечером, когда кончались полеты, я отправлялся в Мадрид к подполковнику Висенте Рохо - начальнику главного штаба обороны. Упомянув впервые имя Рохо, я должен прервать свое повествование, чтобы сказать о нем несколько слов. [378]

До войны я не был знаком с подполковником Висенте Рохо. Мне было известно лишь, что он преподавал в пехотном училище, считался умеренным республиканцем и убежденным католиком. В течение десяти дней, пока длилось новое наступление фашистов, я ежедневно общался с ним. Это был один из тех периодов, когда полностью раскрывается характер человека, и Висенте Рохо показал себя талантливым военачальником, умеющим сохранять хладнокровие в самой трудной обстановке, человеком, беззаветно преданным республике. Короче говоря, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Позднее мы сотрудничали с ним постоянно. К этому обязывали нас занимаемые должности. Официально Рохо считался начальником генерального штаба республиканской армии, но в действительности до конца войны был ее командующим. И чем лучше я узнавал его, тем больше он нравился мне - и не только как военный, но и как человек.

Пост командующего республиканскими воздушными силами давал мне возможность быть в курсе всех дел на фронте. Я знал, что, если операция в Эль Пардо продлится еще несколько дней, она может кончиться для республики катастрофой. Мы израсходовали почти все боеприпасы. Солдаты двух последних бригад, брошенных Рохо в бой, имели по 20 патронов вместо 300 по норме. Легко понять, с каким облегчением мы вздохнули, когда враг, видя стойкое сопротивление республиканских войск, решил, что его наступление провалилось, и прекратил атаки.

Для республиканцев передышка была очень кстати. Мы получили возможность ускорить шедшую полным ходом организацию новой армии. Прибыло несколько советских пароходов с вооружением, в котором мы так нуждались (артиллерия, танки, самолеты и т. п.).

Вновь созданные, хотя и не полностью укомплектованные, бригады республиканское командование сосредоточивало на восточном берегу реки Харамы. Отсюда оно планировало предпринять наступление на фашистов.

Но враг опередил нас. В первых числах февраля 1937 года он начал крупную операцию в этом же районе, прорвав наш фронт. Чтобы остановить дальнейшее продвижение противника, республиканское командование бросило в бой войска, предназначенные для нашего собственного наступления, которые, к счастью, находились поблизости. Воздушные силы действовали точно и энергично; с беспримерным героизмом [379] сражались республиканские войска и интернациональные бригады. Благодаря их стойкости после пятнадцати дней кровопролитных боев на Хараме враг вновь отступил.

Республиканская авиация, замечательно проявившая себя в этом сражении, снова подтвердила данное ей народом название «Ла глориоса».

Чтобы не показаться пристрастным, сошлюсь на мнение двух авторитетных лиц, свидетелей боевых подвигов республиканской авиации.

Долорес Ибаррури, принимавшая активное и действенное участие в обороне Мадрида, в своей книге «Единственный путь» {145} пишет:

«Без авиации и танков оборона Мадрида была бы не только трудной, но просто невозможной. Небольшое количество самолетов, которыми располагали народные войска, постоянно находилось в воздухе, дезориентируя врага. Он не мог себе представить, что это были одни и те же самолеты и что одни и те же летчики творят чудеса, защищая небо Мадрида».

Генерал Висенте Рохо в своей книге «Героическая Испания» вспоминает:

«Участие авиации, сотрудничавшей с наземными войсками, в некоторых случаях оказывалось решающим. Только благодаря своей смелости, беспримерному боевому духу, мастерству и самопожертвованию могла она сражаться в столь трудных условиях. Все прекрасно понимали ее значение в те дни. Случалось, истребители по пять раз подряд спасали наши передовые от бомбардировок противника. На Хараме каждый день с утра до вечера авиация обеспечивала безопасность наших позиций с воздуха. Иногда воздушные бои завязывались на глазах республиканских войск. В некоторых сражениях участвовало более 100 самолетов. Смелость, с какой наши летчики нападали и сбивали вражеские самолеты, производила на земле сильное впечатление, вызывая на боевое соревнование. Летчики перекрыли все установленные нормы. Случалось, они совершали по семь боевых вылетов в день, настолько сложной была обстановка, настолько сильного напряжения и огромных усилий она требовала. Это явилось причиной того, что сражение на

Хараме чрезвычайно утомило людей и привело к износу техники, но, к счастью, результаты с лихвой компенсировали все жертвы». [380]

Таким образом, генерал Висенте Рохо, командующий армией и руководитель обороны Мадрида, дает высокую оценку действиям республиканской авиации. Это лучшая и заслуженная награда советским и испанским летчикам, принимавшим участие в тех боях.

Ради справедливости должен сказать, что в ту пору в наших воздушных силах большинство летчиков было из Советского Союза. Это соотношение изменилось после сражения под Гвадалахарой, когда мы получили возможность укомплектовать республиканские эскадрильи выпускниками авиационной школы в Лос-Алькасересе и первой группой летчиков, вернувшихся отлично подготовленными из СССР.

И снова Мадрид был спасен. Фашистам удалось захватить лишь несколько пядей земли, заплатив за них потоками своей крови. Линии, на которых они укрепились, остались неизменными до конца войны.

* * *

Узнав месторасположение нашего командного пункта, враг пытался уничтожить его, непрерывно бомбардируя аэродром и городок Алькала.

Эти налеты обходились фашистам недешево, несмотря на сильный эскорт истребителей, сопровождавших бомбардировщики, почти всегда противник терял несколько самолетов. В Алькала мы держали две лучшие эскадрильи. Одна из них всегда была наготове. Летчики и механики находились у самолетов, чтобы в случае необходимости немедленно взлететь. Как только раздавался сигнал тревоги, они тут же поднимались в воздух. Я не раз наблюдал: сирены еще продолжали завывать, а истребители уже отрывались от земли.

Во время таких налетов часть наших самолетов вступала в бой с истребителями противника, а остальные атаковывали бомбардировщиков, заставляя их сбрасывать свой груз где попало.

Эскадрильи ПВО были укомплектованы советскими и испанскими летчиками. Несмотря на огромную разницу в характерах и обычаях, они прекрасно понимали друг друга. В тот период, о котором я говорю, командовали этими соединениями советские летчики. Между ними и испанцами никогда не было

разногласий: летчики прикрывали друг друга в бою и соревновались в умении и отваге.

Дисциплина у советских летчиков была значительно лучше нашей. Строгий воинский порядок существовал во всем, даже [381] в таких на первый взгляд мелочах, как отдача рапорта или обращение к старшему по чину. Все это оказывало влияние и на испанцев. Надо было видеть, с какой серьезностью испанские летчики просили слова и излагали свое мнение на предполетных и послеполетных разборах боевых действий. Мы и прежде готовились к каждой операции, но не так вдумчиво, не придавая этому того значения, какое оно в действительности имело.

Наши советские друзья удивлялись тому, что для испанцев час обеда являлся чем-то священным. Мы, конечно, не приостанавливали из-за этого полеты, но всегда старались по возможности соблюдать его. Для советских же летчиков, даже в моменты затишья, было безразлично, когда есть.

Между прочим, советские люди так и не смогли привыкнуть к некоторым нашим блюдам. Помню, в одну из моих поездок в Бильбао глава правительства басков Агирре, зная мои вкусы, прислал мне на аэродром две кастрюли с угрями и кальмарами, приготовленными самым изысканным способом - в «собственных чернилах» {146}. Я взял их с собой в Валенсию. Там я узнал о возвращении в СССР двух советских летчиков, раненных при обороне Мадрида. Я решил пригласить их на прощальный ужин и угостить типичными испанскими блюдами - угрями и кальмарами. В тех условиях они были необычайной редкостью. Я никогда не забуду выражения удивления и отвращения на лицах летчиков, когда они увидели этих животных, плавающих в черном соусе. Они смотрели в тарелки и на меня, не отваживаясь приступить к еде. Мы пытались объяснить им, что это баскский деликатес. Но все было напрасно! Они так и не притронулись к еде. Картина повторилась, когда подали угрей. Перед советскими летчиками поставили кастрюльки, в которых лежали маленькие белые животные с черными глазками. Мои гости брезгливо посмотрели на них будучи убеждены, что это черви, и, не дожидаясь наших объяснений, с извиняющейся улыбкой вернули кастрюльки женщине, обслуживавшей нас за столом. Короче говоря, я потерпел самое крупное в моей жизни кулинарное фиаско. Пришлось приготовить им омлет без всяких приправ.

Чтобы сгладить плохое впечатление от ужина, я приказал принести три бутылки подаренного мне Хемингуэем замечательного [382] французского коньяка, которые я хранил как величайшую ценность. Мы подняли несколько тостов, выпив до дна одну бутылку, и ужин закончился довольно оживленно,

несмотря на не совсем удачное начало. Советские товарищи, в отличие от нас, не смаковали, а выпивали содержимое своих рюмок залпом, как пьют неприятное лекарство, чтобы не заметить его вкуса.

Проведя в Испании некоторое время, советские летчики переняли и от нас кое-какие, правда не всегда хорошие, привычки. Больше всего меня раздражало, когда во время бомбардировок люди, демонстрируя свое хладнокровие, не спешили укрыться в убежище. К чему эти бессмысленные жертвы, если их можно избежать? Я, как начальник, считал своим долгом последним спускаться в убежище и вынужден был ждать такого храбреца, хотя мне совершенно не хотелось попадать под бомбежку.

Вот этой несносной манере, доставившей мне немало огорчений, стали подражать наши дорогие советские друзья. Когда раздавался сигнал воздушной тревоги, они соперничали с испанцами в том, кто дольше останется наверху. Однажды произошел такой случай. Рядом с испанским капитаном, не спеша направлявшимся в укрытие, упала бомба. Все уже думали, что его разорвало на куски, как вдруг из облака пыли выбежал совершенно голый человек, стыдливо прикрывавший руками некоторые части своего тела. Никогда не забуду вида этого капитана и его испуганного лица. Он чудом остался жив. Осколки разорвавшейся бомбы не задели его, но взрывная волна подхватила, отбросила на несколько метров и сорвала всю одежду.

Другой случай закончился трагически. Это произошло под вечер на аэродроме в Алькала. Прозвучал сигнал тревоги, мы направились к бомбоубежищу. Я уже собирался спуститься вниз, когда увидел начальника аэродрома майора авиации Августина Сан Саинса и советского офицера, начальника штаба истребительной группы, которые стояли посреди поля и как ни в чем не бывало разговаривали. В этот момент на них обрушилась серия бомб. Из-за большого облака пыли, окутавшего аэродром, ничего нельзя было различить. Когда же мы подошли к месту взрыва, то обнаружили, что от Сан Саинса ничего не осталось - его тело было разорвано на куски. Советский офицер получил ранение в ногу. После этого случая с игрой в храбрость было покончено. [383]

Гвадалахарское сражение

В то же время, когда шли бои на Хараме, фашистские войска, состоявшие почти исключительно из регулярных частей итальянской армии, предприняли наступление на Малагу и взяли

ее.

Узнав о легкой победе итальянцев, Муссолини решил, что неудачи франкистов под Мадридом - результат невысоких боевых качеств испанских фашистских войск и некомпетентности генералов, командовавших ими. Ему было невдомек, что любую армию, какой бы хорошей она ни была, постигла та же участь, если бы она столкнулась с героизмом и самоотверженностью народа, защищавшего свою столицу. Со свойственным ему фанфаронством Муссолини принял следующее решение: итальянское командование в Испании обойдется без испанцев и возьмет дело захвата Мадрида в свои руки, чтобы раз и навсегда покончить с положением, которое наносит такой урон престижу фашизма.

На многочисленных судах итальянцы начали перевозить в Испанию под прикрытием мощной эскадры не только боеприпасы, танки, самолеты, но и множество военных специалистов, регулярные дивизии и фашистские легионы, полностью экипированные и вооруженные. Из них был сформирован Итальянский армейский корпус в составе четырех дивизий (под командованием генералов Коппи, Росси, Нуворали и Бергонцоли), смешанных бригад Синих и Черных стрел, танковых батальонов, роты огнеметов, дивизионной и корпусной артиллерии, авто- и мотопулеметных рот, противозенитных и противотанковых батарей и всевозможных служб.

Перед этим моторизованным, насчитывавшим примерно 50 тысяч человек, армейским корпусом, который прикрывали с воздуха 140 боевых самолетов, была поставлена следующая задача (оперативный план итальянцев попал в наши руки): прорвать Гвадалахарский фронт; в течение трех дней захватить город Гвадалахару; на четвертый день занять Алькала-де-Энарес и, таким образом, полностью перерезать все коммуникации Мадрида.

Итальянское командование было уверено, что блокированные республиканские войска, увидев итальянцев у ворот Мадрида, разбегутся, не оказав никакого сопротивления.

Вражеское наступление на Гвадалахару началось 8 марта 1937 года. Дивизия, получившая задание прорвать фронт, оттеснила республиканские силы. Ворота Мадрида оказались [384] открытыми. Итальянские моторизованные колонны, преодолевая сопротивление остатков республиканских частей, продолжали продвигаться вперед. Успешное начало не оставило у итальянского командования ни малейших сомнений, что захват города обеспечен.

Командующий Итальянским корпусом генерал Роатта (в

Испании он носил имя Манчини) отдает войскам приказ сократить и без того короткий срок операции по захвату Мадрида. В своем приказе он писал: «Завтра в Гвадалахаре, послезавтра - в Алькала-де-Энарес, через два дня - в Мадриде!»

Муссолини, находившийся в то время на борту крейсера «Пола» на пути в Ливию, направил итальянским войскам послание, в котором поздравил с первыми успехами и заявил, что не сомневается в окончательной победе.

Создавшееся опасное положение вынудило республиканское командование спешно снять все части с Мадридского фронта и послать их на Гвадалахарский. Генерал Висенте Рохо, руководивший операцией, описывает этот критический момент следующим образом: «Никогда еще переброска войск не осуществлялась так быстро и в таком порядке. Наши войска сосредоточиваются, организуются, развертываются и начинают встречную атаку. У них не хватает средств связи, однако они действуют энергично, так как командиры имеют конкретные задачи и правильно их выполняют».

Известие о том, что нас атаковали итальянские фашистские дивизии, явилось великолепным мобилизующим фактором. Хотя большинство бойцов-республиканцев еще не оправилось после тяжелых боев на Хараме, все рвались в бой. Каждая часть оспаривала честь сражаться против иностранных интервентов. Это породило невиданный энтузиазм, позволивший дать достойный отпор врагу. Наши войска не только остановили наступление, но и перешли в контратаку. Во время этих боев мы убедились, что «фашистский боевой дух» не так страшен, как это пытались изобразить фашистские главари. В результате нескольких контратак враг вынужден был отступить.

Очень коротко расскажу о двух основных фазах битвы под Гвадалахарой и некоторых эпизодах, которые дадут представление об этом сражении.

На первом этапе сражения под Гвадалахарой, как я уже говорил, итальянцы, разбив республиканские войска, прорвали фронт. Через три дня мы перебросили туда воинские части из Мадрида. Начав встречную атаку, нам удалось остановить врага и нанести ему первые удары. [385]

На втором этапе операции республиканцы организовали общую контратаку, в результате которой враг был разгромлен и в панике отступил. Через четырнадцать дней после начала операции Итальянский экспедиционный корпус был побежден. Республиканские войска, полностью истощив свои силы, прекратили преследование.

* * *

Когда дивизии дуче прорвали республиканский фронт, в наших войсках царил такой беспорядок, что в первые три-четыре дня было невозможно разобраться, где расположены наши части. А летчикам для оказания эффективной помощи войскам необходимо было знать хотя бы их приблизительное местонахождение. Для получения информации пришлось послать на разведку нескольких летчиков, но не по воздуху, а по земле.

Я выехал на фронт в сопровождении советского авиационного атташе полковника Бориса Свешникова. Мне было известно, что первыми частями, которые республиканское командование направило в Гвадалахару, чтобы остановить продвижение итальянцев, командовал Энрике Листер. Полагая, что на его командном пункте мы сможем получить наиболее полную и правдивую информацию, решили направиться прямо к нему. После многочисленных перипетий добрались наконец до окруженного руинами небольшого дворца, где Листер обосновался со своим штабом.

Прежде всего, хочу внести ясность - Энрике Листер не иностранец, как его пытаются представить фашисты. Он родился и вырос в Галисии. Это стопроцентный кельт, говорящий с заметным галисийским акцентом и питающий явное пристрастие ко всему галисийскому.

Я думал, что увижу бывшего командующего Пятым полком удрученным, в плохом настроении, ибо его части получили новое трудное задание, не успев прийти в себя после боев на Хараме. Но по-видимому, он уже привык к тому, что республиканское командование всегда посылало его на самые опасные участки. Мы нашли его веселым, энергичным и, что особенно восхитило нас, преисполненным оптимизма. Политическим комиссаром у него был Сантьяго Альварес - тоже галисиец, страстно влюбленный в свою родину. Мы прибыли, когда они обсуждали с командиром батальона «Гарибальди» намечавшуюся на следующий день операцию. После ухода комбата Листер и его комиссар высоко оценили действия гарибальдийцев в бою с передовыми частями итальянского [386] экспедиционного корпуса. Несмотря на адский огонь вражеской артиллерии, они геройски отразили четыре сильнейшие атаки итальянских танкеток, пытавшихся вытеснить их с занимаемой позиции.

В тот же вечер гарибальдийцы захватили первых пленных-итальянцев: разведывательный отряд в составе 31 солдата, двух лейтенантов и одного старшего офицера.

Итальянские добровольцы из интернациональных бригад, несмотря на усталость после боев за Мадрид, несмотря на то, что их было мало и они были значительно хуже вооружены, нежели части Итальянского корпуса, сражались замечательно. Весть о пленении первых фашистов-итальянцев распространилась по фронту быстрее молнии, вызвав всеобщую радость.

Кажется, впервые в истории подданные одного государства сражались друг против друга на чужой земле. С одной стороны, гарибальдийцы - истинные добровольцы, люди разных политических убеждений, но движимые одним желанием - отстоять демократию и мир. С другой - до зубов вооруженные воинские формирования, посланные фашистскими правителями против народа, защищающего свою свободу. Командовавшие этими войсками генералы и офицеры прибыли в нашу страну с надеждой получить обещанные повышения и вознаграждения. Подчиненные же им солдаты не имели ни малейшего повода ненавидеть испанский народ и не получали никакой выгоды от участия в этой авантюре.

Этим и объясняется, что добровольцы сражались с беззаветной отвагой и побеждали, а фашистские войска бросали оружие и отступали, не оказывая сопротивления.

Итальянские интербригадцы героическим поведением под Гвадалахарой защитили честь своего народа. В этом сражении потерпели поражение не Италия и не ее народ, а фашистский режим, тиранивший эту замечательную страну.

* * *

Несколько слов о действиях нашей авиации. К началу Гвадалахарского сражения соотношение боевых самолетов было 3:1 в пользу фашистов. Но мы имели два преимущества: лучшие самолеты (немецкие «Мессершмитты» еще не прибыли) и прекрасное расположение аэродромов. Кроме того, нам повезло: из-за дождей аэродромы противника в первые три-четыре дня с начала военных действий были выведены из строя, и он лишился возможности использовать против нас авиацию. Республиканские же воздушные силы, хотя и с [387] некоторыми трудностями, участвовали во всех боевых операциях.

Другой благоприятный фактор - Французское шоссе, по которому двигались огромные моторизованные колонны врага, представляло идеальную цель для наших летчиков. Одна за другой эскадрильи республиканской авиации вылетали на задание. Уже во время первых бомбежек нам удалось поджечь

значительное количество автомашин. Большой урон врагу был нанесен и пулеметным огнем с бреющего полета.

Воспользовавшись благоприятной ситуацией, мы отправляли на боевые задания все типы самолетов, даже учебные, если они могли держаться в воздухе, нести бомбу или пулемет.

Единственный раз за всю войну я летал над полем боя на маленькой авиетке, обычно используемой только для полетов над нашей территорией.

В результате нам удалось оказать эффективную помощь наземным войскам. Вражеские сводки и фашистские газеты сообщали, что в операциях участвовало более 750 красных самолетов. Эта цифра намного преувеличена: даже с учетом старых машин, которые нам удалось приспособить для боев под Гвадалахарой, количество республиканских самолетов не достигало и сотни.

Однажды, возвращаясь на авиетке на аэродром в Алькала, я заметил справа от себя итальянский истребитель «Фиат» с фашистской свастикой, и тотчас же слева появился другой такой же самолет. Сначала я, естественно, испугался, а затем разозлился: мне было досадно, что я так глупо попался. Прибегнув к единственно возможному в данной ситуации маневру, я резко спикировал и пошел на бреющем полете. Однако «Фиаты», имевшие, разумеется, большую скорость, чем моя авиетка, подлетели совсем близко ко мне, но почему-то не стреляли. Я решил, что они хотят заставить меня последовать за собой, как вдруг увидел широко улыбающееся лицо одного из летчиков, рукой приветствовавшего меня. Тогда мне стало все ясно: несколько дней назад на наш аэродром по ошибке приземлились пять итальянских «Фиатов». Двум удалось ускользнуть, но три попали к нам в руки. Я сам посоветовал летчикам-истребителям полетать на этих машинах, чтобы освоить их. Однако, обремененный массой забот, совершенно забыл об этом, а механики упустили из виду, что с машин надо смыть фашистские знаки. Летчики, опробовавшие «Фиаты», увидели мою авиетку и решили сопровождать меня, не подумав о том, как я могу воспринять подобный эскорт. [388]

Таковы в общих чертах мои воспоминания о Гвадалахарском сражении, в котором республиканские войска захватили сотни пленных, большое количество военных материалов и различного вооружения.

Известие о выдающейся победе народных сил породило взрыв энтузиазма в Испании. Огромное впечатление произвел успех под Гвадалахарой и за границей. Он вызвал радость и удовлетворение всех врагов фашизма. С другой стороны, в лагере реакции царили

растерянность и страшная паника. Их планы навязать тоталитарный режим всей Европе оказались под угрозой.

Поражение под Гвадалахарой вынудило Муссолини прервать поездку в Ливию и срочно возвратиться в Италию. Крупнейшие информационные агентства Парижа, Лондона и Нью-Йорка получили указание скрывать факт разгрома Итальянского корпуса. Они лицемерно продолжали ставить под сомнение наличие в Испании частей итальянской армии, хотя многочисленные иностранные журналисты, находившиеся в нашей зоне, своими глазами видели сотни пленных и имели возможность ознакомиться с грудами документов, захваченных республиканцами.

Когда высшее итальянское командование, действовавшее в Испании как в оккупированной стране, решило обойтись без франкистов и самостоятельно захватить Мадрид, оно не предполагало, что спустя три недели будет умолять о помощи.

Оскорбленные франкисты не спешили. Впавший в панику генерал Роатта пустил в ход все средства, чтобы добиться от Франко срочной присылки испанских войск.

Итальянский посол при Франко Роберто Канталупо по требованию генерала Роатта срочно отправил своему министру телеграмму: «Враг продолжает атаки. По мнению генерала Роатта, итальянские части не способны оказать сопротивление. Франко до сих пор отказывается заменить наши войска испанскими. Военная миссия и итальянское посольство просят дуче немедленно телеграфировать Франко, дабы добиться вышеуказанной замены. Со дня на день положение становится все серьезнее». Послав эту тревожную телеграмму, итальянское командование, опасаясь, что слишком долго придется ждать желаемого результата, вновь обратилось к послу, требуя от него непосредственно связаться с Франко.

В результате Итальянский экспедиционный корпус был заменен франкистскими войсками. [389]

Восстание в Каталонии. Приобретение оружия. Золото республики

После моего рассказа об успехах и замечательных боевых качествах республиканцев читатель, естественно, может спросить: почему же, если на нашей стороне было подавляющее большинство испанского народа, к тому же так героически сражавшегося, мы проиграли войну?

Эта книга - мемуары, а не политический труд. Я пишу лишь о том, что видел, и о тех событиях, в которых участвовал. Однако дальше я попытаюсь ответить на этот вопрос.

Кроме благоприятных для нас факторов, о которых я рассказал, хочу подчеркнуть другое обстоятельство: победе фашизма в Испании способствовали не только отдельные лица и организации внутри республики, но и многие зарубежные государства.

В мае 1937 года, то есть в один из самых критических для нас моментов войны, в Каталонии подняли восстание «особые группы» ФАИ и поумисты{147}.

Важную роль в подготовке этого путча сыграли агенты Франко. После второй мировой войны был обнаружен и опубликован доклад германского посла в «национальной» {148} зоне, в котором он, ссылаясь на самого Франко, сообщал Гитлеру, что беспорядки и перестрелку на улицах Барселоны начали франкистские агенты.

Анархо- троцкистские заговорщики сняли своих людей с Арагонского фронта и двинули их на Барселону. Тем самым предатели открыли фашистам ворота в Каталонию.

Подполковник Рейес, командовавший немногочисленными воздушными силами Арагонского фронта, вылетев с эскадрильей на подавление мятежа, обнаружил покинувшие свои позиции батальоны (два анархистских и один поумовский) и заставил их вернуться на фронт. Только нескольким небольшим группам удалось дезертировать.

На совещании, где обсуждался вопрос об этом восстании, я последний раз встретился с Ларго Кабальеро. Прието вызвал меня тогда к себе и, смакуя плохие новости - он любил это делать, - сообщил о положении, создавшемся [390] в Каталонии. Прието очень беспокоился об участи президента, господина Асаньи, который, по-видимому, был окружен анархистами в здании военного губернаторства в Барселоне. После долгого обсуждения было решено, что я с группой солдат на двух самолетах «Дуглас» отправлюсь в Реус.

Я приземлился в Реусе примерно с 50 солдатами и несколькими офицерами. Присоединившись к группе майора авиации Барбэта в 20 или 30 человек, они составили колонну. Ей было придано небольшое артиллерийское орудие, установленное на грузовике (до сих пор не знаю, откуда он взялся). Прибыв с отрядом в Таррагону, Барбэта направился к центральному дому ФАИ, где засели анархические руководители, и предъявил им ультиматум. Анархисты ответили залпом. Барбэта, по специальности артиллерист, влез на грузовик и с первого же выстрела из своей пушчонки разбил дверь здания. Еще два выстрела по окнам - и предатели капитулировали.

Таким образом город Таррагону мы вернули без особого

труда. В Тортосе анархисты перекрыли дорогу, но оказалось достаточно телефонного звонка - мы пригрозили им бомбардировкой, - чтобы они открыли движение.

Наша небольшая вначале колонна постепенно увеличивалась. К нам присоединялись добровольцы, которых мы вооружали захваченным у врага оружием.

После разгрома комитетов ПОУМ и ФАИ восстание в этом районе было ликвидировано.

Перед тем как отправиться на помощь Барселоне, мне удалось переговорить по телефону с Асанья, который все еще находился в осаде в здании военного губернаторства. До сих пор не могу понять, почему не была прервана телефонная связь. Асанья очень нервничал. Он спросил меня, что предпринимает правительство для его освобождения. (В конце концов президента в танке доставили в порт и на пароходе отправили в Валенсию.) Удалось мне поговорить и с полковником Сандино, командующим авиацией в Каталонии. Сандино с группой летчиков был блокирован в авиационном штабе. Они находились в довольно тяжелом положении, испытывая нехватку оружия.

В тот момент, когда наша колонна собиралась выехать на грузовиках в Барселону, я получил по радио срочный приказ Прието вернуться в Валенсию. Ссылаясь на председателя совета министров, он потребовал приостановить дальнейшие действия нашей группы. Этот приказ удивил меня, однако я выполнил его. [391]

Прибыв в Валенсию, я отправился к Прието. Увидев меня, он испуганно спросил, что я делал все эти дни. Ларго Кабальеро возмущен мною и хочет отдать меня под суд. Оказывается, руководители НКТ направили Ларго Кабальеро телеграмму, в которой сообщали о якобы творимых нашим отрядом зверствах и о многочисленных расстрелах анархических руководителей. В качестве первого условия для начала переговоров они требовали моего немедленного отстранения.

Глубоко возмущенный столь наглой ложью, я доложил Прието о действиях колонны и выразил свое отрицательное мнение о приказе, запрещавшем нам двигаться в Барселону. Он согласился со мной, однако, как всегда, не пожелал идти против Ларго Кабальеро. Тогда я решил сам все объяснить Кабальеро, но Прието воспрепятствовал моему свиданию под предлогом, что премьер-министр очень возбужден. Я все же отправился к Кабальеро на следующий день, но он отказался принять меня. Так закончилось это происшествие.

Штурмовые отряды, посланные на пароходе из Валенсии, быстро ликвидировали восстание в Каталонии.

Однако попытка путча вызвала правительственный кризис. Главой правительства стал дон Хуан Негрин. В новом кабинете Прието занял пост министра национальной обороны, получив в свое подчинение военное, морское и авиационное ведомства.

* * *

После Гвадалахарского сражения я занялся перемещением главного штаба военно-воздушных сил в Валенсию. Там я увиделся с Кони. Она была в прекрасном настроении и очень довольна новой работой, предоставленной ей в отделе печати министерства иностранных дел заместителем министра Мануэлем Санчесом Аркасом - выдающимся архитектором и одним из самых культурных, скромных и честных людей, которых я знаю. Учитывая энергию Кони, работоспособность и прекрасное знание четырех европейских языков, новая должность, связанная с работой в области пропаганды, очень подходила для нее.

В тех условиях пропаганда имела важное значение. Человек, общавшийся с иностранцами, приезжавшими знакомиться с республиканской Испанией, должен был обладать тактом и рядом других не менее важных качеств, иначе он рисковал принести своей работой только вред. Судя по тому, что говорили о Кони наши сотрудники и иностранцы, ее деятельность в этом отделе была весьма полезной для республики. [392]

Однажды, придя на прием к Прието, я заметил, что он чем-то озабочен. Этот человек с исключительной работоспособностью занимался самыми различными делами, зачастую не входившими в круг его обязанностей. В тот день он был крайне раздражен постановкой дела с приобретением за границей всего необходимого для нужд войны.

Этот вопрос имел настолько важное значение для хода войны, что я считаю необходимым хотя бы бегло остановиться на нем.

По мнению Прието, положение с закупками военных материалов за границей было катастрофическим, что грозило истощением наших ресурсов в короткий срок.

По- видимому, среди людей, посланных нами в разные страны мира для закупок оружия, было много неспособных и нечестных. Воспользовавшись особыми условиями, в которых им приходилось действовать, они посылали нам негодные материалы и безнаказанно воровали.

Поскольку правительства почти всех стран договорились не продавать Испании никаких военных материалов, мы вынуждены были приобретать все необходимое окольными путями. Один из

них состоял в том, чтобы найти страну-посредника, которая согласилась бы покупать для нас нужные товары. Первую сделку подобного рода мы заключили с двумя латиноамериканскими республиками и маленькой европейской страной. Результаты оказались плачевными. Посредники требовали баснословных комиссионных вознаграждений, и при этом мы не имели возможности контролировать качество товаров. В Испанию направлялись груды непригодного, но очень дорогого хлама, который нельзя было использовать. Последней попыткой этого рода, предпринятой Прието, была договоренность с китайцами, которой ему удалось достигнуть через двух американцев, поддерживавших коммерческие связи с этой страной. Но когда начались расчеты, китайские купцы от имени правительства Чан Кай-ши потребовали комиссионного вознаграждения в размере стопроцентной стоимости закупленного.

Возмущению Прието не было предела. Я был свидетелем его встречи с американцами, принимавшими участие в переговорах. В конце концов их послали к черту и прервали отношения.

В тот же день, преодолев неприязнь, дон Инда пошел повидать Ларго Кабальеро - в то время председателя совета министров, чтобы сообща найти выход из создавшегося положения. [393] Я не знаю подробностей их беседы. Мне известно только, что было принято решение просить Советский Союз купить для нас требуемые материалы.

Зная отношение этих людей к Советскому Союзу, нетрудно представить, сколько усилий им стоило это решение. Если был бы другой выход, они, безусловно, с радостью обошлись бы без помощи СССР.

Я уверен также, что Советский Союз был той страной, куда они меньше всего хотели бы отправить золото республики. Сделать это их вынудили обстоятельства. Отношение так называемых «демократических» стран к ценностям и деньгам республики не позволяло доверять им. Под различными предлогами они конфисковывали наши вклады за границей. Несколько десятков миллионов долларов, принадлежавших республике, были переданы правительствами западных стран франкистскому режиму.

Французские власти, заморозив вклады «Банко де Эспанья», лишили нас 41850 тысяч золотых франков. Несмотря на протесты правительства Испанской республики, официально признанного Францией, мы так и не смогли получить это золото, как и открыть под него кредиты для закупки продовольствия, в котором очень нуждались.

Республика испытывала крайний недостаток в самолетах.

Чтобы приобрести их, мы соглашались на самые кабальные условия. Как правило, нас заставляли платить по меньшей мере половину стоимости заказа вперед. И несмотря на это, заводы ни разу не сдали нам самолеты, ссылаясь на запрет своих правительств. Внесенные деньги конфисковывались или замораживались, а после окончания войны попали в руки Франко.

Я неоднократно слышал жалобы Прието на подобные действия «демократических» стран, усиливавших тем самым, по его словам, зависимость правительства республики от Советского Союза.

На протяжении всей войны Советский Союз вел себя по отношению к республике деликатно и щедро, что представляло разительный контраст с действиями руководителей «демократических» стран. По предложению Советского Союза в Москву вместе с золотым запасом была направлена испанская делегация для контроля над всеми финансовыми операциями. В ее составе не было ни одного коммуниста, только друзья Прието и Негрина. Комиссия находилась в СССР до конца войны. [394]

Во время моей последней поездки в Москву, за несколько месяцев до падения Каталонии, я по приказу правительства лично принимал участие в переговорах, связанных с испанским золотом. Позже я расскажу, как выполнил поручение Негрина. Излагая эти факты, я надеюсь, что они помогут составить более ясное представление об отношении СССР к Испанской республике.

Брунете. Альмерия. Север. Бельчите. Драма гражданской войны

Победа под Гвадалахарой и успехи, достигнутые Народной армией при обороне Мадрида, так вдохновили республиканское командование, что оно решило предпринять наступательную операцию, первую за время войны.

Местом для нее был выбран район Брунете в Мадридской провинции. Планируя эту операцию, наш генеральный штаб преследовал две главные цели: тактическую - окружить и отрезать от основных сил вражеские войска, прорвавшиеся в некоторые окраинные районы Мадрида, и стратегическую - остановить продвижение фашистов на Севере.

Убедившись, что выиграть войну одним ударом ему не удастся, враг решил перейти к тактике постепенного овладения одной территорией за другой. При этом он рассчитывал на помощь германо-итальянских частей, численность которых к этому времени значительно возросла. Начать франкисты решили с Севера. Блокада республиканских границ и портов, организованная лондонским Комитетом по невмешательству,

облегчала их задачу.

Серьезная опасность, возникшая в Северной зоне, вынудила республиканское командование предпринять наступление на Брунете, не закончив подготовки к нему и не дождавшись подкреплений и оружия. Чтобы удержать Север страны, у нас был единственный выход - энергично действовать в Центре. Захватить Брунете было поручено пятому армейскому корпусу под командованием Хуана Модесто и частям Листера. Они блестяще справились с заданием, взяв город с ходу. Первые два дня принесли республиканским войскам несомненный успех.

Но уже через три дня фашистские части получили подкрепление, и дальше наши войска продвинуться не смогли. Однако [395] наступление франкистов на Севере было временно приостановлено.

В небе соотношение сил менялось в таком же порядке. На протяжении первых двух-трех дней республиканская авиация господствовала в воздухе. Но затем противник подтянул многочисленную авиацию, и постепенно превосходство перешло к нему.

* * *

В боях под Брунете произошло событие, на котором не могу не остановиться. Впервые в истории авиации в ночном бою бомбардировщик был сбит истребителем. Изложу коротко обстоятельства этого беспрецедентного для того времени случая.

Положение республиканских войск становилось все более критическим. Фашисты, получив значительные подкрепления, перешли в контрнаступление, стремясь вернуть потерянную территорию. Ночью, когда наши части отдыхали после упорных, изнурительных дневных боев, появлялись немецкие трехмоторные бомбардировщики. До утра летчики «легиона кондор» {149} почти безнаказанно бомбили и обстреливали республиканские позиции, пользуясь отсутствием у нас зенитной артиллерии. Необходимо было принять срочные меры защиты. Но это было не так-то просто. Во-первых, республиканская авиация не имела ночных истребителей, а во-вторых, у нас не было ни прожекторов, ни других служб обнаружения самолетов.

Я направился на аэродром эскадрильи «чато», собрал личный состав и, откровенно рассказав о создавшейся ситуации, попросил высказать свое мнение. Минуту длилось молчание. Затем взял слово советский летчик Серов, заявив, что готов принять ночной бой. Остальные с энтузиазмом присоединились к нему. Тут же

были отобраны пять человек, подготовлены пять истребителей «чато» и проведен первый пробный полет.

Следующей ночью, когда фашистские самолеты, как обычно, приступили к бомбежке, с нашего аэродрома поднялись два истребителя, пилотируемые советскими летчиками Якушиным и Серовым (в Испании их звали Карлос Кастехон и Родриго Матео). [396]

Якушин первый заметил на фоне темного неба вражеский самолет. Приблизившись к нему почти вплотную, Якушин дал очередь из пулемета. Оставшиеся на аэродроме летчики с радостью увидели, как объятый пламенем немецкий трехмоторный бомбардировщик упал на землю.

В течение последующих трех ночей фашистские самолеты не показывались. На четвертую ночь, когда франкисты снова попытались бомбить наши позиции, замечательный подвиг был повторен. На этот раз героем стал советский летчик Серов.

Привожу выдержку из его рапорта об этом полете.

«В ночной темноте, - писал Серов, - было очень трудно искать вражеские самолеты. Наконец мне повезло. Я увидел в отблеске лунного света крыло самолета. Подойдя ближе, определил: «Юнкерс-52». Открываю огонь. Фашист немедленно отвечает мне, но я лечу ниже, и он меня не видит. Я приблизился к самолету справа, примерно на тридцать метров, и открыл огонь из всех четырех пулеметов. Пули попали в бензобак, вспыхнуло пламя. Это была замечательная мишень. Я дал еще одну очередь и увидел, как «Юнкерс» пикирует носом и разбивается о землю».

После этого фашисты уже не отваживались летать по ночам.

Благодаря самоотверженному героизму советских летчиков Якушина и Серова солдаты республики могли спокойно отдыхать, чтобы днем еще лучше сражаться против фашистских войск.

* * *

В конце мая 1937 года мы получили сведения, что фашистские военные корабли, блокировавшие наши коммуникации и причинявшие немалый вред республике, базируются на острове Ибиса. Немедленно организованная разведка подтвердила эти данные. На следующий день две эскадрильи бомбардировщиков атаковали вражеский порт. Среди судов, пострадавших от наших бомб, оказался «карманный» линкор германской эскадры{150}, той самой эскадры, которая вместе с франкистскими кораблями участвовала в блокаде наших [397] портов и налетах на побережье. Однако это справедливое со

стороны республики возмездие так называемые «демократические» страны представили как тяжкое преступление. А нацистская Германия в отместку беспощадно расстреляла из орудий своей эскадры беззащитный город Альмерию, в котором нашли убежище тысячи беженцев из захваченной итальянцами Малаги. С беззастенчивой наглостью гитлеровские главари оповестили весь мир о своем «славном подвиге», нисколько не опасаясь протеста «демократических» стран.

С начала войны проблема помощи Северу для меня, как командующего авиацией, была одной из самых сложных. Помимо того что у нас не хватало самолетов, перелет в Бильбао и Сантандер был сопряжен с большими трудностями. Радиус действия истребителя не давал гарантии, что самолет сумеет покрыть требуемое расстояние без посадки. Встречный ветер или малейшее отклонение в пути грозили вынужденным приземлением на территории противника.

Однако мы всеми силами старались помочь Северу. В первые дни мятежа туда были направлены два двухмоторных и один трехмоторный самолет. Но из посланных на Север четырех легких самолетов до места назначения добрались лишь два. Лейтенант Бруно, пилотировавший один из самолетов, и его наблюдатель были убиты мятежниками, как только оказались на фашистской территории.

Было решено просить французское правительство разрешить нашим самолетам производить посадку для заправки горючим на одном из аэродромов на юге Франции. После долгих переговоров оно согласилось. Мы немедленно отправили на Север эскадрилью из двенадцати истребителей. Они приземлились на аэродроме в Тулузе. Но французские власти, невзирая на разрешение правительства, задержали наши самолеты, сняли с них пулеметы и конфисковали. В результате этого вероломства столь нужные нам на Севере истребители прибыли туда на три недели позже.

Тогда было решено отправить самолеты пароходом. Но и эта попытка помочь Северу закончилась неудачей. Из двух пароходов, отплывших в Сантандер, в порт назначения удалось благополучно прибыть только одному; второй с помощью итальянских и немецких военных кораблей захватили французские военные суда.

После внесения в конструкцию «И-15» некоторых изменений, увеличивших радиус их действия, мы послали несколько «чато» непосредственно из Каталонии в Сантандер. Позднее, [398] когда в Испанию прибыли «моска» («И-16»), мы благополучно перебросили туда две эскадрильи этих самолетов. Их пилотировали в основном молодые испанские летчики,

возвратившиеся после обучения из Советского Союза.

Условия, в которых сражалась республиканская авиация на Севере, были исключительно тяжелыми. В этой маленькой горной стране при огромном количественном перевесе авиации противника наши аэродромы были прекрасной мишенью. Чтобы сохранить самолеты, летчикам приходилось каждый раз при появлении авиации противника поднимать их в воздух. Во время одного из моих перелетов в Сантандер франкисты, по-видимому, заметили мой самолет и, зная, где может быть произведена посадка, выслали целую эскадрилью. Едва мы успели приземлиться, как фашисты подожгли наш самолет.

Очень хотелось бы рассказать о действиях республиканской авиации на Севере. Но я понимаю, что такая задача мне не по силам. Я не профессиональный писатель и не смогу при всем желании достаточно ярко и полно отобразить одну из самых замечательных страниц в истории республиканской авиации.

Но так как умолчать о геройском поведении наших летчиков невозможно, позволю себе привести несколько выдержек из искреннего и интересного дневника капитана Франсиско Тарасона - одного из молодых пилотов, прошедших обучение в Советском Союзе. В своей замечательной книге «Кровь в небе» Франсиско Тарасона пишет:

«Войска противника продвигаются в направлении Сантандера, имея подавляющее превосходство в воздухе. Вражеская авиация располагает на Северном фронте 250 или 300 самолетами - истребителями и бомбардировщиками…

- А сколько у нас?

- Мало! - говорит Луна{151}. - 50 самолетов, из которых 15 или 20 являются «древними реликвиями». Одним словом, цирк «Кроне».

- А что? Что они собой представляют?

- Это старые самолеты различных марок, используемые нами в качестве бомбардировщиков. Английские «Бристоль», чехословацкие «Колховенсы», и французские «Бреге», «Потезы» и «Ньюпоры». Максимальная скорость - 160 километров… [399]

Подавляющее превосходство в воздухе дало противнику возможность легко прорвать Восточный фронт у Бильбао. Немецкие бомбардировочные эскадрильи опробовали здесь свою новую технику и вооружение; на протяжении всей кампании они проверяли свою тактику; так впервые наша гражданская война приобрела характер «большой войны». Мощные воздушные группы, до секунды согласовывавшие свои действия с наступавшими наземными войсками, сыграли решающую роль в достижении тактического успеха».

Далее следует драматическое описание условий, в которых приходилось сражаться республиканским летчикам.

«…Сейчас, - пишет Тарасона, - конец августа 1937 года… Вылеты на фронт становятся все более частыми, хотя наша наступательная сила с каждым разом становится все более рахитичной. 16, 14 самолетов, иногда только 10. Все необходимое должны делать мы одни: обстрел вражеских позиций из пулеметов, защита наших передовых, оборона аэродромов… Мы на грани физического истощения. Например, сегодня в течение менее шести часов сделано уже два боевых вылета для обстрела из пулеметов вражеских войск, не говоря о вылете по тревоге. Несмотря на это, мы должны в третий раз лететь на фронт, чтобы прикрыть отступление наших войск, оставивших Льянос…

Сентябрь… Самолетов у нас становится все меньше и меньше, и скоро для посадки останется только море… Солдаты мужественно обороняют свои позиции, и только массовые бомбардировки, беспрерывные артиллерийские обстрелы и огонь минометов вынуждают их отступать. Мы тоже вынуждены постоянно менять свои базы. У нас уже остались только Кареньо и Сьерро. Ежедневно кто-либо из летчиков погибает. От цирка «Кроне» осталось, вероятно, три самолета, из истребителей - примерно 16 или 18 самолетов «моска» и «чато». Может быть, я и преувеличиваю…

…Вылет на фронт… Теоретически две эскадрильи должны были состоять из 18 самолетов, а летят всего восемь «моска»… Задание - делать «всего понемногу». Вначале сопровождать «чато», которых мы возьмем в Сьерро. Когда «чато» закончат пулеметный обстрел… мы должны прикрыть контратаку и вызволить из окружения воинскую часть. Затем ход событий подскажет, что делать дальше.

…Я нервничаю. Это состояние всегда предшествует действию и исчезает, когда уже действуешь. Цель под нами. «Чато» приступают к обстрелу. Сильный зенитный огонь. [400]

Мягко говоря, «чато» переживают не очень приятный момент. Мне приходят на ум мудрые советы Орлова, моего боевого инструктора: «Смотреть мало: нужно видеть!». Я начинаю оглядываться, поворачиваю голову в одну сторону, в другую, вверх. Примерно на высоте 2000 метров над нами мне удается различить несколько точек. Я предупреждаю своих товарищей. Точки на такой высоте, видимо, «мессеры» или «Хейнкели» {152}, пытающиеся окружить нас.

Мы делаем пескадилью{153}, разворачиваемся один за другим и держимся на расстоянии, достаточном, чтобы прикрывать друг друга…

Завязывается бой… Нас атакуют «мессеры»… Я чувствую сильные удары по своему самолету, оборачиваюсь и вижу менее чем в 70 метрах желтый нос «мессера». Делаю полубочку и пикирую, чтобы уйти. Это мне удается. Я ищу в небе своих и вижу одного «моска», преследуемого «Хейнкелями», уже севшими ему на хвост. Целюсь в того, что ближе, и стреляю. Завидя первые трассирующие пули, он оставляет свою добычу… Заметив, что горючее на исходе, ищу, к кому бы присоединиться для возвращения. Пристраиваюсь к семи нашим «моска» и «чато»… Пролетая над Сьерро, мы видим, что летное поле изрыто бомбами. Летим дальше, в Кареньо… Но, приблизившись, видим, что и там невозможно приземлиться… Куда лететь?… Ничего не остается, как садиться на Колунге{154}… Садимся только Уэрта и я. С нами также один «чато» Льоренте.

Мы быстро маскируем наши машины среди деревьев. Аэродром совершенно заброшен, осталось только несколько солдат… Нет ни бензина, ни механиков, ни оружейников. Нет никого. Мы в безвыходном положении…

11 октября. Сегодня поднимемся в воздух только Уэрта и я. С еще двумя «чато», позже присоединившимися к нам, мы представляли всю республиканскую истребительную авиацию… Враг изменил тактику: они прилетают, смотрят на нас, летают над нами, а затем ждут в Кареньо, когда мы произведем посадку. Они уже не принимают боя в воздухе. Зачем им это? Ведь мы в их власти…» [401]

Эти отрывки из книги Франсиско Тарасона помогут дать представление о той героической, неравной борьбе, которую вели наши летчики на Севере.

* * *

Несколько слов хочу сказать о потоплении линкора «Эспанья» у Сантандера.

«Эспанья» был устаревшим броненосцем. Франкисты использовали его для обстрела и перехвата судов, направлявшихся в северные республиканские порты. Его броня могла выдержать огромные крупнокалиберные снаряды, мелкие же бомбы не оставляли на ней никакого следа. Поэтому я необычайно удивился, когда мне сообщили, что этот линкор потоплен одним из наших самолетов, ибо, зная, какими самолетами и бомбами мы располагали в Сантандере, считал это почти невозможным.

Прибыв в Сантандер, я попросил летчика и наблюдателя

рассказать подробности их полета. Когда «Эспанья» начал обстрел берега, им приказали подняться в воздух. Оба надеялись, что, увидев самолет, корабль прекратит обстрел и удалится. Первый раз они пролетели над ним довольно высоко, опасаясь снарядов зенитной артиллерии броненосца. Сделав второй заход, летчик сбросил одиннадцатикилограммовую бомбу. Куда она попала, ни летчик, ни наблюдатель не заметили, но тотчас услыхали сильный взрыв и увидели, как огромный броненосец пошел ко дну.

После серьезного расследования и анализа полученной информации мы сделали вывод, что броненосец «Эспанья» был потоплен торпедой с английского военного судна, находившегося поблизости и незадолго до этого потребовавшего от франкистского броненосца оставить в покое английский торговый пароход, входивший в порт Сантандер, или наткнулся на мину, хотя мы никогда не слышали о минах в этих водах.

Я рассказал об этом потому, что случай с «Эспанья» наделал много шуму. Заслуги республиканской авиации в ходе кампании на Севере столь значительны, что ей нет необходимости приписывать себе потопление этого броненосца.

* * *

Вернувшись из очередной поездки на Север, я отправился к Прието доложить о положении дел. Как обычно, он выслушал меня, не проронив ни слова. Когда же я закончил рапорт, он приказал мне отправиться к Висенте Рохо (начальнику генерального [402] штаба армии) и ознакомиться е намеченным планом операции, цель которой - остановить фашистское наступление на Севере. После разговора с Рохо Прието предложил мне вернуться к нему и сообщить свое мнение о предстоящей операции и, словно про себя, добавил:

- Лично я считаю ее бесполезной.

Очевидно, у Прието была потребность деморализовывать своих собеседников.

План Рохо в общих чертах заключался в следующем. Организовав наступление на Арагонском фронте, куда будет стянуто максимальное количество сил, заставить врага снять войска с Севера и тем самым остановить его продвижение.

Руководить этой операцией было поручено генералу Посасу, командующему Восточной армией, человеку беззаветно преданному республике. Начальником штаба к нему назначили подполковника Антонио Кордона, дипломированного офицера

генерального штаба, одного из профессиональных военачальников, отлично проявивших себя во время войны.

Местом проведения операции был выбран район Бельчите. В случае ее успеха предполагалось захватить Сарагосу.

Операции развивались почти так же, как под Брунете. В первые дни наступление шло успешно. Основные ударные силы состояли из частей под командованием Модесто и Листера. После пятнадцати дней беспрерывных боев Бельчите был взят. Однако затем противник получил значительные подкрепления, и наше продвижение было остановлено. Отсутствие резервов не дало возможности республиканским войскам изменить положение.

* * *

Хочу подробнее остановиться на боях под Кинто, хотя в мои намерения не входило описание наземных военных действий. В данном случае я делаю исключение, так как их героями были иностранцы.

Под Кинто наши войска были остановлены сильным пулеметным огнем противника. Республиканской артиллерии никак не удавалось подавить его пулеметные гнезда.

Вдруг наши линии пересек грузовик с пушкой и несколькими людьми и на глазах изумленных республиканцев и фашистов направился к вражеским линиям. Ни та, ни другая сторона не стреляли, не понимая, в чем дело.

Примерно в пятистах метрах от городских укреплений грузовик остановился. Артиллеристы спустили на землю пушку, [403] установили ее против Кинто и открыли огонь прямой наводкой по вражеским дзотам. Первый же снаряд попал в цель. Еще несколько выстрелов - и пулеметы франкистов окончательно замолкли.

Опомнившись, враг открыл ответный огонь из артиллерийских орудий. Разрывы снарядов закрыли от нас пушку, и мы решили уже, что она разбита, а ее прислуга погибла. Однако, когда дым рассеялся, все с восхищением увидели, что орудие продолжает стрелять. Смельчаки вели огонь, пока не израсходовали весь боезапас. Затем вновь водрузили пушку на грузовик и вернулись невредимыми в свою часть.

Этими храбрецами оказались румыны-добровольцы из артиллерийской группы Интербригады, отличившейся в сражении под Гвадалахарой.

* * *

Заговорив о нашей артиллерии, я вспомнил еще один случай, происшедший под Бельчите и свидетельствовавший о сложной политической ситуации в нашем лагере.

Однажды вместе с командиром истребительной авиации я обходил фронт. Мы остановились в секторе, который занимали бывшие отряды НКТ, переформированные в бригаду Народной армии. Не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить полное игнорирование ими распоряжения правительства о создании регулярных частей.

К нам подошла группа из шести или семи человек с черно-красными повязками{155} на шее, с автоматами, пистолетами, а некоторые и ручными гранатами. Ни на одном не было знаков различия. Эта живописная группа состояла из командира данного сектора и его штаба. Но, поскольку у анархистов слова «командир» и «штаб» считались антиреволюционными, они употребляли иные термины - «ответственный» и «комитет».

Один из них обратился к нам и довольно развязным тоном сказал, что они весьма рады видеть нас и хотели бы воспользоваться нашим посещением, чтобы показать кое-что, с чем нам небезынтересно познакомиться. Затем нас повели к артиллерийским позициям. Там мы увидели шесть или семь пушек разных систем, но только три из них были в боевой готовности. Остальные стояли у забора, словно их и не собирались использовать. «Ответственный комитета» вызвал командира [404] артиллерийской батареи и сказал, что сейчас мы услышим историю этих пушек из уст специалиста. Оказалось, орудия прибыли к ним накануне операции. Все устаревших систем. Первая же попытка выстрелить из них убедила артиллеристов, что большая часть пушек никуда не годится и отремонтировать их невозможно.

Когда артиллерист закончил объяснения, «ответственный», не сомневаясь, что сразит нас своим вопросом, подчеркивая каждое слово, спросил:

- Вы не знаете, кто прислал эти замечательные пушки в Испанию? Не наш ли дорогой друг Советский Союз?

Я уже был подготовлен к подобным вопросам.

За несколько недель до этого случая один из наших летчиков пришел ко мне и с возмущением рассказал, что кое-кто пытается использовать в целях антисоветской пропаганды естественное недовольство республиканцев плохим качеством оружия. Тогда речь шла о негодных пулеметах.

Я решил, что дело заслуживает того, чтобы как можно

тщательнее разобраться в нем. Мне удалось установить, что приобрел их в Центральной Европе один из многочисленных агентов нашего правительства по закупке оружия за границей. И хотя сделка производилась от имени Советского Союза, ибо, как я уже говорил, нам оружие не продавали и правительство СССР пошло навстречу Испанской республике, согласившись фигурировать в подобных случаях в качестве покупателя, он не нес ответственности ни за качество приобретенных вне СССР военных материалов, ни за их цену.

Моя осведомленность помогла легко пресечь антисоветский выпад «ответственного» и его «комитета».

* * *

Во время воздушных боев в районе Бельчите произошел случай, который произвел на меня сильное впечатление, хотя подобные происшествия обычны во время гражданских войн.

В первой части этой книги и в начале второй я уже упоминал о майоре Хосе-Пересе Пардо, который был моим летчиком-наблюдателем во время войны в Марокко. С ним меня связывала многолетняя крепкая дружба. Когда начался мятеж, Перес Пардо примкнул к Франко. В операциях под Бельчите он командовал группой бомбардировщиков. Однажды в бою над нашими линиями его самолет был подожжен республиканскими истребителями. Тяжело раненный, Пардо выбросился с парашютом, но попал к нам в плен. Его поместили в госпиталь [405] во Фраге. Когда я узнал об этом, во мне заговорили противоречивые чувства: с одной стороны, я был удовлетворен тем, что к нам в руки попал один из командиров вражеской авиации, но с другой - не мог преодолеть чувства горечи, ибо речь шла о моем когда-то хорошем друге.

Как командующего авиации, меня очень интересовал разговор с Пересом Пардо. И хотя лично мне совершенно не хотелось видеть его, я все же решил выполнить свой долг.

Мое появление, казалось, удивило Пардо. Я, стараясь скрыть некоторую неловкость, вежливо заговорил с ним. Первое, о чем он встревоженно спросил меня, - что мы собираемся с ним сделать. По-видимому, под влиянием франкистской пропаганды он полагал, что мы зверски расправляемся с теми, кто попадает к нам в руки.

Я сказал, что мы относимся к пленным по-человечески и его жизни ничто не угрожает. Казалось, это успокоило его, и он стал разговаривать со мной более откровенно. Пардо был убежден, что

мы получили крупные воинские и авиационные подкрепления из Советского Союза. Во время беседы, не сумев сдержать себя, он спросил:

- Неужели правда, что вы решили дойти до Сарагосы?

На следующий день я вновь посетил госпиталь и переговорил с врачами. Они сказали, что Пардо потерял много крови и, несмотря на сделанное переливание, состояние его остается по-прежнему тяжелым. Затем я зашел к нему. Он показался мне значительно более спокойным.

Пардо рассказал, что жил в Сарагосе, в доме моего родственника генерала Мигеля Понте, командующего армией в Арагоне, который был страшно обозлен на свою разведывательную службу, не сумевшую узнать о крупной концентрации наших войск в этом районе.

Из разговоров с ним у меня сложилось впечатление, что в Сарагосе царит паника. Фашистское командование, застигнутое событиями врасплох, смирилось с мыслью о возможной потере Сарагосы.

Когда на следующий день я вновь пришел в госпиталь, оказалось, что Перес Пардо рано утром скончался.

В тот же день в воздушном бою нашими истребителями был сбит и погиб другой мой бывший друг, считавшийся асом в фашистском лагере, - капитан Карлос Айя.

Мы тоже несли немало тяжелых потерь. Во время одной из операций пропал без вести летчик-истребитель лейтенант Эррера. Его отец, генерал авиации Эмилио Эррера, преданный [406] республиканец, самоотверженно работавший в Управлении авиации военного министерства, несколько дней провел на фронте, напрасно пытаясь разыскать останки своего сына.

Подобные трагедии во время нашей войны происходили нередко. И если войны вообще являются одним из самых больших бедствий для человечества, то гражданские войны тем более ужасны. Очень тяжело стрелять в человека, но еще тяжелее, если он твой бывший друг или родственник. Не раз готовя бомбардировку вражеских позиций, я знал из донесений разведки, что одним из объектов, намеченных для бомбежки, командует мой брат Пако. Преступникам, развязавшим эту бесчеловечную войну, нет оправдания.

* * *

Вначале мы имели в воздухе превосходство, но постепенно, по мере того как враг получал подкрепления, оно исчезало. Наши воздушные силы оказались почти подавленными вражеской авиацией, обладавшей огромным численным перевесом. Такая ситуация возникала уже не однажды и являлась результатом детально разработанного Гитлером и Муссолини совместно с Франко плана поставок военной техники, предусматривавшего по меньшей мере шести- или семикратное превосходство франкистов в самолетах.

По моему мнению, разведывательная служба франкистов на протяжении всей войны была довольно несовершенной, ибо все наши наступательные операции заставали их врасплох. Но, как только в воздухе появлялись наши новые самолеты, франкисты сообщали об этом германскому и итальянскому правительствам, и те немедленно отправляли Франко необходимое количество машин, дабы он имел постоянный перевес сил в воздухе.

Нечто подобное происходило с вооружением для наземных войск. Поэтому я убежден и настаиваю на мнении, что фашистское вмешательство, с одной стороны, и **невмешательство и нейтрализм** так называемых «демократических» правительств, с другой, - две согласованно проводимые политики, направленные на то, чтобы помешать победе конституционного правительства Испании. **Каждая победа со стороны республиканцев вызывала усиление вооруженной интервенции иностранного фашизма. Каждая неудача Франко сопровождалась увеличением усилий «демократических» правительств выгородить агрессоров, то есть фактически сыграть на руку франкизму.** [407]

Потеря Севера. Поездка в СССР. Теруэль. Кортесы. Сражение на Эбро

Хотя потеря Севера и не была для республиканцев неожиданностью, она произвела на всех нас гнетущее впечатление и осложнила военное положение республики. Надо было ожидать, что враг использует высвободившиеся войска для организации нового наступления крупного масштаба.

Все наши усилия на земле и в воздухе были направлены на то, чтобы найти резервы и подготовиться к отражению этой неизбежной атаки врага.

Осенью 1937 года республиканское правительство приняло решение переехать в Барселону. Мне оно казалось правильным, ибо это был единственный способ использовать большие ресурсы Каталонии, безответственно растрачиваемые анархистами.

В Барселону перебрался и главный штаб авиации.

Начальником штаба был назначен только что вернувшийся с Севера и произведенный за боевые заслуги в полковники Мартин Луна.

Я давно чувствовал сильное переутомление, но положение на фронте не давало возможности снизить изнуряющий темп работы. В ноябре в главном штабе со мной произошло нечто вроде сердечного припадка. Врачи советовали отдохнуть, но я не придал этому значения. Однако спустя несколько дней припадок повторился. На этот раз мое состояние, видимо, показалось врачам настолько серьезным, что меня решили послать подлечиться в СССР.

Узнав об этом, Прието попытался воспользоваться представившимся случаем, чтобы провести в жизнь свой давно вынашиваемый план - снять с поста командующего авиацией коммуниста. Преподнес он это как заботу о моем здоровье. Взамен Прието предложил мне пост военного и авиационного атташе при испанском посольстве в Москве.

Я ответил, что принять такое назначение не могу, ибо мне, профессиональному военному, покинуть Испанию в такой момент - значит предать республику. Ссылаясь на мою болезнь, дон Инда продолжал настаивать на своем предложении. Наконец мы договорились, что я поеду в СССР, но не в качестве атташе, а чтобы поправить свое здоровье. Затем вернусь в Испанию и буду продолжать выполнять свои обязанности командующего военно-воздушными силами. [408]

В Москву я выехал в сопровождении Кони. Я, естественно, волновался: мне предстояло впервые увидеть совершенно иной мир, с которым я был внутренне связан и к которому испытывал глубокую благодарность и искренние дружеские чувства.

Во Франции мне бросилось в глаза изобилие продуктов, освещенные по вечерам города и абсолютное безразличие французов к событиям в Испании. Люди, гулявшие по Итальянскому бульвару в Париже, рассматривали витрины нашего бюро пропаганды, фотоснимки и плакаты о нашей борьбе с таким равнодушием, словно трагедия, изображенная на них, происходила где-то на краю света, а не у границ Франции.

В Антверпене мы сели на отплывающий в Ленинград советский пароход «Уфа». Чтобы не идти через Кильский канал - территорию нацистской Германии, он обогнул Данию.

Снег и мороз, которыми встретил нас Ленинград, полностью совпали с нашими представлениями о России. Финский залив был закован в льды. Мы стояли три дня, пока не появился ледокол. Он прибыл глубокой ночью. Свет его мощных прожекторов, отражавшийся на ледяной глади, производил

эффектное впечатление. По пути в Ленинградский порт нам довелось наблюдать другое необычайное зрелище. Проходя мимо Кронштадта, мы увидели несколько советских военных кораблей. Освещенные нашими прожекторами, они казались инкрустированными драгоценными камнями. Сверкавшие на их такелаже сосульки придавали им фантастический вид, создавали впечатление, будто суда специально разукрашены для какого-то большого празднества.

Именно в тот момент мы получили важное известие: капитан «Уфы» зачитал переданную для нас радиограмму, в которой сообщалось, что республиканские войска освободили город Теруэль.

В Ленинграде нас поместили в гостинице «Астория». При царе в ней обычно останавливались крупные помещики, приезжавшие в столицу. Все сохранилось, как и в дореволюционные времена: роскошные номера из четырех или пяти комнат, мебель, вазы и т. д. Вечером секретарь Ленинградского горкома партии пригласил нас в театр, на балет «Бахчисарайский фонтан», приведший нас в восхищение. На следующий день мы выехали в Москву. На вокзале нас встречала Лули, одетая в прекрасную меховую шубу и каракулевую шапку. Все это очень шло ей. Выглядела она замечательно и казалась очень довольной. [409]

После тщательного врачебного осмотра в одной из лучших клиник Москвы меня послали в санаторий «Барвиха», расположенный примерно в тридцати километрах от столицы.

Перед отъездом туда мы посетили детский дом для испанских ребят, в котором жила Лули. Дети были прекрасно устроены. Условия, созданные для них, без преувеличения можно назвать роскошными. Кони осталась очень довольна осмотром.

Большинство приехавших в Советский Союз детей были сыновьями и дочерьми астурийских шахтеров, баскских рабочих или сиротами, потерявшими родителей во время войны. Они никогда и не мечтали о таком рае. Достаточно было взглянуть на детей, чтобы убедиться, что они счастливы. Преподавание велось на их родном языке, ибо советские люди никогда не забывали, что это испанские дети и они должны вернуться на родину.

Санаторий, куда нас поместили, был великолепен. Кони, побывавшая со своими родителями в лучших санаториях Германии, Франции и других стран, с восхищением говорила, что ни один из них не сравнится с «Барвихой».

Врачи прописали мне абсолютный отдых. Причиной моих припадков оказалось не сердце, а сильнейшее отравление табаком и кофе, к которому добавилось огромное нервное

переутомление и физическое истощение. Одна из лечебных процедур, прописанных мне, заключалась в том, что меня укладывали в большой мешок на меховой подкладке и в течение двух или трех часов держали на террасе при температуре 25 или 30 градусов ниже нуля.

Результаты оказались удивительными. Я преображался буквально на глазах. Через десять дней я уже ходил на лыжах, катался на коньках и чувствовал себя все лучше и лучше.

А из Испании приходили тяжелые известия. После освобождения Теруэля республиканскими войсками враг подтянул туда крупные силы и предпринял контрнаступление, чтобы вернуть город. Я не мог дольше оставаться в Советском Союзе и решил немедленно вернуться в Испанию. Врачи, предписавшие мне два месяца отдыха, видя, как я нервничаю, поняли, что держать меня дальше в «Барвихе» бесполезно и даже вредно.

Мы вернулись в Москву. На следующий день у меня состоялся продолжительный разговор о ходе нашей войны с маршалом Ворошиловым - советским министром обороны. В ту же ночь мы отправились в обратный путь, в Испанию. [410]

22 февраля 1938 года наши войска оставили Теруэль.

* * *

В марте враг начал мощное наступление в Арагоне. В то же время итальянская авиация подвергла сильнейшим бомбардировкам Барселону. Германский посол при Франко фон Штерер в телеграмме, датированной 23 марта 1938 года, сообщал своему правительству: «…результаты воздушных бомбардировок, недавно проведенных итальянцами, можно квалифицировать как ужасные… Не было и намека на попытку попасть в военные объекты… Насчитываются тысячи убитых, но предполагается, что среди развалин еще осталось гораздо больше. Число раненых, по предварительным сведениям, достигает 3000».

15 апреля враг вышел к Средиземному морю в районе Винароса, добившись, таким образом, своей цели - расчленить нашу территорию на две изолированные зоны. Это явилось причиной политического кризиса в лагере республиканцев. Доктор Негрин взял на себя кроме поста премьер-министра обязанности министра обороны, которые до сих пор выполнял Прието.

* * *

Однажды мне позвонили по телефону из военного губернаторства Барселоны и сообщили, что к ним явился «подозрительный» капитан, который утверждает, что пришел из франкистской зоны и выдает себя за моего родственника. Я попросил подозвать его к телефону. Каково же было мое удивление, когда я узнал Мигеля Анитуа, моего старого друга, брата жены Маноло! Уже несколько лет я ничего не слышал о нем, думая, что он борется против нас в рядах фашистской армии. Мигель Анитуа был одним из тех многочисленных профессиональных военных, которые не предали республику. Некоторых из них бросили в тюрьмы, других зверски убили. О достойном поведении этих офицеров республиканцы ничего не знали. Очень немногим испанцам и еще меньшему числу иностранцев известно, что в первые дни восстания мятежники подло убили двенадцать генералов за то, что они не захотели изменить своему долгу и остались верны республике.

Поведение Мигеля Анитуа - типичный пример того, как вели себя оказавшиеся на территории, захваченной франкистами, кадровые офицеры, предпочитавшие отдать жизнь или страдать в тюрьме, но не быть предателями. Мигель никогда [411] не занимался политикой. Он был католиком, симпатизировал баскским националистам, но не принимал участия в их деятельности. Когда была провозглашена республика, он, как и другие военные, дал клятву верности новому строю. В день мятежа офицеры его полка, захватившие казарму, с удивлением увидели, что он не присоединился к ним. Просто чудо, что его тут же не убили, а лишь посадили в тюрьму, где он пробыл два с половиной года, пока не был включен в число подлежащих обмену и освобожден.

Ни советы отца, открывшего ему неограниченный кредит в одном из банков Тулузы, лишь бы он остался во Франции, ни безнадежное положение республики не поколебали его решения исполнить свой долг военного и человека, давшего присягу верности. Таким образом, он вновь вернулся в республиканскую армию и пережил с ней трагедию войска, терпящего полное поражение.

Вместе с нашими войсками Мигель Анитуа отступил во Францию, где его заключили в концлагерь. Он вышел оттуда больным человеком и вскоре умер.

* * *

В июле военное положение республики стало особенно трудным. Наши войска были крайне измотаны беспрерывными боями. Каталония оказалась отрезанной от Центральной зоны. Серьезная угроза нависла над Валенсией. Чтобы остановить врага, требовались гигантские усилия. Мы пытались укрепить нашу армию, но располагали слишком ограниченными средствами. Однако республиканское командование решило хотя бы косвенно помочь фронту, который находился под наибольшей угрозой. Речь шла о Леванте - Восточном фронте. Для этой цели следовало организовать отвлекающий наступательный маневр в другой зоне.

Генеральный штаб подготовил смелую операцию: форсировать реку Эбро и проникнуть как можно глубже в тыл франкистской территории.

Осуществление операции поручили войскам под командованием Модесто. Форсировать Эбро должны были: в южной части - Пятый корпус Листера, в северной - корпус под командованием Тагуэнья.

Это была наша самая смелая операция за всю войну. 25 июля республиканские части прорвали вражеский фронт, считавшийся непроходимым, углубились на 20 километров и создали серьезную угрозу вражескому тылу, заставив франкистов [412] поспешно перебросить свои войска из Леванта. Таким образом, их план захвата Валенсии провалился.

В боях на Эбро вражеская авиация, количественно значительно превосходившая нашу, действовала очень активно. В ту пору немногочисленные республиканские воздушные силы, несмотря на самоотверженность личного состава, не могли помешать воздушным атакам противника.

Вот красноречивые данные нашего наблюдательного пункта:

«31- го числа, с семи часов утра до шести часов вечера, вражеская авиация совершила 50 налетов, в которых участвовало 200 бомбардировщиков и 100 истребителей».

В последующие дни давление фашистской авиации еще более усилилось. В уже упомянутой книге Ф. Тарасона приводится запись из дневника от 25 августа:

«У нас была изнурительная неделя. Полеты на Эбро следовали один за другим с изматывающей быстротой. В перерывах мы спали где попало. Там, наверху, мы только успевали стрелять, не целясь… Вражеской авиации так много, что не видно неба. Ее самолеты даже мешают друг другу. Многие из них летают над нашей территорией и ждут, когда мы возвращаемся поврежденные, чтобы прикончить…»

Эта историческая битва, длившаяся три с половиной месяца, умно и смело задуманная генеральным штабом и осуществленная республиканской армией, почти не имевшей артиллерии и авиации, армией, которую все считали уже побежденной, вызвала всеобщее удивление.

Подобная операция в тех условиях, учитывая фактическое отсутствие авиации, была почти невыполнимой. С ней могла справиться только армия, имеющая высокий моральный дух, руководимая решительными и энергичными командирами, пользующимися доверием своих солдат. Всеми этими качествами обладала республиканская армия, еще раз доказав это в сражении на Эбро.

* * *

В то время как наши части вели бои на Эбро, в Мюнхене состоялся постыдный сговор между Гитлером, Муссолини, Чемберленом и Даладье, в результате которого Чехословакия фактически была отдана нацистским агрессорам. Мюнхенский пакт означал благословение французским и английским правительствами гитлеровской агрессии в Европе. С этого момента Англия и Франция уже не ограничивались негласной [413] поддержкой итало-германской агрессии в Испании, они в различной форме требовали как можно быстрее покончить с сопротивлением испанского народа. Последствия мюнхенского сговора мы почувствовали очень скоро. Для организации контрнаступления в Каталонии Франко снова получил от Италии и Германии значительную помощь.

Пытаясь обмануть мировое общественное мнение, правительство Чемберлена, лицемерно предложило отозвать иностранцев из обоих воюющих лагерей{156}. Негрин не понял маневра англичан и отдал приказ возвратить с фронта всех бойцов Интернациональных бригад, предложив Лиге наций прислать в Испанию международную комиссию для наблюдения за эвакуацией иностранцев из нашей зоны. В республиканской армии тогда находилось примерно 6000 бойцов Интернациональных бригад.

Правительство решило устроить торжественные проводы добровольцам - борцам за свободу. 17 октября все жители Барселоны вышли на улицу, чтобы попрощаться и выразить благодарность антифашистам, прибывшим в Испанию из разных стран мира и бок о бок сражавшимся с нашими солдатами. Когда во время парада появились первые интербригадовцы, им оказали

необычайно волнующую встречу. Я никогда не видел такого искреннего энтузиазма.

Высказывалось множество догадок о количестве добровольцев, прибывших в республиканскую зону. Собственно говоря, с военной точки зрения 35000 интернациональных добровольцев, включая и советских товарищей, - сила относительно небольшая. Но ее моральное значение огромно, она внесла ценный вклад в борьбу испанского народа за свободу.

Проявленный интернационалистами беспримерный героизм навсегда войдет в историю. 5000 интербригадовцев погибли, сражаясь с фашизмом в Испании. Самоотверженность и дисциплина добровольцев оказывали сильнейшее влияние на республиканцев на фронте и в тылу. В Испании будущего память о них сохранится навечно.

Я не привел имени ни одного интербригадовца, и это не небрежность. Мне не хотелось случайно упустить кого-либо. [414]

Когда в нашей зоне уже не осталось ни одного интернационалиста, так называемые «добровольцы» из Германии и итальянские дивизии совершенно открыто начали большое наступление на Каталонию, заставив республиканские войска, не имевшие возможности восполнить недостаток в вооружении и технике, перейти на территорию Франции.

Миссия в Москву. Каталония в огне. Возвращение в Центр

Однажды рано утром за несколько дней до фашистского наступления на Каталонию мне передали распоряжение Негрина срочно зайти к нему домой. У Негрина я застал генерала Рохо. Оба выглядели так, словно работали всю ночь. Мне показалось, они с нетерпением ждали моего прихода. Как только я вошел, Негрин тотчас приступил к делу. Он сказал, что вместе с Рохо они весьма обстоятельно проанализировали обстановку и пришли к обоюдному мнению: положение крайне серьезно. Единственная возможность избежать потери Каталонии или отсрочить ее - обращение к Советскому Союзу с просьбой предоставить Испании крупную партию вооружения. Подробные списки требуемых военных материалов ими уже составлены. Я помню только некоторые цифры: 250 самолетов, 250 танков, 4000 пулеметов, 650 орудий и далее в таких же масштабах. Мне они показались фантастическими.

Негрин сказал, что для республики это вопрос жизни и смерти. Такую просьбу должен передать человек, пользующийся полным доверием республиканского правительства и вкушающий такое же доверие Советскому правительству. Осуществить эту миссию они решили поручить мне. Удивленный, я сказал

председателю совета министров, что полностью отдаю себя в его распоряжение и, хотя не желаю уклоняться от выполнения столь трудного задания, быть может, он найдет более подходящего человека, нежели я, для ведения столь важных переговоров с Советским правительством.

Негрин не обратил внимания на мое замечание и стал инструктировать меня. Я должен был отправиться в Москву в тот же самый день. Негрин вручил мне три письма, написанные им собственноручно для М. И. Калинина, И. В. Сталина и К. Е. Ворошилова. В этих письмах он представлял меня как [415] человека, пользующегося полным доверием правительства Испанской республики, наделенного всеми полномочиями для принятия от его имени любого решения.

Через несколько часов я выехал из Барселоны в Москву в сопровождении Кони и полковника авиации Мануэля Арнала, одного из лучших наших инженеров, человека, которому я полностью доверял и который оказал мне большую помощь в период переговоров как технический советник.

Прибыв в Москву, я в тот же день посетил советского министра обороны маршала Ворошилова и вручил ему письма Негрина: одно - для него, как я уже говорил, а два других - для передачи адресатам.

На следующий день в половине шестого вечера в моем номере в гостинице появился полковник в сопровождении переводчицы Марии Юлии Фортус - замечательного человека, которая работала со мной на протяжении почти двух лет в Испании и с которой меня связывала большая дружба. Полковник сказал, что ему поручено сопровождать меня на встречу, но с кем и где она состоится, не сообщил. Зная, насколько сдержанны советские люди, я не стал его расспрашивать. В тот момент меня интересовало лишь одно: как можно скорее узнать ответ правительства СССР на нашу просьбу.

Я очень удивился, увидев, что мы направляемся не в резиденцию Ворошилова, а, как оказалось, в Кремль. У одного из дворцов машина остановилась. Полковник, не проронивший ни единого слова на протяжении всего пути, проводил нас в приемную, а затем оставил одних, но тотчас же вернулся, открыл дверь в соседнюю комнату и пригласил меня пройти. Войдя в комнату, я увидел И. В. Сталина и рядом с ним В. М. Молотова и К. Е. Ворошилова. С протянутой рукой И. В. Сталин направился ко мне, представляясь:

- Сталин.

Я был настолько ошеломлен этой неожиданной встречей, что, здороваясь, сказал только:

- Да, да, я уже знаю, что вы Сталин.

Мы сели за длинный стол, покрытый зеленой скатертью. Меня посадили между Сталиным и переводчицей. Молотов и Ворошилов сели напротив, и беседа началась.

Меня попросили рассказать о положении в Испании. Я постарался как можно точнее обрисовать те трудные условия, в которых находились республиканские войска. Вначале я чувствовал себя довольно стесненно. Мне впервые приходилось говорить с людьми, занимающими столь высокое положение, [416] и обсуждать столь важные для моей страны проблемы. Когда я закончил, мне задали несколько вопросов. Все они были весьма конкретными. Затем приступили к рассмотрению списков на требовавшееся нам вооружение.

Настал самый трудный момент моей миссии. Мне стало страшно неловко, когда начали зачитывать цифры нашего заказа. Они показались мне астрономическими и нереальными. Однако с удивлением и радостью я отметил, что Сталин отнесся к ним весьма положительно. Только Ворошилов пошутил:

- Товарищ Сиснерос хочет оставить нас без оружия?

При этом лицо его выражало добродушие.

Обсуждение списков закончилось их полным одобрением. Я не мог прийти в себя от изумления, не мог поверить, что все так просто решилось.

Прежде чем подняться из-за стола, маршал Ворошилов с деловой откровенностью, свойственной советским людям, спросил меня:

- Хорошо, а как это будет оплачено?

Стоимость необходимого нам вооружения, если мне не изменяет память, была определена в 103 миллиона долларов.

Я был озадачен и не знал, что сказать. Негрин, видимо, намеренно не предупредил меня о том, что золото «Банко де Эспанья», посланное в Москву, истощилось в результате закупок оружия, материалов, продовольствия, то есть всего того, что нам требовалось в течение двух лет для нужд войны. Этот поступок был в духе Негрина. Но и я допустил непростительную оплошность, не спросив его об этом.

Мне пришлось сознаться, что я не получил никаких инструкций относительно финансовой стороны вопроса. Советские руководители посоветовались о чем-то между собой (переводчица не перевела мне этого), просмотрели какие-то бумаги, и Ворошилов сказал:

- У испанского правительства остается в Советском Союзе сальдо… (не помню точно цифры, но она далеко не достигала и 100 тысяч долларов), следовательно, надо изыскать возможность

покрыть разницу. Завтра вы встретитесь с министром торговли товарищем Микояном и окончательно решите этот вопрос.

Деловая часть беседы была закончена, и Сталин предложил немного закусить. Все перешли в столовую, находившуюся в том же здании. Когда мы уже собрались приступить к ужину, [417] Ворошилов что-то сказал Сталину. Видимо, речь шла о Кони, которая осталась в гостинице. Сталин спросил, не захочет ли моя жена поужинать с нами. Я ответил, что она была бы рада. Тот же молчаливый полковник, привезший меня сюда, поехал за ней. Никогда не забуду лица Кони, когда она, войдя в столовую, увидела Сталина, Молотова и Ворошилова, вставших ей навстречу.

Ужин прошел очень хорошо. Сразу же создалась веселая, непринужденная атмосфера. Мне задавали множество различных вопросов о моей жизни, о семье. Я очень удивился, когда Сталин заговорил о моем прадеде, последнем вице-короле в Аргентине, которого креолы довольно бесцеремонно выставили оттуда, но который в Испании считался человеком до некоторой степени прогрессивным. Надо было приехать в Москву, чтобы узнать эти подробности (позднее я прочитал в американской энциклопедии то, что рассказал Сталин о моем предке).

Сталин поинтересовался, что побудило меня перейти в лагерь левых. Совершенно откровенно я рассказал о том, о чем написал в первой части этой книги: о восстании на «Куатро виентос», о вступлении в коммунистическую партию, о первом партийном собрании, в котором участвовал. По-видимому, это показалось всем довольно забавным, так как Молотов, до сих пор сидевший с серьезным выражением лица, смеялся от души.

Сталин спросил, как мне нравится красное вино, которое мы пили, лучше оно риохских вин или нет (ему уже сказали, что я уроженец тех мест). Я ответил, что вино хорошее, но хуже нашего; он попросил принести другие вина, предложил их попробовать и снова с интересом спросил мое мнение. Наконец, видя, что я все же отдаю предпочтение риохским винам, сказал, что даст попробовать грузинское вино, которое лучше нашего, а в этом доме (мы ужинали у Молотова) хозяин не разбирается в винах.

Вот другая подробность, свидетельствовавшая о непринужденной атмосфере, царившей за столом. Когда подали рыбу (нам объяснили, что это стерлядь), считавшуюся, видимо, деликатесом, Кони стала делить ее. С выражением испуга на лице Сталин подошел к ней и шутя заметил: «Вы портите самое тонкое блюдо русской кухни». Очевидно, кости следовало вынимать особым способом. Стоя, Сталин вытащил из рыбы все кости, а затем передал ее Кони, сказав: «Теперь можете ее есть». [418]

После ужина мы отправились смотреть фильм в другое здание Кремля, совершив по пути небольшую прогулку по саду. Я шел рядом со Сталиным. Меня удивил его небольшой рост, по фотографиям он представлялся мне сильным, внушительного роста человеком.

Мы вернулись в гостиницу примерно в три часа утра.

Таковы мои впечатления об этой встрече, такой она сохранилась в моей памяти. Я не претендую на точность и полноту данных мною портретов советских руководителей, так тепло и просто принимавших нас. Впоследствии выявилась, например, сложность характера Сталина. Однако вновь хочу повторить: в годы нашей войны Советский Союз был полностью солидарен с Испанской республикой и оказывал ей всестороннюю поддержку. Причина сердечного отношения ко мне заключалась, конечно, не в моей личности и не в том, что меня звали Идальго де Сиснерос. Внимание, которое советские лидеры проявили ко мне, явилось отражением любви советского народа к испанскому народу, борющемуся за свою свободу.

На другой день я направился к десяти часам утра в министерство торговли. Министр А. И. Микоян принял меня сердечно. У него уже были подготовлены все документы для решения вопроса об оплате вооружения.

Договорились так: Советское правительство предоставляет заем Испанской республике на всю сумму стоимости вооружения (более ста миллионов долларов). Единственной гарантией этого займа являлась моя подпись. Иначе говоря, положившись на нее, СССР предоставил Испании сто миллионов долларов.

Истории известно немало случаев, когда различные правительства, вынужденные обстоятельствами, соглашались на самые унизительные, кабальные условия, навязываемые им странами, предоставляющими кредит. Советские же люди, не требуя никаких гарантий, не ставя никаких условий, передали нам сто миллионов долларов, когда военное положение республики было почти безнадежным. Поэтому я с таким восхищением говорю о щедрости и бескорыстии Советского Союза, проявленных им к нашей стране.

Не теряя ни минуты, советские люди начали подготовку к отправке оружия. Маноло Арнал отправился в Мурманск (незамерзающий порт), чтобы заняться погрузкой судов, которые должны были доставить военные материалы в нашу зону. Я же немедленно вернулся в Испанию. Рассказав Негрину о [419] результатах своей поездки, я упрекнул его за то, что он поставил меня в трудное положение, скрыв, что наши фонды в СССР истощились. Он просил не обижаться, ибо сознательно ничего не

сказал о деньгах, чтобы не осложнять моей миссии в Москве.

Оружие погрузили на семь советских пароходов, которые отплыли во французские порты. Первые два судна прибыли в Бордо, когда наша армия еще имела в запасе достаточно времени, чтобы использовать привезенные материалы. Но французское правительство придумывало различные предлоги, затягивая их переброску через Францию. Когда же вооружение прибыло в Каталонию, было уже поздно. Мы не имели ни аэродромов, где можно было бы производить сборку самолетов, ни территории, чтобы защищаться.

Если бы правительство Франции сразу после прибытия советских пароходов разрешило переправить оружие республиканцам, участь Каталонии могла бы быть иной. Располагая этим вооружением, мы имели возможность сопротивляться еще несколько месяцев, а, принимая во внимание обстановку, складывавшуюся в Европе, это могло оказаться гибельным для осуществления фашистских планов.

В Каталонии десятки вновь созданных батальонов, обучавшихся на устаревших пушках и пулеметах и с нетерпением ожидавших прибытия вооружения, чтобы броситься в бой на защиту республики, производили потрясающе скорбное впечатление. Наше отчаяние трудно описать. Мы знали: оружие уже прибыло во французский порт и мы могли бы получить его через несколько часов. Но шли дни, фашисты постепенно захватывали нашу территорию, а французские власти намеренно тянули, не давая разрешения на транзитную перевозку вооружения. Они открыто помогали фашизму, который спустя немного месяцев вторгся и в их страну.

* * *

За несколько дней до потери Каталонии Негрин вызвал меня и приказал принять меры к тому, чтобы доставить находившихся у нас в плену фашистских летчиков (немецких, итальянских и франкистских) целыми и невредимыми к границе для передачи под расписку французским властям. Председатель совета министров хотел уберечь их от законного гнева наших отступавших войск и тысяч бросивших свои дома и направлявшихся во Францию под непрерывными бомбежками вражеской авиации гражданских беженцев, чтобы не дать [420] Франко повода для усиления террора на оставляемой нами территории.

Задание было не из легких, ибо по всем дорогам сплошным

потоком двигались остатки отступавших воинских частей, толпы беженцев, телеги, машины и т. д. Выполнить его я поручил майору Эрнандесу Франку, которому полностью доверял, дав ему отряд надежных и хорошо вооруженных людей. Однако Франку и его группе пришлось столкнуться с немалыми трудностями, пока они достигли границы и передали пленных французским властям.

* * *

Остатки личного состава эскадрилий покинули Каталонию по приказу правительства, когда у нас уже не осталось ни одного аэродрома и мы не имели возможности продолжать боевые действия.

Наземный персонал аэродромов перешел границу небольшими группами в нескольких местах, сохраняя полный порядок и дисциплину. Я отправился в Пиренеи, чтобы проводить летный состав авиации. Летчики промаршировали передо мной печальные и взволнованные и одновременно сдержанные и спокойные, как люди, исполненные сознания честно выполненного долга.

Когда последний солдат авиации скрылся по другую сторону границы, я присоединился к штабу генерала Рохо и вместе с ним перешел во Францию в Пертусе.

Летчиков, перелетевших границу на самолетах, разместили на аэродроме в Тулузе. Получив особое разрешение, я посетил их. Они держались бодро. Французский полковник, начальник аэродрома, выразил мне свое восхищение их дисциплинированностью и организованностью.

Первое время французские авиационные власти относились к нам хорошо. Они, естественно, хотели получить информацию о самолетах, о боевой тактике немецкой и итальянской авиации и т. п. Мы сообщили им подробные сведения об этом.

Но посетить наших летчиков мне больше не удалось. Не объясняя причин, власти отобрали у меня пропуск на аэродром. В Тулузе я в последний раз видел их всех вместе, представителей двух поколений, участвовавших в нашей войне и оставшихся в живых. Среди них были такие летчики, как Мендиола и Лакалье, храбро и с энтузиазмом воевавшие против франкистов с первого дня до самого конца войны, и десятки молодых пилотов, обученных в СССР или в наших школах, [421] чьи замечательные боевые качества вызывали восхищение всех, в том числе и наших врагов. Не имея возможности воздать должное каждому из них, позволю себе назвать лишь капитана Сарауса, мужество и героизм

которого навсегда войдут в историю испанской авиации.

Я надеялся, что французские власти разрешат нам переправить в Мадридскую зону часть авиации и вооружения, и был очень заинтересован в том, чтобы личный состав наших воздушных сил не рассеялся. Я стал добиваться, чтобы испанских летчиков направляли на аэродром в Тулузе. Французские авиационные власти обещали мне сделать все возможное, но посоветовали вести переговоры об этом в Париже.

В тот же вечер я выехал в столицу Франции и пробыл там два дня, добиваясь разрешения на переброску в Центральную зону авиационных сил, которые нам удалось сконцентрировать в Тулузе. Помню, с какой охотой помогал мне тогдашний министр французской авиации Пьер Кот.

Свой первый визит в Париже я нанес, и это вполне логично, послу Испании доктору Паскуа. Мой визит совпал с посещением посла генералами Рохо и Хурадо. Паскуа принял нас любезно и попросил подождать, так как у него должно было состояться свидание с французским министром. Мы, трое генералов, остались в зале одни. Через некоторое время появился майор Парра, адъютант Асаньи, и спросил, не возражаем ли мы против беседы с тем, кто еще является президентом Испанской республики. Он провел нас в кабинет Асаньи. Там же находился и министр Хираль.

Асанья принял нас любезно и просто, что с ним бывало крайне редко. Я не считаю нужным излагать подробности этой неприятной встречи. Хотя я старался как можно меньше касаться заблуждений и ошибок республиканских руководителей, не могу не сказать об одной отрицательной черте Асаньи. Это поможет разобраться в его поведении в тех обстоятельствах.

Я не знаю, каким президентом был бы Асанья в обычное, мирное время, но убежден, что его деятельность как главы правительства, а позже как президента республики в те тревожные, трагические годы в силу разных причин была пагубной для республики. Главная из них - Асанья был трусом. Поэтому при малейшей опасной ситуации он терял всякий контроль над собой. В годы войны он пережил немало неприятных, а порой и драматических минут: его постоянно преследовала «идея фикс» - боязнь попасть в руки фашистов. [422]

Асанья спросил, каково наше мнение о положении дел после потери Каталонии. Естественно, мы ответили то, что думали. Асанья очень ловко сумел придать беседе неофициальный, доверительный характер, поэтому разговор был откровенным. Помню, наиболее пессимистически был настроен Хурадо. Рохо и я

признавали положение серьезным, трудным, но считали, что сопротивление в Центральной зоне можно продолжать, если французы разрешат перебросить туда войска, перешедшие во Францию из Каталонии.

После некоторого раздумья Асанья сказал: «Ваше мнение для меня имеет большое значение, ибо это - мнение начальника генерального штаба, командующего армией Каталонии и командующего авиацией республики. Думаю, вы не будете иметь ничего против, если я попрошу изложить ваши устные высказывания в письменном виде».

До этого я ни о чем не подозревал. Я думал, что Асанья, и это было естественно, воспользовался нашим посещением посольства, чтобы лучше узнать о положении дел. Мне и в голову не приходила мысль, что он решил выудить у нас информацию, чтобы сослаться на нее для оправдания своей отставки и нежелания возвращаться в Центральную зону, хотя это было его прямым долгом. Но когда он попросил изложить наше мнение в письменной форме, я сразу понял, куда он клонит, и, не дослушав его до конца, заявил, что не могу представлять непосредственно президенту республики никаких докладных. Я должен соблюдать порядок, предусмотренный воинским уставом, то есть делать это через своего начальника министра авиации Негрина. Таким образом, я дал понять, что отказываюсь выполнить его просьбу. Асанья сразу утратил свою любезность. Обстановка накалилась, и я вышел из кабинета, чтобы сообщить послу о случившемся.

Проведя два дня в Париже, пытаясь добиться от французского правительства разрешения на переброску в Центральную зону наших подкреплений, я вернулся в Тулузу и на самолете «ЛАПЕ» перелетел в Мадрид.

В тот же день я посетил Негрина и рассказал ему об инциденте с Асаньей. Первый раз я видел Негрина таким возмущенным. Он немедленно отправил Асанье телеграмму, предварительно показав ее мне. В ней говорилось, что на Асанью падает вся ответственность за последствия его поведения и что в данный момент оно равносильно предательству родины.

Действительно, последствия не заставили себя долго ждать. Французское и английское правительства использовали [423] отставку Асаньи как предлог для признания правительства Франко. И это в то время, когда республика контролировала почти половину территории Испании и имела законное правительство, честно выполнявшее свой долг, вернувшись в столицу!

Второе изгнание

Наш приезд в Центральную зону вызвал удивление. «Пятая колонна» внушала населению, что правительство бросило его и не собирается возвращаться в Испанию. Эта пропаганда оказывала пагубное влияние и на личный состав авиации. Наше возвращение лишь отчасти смогло поднять его дух.

Мы немедленно начали готовиться к отражению нового неизбежного наступления врага. Я посетил все оставшиеся у нас аэродромы и откровенно рассказал личному составу о положении республики. Прежде всего меня беспокоил вопрос о готовности авиационных частей к будущим сражениям. Но я считал необходимым предусмотреть и меры для спасения личного состава на случай прорыва противником нашей обороны. Все командиры получили конкретные указания о том, как надлежит действовать в случае окружения или потери связи с Центром.

Хотя на первый взгляд, учитывая атмосферу неуверенности, созданную капитулянтской пропагандой, подобные распоряжения могут показаться деморализующими, в действительности это была забота о людях. Я понимал, что, если республиканский летчик попадет в руки фашистов, его ждет неминуемая смерть.

Увы, мои опасения подтвердились. Как только фашисты вступали на территорию аэродромов, начиналась зверская расправа над республиканскими летчиками.

Одной из жертв этих бесчеловечных преступлений стал полковник Мануэль Каскон - командир аэродрома в Альбасете. После отступления наших войск он добровольно остался в Испании. Когда в Альбасете пришли франкисты, Каскон выстроил оставшийся на аэродроме личный состав и попытался официально передать базу, представившись командиру фашистской части и протягивая ему свой пистолет. Его немедленно, не считаясь с должностью, посадили в тюрьму, как уголовного преступника, а через некоторое время после [424] инсценированного суда приговорили к смерти за «военный мятеж» и расстреляли.

Один из очевидцев этой расправы рассказал мне, с каким бесстрашием и достоинством сумел умереть Манолильо Каскон, один из моих лучших друзей.

* * *

Как- то мне позвонил полковник Касадо, командующий армией Центра, и, сказав, что ему необходимо переговорить со мной, пригласил пообедать на его командном пункте в Аламеда-де-Осуна -имении в окрестностях Мадрида. Поскольку меня

интересовало мнение Касадо о сложившейся ситуации и атмосфера, царящая в его штаб-квартире, я принял приглашение.

Естественно, с первой же минуты темой нашего разговора был вопрос о положении Мадрида и Республиканской зоны. Касадо был настроен пессимистически и стремился заразить меня своим настроением, доказывая, что с военной точки зрения мы не в силах противостоять любому франкистскому наступлению. Затем он намекнул, что лучший выход из подобной ситуации - заключение почетного мира с Франко, мира, в котором не было бы ни победителей, ни побежденных и при котором любому, кто этого пожелает, разрешалось бы выехать из Испании.

Я ответил, что его соображения абсурдны, ибо, зная Франко, бессмысленно надеяться хоть на малейшую уступку с его стороны.

Касадо, выяснив мое мнение, стал нервничать, стремясь, однако, во что бы то ни стало переубедить меня. Подчеркивая каждое слово, он сказал: «Возможны не только те уступки, о которых я сказал. Могу тебя заверить, что профессиональным военным будут сохранены чины. Я располагаю серьезными гарантиями этого».

Я поинтересовался, кто обеспечит эти гарантии. Касадо торжественно заявил, что все вопросы могла бы урегулировать Англия, он имел несколько встреч с английским представителем, которому Франко обещал выполнить все, но при одном условии: профессиональные военные должны взять власть в свои руки и вступить с ним в непосредственный контакт.

Откровенно говоря, этот разговор не столько насторожил, сколько удивил меня. Я предполагал, что все сказанное Касадо - его фантастические планы, а не широко подготовленный заговор. [425]

Я сообщил о нашем разговоре Негрину, но не придал своей информации должного значения. Мы оба не допускали мысли, что Касадо и Миаха могут организовать заговор против законного республиканского правительства.

Я настолько недооценивал опасности удара в спину, что утром в день восстания, возглавленного Касадо, отправился в Валенсию, чтобы встретиться с генералом Миаха, командующим Республиканской зоны. В его штабе царило необычайное оживление, туда прибыло несколько крупных военачальников. Загадочное поведение Миаха по отношению ко мне, враждебность подавляющего большинства окружавших его офицеров к правительству очень встревожили меня. Я понял: здесь затевается что-то грязное, но не допускал и мысли о вооруженном восстании против республиканской власти.

Никто не помешал мне выйти из штаба, сесть в самолет и вернуться в Альбасете. До сих пор не понимаю, почему я не был задержан.

Прибыв в Альбасете, я связался по телефону с Негрином, сказав, что у меня есть для него срочное сообщение. Он предложил мне приехать в деревню Эльда, близ Аликанте, где временно обосновался. На этот раз, сообщая Негрину о том, что мне стало известно, я обратил его внимание на крайнюю серьезность положения.

Негрин вызвал Миаха, но тот не явился. Он повторил вызов. Результат был тот же. Тогда он решил сам ехать к нему. Я вернулся в Альбасете, но не успел прибыть туда, как получил записку от Негрина, в которой он предлагал мне срочно возвратиться в Эльда. Видимо, произошло что-то серьезное. Действительно, Негрин сообщил о восстании Касадо против правительства и о создании хунты, названной «Советом обороны», которую возглавили Бестейро{157} и Касадо. Негрин старался казаться спокойным, но я видел, что он обеспокоен. Отовсюду поступали плохие вести. Многие примкнули к Касадо. Генерал Миаха, прибыв в Мадрид, немедленно выступил по радио и заявил, что присоединяется к восставшим. В своих обращениях по мадридскому радио Касадо и Миаха резко обрушились на Негрина, пытаясь оправдать свое предательство нелепыми измышлениями. Они утверждали, что Негрин и коммунисты, которым-де наплевать на жизни тысяч испанцев, хотят установить «большевистскую диктатуру» для продолжения войны. [426]

Их утверждения о том, что коммунисты хотели захватить власть, были абсолютно беспочвенны.

Испанские коммунисты никогда не стремились к перевороту с целью захвата власти. Если бы у них было подобное намерение, они попытались бы осуществить его еще в 1937 году, когда все благоприятствовало им, а не в тех условиях, в которых находилась Центральная зона республики в 1939 году.

Организаторы нового мятежа против правительства республики не были оригинальны. Предатели народа всегда используют антикоммунизм для оправдания своей подлости.

В своих выступлениях Касадо и Миаха обещали также заключить с Франко «почетный мир», который разом покончит с кошмаром войны. К несчастью, военные успехи противника, потеря Каталонии и усталость от войны создали в Республиканской зоне благоприятную обстановку для обмана людей разговорами о «почетном мире». Если к этому добавить, что наиболее дисциплинированные боевые части республиканской армии, руководимые коммунистами и

преданными республике военными, были интернированы во Франции, после того как, героически жертвуя собой, прикрывали отступление к границе более полутора миллионов испанцев, нетрудно понять причины столь быстрого успеха восстания Касадо.

Из своей резиденции в Эльда президент Негрин позвонил Касадо и пытался воззвать к его чести и патриотическим чувствам. Негрин считал необходимым как можно быстрее достичь соглашения с восставшими, чтобы не дать войскам Франко воспользоваться разладом в нашем лагере. Он послал Касадо соответствующую телеграмму, но все было напрасно. Вскоре восставшие вообще прекратили с нами телефонную связь.

Рано утром в доме председателя совета министров состоялось заседание, на котором было принято решение о том, что правительство должно покинуть Испанию. Через несколько часов Негрин и члены его кабинета вылетели во Францию.

Только министры-коммунисты Висенте Урибе и Хосе Моис решили остаться в Эльда со своими товарищами из руководства партии. Там же находился и Пальмиро Тольятти. Он прошел с нами весь путь отступления из Каталонии, а затем приехал в Мадрид, чтобы разделить с испанскими коммунистами все трудности и опасности.

После отъезда правительства товарищи из руководства коммунистической партии решили попытаться удержать под [427] своим контролем Картахену, Мурсию и Аликанте, чтобы как можно больше людей переправить за границу по морю. Однако было поздно: силы Касадо уже контролировали этот район.

С каждой минутой положение в Эльда становилось все более опасным. К вечеру патрули НКТ и некоторые части Касадо оцепили шоссе. Касадо, знавший об отъезде правительства, был весьма заинтересован в том, чтобы захватить республиканских военачальников и руководителей коммунистической партии: это было бы хорошим подарком для Франко.

Было решено покинуть Эльда. На небольшом временном аэродроме у нас стояло два самолета, охранявшихся несколькими солдатами авиации и двадцатью дружинниками.

В полночь стали прибывать грузовики с войсками, которые получили приказ Касадо захватить нас живыми или мертвыми. По свету фар мы определили, что нас окружают, заняв позиции близ аэродрома.

Я был очень встревожен, ибо считал себя в какой-то степени морально ответственным за жизнь своих товарищей. Ведь враг мог легко привести в негодность наши самолеты выстрелом из обычной винтовки.

Я объяснил товарищам, что, если они хотят спасти хотя бы некоторых, нельзя терять ни минуты. Я стал свидетелем сцены, которую никогда не забуду. Она явилась для меня прекрасным примером того, как должны поступать коммунисты в трудные и опасные минуты. Окончательное решение о том, кто должен улететь, а кто остаться в Испании, было принято после тщательного обсуждения, на котором совершенно хладнокровно анализировалось создавшееся положение. Казалось, что совещание происходит в самом безопасном и спокойном месте на земле. Было три часа ночи. Светать начинало в половине пятого. Если к тому времени самолеты не улетят, все будет кончено. Однако совещание продолжалось.

Я все время смотрел на часы, считая минуты. Меня охватили противоречивые чувства. Понимая всю серьезность ситуации, я возмущался спокойствием товарищей. Но в то же время испытывал к ним огромное уважение. Они прежде всего заботились о том, чтобы до конца выполнить свой долг коммунистов. Наконец было принято следующее решение: части членов руководства партии необходимо присоединиться к тем, кто остался в Республиканской зоне, чтобы помочь ориентироваться в создавшейся обстановке. Оставаться всем - значило отдать себя в руки касадистов и, следовательно, [428] Франко, а партия не может остаться без руководства. Поэтому часть товарищей должна отправиться во Францию.

До рассвета оставалось полчаса, а товарищи с тем же приводящим меня в отчаяние спокойствием стали обсуждать вопрос, кому оставаться, а кому лететь. Наконец были отобраны люди для отъезда. Все согласились с этим решением без всяких возражений. Выполняя его, одна группа вылетела в Тулузу. Остальные должны были попытаться выйти из окружения.

Однако на рассвете касадисты захватили аэродром и взяли в плен большинство оставшихся товарищей. Касадо отдал приказ перевезти их в Мадрид. К счастью, по дороге им удалось ускользнуть от полицейской охраны и рассеяться по стране для выполнения полученных от партии заданий.

Мы взлетели, когда окружавшие аэродром войска развертывались для атаки. Самолеты набрали высоту. Испания осталась внизу, она исчезала в стелющемся тумане…

Так началось второе изгнание. Первое, связанное с республиканским восстанием на «Каутро виентос» и наметившее изменение моего жизненного курса, было несравненно короче.

Второе изгнание длится очень долго. Как и страдания испанского народа, оно продолжается значительно дольше, чем можно было ожидать.

Бедствия второй мировой войны и последующая «холодная война» явились причинами того, что многие люди до сих пор не знают всего, что произошло в Испании после весны 1939 года, с тех пор, как было сломлено республиканское сопротивление. Но рассказать об этом должен уже не я, и поэтому я ставлю здесь точку.

Моя вера в испанский народ осталась непоколебимой. Я узнал его в период защиты свободы. Этот народ не дал сломить себя, не дал подкупить фашистам.

По окончании гражданской войны я обосновался в Мексике. Позднее жил в разных европейских странах. Расстояния не отдалили меня духовно от моего народа, и ничто никогда не сможет отдалить меня от него. Я по-прежнему с теми, кто самоотверженно борется за счастье испанского народа.

У меня нет намерения продолжать в дальнейшем писать мемуары. Я неоднократно подчеркивал, что не являюсь писателем. Я взялся за перо потому, что принимал участие в важнейших событиях и общался с людьми, которые сыграли в них решающую роль. И поскольку надо, чтобы люди знали правду, которую искажают и скрывают у меня на родине, я подумал, [429] что мой рассказ поможет познанию этой правды. Мне кажется, что страницы, которые я посвятил бы описаниям своей жизни в эмиграции, не представили бы такого интереса, как то, о чем я написал в этой книге.

Для меня очень важно знать, что в Испании все больше растет стремление к демократическим идеалам, за которые мы боролись. Битва за демократию продолжается теперь в других условиях.

Если то, о чем я рассказал, послужит предотвращению ошибок, которыми в свое время воспользовалась реакция, и поможет понять справедливость стремлений народа к свободе и достойной человека жизни, я буду счастлив, ибо добился своей цели.

1962-1964

Примечания

{1}Игнасио Идальго де Сиснерос родился в 1894 году. (Здесь и дальше примечания переводчика.)

{2}Карлисты - представители реакционного клерикально-абсолютистского течения в Испании. Группировались вокруг претендента на испанский престол дона Карлоса.

{3}В результате неудачных войн с США в 1898 году Испания

вынуждена была отдать США Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины, а также предоставить Кубе самостоятельность под протекторатом Соединенных Штатов.

{4}Столица провинции Алава.

{5}Автор имеет в виду гражданскую войну в Испании в 1936-1939 годах.

{6}Маристы - монашеский католический орден.

{7}Кармелиты - монашеский католический орден.

{8}Детская организация при монашеском католическом ордене кармелитов.

{9}Насна - топор (исп.). Употребляется в разговорной речи в значении, близком к русскому выражению «ловкий парень» или «мировой парень».

{10}Сковорода (исп.).

{11}Старинный американский танец.

{12}Малыш (исп.).

{13}Матадор, или тореадор, - главное действующее лицо в корриде.

{14}Короткие пики с небольшим пороховым зарядом.

{15}Всадник с пикой, участвующий в бое быков. Его задача - приводить быка в ярость уколами пики.

{16}Во всех городах Испании имеются монастыри, принимающие детей-подкидышей. Для этого в стене монастыря сделана ниша, в которой вращается корзина. Женщина, желающая отделаться от ребенка, кладет его в корзину и звонит в колокольчик. Дежурная монахиня поворачивает корзину и забирает ребенка.

{17}«Четыре ветра» - название одного из аэродромов под Мадридом.

{18}Призывники, которые за соответствующую сумму служат половину положенного срока и могут выбирать род войск,

{19}Военное управление по закупке лошадей.

{20}Здесь - оливковое масло.

{21}Писать в таких случаях два «р» в Испании считается грубейшей орфографической ошибкой.

{22}Андалузский тип ресторана-кабаре.

{23}Андалузские песни.

{24}Дуро - серебряная монета достоинством в 5 песет.

{25}Искусство боя быков.

{26}Внутренний двор в испанских домах.

{27}Севильские танцы.

{28}Религиозный и военный орден, основанный в XII веке для борьбы с мавританцами.

{29}По обычаю, существующему в провинциях Испании,

жених может разговаривать со своей невестой только через окно.

{30}Сид- Воитель (Кампеадор) -Родриго Диас де Бивар, полуисторический-полулегендарный персонаж испанской истории второго тысячелетия нашей эры. Родился в Бургосе в 1030 году, умер в 1099 году. Прославился своими необычайными подвигами в борьбе против мавританцев и во время войн кастильских королей.

{31}В 1917 году в Испании сложилась революционная ситуация, вызванная ростом производительных сил и обострением внутренних противоречий испанского общества за годы первой мировой войны. На повестке дня стоял вопрос о неизбежности буржуазно-демократической революции.

В августе 1917 года испанский рабочий класс провел всеобщую революционную стачку. Она носила политический характер и была направлена против правительства помещиков. В Астурии и Бискайе произошли вооруженные столкновения рабочих с полицией. Несмотря на героизм трудящихся, эти выступления потерпели поражение из-за позиции буржуазных партий, отказавшихся поддержать пролетариат.

{32}Офицерские союзы, созданные для защиты офицерских прав и привилегий.

{33}Насмешливое прозвище реакционеров.

{34}В то время германская колония в Африке.

{35}Быстро разбогатевшие во время войны спекулянты.

{36}Азартная картежная игра.

{37}Имеется в виду крупное поражение испанской армии в войне с марокканцами.

{38}Парусиновая обувь на веревочной подошве.

{39}Кляча (исп.).

{40}Здесь испанские войска потерпели второе крупное поражение в Марокко.

{41}По существующему в Испании обычаю, первая фамилия - отца, вторая - матери.

{42}Племя бедуинов.

{43}Испанский летчик, брат диктатора Франсиско Франко.

{44}Дворцовая организация, включавшая охрану короля, его военный штаб и др.

{45}Книга «Вместо роскоши» написана Констанцией де ла Мора, женой Сиснероса. На русском языке издана в 1943 году.

{46}Мэр.

{47}Знаменитый в то время тореадор.

{48}Каретный сарай (исп.).

{49}Гараж (исп.).

{50}Женский монашеский орден, имевший свои школы.

{51}Абелардо - французский философ (1079-1142), известный своей несчастной любовью к Элоизе.

{52}Теперешний диктатор Испании.

{53}Примерно батальон в составе Иностранного легиона.

{54}В 1907 году Испания развязала захватническую войну против марокканских племен. По франко-испанскому договору 1912 года о разделе Марокко область Риф отошла к Испании. Попытка Испании в 1921 году оккупировать ее натолкнулась на героическое сопротивление рифских племен, во главе которых встал Абд-эль-Керим. В сентябре 1921 года Риф провозгласила себя республикой. Абд-эль-Керим стал ее президентом. 8 1926 году испанские и французские колонизаторы, действуя совместно и используя свое военное превосходство, разгромили рифские войска. Республика Риф пала.

{55}Во время Трафальгарского сражения, происходившего в 1805 году, английский адмирал Нельсон нанес поражение объединенному франко-испанскому флоту.

{56}Золотое руно - первый рыцарский орден, учрежденный в 1429 году в Бургундии.

{57}Хосе Санхурхо - один из главарей двух восстаний против республики в 1932 и в 1936 годах. Погиб при авиационной катастрофе на второй день фашистского мятежа Франко.

{58}Атакующая группа войск (арабск.).

{59}На ломаном испанском языке означает нечто вроде «Мы за Испанию!».

{60}Федерация анархистов Иберии.

{61}Генерал, в настоящее время первый заместитель испанского диктатора Франко. В период второй мировой войны командовал на советско-германском фронте так называемой «Голубой дивизией».

{62}Нисето Алькала Самора - первый премьер-министр Второй республики в Испании, один из лидеров консервативной партии.

{63}Знаменитый тореадор Испании.

{64}Марш тореадоров.

{65}Участники корриды, вонзающие в холку быка короткие пики.

{66}Кусок красной материи с вшитой в край палкой. Берется матадором взамен плаща, перед тем как убить быка.

{67}Квадрат шириной не больше шести сантиметров в основании шеи, где сходятся лопатки.

{68}По решению председателя корриды матадор за смелый бой награждается ухом быка.

{69}Принц.

{70}Известный испанский генерал, командовавший войсками Испании на Кубе во время войны с США в 1896 году.

{71}Род французской колониальной конницы в Северной Африке.

{72}В русском переводе «Южный почтовый».

{73}Золотая Река - испанская колония в Западной Сахаре.

{74}Популярный французский певец.

{75}Мелкие съедобные морские животные; рачки, креветки, моллюски и т. д.

{76}Вождь племени туарегов в Сахаре, называющих себя синим народом.

{77}1 квинтал равен 100 фунтам, или 46 кг. Здесь употребляется в переносном смысле.

{78}Дословно «апельсиновый дворик» - знаменитые декоративные сады, сохранившиеся со времен владычества мавританцев.

{79}Неудачная попытка восстания нескольких артиллерийских частей против диктатуры Примо де Ривера в ночь св. Сан-Хуана 24 июня 1926 года.

{80}Имеется в виду первый перелет из Европы в Южную Америку.

{81}Военная свита короля, состоявшая из представителей всех родов войск и сопровождавшая его в поездках по стране.

{82}Свободный порт беспошлинного ввоза товаров.

{83}Индалесио Прието - один из лидеров испанской социалистической партии, Марселино Доминго - умеренный буржуазный националист, представитель либеральной буржуазии, Мигель Маура - лидер испанской консервативной партии.

{84}Мануэль Асанья - лидер партии левых республиканцев, выражавшей интересы средней и мелкой буржуазии.

{85}Сантьяго Касарес Кирога - лидер партии галисийских автономистов.

{86}Военный городок близ Мадрида.

{87}Часто встречающееся название отелей. В данном случае употребляется иронически.

{88}«Да здравствует!» (исп.).

{89}Расстрелян франкистами 18 июля 1936 года, в первый день гражданской войны.

{90}Знаменитый монастырь к северу от Мадрида, построенный королем Филиппом II. В нем находится усыпальница испанских королей.

{91}Полковник Франсиско Масья - глава каталонских националистов-сепаратистов левого толка.

{92}6 февраля 1936 года демократическая общественность

Франции организовала демонстрацию против вылазок французских фашистов. Полиция разогнала ее с помощью оружия.

{93}Старинная испанская пьеса, в которой все действующие лица умирают.

{94}Лидер партии радикалов в Испании, представлявших реакционные силы в республиканском лагере. Пользовался репутацией грязного политикана.

{95}Крупный французский банк.

{96}Один из лидеров консервативной партии.

{97}Пограничный с Испанией город на атлантическом побережье.

{98}Иллюстрированный журнал либерального толка. Во время войны 1936-1939 годов находился в ведении Коммунистической партии Испании.

{99}Рабочее предместье Севильи.

{100}Главная организация масонов.

{101}Национальное испанское блюдо из риса.

{102}Хуан Висенте Гомес - глава правительства Венесуэлы в 1903 - 1933 годах.

{103}Алькала Самора.

{104}Карлистская реакционная организация, примкнувшая к мятежу Франко в 1936-1939 годах.

{105}Социалист, последний премьер-министр испанского республиканского правительства 1938 - 1939 годов.

{106}Один из лидеров испанской социалистической партии.

{107}Объединенная федерация студентов.

{108}Известный испанский поэт, умер в 1939 году во французском концлагере.

{109}Драма на библейскую тему.

{110}Левый социалист, министр иностранных дел в двух республиканских правительствах.

{111}Рафаэль Альберти - известный испанский поэт, коммунист, лауреат Ленинской премии мира.

Мария Тереза Леон - известная испанская поэтессе, коммунистка.

{112}Ударные части Управления безопасности республики.

{113}Носик (исп.).

{114}Длинный матерчатый пояс.

{115}Королевский дворец.

{116}Советник посольстве в ранге посланника.

{117}Главная аристократическая улица Рима.

{118}Дипломатический корпус.

{119}Хосе Ортега - известный испанский писатель, прозаик и журналист, родившийся на Кубе. Умер в 1922 году.

{120}Многие государства, значительная часть населения которых состоит из католиков, имеют в Риме два самостоятельных посольства: одно - при итальянском правительстве, другое - при Ватикане.

{121}Пехотинец-стрелок итальянской армии.

{122}Ноябрь 1933 года.

{123}16 декабря 1933 года.

{124}Хосе Мария Хиль Роблес - руководитель клерикально-реакционной «Испанской конфедерации правых автономистов» (СЭДА). В 1933 - 1935 годах играла руководящую роль в лагере контрреволюции.

{125}Баскская территориальная милиция.

{126}Крупнейшая германская авиакомпания.

{127}Имеется в виду пытка, применявшаяся фашистами, - насильственное вливание арестованному касторки.

{128}Испанский аристократический курорт на берегу Бискайского залива, пользующийся большой известностью в Европе.

{129}Спекуляция (исп.).

{130}Наемные убийцы.

{131}Офицер, сделавший карьеру в период службы в колониях.

{132}Инициатором его создания была Коммунистическая партия Испании.

{133}Музыкант - гитарист, исполнитель народных песен (исп.).

{134}«Правительственный вестник», в котором публикуются официальные постановления.

{135}Домик наследника (исп.).

{136}Наиболее благоприятное для нас соотношение сил в воздухе на протяжении всей войны, за исключением первых недель, - шесть фашистских самолетов на один республиканский. Эти цифры приведены в официальных заявлениях германского и итальянского правительств, предъявивших по окончании войны свой счет Франко. - Авт.

{137}Автор ошибается. Первый таран в воздушном бою осуществил русский летчик капитан Нестеров в 1914 году, в период первой мировой войны, на русско-австрийском фронте.

{138}Международный комитет по невмешательству был создан в августе 1936 года для контроля за соглашением о невмешательстве, которое подписали 27 европейских государств. Советский Союз принял приглашение участвовать в нем с условием, что все участники соглашения, особенно Германия, Италия и Португалия, будут строго его соблюдать. Советское

правительство рассчитывало на то, что, если франкисты не получат помощи, они будут быстро разгромлены. Когда же «невмешательство» вылилось в открытую помощь интервентам и мятежникам, Советский Союз заявил, что считает «себя свободным от обязательств, вытекающих из соглашения».

{139}Полковник Б. Свешников.

{140}Франко назначил вступление своих войск в Мадрид на 7 ноября 1936 года.

{141}«Ворота солнца», главная площадь Мадрида.

{142}В Мадриде всегда стояло четыре пехотных полка. Коммунисты назвали свое формирование Пятым полком, желая подчеркнуть, что новая воинская организация не имеет ничего общего со старой испанской армией.

{143}Муха (исп).

{144}Советский истребитель того времени.

{145}Книга издана на русском языке в 1962 году Государственным издательством политической литературы.

{146}Черная жидкость, выпускаемая кальмаром, когда его преследует враг.

{147}ПОУМ - так называемая «Рабочая партия марксистского объединения» - троцкистская организация.

{148}Буржуазная печать именовала так зону, захваченную Франко.

{149}Германское авиационное соединение, присланное Гитлером в помощь испанским мятежникам.

{150}29 мая 1937 года бомбардировщик «СБ», пилотируемый советским летчиком-добровольцем Н. А. Остряковым, встретил в Средиземном море германский «карманный» линкор «Дейчланд», открывший по его самолету зенитный огонь. Остряков решил, что это корабль мятежников, вступил с ним в бой и сбросил на него две бомбы. В результате «Дейчланд» был серьезно поврежден, 22 человека из его экипажа было убито и 83 ранено.

{151}Мартин Луна - подполковник авиации, командующий ВВС Северного фронта.

{152}«Мессершмитты», «Хейнкели» - типы немецких военных самолетов.

{153}Пескадилья - дословно «рыбное блюдо», в данном случае построение один за другим.

{154}Этим аэродромом уже не пользовались, так как он был под артиллерийским обстрелом фашистов.

{155}Черный и красный - цвета анархического флага ФАИ.

{156}План эвакуации иностранных частей из армий обеих воюющих сторон был согласован в Лондонском комитете по невмешательству в июле 1938 года. Республиканское

правительство приняло этот план, но Франко и фашистские державы игнорировали его.

{157}Правый социалист.

This file was created

with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

24.09.2015